

STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA

Адрес редакции
Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań, Poland
тел. +48 (61) 829 3576, тел./факс +48 (61) 829 3575
e-mail: ifros@amu.edu.pl

Главный редактор
проф. Ежи Калишан
Научные редакторы
проф. Ежи Калишан
проф. Вавжинец Попель-Махницки
проф. Беата Валигурска-Олейничак
Секретарь
д-р Войцех Каминьски

Рецензенты

проф. Анна Беднарчик, проф. Анджей Харцярек, проф. Роман Гаваркевич,
проф. Крыстына Янашек, проф. Эва Комисарук, проф. Анджей Ксенич,
проф. Изабелла Малей, проф. Оксана Малыса, проф. Ивона Анна Ндияе,
проф. Йоанна Ожеховска, проф. Анна Пашкевич, проф. Елена Поцехина,
проф. Барбара Родзевич, проф. Беата Рыщельска, проф. Михал Сарновски,
проф. Полина Стасиньска, проф. Татьяна Степновска, проф. Томаш Шут-
ковски, проф. Эльжбета Тышковска-Каспжак, проф. Влодзимеж Высочаньски

Редакционная коллегия

проф. Стефано Алоэ (Верона)
проф. Войцех Хлебда (Ополе)
проф. Ольга Фролова (Москва)
проф. Владимир Климонов (Берлин)
проф. Татьяна Космеда (Львов)
проф. Йоанна Мянговска (Быдгощ)
проф. Анна Пашкевич (Вроцлав)
проф. Валенты Пилат (Олыштын)
проф. Татьяна Плешкова (Архангельск)
проф. Лариса Рацибурская (Нижний Новгород)
проф. Михал Сарновски (Вроцлав)
проф. Анатолий Собенников (Иркутск)
проф. Антонина Щербак (Тамбов)
проф. Базыли Тихонюк (Зелена Гура)
проф. Наталия Тупикова (Волгоград)
проф. Ярослав Вежбиньски (Лодзь)
проф. Халина Вонтрубска (Гданьск)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

STUDIA ROSSICA POSNANIENSIA

ZESZYT XLII

Redaktor naczelny

JERZY KALISZAN

Redaktorzy naukowci

JERZY KALISZAN

WAWRZYNIEC POPIEL-MACHNICKI

BEATA WALIGÓRSKA-OLEJNICZAK

Sekretarz

WOJCIECH KAMIŃSKI



POZNAŃ 2017

Okladkę projektowała
MARIA DOLNA

Publikacja sfinansowana przez Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017

Redakcja oraz łamanie komputerowe: JANINA MICKIEWICZ-TURSKA
Redaktor techniczny: DOROTA BOROWIAK

ISSN 0081-6884

WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIwersytetu IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
61-701 POZNAŃ, UL. FREDRY 10

Sekretariat: tel. 61 829 46 46, faks 61 829 46 47, e-mail: wyd nauk@amu.edu.pl

Dział Promocji i Sprzedaży: tel. 61 829 46 40, e-mail: press@amu.edu.pl

Ark. wyd. 20,0. Ark. druk. 21,25

DRUK I OPRAWA: VOLUMINA.PL DANIEL KRZANOWSKI,
SZCZECIN, UL. KS. WITOLDA 7-9

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

СОЛИПСИЗМ В РОМАННОЙ ПОЭТИКЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

SOLIPSISM IN THE POETICS OF VIKTOR PELEVIN'S NOVELS

MATEUSZ JAWORSKI

ABSTRACT. The philosophical doctrine of solipsism plays an extremely significant role in Viktor Pelevin's works as a core idea which undergoes the process of formal modifications. In this paper this process is referred to as "reconfiguration". The article presents different representations of solipsism in Pelevin's novels. The analysis is preceded by a brief introduction to the philosophical roots of the doctrine.

Mateusz Jaworski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska, matjaw@amu.edu.pl

В поисках доминирующего элемента поэтики романов Виктора Пелевина можно обнаружить несколько весомых мотивов, используемых русским писателем с интригующей последовательностью и частотой. Некоторые критики считают такое устойчивое присутствие повторяющихся идей недостатком стиля, творческой исчерпанностью или даже проявлением целеустремленной коммерческой жажды максимальной прибыли¹. В нынешней работе, однако, ставится тезис о реконфигурационном характере произведений автора *Священной книги оборотня*, согласно которому повторение оказывается своеобразным усилителем семантического потенциала текста или, может быть, модусом закрепления его идейного ядра. Главным положением данной постановки вопроса является сосуществование двух пересекающихся текстовых слоев в пределах структуры интересующих нас романов: идеи, подвергающейся процессу реконфигурации, и формы, реконфигурирующей эту идею. Проза Пелевина в таком ракурсе похожа на констелляцию смыслов, вплетенную в сложную ткань различных форм. Следовательно,

¹ См., например, А. Немзер, *Как я упустил карьеру*, [в:] электронный ресурс: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-nemz/1.html> (05.04.2016); М. Свердлов, *Хорошая защита плохой прозы*, [в:] электронный ресурс: <http://www.globalrus.ru/impressions/133635> (01.12.2015).

любая идея обладает целой бесконечностью возможных вариантов художественной экспрессии, не лишаясь своей имманентной цельности.

Среди преобладающих реконфигурируемых мотивов в рамках текстов автора *Смотрителя* безусловной привилегированностью пользуется солипсистское восприятие действительности. На основе подробного анализа исследуемого нами материала (романной деятельности Пелевина с *Омон Ра* по *Смотрителя*) можно констатировать, что солипсизм, несомненно, оказывается отправной точкой или, может быть, идейным фоном для всех других существенных мотивов прозы Пелевина, включая влияние языка при восприятии реальности и историософию. В дальнейшей части наших размышлений постараемся охарактеризовать солипсистскую позицию с точки зрения философии, а также определить главные элементы пелевинского понимания этой доктрины и провести соответствующий контекстуальный анализ романов автора *Синего фонаря*.

Корни идеи солипсизма в европейской философии связаны с софистом Горгием, жившим в V и VI веках до нашей эры². Греческий философ в своем трактате под заглавием *О не-сущем, или О природе*³ предложил три утверждения, в будущем ставшие первым манифестом агностицизма и солипсизма: 1) ничего не существует, 2) даже если нечто существует, оно непознаваемо, 3) даже если нечто познаваемо, о нем невозможно сообщить другому человеку⁴. Горгий, согласно своему своеобразному способу рассуждения, проанализировал парадокс существования следующим образом — все объекты, являющиеся объектом мысли, не реальны, а все объекты, не являющиеся объектом мысли, реальны. Следовательно, не существует такой реальности, которая была бы объектом мысли, но если хотя бы один объект мысли реален, все такие объекты реальны⁵. С точки зрения творчества Пелевина особенно любопытным оказывается решение третьего положения, в котором Горгий на примере восприятия цветов утверждает, что знак не равнозначен означаемому — невозможно объяснить представление о цвете с помощью слов, так как ухо слышит звуки, а не цвета⁶. Конечно, не-

² Ср. М. Я в о р с к и, *Нарративный принцип солипсизма в творчестве В. Пелевина как отражение человеческого одиночества в мире*, [в:] *Samotność – aspekty, konteksty, wy-miary*, т. II, red. K. Arciszewska, L. Kalita, U. Potocka-Sigłowy, Gdańsk 2016, с. 274–282.

³ См. М. В о л ь ф, *Софистика. Горгий Леонтийский: Трактат „О не-сущем, или О природе” в современных интерпретациях*, Новосибирск 2014.

⁴ См. W. T a t a r k i e w i c z, *Historia filozofii*, т. I: *Historia starożytna i średniowieczna*, Warszawa 2009, с. 41; A. K e n n y, *Ancient Philosophy*, New York 2004, с. 31.

⁵ Там же, с. 148.

⁶ Ср.:

Людам известно, что замыкание нейронных цепочек в коре мозга определенным образом связано с мыслями. Им известна даже локализация переживаний — какие

возможно однозначно установить, насколько вышеприведенный ход размышлений отражает искреннее мирозерцание Горгия, так как он может оказаться лишь только проявлением чисто умственно развлекательной языковой игры, к которой безусловно клонил философ из Леонтин⁷. Однако следует отметить, что, независимо от их мотивировки, эпистемологические выводы, сделанные в трактате *О не-сущем, или О природе*, несомненно оставили свой отпечаток на деятельности целого ряда выдающихся европейских мыслителей.

В данном контексте следует указать прежде всего на Рене Декарта, Джорджа Беркли и Дэвида Юма⁸, которые оказали огромное влияние на современное понимание доктрины солипсизма. Первый из вышеупомянутых философов — Картезий — в своих размышлениях о границах научного наблюдения за действительностью познающий субъект определил как *res cogitans*, мыслящую субстанцию, которая замыкается в индивидуальном сознании⁹. К тому же *Рассуждений о методе* при методологической проверке положений, связанных с гносеологией и онтологией, пользовался аргументами, характерными для скептицизма: 1) иллюзорностью чувств, 2) отсутствием заметной разницы между сном и явью, и 3) возможностью заблуждения, введенного существом, которое мощнее человека. Однако следует подчеркнуть, что

ощущения соответствуют активности разных зон мозга. Например, возбуждение нейронов в определенной области совпадает с переживанием красного цвета. Пока все просто. „Hard problem“ появляется, когда они пытаются объяснить, как электрическая активность, которую фиксируют приборы, становится субъективным чувством. Тем, что люди называют qualia — переживанием чего-то изнутри. Вот как мы знаем, что эта доска черная, а щеки у Рамы красные... [...]

— Объяснить это не представляется возможным [...] Как, где и почему электрический разряд становится красным цветом, который мы видим? Этого не знает никто из людей. Иногда даже спорят, можно ли утверждать, что красное для одного человека — то же самое, что красное для другого. С уверенностью можно говорить лишь о том, что в схожих ситуациях люди используют одно и то же слово.

В. П е л е в и н, *Бэтман Аполло*, Москва 2013, с. 80–81.

⁷ Интересно, что Пелевина, солипсистское мировосприятие которого полно похожих квазисерьезных рассуждений, некоторые критики упрекают именно в неискренности мировоззренческой позиции и языковом релятивизме. Ср. И. З о т о в, *Пелевин как капитан Лебядкин*, [в:] электронный ресурс: <http://www.utro.ru/articles/2003/09/17/232710.shtml> (19.05.2014).

⁸ Беркли и Юм упоминаются как Тимуром Тимуровичем в описании болезни Петра Пустоты в романе *Чапаев и Пустота*, так и лисой А Хули в *Священной книге оборотня*. Зато Картезий появляется в размышлениях графа Т. в романе Т. См. В. П е л е в и н, *Чапаев и Пустота*, Москва 2012, с. 162–163; его же, *Священная книга оборотня*, Москва 2015, с. 284; его же, Т, Санкт-Петербург 2015, с. 172.

⁹ W. T a t a r k i e w i c z, *Historia filozofii*, t. II: *Historia nowożytna do roku 1830*, указ. соч., с. 54.

Декарт не поддавался сомнениям в реальности бытия, найдя опору существования в мыслящем субъекте. Французский философ выразил это убеждение в своем общеизвестном положении *cogito ergo sum*, т. е. *мыслю, следовательно, существую*. Такая постановка вопроса имплицитно подразумевает следующее: насколько можем сомневаться в реальности окружающего мира, по-картезиански определяемого как *res extensa*, мыслящее сознание *есть*, так как осознает само себя¹⁰. Итак, дуализм Декарта, т. е. разделение объектов, находящихся в мире, на материю и духа, соответственно протяженную и мыслящую субстанцию, совмещает элементы скептицизма, а может быть, даже крайнего солипсизма, и онтологической метафизики, согласно которой сознание несомненно существует в полной независимости от тела. Картезианский переворот в философии оказал огромное воздействие на дальнейшее развитие европейской мысли вплоть до современности.

Еще в XVII веке, но уже после смерти Картезия, понятие „солипсизм“ стало предметом горячих философских споров в связи с деятельностью ирландского мыслителя Джорджа Беркли, поставившего его в центр своей мировоззренческой системы. Автор *Трактата о принципах человеческого знания* не только продолжил традиции картезианского дуализма и эмпиризма Джона Лока, но и создал их радикальные формы. Беркли утверждал, что все объекты человеческого познания воспринимаются как идеи, основанные на трех базовых источниках — человеческих чувствах, памяти и воображении, а также на умственной переработке знаний, полученных с помощью чувств или воображения¹¹. К тому же ирландский философ с полной уверенностью заметил, что реальность может существовать только по принципу *esse est percipi*, т. е. *существовать — значит быть воспринятым*¹².

В таком ракурсе существовать может только то, что осознается умом¹³. Итак, мир, по Беркли, состоит из воспринимаемых (*percipi*) идей и воспринимающих (*percipere*) их духов. Следовательно, идеи зыбки и зависимы от ума. Критики такой постановки вопроса указывали на устойчивость и единство перцепции предметов на протяжении времени, которые мыслитель, в свою очередь, объяснял божественной

¹⁰ Там же.

¹¹ См. Дж. Б е р к л и, *Трактат о принципах человеческого знания*, [в:] его же, *Сочинения*, пер. с англ., Москва 1978, с. 171.

¹² Там же, с. 172.

¹³ Джон Лок утверждал, что границы нашего опыта являются границами нашего знания. Беркли это положение приводит к радикальной форме — границы нашего опыта являются границами бытия. Ср. W. T a t a r k i e w i c z, *Historia filozofii*, указ. соч., т. II, с. 120.

природой восприятия, полагая, что человеческое познание всегда сопровождается Божьим взором¹⁴.

Критикой картезианского дуализма и продолжением берклианского имматериализма в XVIII веке можно считать философские рассуждения Дэвида Юма. В отличие от Картезия и Беркли, шотландский эмпирист не только отказался признать существование физической материи, но также утверждал, что сознающее „я” в такой же степени является иллюзией¹⁵. Юм пришел к выводу, что самость невозможно познать, так как ее восприятие ограничено всего лишь неким комплексом впечатлений, лишенным постоянной природы и протяженности¹⁶. Необходимо заметить, что автор *Трактата о человеческой природе* в своем скептицизме ограничивался эпистемологическими положениями, исключая возможность познания, основанного на фактических отношениях между объектами впечатлений и идей.

Вышеприведенные достижения философской мысли складываются на сегодняшнюю форму доктрины солипсизма, которая сыграла огромную роль в рамках постмодерна, как в области философии, так и в художественных текстах второй половины XX и начала XXI веков. Солипсическая мировоззренческая позиция предполагает максимально привилегированный статус „я” в гносеологическом и онтологическом планах¹⁷. Следовательно, субъект не является частью мира, а *всем* миром, не оставляя в нем места для других проявлений бытия¹⁸. В таком ракурсе главным положением солипсизма оказывается нескромно звучащее „мир является моим [курсив — М. Я.] миром”¹⁹, равнозначное констатации „существую только я”²⁰. Итак, „я” не только выполняет всю доступную познанию действительность, но и создает ее по берклианскому закону *esse est percipi*. Такой способ восприятия действительности, однако, ведет к неминуемому тупику, который можно выразить в форме простого вопроса: „если мир создается-воспринимается еди-

¹⁴ Там же, с. 122. Ср. В. Пелевин, *Священная книга оборотня*, указ. соч., с. 283–284.

¹⁵ См. А. Кену, *Philosophy in the Modern World*, New York 2007, с. 164.

¹⁶ W. Tatariewicz, *Historia filozofii*, указ. соч., т. II, с. 129–130.

¹⁷ D. Phillips, *Logic, Reality, and God*, [в:] *The Oxford Handbook of Philosophy of Religion*, edited by W. Wainright, New York 2005, с. 457.

¹⁸ См. G. Hagerberg, *Describing Ourselves. Wittgenstein and Autobiographical Consciousness*, New York 2008, с. 17–18.

¹⁹ Цитата приводится в нашем переводе по изданию: D. Pears, *The False Prison: A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy*, vol. 1, Oxford 1987, с. 160. См. также: M. Jaworski, *Solipsyzm jako perspektywa poznawcza w twórczości Wiktora Pielewina*, [в:] *Literatura u progu XXI wieku*, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014, с. 403–411.

²⁰ Ср. R. Sorensen, *A Brief History of the Paradox*, New York 2003, с. 172.

ноличным сознанием, то где тогда находится оно само?”. Именно эта своеобразная лагуна солипсизма, как нам кажется, существенно сближает его с постмодернистской поэтикой, основанной на интересе к онтологическим вопросам²¹, так как обыгрывание безвыходного характера солипсистского восприятия-создания намекает на возможность сосуществования многих миров.

Очерк трактовки солипсизма в философском дискурсе, на наш взгляд, весьма полезен при деконструкции пелевинского подхода к этой идее, понимаемой как предмет реконфигурации. Автор *Чапаяева и Пустоты* неоднократно намекает на традицию солипсистского понимания действительности, одновременно создавая его новый оригинальный образ. На основе внимательного прочтения интересующих нас художественных произведений можно однозначно констатировать, что этот диалог не только обнаруживается во *всех* романах Пелевина, но также придает реконфигурируемой доктрине солипсизма своеобразный и неповторимый характер. В дальнейших рассуждениях попытаемся проанализировать основные элементы *пелевинского* солипсизма, пронизывающие глубинную структуру романной поэтики творчества автора *Желтой стрелы*.

Главной опорой солипсистского мироощущения в данном контексте мы считаем полную неразделимость познающего субъекта и окружающей его действительности. Это означает, что в рамках идейного содержания романов Пелевина отсутствует (полностью или частично) подразделение элементов реальности на субъекты и объекты. В так понимаемой действительности нельзя начертить границу между единым личным сознанием и окружающим его внешним миром. Эта имманентная онтологическая размытость в письме Пелевина сопровождается, или, может быть, даже вызвана, демиургическим характером функционирования человеческого ума. Внешняя и внутренняя реальности тождественны, так как воспринимающее сознание создает объект своей собственной направленности. Например, в *Жизни насекомых* в результате формальной реконфигурации такая трактовка данного вопроса приобретает вид секретных знаний, доступ к которым субъект получает во время ритуала инициации. К тому же этим субъектом в тексте Пелевина оказывается молодой жук-навозник, допущенный к секрету восприятия действительности своим отцом. Целью поучения в данном произведении Пелевина является своеобразное пробуждение, эпифанический опыт наподобие прозрения:

— Я знаю, это сложно понять, — сказал он [навозник-отец — М. Я.]. Но кроме навоза, ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, — отец широким же-

²¹ См. B. M c H a l e, *Powieść postmodernistyczna*, tłum. M. Płaza, Kraków 2012, с. 13.

стом обвел туман, — это на самом деле Йа. И цель жизни — толкать ее вперед. Понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь Йа изнутри. [...] — И все вокруг и есть этот шар? Отец опять кивнул²².

Это аллегорическое представление интересным образом намекает на ограниченность человеческого восприятия и его сугубо индивидуальный характер. Ведь если „я“ („Йа“) одновременно принадлежит индивиду и заполняет весь окружающий его мир, тогда сосуществование, со-бытие, многих индивидов указывает на возможность существования множества миров, замыкающихся в индивидуальном сознании субъектов²³.

При логическом разборе такого положения, неслучайно схожего с берклианским *esse est percipi*, мы неизбежно столкнемся с присущим солипсистской позиции тупиком, связанным с отсутствием местонахождения проецирующего реальность сознания²⁴. Эта проблема играет немаловажную роль в третьем романе Пелевина — *Чапаев и Пустота* (1996). Здесь мы имеем в виду не только известный разговор Петра с Чапаевым о природе восприятия²⁵, но прежде всего размышления

²² В. П е л е в и н, *Жизнь насекомых*, Москва 2015, с. 33–34.

²³ Такое положение стоит сравнить со словами Александра Гениса:

Окружающий мир для Пелевина — это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках „сырой“, изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в них верит. Ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи.

А. Г е н и с, *Поле чудес*, [в:] электронный ресурс: <http://pelevin.nov.ru/statio-gen/2/1.html> (09.09.2016).

²⁴ Хотя следует также отметить возможное влияние философии буддизма, в особенности идеи действительности, являющейся сном демиурга Брахмы. См. А. А ф а н а с ь е в а, *Сновидения в постмодернизме как отдельная реальность*, „Вестник КазНУ. Сер.: Филологическая“ 2014, № 2 (148), с. 176–181.

²⁵ — [...] Скажи-ка мне, где эта манда живет?

— В моем сознании?

— А сознание твое где?

— Вот здесь, — сказал я, постучав себе по голове.

— А голова твоя где?

— На плечах.

— А плечи где?

— В комнате?

— А где комната?

— В доме.

— А дом?

— В России.

— А Россия где?

[...] — Ну как где. На Земле.

— А Земля где?

Пустоты после разговора с Котовским, своего рода духовным двойником Чапаева, которые не только являются очередной реконfigurацией данного элемента пелевинского солипсизма²⁶, но также становятся отправной точкой для последующего развития сюжета:

Если весь мир существует во мне, то где тогда существую я? [...] Можно бы было сказать, думал я, что мир, с одной стороны, существует во мне, а, с другой стороны, я существую в этом мире, и это просто полюса одного смыслового магнита, но фокус был в том, что этот магнит, эту диалектическую диаду негде было повесить.

Ей негде было существовать.

Потому что для ее существования нужен был тот, в чьем сознании она могла бы возникнуть²⁷.

Данный вопрос Пелевин решает со свойственной себе легкостью — мироздание и, соответственно, человеческий ум обладают многоуровневой структурой, в рамках которой отдельные сознания создают микромиры, на самом деле являющиеся лишь только мыслями Абсолюта, т. е. некоего Гиперсознания, занимающего бесконечность бытия целиком. С перспективы нынешнего анализа весьма интересным вариантом изображения Абсолюта, на наш взгляд, является его вампирическое воплощение, предложенное Пелевиным в романе *Бэтман Аполло*. Великий Вампир, по определению целого ряда учителей-наставников Рамы, оказывается суммой всякой *возможности* возникновения бытия. Озирис — герой, уже прошедший значительную часть пути к просвещению, в своем учении объясняет своему неопытному коллеге-ныряльщику настоящую природу реальности следующим образом:

Мы просто слуги Великого Вампира, который проделывает с нами то же самое, что с людьми. [...] Даже голова у тебя на плечах не твоя. Все это личная собственность Великого Вампира. И то, что представляется тебе внешней реальностью, и то, что прикидывается твоим внутренним миром, тобою самим [...]. Это не твое. Все это тебе ни к чему. [...] Великий Вампир нужен только себе самому. Во вселенной есть лишь он и его невидимые зеркала, которые и есть мир²⁸.

— Во Вселенной.

— А Вселенная где?

[...] — В моем сознании.

— Так что же, Петька, выходит, твое сознание — в твоём сознании?

В. П е л е в и н, *Чапаев и Пустота*, Москва 2012, с. 216.

²⁶ См. В. П е л е в и н, *T*, указ. соч., с. 362–365; его же, *S.N.U.F.F.*, Москва 2015, с. 432; его же, *Бэтман Аполло*, Москва 2013, с. 150; его же, *Смотритель. Орден желтого флага*, Москва 2015, с. 25.

²⁷ Там же, с. 228–229.

²⁸ В. П е л е в и н, *Бэтман Аполло*, Москва 2013, с. 360–361.

Любопытно, что вышеприведенные слова не исключают узловой роли (человеческого по своей природе) сознания в выработке действительности, а только дополняют доминирующую в данном романе солипсистскую мировоззренческую позицию. Озирис опровергает противоположность Божьего всемогущества и крайнего человеческого индивидуализма, неслучайно пользуясь аргументом, напоминающим вышеуказанные толкования Джорджа Беркли — человеческое „я“ создает (и целиком выполняет) весь мир, но само принадлежит некоему Сверхсознанию, находясь в поле присущего ему Сверхвосприятия²⁹.

Интересно, что анализ романов Пелевина может привести внимательного читателя к признанию враждебного характера такой обстановки дел. Именно поэтому многие персонажи интересующих нас произведений автора *Смотрителя* единственный путь к спасению усматривают в остановке мысленного процесса, создающего мир, полный страдания. Прекращение генерирования действительности в свете ее однозначно неприязненной природы оказывается не только восстанием против Божьей тирании, но также уходом от боли и печали, наполняющих человеческую жизнь. Поощрение к попытке прекратить думать-создавать мир, по сути дела ведущее к эпифаническому опыту, оказывается одним из важнейших реконфигурируемых лейтмотивов в пелевинском письме. Автор *Смотрителя* в целом ряде своих произведений изображает идею низвержения абсолютной власти вышеупомянутого Гиперсознания, причем способы реализации данного задания отличаются высокой степенью художественной изощренности³⁰. На наш взгляд, интересным примером такой реализации является концепт „Оптина Пустынь“, предложенный русским писателем в Т. Главный герой данного текста — граф Т. — проходит символический путь, полный испытаний, чтобы наконец узнать настоящее значение своих странствий:

Слово „Оптина“ происходит от латинского глагола „oparte“ — „выбирать, желать“. Здесь важны коннотации, указывающие на бесконечный ряд возможностей. Ну а „Пустынь“ — это пустота, куда же без нее³¹.

²⁹ Ср. В. П е л е в и н, *Любовь к трем цукербринам*, Москва 2014, с. 43–44.

³⁰ Из-за очевидных формальных причин мы вынуждены ограничиться только одним примером, но стоит упомянуть и другие релевантные реконфигурационные варианты, например: хум (*Generation „П“*), Радужный Поток (*Чапаев и Пустота*, *Священная книга оборотня*), Черный Путь (*Бэтман Аполло*), Сжигатели Пленки (*S.N.U.F.F.*). См. В. П е л е в и н, *Generation „П“*, Москва 2014, с. 71; В. П е л е в и н, *Чапаев и Пустота*, указ. соч., с. 472–473; В. П е л е в и н, *Священная книга оборотня*, указ. соч., с. 375–380; В. П е л е в и н, *Бэтман Аполло*, указ. соч., с. 272–273; В. П е л е в и н, *S.N.U.F.F.*, указ. соч., с. 390–391.

³¹ В. П е л е в и н, *Т*, указ. соч., с. 408–409.

Следовательно, Оптина Пустынь, вопреки ожиданиям Т., является не пространственной точкой на его пути, а духовным состоянием, полностью лишенным как материальной основы, так и категории индивидуального бытия.

Солипсическую картину мира в творчестве Пелевина (на уровне реконфигурируемой идеи) дополняет мотив несовершенства восприятия посредством человеческих органов чувств, роль которых в таком ракурсе опирается на внушение ложного образа действительности. Автор *Священной книги оборотня* акцентирует прежде всего вторичный характер перцепции, предполагая, что она всегда подвергается предварительной умственной переработке, придающей ей неизбежно ложный характер. К тому же из-за лукавости ума этой имманентной неискренности восприятия сопутствует впечатление априорности перцепции по отношению к осознанию, что усиливает эффект миража. В *Empire „V“* можем прочесть:

мы живем не среди предметов, а среди ощущений, поставляемых нашими органами чувств. То, что мы принимаем за звезды, заборы и лопухи, есть просто набор нервных стимулов. Мы наглухо заперты в теле, а то, что кажется нам реальностью — просто интерпретация электрических сигналов, приходящих в мозг. Мы получаем фотографии внешнего мира от органов чувств. А сами сидим внутри полого шара, стены которого оклеены фотографиями. Этот полый шар и есть наш мир, из которого мы никуда не можем выйти при всем желании. Все фотографии вместе образуют картину мира, который, как мы верим, находится снаружи³².

Этот элемент пелевинской трактовки солипсизма характеризуется широкой гаммой оттенков и интенсивности, так как несовершенство восприятия с помощью чувств в романах Пелевина необязательно охватывает всю реальность, оставляя пространство для смешивания придуманного с настоящим, виртуального с истинным, а может быть, даже сочетания нереального с еще более нереальным, ведущего к одобрению идеи сосуществования множества параллельных, но, вопреки законам математики, пересекающихся измерений³³.

Кроме того, действительность, функционирующая по законам крайнего индивидуализма, ведь слово „солипсизм“ происходит от латинских *solus* и *ipse*, означающих соответственно „один, единственный“ и „сам“³⁴, в прозе Пелевина является причиной безграничного оди-

³² В. П е л е в и н, *Empire „V“: повесть о настоящем сверхчеловеке*, Москва 2015, с. 170-171.

³³ Ср. В. П е л е в и н, *Generation „П“*, указ. соч., с. 77-78.

³⁴ С. Н е к р а с о в, Н. Н е к р а с о в а, *Философия: тематический словарь*, ч. 1: *История философии*, Москва 2008, с. 35.

ночества человека, его замкнутости по отношению к другому. В мире, создаваемом по принципу солипсизма, не существует истинного диалога между двумя полноправными субъектами³⁵. Следовательно, романы автора *Любви к трем цукербринам* полны монологической речи, притворяющейся диалогом, так как их герои создают очередной мираж — ложное со-бытие³⁶. Жизнь в окончательной пустоте собственного сознания настолько невыносима, что человек, как предполагает Пелевин, по своей природе вынужден участвовать в непрерывном производстве мнимых спутников, облегчающих бытие. Здесь стоит привести пример главного героя романа *Смотритель* — Алекса, который, разочаровавшись в привилегиях жизни молодого аристократа, ищет настоящую любовь и находит ее в виде искусного самовнушения, т. е. миража женщины, созданного в результате созидательной работы ума, — „зеленки” Юки. Новая спутница Алекса, помимо своей очевидной нереальности, оказывается, как многократно подчеркивается в повествовании, несравнимо лучше настоящей женщины³⁷.

Целью настоящей статьи было представление предварительных результатов анализа солипсистской позиции в пределах романного творчества Виктора Пелевина в ключе поэтики реконфигурации, опирающейся на гипотезу о различии сугубо идейного и формального пластов пелевинского письма³⁸. Итак, на основе вышеприведенных размышлений можем констатировать, что реконфигурируемая идея солипсизма в интересующих нас текстах автора *Священной книги оборотня* опирается на специфическую трактовку вопросов, связанных с имманентной неразличимостью внешней и внутренней реальностей, созидательной работой ума, вездесущим Гиперсознанием и стремлением к уничтожению миража действительности. Следует заметить, что данная проблема, на наш взгляд, представляет собой многообещающий предмет дальнейших исследований.

³⁵ Ср. М. Я в о р с к и, указ. соч., с. 274–282.

³⁶ Здесь со-бытие понимается как соприсутствие, т. е. как модус бытия среди других субъектов. Ср. М. Х а й д е г г е р, *Бытие и время*, пер. В. Бибихина, Харьков 2003, с. 141–150; *История философии: энциклопедия*, под ред. А. Грицанова, Минск 2002, с. 934–938.

³⁷ См. В. П е л е в и н, *Смотритель. Орден желтого флага*, Москва 2015, с. 82–85. В данном контексте несомненно следует упомянуть также о спутнице главного героя романа *S.N.U.F.F.* — суре Каи. См., напр.: В. П е л е в и н, *S.N.U.F.F.*, указ. соч., с. 58–67.

³⁸ Анализ романного творчества в ключе реконфигурации является предметом еще не законченной нами диссертационной работы под названием *Реконфигурация в романной поэтике Виктора Пелевина. Солипсизм — язык — история*.

Библиография

- А ф а н а с ь е в а А., *Сновидения в постмодернизме как отдельная реальность*, „Вестник КазНУ. Сер.: Филологическая” 2014, № 2 (148), с. 176–181.
- Б е р к л и Дж., *Трактат о принципах человеческого знания*, [в:] его же, *Сочинения*, пер. с англ., Москва 1978.
- В о л ь ф М., *Софистика. Горгий Леонтийский: Трактат „О не-сущем, или О природе” в современных интерпретациях*, Новосибирск 2014.
- Г е н и с А., *Поле чудес*, [в:] электронный ресурс: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-gen2/1.html> (09.09.2016).
- З о т о в И., *Пелевин как капитан Лебядкин*, [в:] электронный ресурс: <http://www.utro.ru/articles/2003/09/17/232710.shtml> (19.05.2014).
- История философии: энциклопедия*, под ред. А. Грицанова, Минск 2002.
- Н е к р а с о в С., Н е к р а с о в а Н., *Философия: тематический словарь*, ч. 1: *История философии*, Москва 2008.
- Н е м з е р А., *Как я упустил карьеру*, [в:] электронный ресурс: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-nemz/1.html> (05.04.2016).
- С в е р д л о в М., *Хорошая защита плохой прозы*, [в:] электронный ресурс: <http://www.globalrus.ru/impressions/133635> (01.12.2015).
- Я в о р с к и М., *Нарративный принцип солипсизма в творчестве В. Пелевина как отражение человеческого одиночества в мире*, [в:] *Samotność – aspekty, konteksty, wymiary*, t. II, red. K. Arciszewska, L. Kalita, U. Potocka-Sigłowy, Gdańsk 2016, с. 274–282.
- П е л е в и н В., *Бэтман Аполло*, Москва 2013.
- П е л е в и н В., *Жизнь насекомых*, Москва 2015.
- П е л е в и н В., *Любовь к трем цукербринам*, Москва 2014.
- П е л е в и н В., *Священная книга оборотня*, Москва 2015.
- П е л е в и н В., *Смотритель. Орден желтого флага*, Москва 2015.
- П е л е в и н В., *T*, Санкт-Петербург 2015.
- П е л е в и н В., *Чапаев и Пустота*, Москва 2012.
- П е л е в и н В., *Empire „V”*: повесть о настоящем сверхчеловеке, Москва 2015.
- П е л е в и н В., *Generation „П”*, Москва 2014.
- П е л е в и н В., *S.N.U.F.F.*, Москва 2015.
- Х а й д е г г е р М., *Бытие и время*, пер. В. Бибихина, Харьков 2003.
- H a g b e r g G., *Describing Ourselves. Wittgenstein and Autobiographical Consciousness*, New York 2008.
- J a w o r s k i M., *Solipsyzm jako perspektywa poznawcza w twórczości Wiktora Pielewina*, [в:] *Literatura i prognoza XXI wieku*, pod red. J. Chłosty-Zielonki i Z. Chojnowskiego, Olsztyn 2014, с. 403–411.
- K e n n y A., *Ancient Philosophy*, New York 2004.

- Kenny A., *Philosophy in the Modern World*, New York 2007.
- McHale B., *Powieść postmodernistyczna*, tłum. M. Płaza, Kraków 2012.
- Pears D., *The False Prison: A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy*, vol. 1, Oxford 1987, c. 154–192.
- Phillips D., *Logic, Reality, and God*, [в:] *The Oxford Handbook of Philosophy of Religion*, edited by W. Wainright, New York 2005.
- Sorensen R., *A Brief History of the Paradox*, New York 2003.
- Tatarkiewicz W., *Historia filozofii*, t. I: *Historia starożytna i średniowieczna*, Warszawa 2009.
- Tatarkiewicz W., *Historia filozofii*, t. II: *Historia nowożytna do roku 1830*, Warszawa 2009.

ROSYJSKA OPOZYCJA WOBEC ŚWIATA MODERNIZMU

RUSSIAN OPPOSITION AGAINST MODERNITY WORLD

MAREK JEDLIŃSKI

ABSTRACT. Modernity is typically defined as a post-traditional historical period. Central to modernity is emancipation from religion and consequent secularization. In my article I analyze and interpret the ideological foundations of contemporary Russian neo-Euroasianism. This movement is led by Alexander Dugin, an important representative of Russian traditionalism and conservatism. What he postulates is to build an ideocratic orthodox-soviet state, which should include Ukraine.

Marek Jedliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
marekjedlinski@poczta.onet.pl

Na przestrzeni wieków między Rosją a Zachodem wielokrotnie dochodziło nie tylko do konfrontacji militarno-politycznej, ale również do konfrontacji w sferze myśli (w obszarze kultury). Narracja rywalizacji stawała się dominująca, a nierzadko bywała podstawą, niejako głównym założeniem wyjściowym, od przyjęcia którego podejmowano dyskurs z Zachodem. Europa niemal zawsze była punktem odniesienia dla myślicieli rosyjskich. Aleksander Dugin¹ stwierdził nawet, że cała filozofia rosyjska powstała

¹ Aleksander Dugin jest liderem współczesnego neoeurazjatyizmu rosyjskiego, akademikiem, doradcą przewodniczącego Dumy Państwowej. W latach dziewięćdziesiątych Dugin traktowany był jako ekscentryczny intelektualista, o niewielkim znaczeniu; dziś jest znaczącym teoretykiem rosyjskiego tradycjonalizmu, częstym gościem programów publicystycznych i telewizyjnych. To postać ekscentryczna, charyzmatyczna, cynicznie bądź lekkomyślnie rzucająca agresywne hasła. Dugin jest autorem licznych prac naukowych – jednak wartość naukowa niektórych z nich może budzić uzasadnione wątpliwości poznawcze: szczególnie treść jego artykułów jest nachalnie tendencyjna, chaotyczna i pełna sprzeczności. W czasach młodości Dugin związał się z kręgiem rosyjskich pisarzy, poetów (i działaczy społecznych), połączonych fascynacją mistycyzmem, okultyzmem i ezoteryzmem oraz – spinającym klamrowo całość poglądów – tradycjonalizmem. Do tego kręgu zaliczyć należy między innymi: Eugeniusza Gołowina – poetę, filologa, okultystę (znawcę alchemii i mistycyzmu); Jurijsa Mamlejewa – prozaika, poetę, dramaturga; oraz Gejdara Dżemala – islamskiego działacza społeczno-politycznego. Na wczesne poglądy Dugina szczególnie wpływ wywarł Eugeniusz Gołowin. Warto odnotować, że w latach dziewięćdziesiątych Dugin był ideologiem narodowych bolszewików Eduarda Limonowa. Na poglądy Dugina wpłynęła twórczość Fryderyka Nietzschego

jako „reakcja” na filozofię europejską, włączając w to nurty umysłowe, które (w zamierzeniu) miały stanowić o wyjątkowości kultury rosyjskiej:

Nawet w sytuacji, kiedy myśliciele rosyjscy dążyli do oryginalności bądź byli w czymś oryginalni, oryginalność ta manifestowała się w formie kontrastu z filozofią Zachodu, porównania właśnie z nią [tłumaczenie moje – M. J.]².

Zachód był jednak zazwyczaj – co warto podkreślić – punktem odniesienia negatywnego. Świadczy o tym pobieżny przegląd stanowisk ideowych myślicieli rosyjskich różnych epok – rywalizacja z kulturą europejską była stałym motywem twórczości przedstawicieli najważniejszych nurtów ideowych Rosji: wspomnieć należy przykładowo o słowianofilstwie klasycznym, panslawizmie czy też euroazjatyzmie. Zresztą nawet w pisarstwie okcydentalistów rosyjskich znaleźć można schemat dyskursywny, opisujący przestrzeń Rosji i Europy w kategoriach binarnego rozróżniania dwóch światów: Zachodu i Rosji, nierzadko kategorialnie opisywanych jako dwie niewspółmierne, obce sobie przestrzenie (*vide*: Piotr Czaadajew)³.

Główną przesłanką niniejszych rozważań o rosyjskiej opozycji wobec świata modernizmu musiałoby być stwierdzenie, że ów modernizm był (jest) procesem (zjawiskiem) niepożądanym, szkodliwym, skoro myśliciele rosyjscy, a współcześnie tradycjoniści w rodzaju Aleksandra Dugina, mieliby deprecjonować jego podstawy. W kontekście współczesnych wydarzeń politycznych warto ze szczególną uwagą przyrzeć się rosyjskiej walce z kulturą zachodnią (modernizmem i postmodernizmem), czyli koncepcjom ideowym Dugina konstruowanym właśnie na silnej opozycji wobec Zachodu i płynących zeń przemian kulturowych. Powróćmy jednak do kwestii modernizmu – tj. właściwego przedmiotu niniejszego artykułu. Przyjąć można, wyraźnie problem symplifikując, iż nastąpiło w nim przekroczenie granic myślenia magiczno-mitycznego, czy też inaczej: wykroczenie poza wąską poznawczo postawę zaangażowania, myślenie-działania, działania sklejonego z myśleniem i zbudowanie postawy teoretycznej, pozwalającej na nabranie dystansu wobec obserwowanego świata. Postawę tę

go oraz – co istotne dla zrozumienia osnowy światopoglądowej lidera neoeurazjatyizmu – teoretyków i znawców tradycjonalizmu (integralnego) czy konserwatyizmu, takich jak: Mircea Eliade, Rene Guenon, Julius Evola. Szerzej: M. L a r u e l l e, *Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?*, Kennan Institute Occasional Papers, 2006, nr 294, s. 1–4, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf> (05.09.2015).

² А. Г. Д у г и н, *Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии*, Академический Проект Гаудеамус, Москва 2011, s. 4.

³ Szerzej na ten temat: M. J e d l i ń s k i, *Rosyjskie poszukiwania sensu i celu... Myśl historyzoficzna Iwana Kiriejewskiego, Aleksego Chomiakowa i Piotra Czaadajewa*, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2015.

buduje przekonanie, że dopiero na podstawie przeprowadzonych obserwacji może dojść do uogólnień teoretycznych, opisujących faktyczność, stan świata; następnie wiedza ta może się przekształcić w wiedzę operacyjną, która nie ma już charakteru pierwszoosobowego, lecz jest akceptowana ponadindywidualnie. Choć – odnotujmy w tym miejscu – intersubiektywność przekonań nie stanowi jeszcze istoty modernizmu. Źródeł modernizmu, w który immanentnie wpisane jest wykroczenie poza ograniczenia świata magiczno-mitycznego, można by się doszukiwać już w starożytnej Grecji⁴. W *Timajosie* Platon wspominał, że każdy człowiek posługuje się mniemaniem, ale rozumowaniem tylko nieliczni ludzie i bogowie (51d).

Jeśli uznamy, że istotą modernizmu był (jest) rozwój nauk, to przypomnieć należy, że już Arystoteles opracował podwaliny metafizyczno-logiczne dla refleksji teoretycznej – uprawianej już nie w imię dobra, lecz prawdy bezinteresownej. Dla nauki nowożytnej doniosłe znaczenie będzie mieć wzmocnienie postawy obserwatora, co zawdzięczamy właśnie Stagirycie. W *Metafizyce* można również przeczytać, iż mądrość polega na poznaniu przyczyn pierwszych i zasad⁵, doświadczenie zaś nie może zastąpić teorii. Zdaniem Sergiusza Awierincewa właśnie na koncepcjach Arystotelesa ufundowane zostały podstawy zachodniego racjonalizmu: poprzez stworzenie logiki rozumianej jako „organ” myśli⁶. Arystotelizm wyznaczył główny nurt tradycji myślowej na Zachodzie, pozwalając szybciej przekroczyć ograniczenia myślenia magiczno-mitycznego. Awierincew wyraża przekonanie, że arystotelizm oddziaływał pośrednio nawet na zwykłych (nieuczonych) ludzi, a scholastyka, logika czy też sylogizmy zbudowały wewnętrzną formę cywilizacji zachodniej⁷. Zauważmy też w procesie na-

⁴ To Grecy wzbogacili kulturę europejską o element, którego wcześniej w takim kształcie nie posiadała: mowa tu o refleksji teoretycznej i przekroczeniu postawy zaangażowania. To z kolei przyczyniło się do rozwoju nauki w świecie Zachodu: kategorie logiki stworzyły nowy sposób myślenia. To Grecy i ich myślenie pojęciowe ukonstytuowało – mówiąc językiem Anny Pałubickiej – gramatykę kultury europejskiej i określiło oblicze naukowe przyszłego świata euroatlantyckiego. Problem ten został szczegółowo omówiony w pracy Anny Pałubickiej *Gramatyka kultury europejskiej* (A. P a ł u b i c k a, *Gramatyka kultury europejskiej*, Epigram, Bydgoszcz 2013).

⁵ Zob. A r y s t o t e l e s, *Metafizyka*, t. I, tłum. T. Żeleźnik, oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996, s. 10, 107.

⁶ Zob. S. A w i e r i n c e w, *Arystotelizm chrześcijański w tradycji zachodniej i problemy współczesnej Rosji*, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1992, nr 6, s. 71; zob. wykład na temat zachodniego racjonalizmu autorstwa Awierincewa: С. С. А в е р и н ц е в, *Два рождения европейского рационализма*, „Вопросы философии” 1989, № 3, s. 3–13.

⁷ Człowiek Zachodu – wyjaśnia następnie Awierincew – może nigdy nie czytać Arystotelesa; może nigdy nie usłyszeć jego imienia; może nawet uważać się za zdecydowanego

rodzin modernizmu znaczenie św. Tomasza z Akwinu. Wedle Akwinaty Bóg jest co prawda stwórcą wszystkiego i pierwszą przyczyną – *causa prima*, ale rzeczy stworzone mogą jednak wywoływać skutki same z siebie, które człowiek może poznawać. Aktywność rozumu – według św. Tomasza – nastawiona była na poznanie prawdy. Warto podkreślić, że Akwinata rozpoznawał korelację między myślą a rzeczami⁸. W modernizmie ukonstytuowały się właśnie kryteria obiektywnego istnienia, najwyraźniej dostrzegalne w teoriach naukowych. Teoria staje się wiarygodna, jeśli jest poddana, z pozytywnym rezultatem, kontroli intersubiektywnej, opartej na treści doświadczenia percepcyjnego (zmysłowego). Od czasów nowożytnych to nie autorytet podmiotu, mniemania, przesady są źródłem wiedzy prawomocnej (dodajmy: głównie w sferze nauki). Prawdziwość przekonania uzasadnia się poprzez kontrolę empiryczną, przy zachowaniu dystansu epistemologicznego (i kontroli intersubiektywnej).

W Rosji okoliczności historyczne ukierunkowały przemiany kulturowe i ukształtowały tradycję myślową odmiennie niż na Zachodzie.

Historia kultury rosyjskiej potoczyła się w taki sposób, że od chrztu Rusi aż po nasze czasy chrześcijańska recepcja Arystotelesa nie dokonała się tu nawet w skali bizantyjskiej⁹

– wyjaśnia Awierincew. Rosyjski renesans religijny przełomu XIX i XX w. miał wyraźne ukierunkowanie antypozytywistyczne i antymaterialistyczne, bliższy był mu duch platonizmu niż arystotelizmu. Znów nie doszło wobec tego do *spotkania* ze Stagirytą; co więcej: „Arystoteles nie został przeczytany przez wykształcony ogół społeczeństwa Rosji do dnia dzisiejszego”¹⁰ – konkluduje Awierincew.

W podobnym duchu pisał Gustaw Szpet, myśliciel-entuzjasta fenomenologii, autor *Szkicu rozwoju filozofii rosyjskiej* (1922). Szpet wskazywał na następujące okoliczności historyczno-polityczne i uwarunkowania kulturowe:

Rosja weszła do rodziny europejskiej. Ale jako sierota. [...] stała się chrześcijańska, ale bez tradycji antycznej i bez historycznego dziedzictwa kulturowego. Góry Bałkanów nie były skore wypuścić źródeł kultury antycznej na równiny rosyjskie [tłumaczenie moje – M. J.]¹¹.

przeciwnika wszystkiego, co się z tym imieniem łączy. Mimo to będzie on w pewnym sensie „arystotelikiem”, gdyż wpływ arystotelesowskiej scholastyki na formowanie się kultury zachodniej był tak przemożny, że odcisnął swe piętno nawet na używanych nieświadomie zwrotach leksykalnych.

Tamże, s. 78.

⁸ Por. G. V e r b e k e, *Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza*, „Roczniki Filozoficzne” 1975, t. XXIII (z. 1), s. 70–71.

⁹ S. A w i e r i n c e w, *Arystotelizm chrześcijański...*, op. cit., s. 77.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Г. Ш п е т, *Очерк развития русской философии*, т. I, РОССПЭН, Москва 2008, s. 54.

Dla człowieka Zachodu, dzięki znajomości łaciny, antyk był otwartą księgą, z której czerpał inspirację i której wiedzę wykorzystywał do pokonywania kryzysów wartości; tymczasem – surowo i nie bez ironii wyjaśnia czytelnikowi rosyjski badacz kultury –

ochrzcili nas po grecku, ale język dali nam bułgarski. Cóż mógł wnieść język narodu pozbawionego tradycji kulturowej, literatury i historii? Bizancjum nie wytrzymało naporu dzikiego Wschodu i prędko schroniło swe dziedzictwo-skarby na Zachodzie [tłumaczenie moje – M. J.]¹².

Jednym słowem: Rosja pozbawiona była dziedzictwa antyku. Rosja była chrześcijańska, miała nawet – jak pisał klasyk słowianofilstwa Iwan Kiriejewski – barbarzyńców, lecz żywołem, którego zabrakło w jej rozwoju historycznym, był *klasyczny świat starożytny*¹³.

Jeśli źródła modernizmu europejskiego będziemy się doszukiwać w dziedzictwie greckim, to naszą uwagę zwrócić musi negatywne, rosyjskie odniesienie do tradycji greckiej – i konsekwencje z niego wynikające. Otóż warto zwrócić uwagę na moment odcięcia się od dziedzictwa Bizancjum. Przyjąć można, że nastąpiło ono około XV–XVI w. Przebieg wydarzeń historycznych uczynił z Moskwy siłę unifikacyjną, zdolną jednoczyć (i powiększać) ziemie ruskie oraz bronić ortodoksji. Bizancjum upadło i tym samym chrześcijaństwo wschodnie straciło wsparcie polityczno-militarne. Ćwierć wieku po tym wydarzeniu Rusini zrzucili jarzmo tatarskie, co odczytywane było przez nich jako przejaw woli Opatrzności. Powstała w XVI wieku idea Moskwy-Trzeciego Rzymu była nie tylko następstwem konfrontacji z Zachodem, ale również efektem negatywnego nastawienia do tradycji greckiej. Wierzono, że Drugi Rzym (Konstantynopol) upadł krótko po przyłączeniu się do heretyków (unia florencka). Jako że Pierwszy Rzym (katolicki) skazany był na upadek, gdyż sprzeniewierzył się czystemu doktrynalnie chrześcijaństwu, Drugi zaś Rzym wsparł herezję, Opatrzność powierzyła więc Rusinom zadanie ochrony chrześcijaństwa. Moskwa miała być Trzecim i ostatnim Rzymem. Myśl tę wyraził mnich Filoteusz w traktatach epistolarnych (lata 30–40. XVI w.), nadając ostateczny kształt koncepcji Moskwy jako Trzeciego Rzymu: „cesarstwo greckie zostało zburzone i nie odbuduje się: wszystko to zdarzyło się, gdyż zaprzędali prawosławną wiarę grecką katolikom”¹⁴ [tłumaczenie moje – M. J.]. Moskwa (w intencji

¹² Ibidem, s. 55.

¹³ Пор. И. В. К и р е в с к и й, *Девятнадцатый век*, [w:] tegoż, *Полное собрание сочинений в двух томах*, т. I, ред. М. Гершензон, Типография Императорского Московского Университета, Москва 1911, s. 97–99.

¹⁴ *Послание о неблагоприятных днях и часах*, [w:] *Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века*, ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, Художественная литература, Москва 1984, s. 449; Пор. Д. С т р е м о у х о в, *Москва – Тре-*

twórców owej idei) miała być strażniczką tradycji i opoką świata sprzed przemian, jakie dokonać się miały w epoce modernizmu. Ruś Moskiewska (potem Rosja) miała się stać, zgodnie z wolą książąt moskiewskich, carów i duchowieństwa, centrum świata prawosławnego, a że prawosławie postrzegano jako prawdziwe chrześcijaństwo, to tym samym miała się stać centrum świata chrześcijańskiego¹⁵.

Kolejne wieki przyniosły dalsze wzmacnianie tożsamości kulturowej (narodowej, cywilizacyjnej) w oparciu o konfrontację ideową ze światem Zachodu. Dodajmy w tym miejscu: ze światem podlegającym coraz silniejszemu tendencjom sekularyzacyjnym (co stanowi jedną z cech konstytuujących istotę modernizmu). Kategorialne rozróżnianie światów (rosyjskiego i zachodniego, *sacrum* i *profanum*) nacechowane było, w twórczości większości reprezentantów myśli rosyjskiej, silną antynomią; na tyle silną, iż przeżywanie „rosyjskości” oznaczać musiało odczuwanie przez człowieka uzależnienia od rzeczywistości sakralnej i wyobcowanie z tego wszystkiego, co nie było z nią zgodne. W konsekwencji rodziło to wręcz wrogie nastawienie wobec tego, co obce, co nie-święte¹⁶. Tę polaryzację światów rozpoznać można, po raz pierwszy wyartykułowaną w sposób usystematyzowany, w piśmarstwie słowianofilów klasycznych: przede wszystkim Iwana Kiriejewskiego i Aleksego Chomiakowa¹⁷. Zresztą, jak zauważył George Kline, większość myślicieli rosyjskich była ukierunkowana tradycjonalistycznie, czyli antymodernistycznie¹⁸. Dzisiejszy antymodernistyczny tradycjonalizm rosyjski zaczął się kształtować w latach 60–70. w kręgu pisarzy, poetów, działaczy społecznych i myślicieli – dysydentów czasów radzieckich – takich jak Jewgienij Gołowin, Jurij Mamlejew, Gejdar Dżemal i w końcu Aleksander Dugin. Dugin w książce *Archeomodernizm* wyjaśnia, że Rosjanie są głęboko tradycjonalistyczni i antymodernistyczni – postępowcy i okcy-

тий Рим: источник доктрины, [w:] Из истории русской культуры. Киевская и Московская Русь, т. II, Языки славянской культуры, Москва 2002, s. 429; Л. И. Н о в и к о в а, И. Н. С и з е м с к а я, Идеи мессианизма в русской философии истории, „Общественные науки и современность” 1995, № 6, s. 70–71; В. У с п и е н с к и, Religia i semiotyka, wybrał, przedłożył i przedmową opatrzył B. Żyłko, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2001, s. 50.

¹⁵ Por. A. H a u k e - L i g o w s k i OP, *Od „Świętej Rusi” do Imperium Rosyjskiego*, „Znak” 1982, nr 6 (331), s. 483–487.

¹⁶ Por. M. B r o d a, „Zrozumieć Rosję”? *O rosyjskiej zagadce-tajemnicy*, Wydawnictwo Naukowe „Ibidem”, Łódź 2011, s. 69–71.

¹⁷ Najobszerniejsze studium na temat ruchu słowianofilskiego stanowi fundamentalna praca autorstwa Andrzeja Walickiego: A. W a l i c k i, *W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

¹⁸ Por. G. L. K l i n e, *Rosyjscy i zachodnioeuropejscy myśliciele o tradycji, nowoczesności i przyszłości*, [w:] *Europa i co z tego wynika*, „Res Publica”, Warszawa 1990, s. 159, 165.

dentaliści w dzisiejszej Rosji stanowią zaledwie mało znaczący margines społeczeństwa¹⁹. Przyjrzyjmy się zatem współczesnej rosyjskiej odpowiedzi na przemiany zachodzące w kulturze europejskiej. Najodpowiedniejszym źródłem dającym możliwość choć częściowego zrekonstruowania (i zrozumienia) rosyjskiego spojrzenia na świat modernizmu (i postmodernizmu) mogłyby być wypowiedzi głównego przedstawiciela współczesnego tradycjonalizmu rosyjskiego – Aleksandra Dugina. Jednak wnikliwa analiza setek stron książek Dugina prowadzi do konkluzji, że jego tradycjonalizm jest kontynuacją narracji tradycjonalistów francuskich (takich jak Bonald, Ballanche czy też de Lamennais), ukierunkowanych antymodernistycznie. Nie można zatem zrozumieć duginizmu bez dokonania zwięzłej charakterystyki założeń ideowych tradycjonalizmu powstałego jako odpowiedź na rewolucję francuską. Rewolucja – jak wyjaśniali tradycjoniści – nie była wydarzeniem przypadkowym; była następstwem nader złożonego procesu o zasięgu powszechnym, nieuchronnym następstwem rozwoju kultury nowożytnej. Korzeniem rewolucji i początkiem rozkładu starego świata była reformacja i protestantyzm, jego istotą – jak każdej schizmy i herezji – jest protest, bunt przeciwko władzy, autorytetowi Kościoła, przeciwko władzy uświęconej przez tradycję, przeszłość i jej *sacrum* (a tym samym przeciwko samemu Bogu). Była to rebelia indywidualistów, które wzgardziwszy tradycją oraz autorytetem kościoła powszechnego, uwierzyły w siłę swego rozumu i zapragnęły wedle własnego uznania interpretować słowo objawione. Tradycję i władzę zastąpiła anarchia dogmatów. Konsekwencją schizmy religijnej był głęboki kryzys polityczny: protestancki sceptycyzm, rozbuchany indywidualizm wyzwolił lud spod mocy oddziaływania tradycji, autorytetu i władzy – pełen pychy, wyemancypowany lud zwrócił się przeciwko władzy świeckiej. Anarchia dogmatów musiała się zakończyć anarchią społeczną, a więc rewolucją. Anarchia protestancka opanowała również filozofię europejską: tradycjoniści francuscy wskazywali na Kartezjańską afirmację rozumu indywidualnego: wedle Kartezjusza jednostka nie musi się odwoływać do tradycji i nie musi się poddawać autorytetom, lecz w sobie samej odnajduje źródło wiedzy prawomocnej i pewności. Wiek XVIII przyniósł już ateizm, atrofię uczuć, anihilację ideałów, a filozofia materialistyczna w swym programie sensualistycznym podporządkowała duszę ciału, aż w końcu ją uśmierciła, ujmując człowieka na podobieństwo maszyny czy też zwierzęcia.

Dugin w książce o wymownym tytule *Postfilozofia* wyraża opinię, patrząc z perspektywy historiozofii tradycjonalistycznej, że obecna epoka świecka (i filozofia świecka – jak pisze) to tylko krótki interwał na linii czasu historycznego zdominowanego przez myślenie tradycjonalistyczne

¹⁹ Zob. А. Г. Д у г и н, *Археомодерн*, Арктогея, Москва 2011, s. 76–77.

i religijne²⁰; przez świat zaczarowany, wypełniony przez przestrzeń sakralną, porządkowany przez wiarę w cuda, a nie, wypracowane w dobie modernizmu europejskiego, kryteria realnego (obiektywnego) istnienia²¹. W tym kontekście Dugin stwierdza, że Rosjanom obce jest pojęcie realnego istnienia, a niedorozwój filozofii rosyjskiej dowodzi, że Rosjanie pozostawali znacznie dłużej aniżeli Europejczycy na etapie społeczeństwa tradycyjnego²². Co więcej, Dugin oznajmia prowokacyjnie, że Rosjanie nadal są społeczeństwem trwającym w stanie premodernizmu: „My, Rosjanie jesteśmy bardzo archaicznym narodem... Modernizm, który z takim trudem do naszych głów wbijali [...] jakoś szybko roztrwoniliśmy” [tłumaczenie moje: M. J.]²³. Być może przyczyna tego leży w tym, że tradycja prawosławna – jak przekonuje Dugin – bliższa jest nie kracjonizmowi chrześcijańskiemu, lecz wierzeniom wspólnot wczesnotradycyjnych²⁴. Z kolei w okresie radzieckim – jak wyjaśnia Dugin w książce *Archeomodernizm* – nastąpiła nie modernizacja, lecz jeszcze silniejsze zaczarowanie świata²⁵. Komunizm w wersji (wydaniu) radzieckiej był nacjonalistyczny (wbrew internacjonalnym deklaracjom), tradycjonalistyczny, patriarchalny i wrogi wobec różnorodnych mniejszości. Świat radziecki był monolityczny, antypluralistyczny, a właściwością modernizmu jest przecież emancypacja umysłu, opuszczenie świata mitu i tym samym, mówiąc językiem Kantowskim, wyjście ludzkości z okresu dziecięctwa. Treść przywołanej pracy porządkuje wielokrotnie eksplikowana myśl, iż Rosjanie zatrzymali się w stadium mentalności zbiorowej i nie doszli do epoki modernizmu. Tym samym – argumentuje autor – Rosjanie rozumują na sposób familiarny, opisują otoczenie w kategoriach więzi krwi – dlatego państwo i naród jest rodziną, której woli należy się podporządkować. Jest to schemat typowy dla świata premodernizmu.

W wizji Duginowskiej nie tylko Rosjanie znajdują się w strukturach myślenia archaicznego: większość świata niezachodniego tkwi w epoce premodernizmu lub cofa się do niego²⁶. W Rosji wyłącznie elity, i to w niewielkim stopniu, przyjęły modernistyczny sposób myślenia, lud natomiast trwa w epoce premodernizmu. Dugin uważa, że elity europeizowały się z obawy przed agresją i kolonizacją. Dlatego – jak wyjaśnia – było to tylko obronne, taktyczne i powierzchowne przyjęcie niektórych elementów, wrogiego duszy rosyjskiej modernizmu²⁷. Tymczasem dla duszy rosyjskiej

²⁰ Por. А. Г. Д у г и н, *Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли*, Евразийское Движение, Москва 2009, s. 71.

²¹ Por. *ibidem*, s. 237, 395–396.

²² Por. *ibidem*, s. 108, 238.

²³ *Ibidem*, s. 167.

²⁴ Por. *ibidem*, s. 125–126.

²⁵ Por. А. Г. Д у г и н, *Археомодерн*, *op. cit.*, s. 22, 33.

²⁶ Por. *ibidem*, s. 25.

²⁷ Zob. *ibidem*, s. 67.

właściwy jest chaos: „Byt rosyjski przebywa w chaosie, w krainie rosyjskiej, na niwie i w polu” [tłumaczenie moje: M. J.]²⁸. Dugin wyraża przekonanie, że w Rosji zabrakło filozofii w kształcie podobnym do zachodniego (europejskiego) i wschodniego (np. chińskiego), ponieważ rosyjski *Dasein* jest rezultatem aktywności wielkiego żywiołu: antyracjonalnego chaosu²⁹. Z kolei współczesna filozofia zachodnia, czy też – jak woli pisać Dugin – postfilozofia, ukazuje złożoność położenia, w jakim znajduje się kultura europejska: to negacja paradygmatu modernizmu, przy jednoczesnym zamknięciu drogi powrotnej do premodernizmu³⁰. Obecnie powrót do świata uorganizowanego przez tradycję jest prawie niemożliwy, gdyż antropologia modernizmu stała się częścią świadomości Europejczyka, a Kartezjanizm jest obecny w kulturze masowej, w życiu społecznym – to rozumienie człowieka jako indywiduum wyłącznie³¹. Nastąpiła epoka postczłowieka – oznajmia Dugin. Nihilistyczny program humanizmu zakończył się na ukształtowaniu jednostki autonomicznej: stała się ona nie tylko miarą wszystkich rzeczy; ostatnim etapem jej ewolucji jest zanegowanie samej siebie³². Postmodernizm – w perspektywie lidera neoeurazjyzmu – jest mimo wszystko logiczną konsekwencją rozwoju tych elementów, które składały się na modernizm. Autor ma tu na myśli przede wszystkim konsekwentną wiarę w nieomylność rozumu ludzkiego i indywidualizm. *Notabene*, jak stwierdza Dugin, w przypadku kultury rosyjskiej bezprzedmiotowa jest dyskusja o roli postmodernizmu w rozwoju myśli rosyjskiej, gdyż myśl ta w ogóle nie doszła do etapu modernizmu³³. Neoeuroazjata uważa, że główny zarzut postmodernistów wobec modernistów polega na tym, że modernizm okazał się niekonsekwentnie modernistyczny, to znaczy: postmodernizm nie odrzuca dorobku oświecenia, lecz tylko te jego elementy, które okazały się niedostatecznie postępowe, oświecone, te, które niedostatecznie zerwały z tradycją. Tymczasem – jak przekonuje Dugin – obecnie w świecie Zachodu nie ukonstytuowano nowych kryteriów realnego, obiektywnego istnienia, a nauka staje się obszarem nowego nawarstwiania się mitów, naiwnych aksjomatów, irracjonalnych dogmatów. Przy tym postmoderniści naiwnie sądzą, że, w odróżnieniu od modernistów, mogą się wyzwolić od dogmatów³⁴.

A więc diagnoza Duginowska, zgodnie z retoryką tradycjonalistyczną, akcentuje głęboki kryzys współczesności. Lekarstwem na ów kryzys ma być (od lat postulowane przez Dugina) zaprowadzenie porządku teokra-

²⁸ А. Г. Дугин, *Мартин Хайдеггер...*, op. cit., s. 293.

²⁹ Zob. ibidem.

³⁰ Por. А. Г. Д у г и н, *Постфилософия...*, op. cit., s. 68.

³¹ Por. ibidem, s. 129.

³² Por. ibidem, s. 157.

³³ Zob. А. Г. Д у г и н, *Археомодерн*, op. cit., s. 116–117.

³⁴ Por. А. Г. Д у г и н, *Постфилософия...*, op. cit., s. 462–464.

tycznego, czyli – jak deklaruje – religijne uorganizowanie kultury, moralności i polityki. „Prawosławie – naszą jedyną drogą” – oznajmia lider neoeurazjatyizmu³⁵. Duginowskie hasła zbudowania ideokratycznego, wspólnotowego, prawosławnego i sowiecko-faszystowskiego zarazem państwa prawdy jawią się niczym *egzotyczne fantazmaty*, ale konfrontacja owego produktu wybudowanej wyobraźni ekscentrycznego intelektualisty z rzeczywistością społeczno-polityczną współczesnej Rosji zmusza do uważnego wczytania się w jego koncepcje. Dugin od lat dziewięćdziesiątych wieści zaprowadzenie porządków konserwatywnej, premodernistycznej rewolucji (w obszarze polityki wewnętrznej) i pozbieranie rozrzuconych części dawnego imperium (w obszarze polityki zewnętrznej). Postulaty te mają obecnie istotne znaczenie, co ujawnia się szczególnie w kontekście konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ukraina stanowiła strategiczny obszar dawnego imperium. Odzyskanie nad nią kontroli jest *conditio sine qua non* powodzenia dalszej rosyjskiej ekspansji kulturowo-polityczno-militarnej. Kijów jest dla Dugina kolebką państwowości ruskiej, Wielkim Początkiem przyszłego imperium rosyjskiego. Lider neoeurazjatyizmu twierdzi, że Rosja dla dobra Ukrainy chce ją odciągnąć od *zgniłego moralnie Zachodu*, świata postmodernistycznego, jako nieuchronnej konsekwencji modernizmu. Dugin wielokrotnie pisze o toczącej się na świecie wielkiej wojnie kulturowo-cywilizacyjnej: między liberalno-indywidualistycznym i laickim, modernistycznym i postmodernistycznym Zachodem a religijno (tradycjonalistyczno)-wspólnotowym i premodernistycznym Wschodem. Lider neoeurazjatyizmu wpisuje cele geopolityczne w szerszą perspektywę cywilizacyjną: mowa tu o kierowanej przez Rosję misji odrodzenia Europy, czyli cofnięcia jej do stanu premodernizmu. Dlatego artykuł *Czarny maj* zakończył Dugin wezwaniem do jak najszybszego opanowania Ukrainy i rozpoczęcia triumfalnego marszu na Zachód, plastycznie przedstawiając obraz zepsutych płodów cywilizacji zachodniej, rozgniatanych przez gąsienice rosyjskich czołgów prawosławnej i konserwatywnej rewolucji³⁶.

W świecie konstruowanym przez Dugina rozpoznajemy wobec tego dodatkowo postawę misyjności, wynikającą z poczucia siebie za depozytariusza prawdy. W tym miejscu pojawia się pragnienie przeobrażenia idei w czyn. Mianowicie depozytariusz prawdy, chcąc wiedzę o niej upowszechnić, zwykle nad cel przedkłada środki, co może prowadzić do nadania sensu, nierzadko nadrzędnego, agresji. Ekspansja militarno-polityczna może być jednym z narzędzi upowszechnienia właśnie owej prawdy

³⁵ Zob. źródło elektroniczne: <http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=1164> (18.09.2015).

³⁶ Zob. źródło elektroniczne: http://ruskline.ru/opp/2014/05/7/chernyj_maj_ili_tanki_na_zapad/ (20.09.2015).

(z punktu widzenia agresora) tudzież jedynej idei, jeszcze inaczej ujmując: zbioru przekonań normatywnych, zdolnych obejmować świat ludzki całościowo, porządkować go, organizować, wyjaśniać niepojęte i szczegółowo określać system nakazów i zakazów, jakich człowiek, by osiągnąć stan szczęścia, winien przestrzegać. W tym przypadku stan ten identyfikowany jest z powrotem do świata sprzed przemian modernizmu i postmodernizmu. W duginowskim, tradycjonalistycznym, premodernistycznym sposobie myślenia, zorientowanym totalnie i maksymalistycznie, świat opisywany jest jako „święty” albo jako „grzeszny”, „dobry” albo „zły”, coś jest „boskie” bądź „szatańskie”, „akcydentalne” bądź „wieczne”, a przeciwnik odbierany jest jako nosiciel zła, które należy unicestwić.

Bibliografia

- A r y s t o t e l e s, *Metafizyka*, t. I, tłum. T. Żeleźnik, oprac. M. A. Krąpiec, A. Maryniarczyk, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
- A w i e r i n c e w S., *Arystotelizm chrześcijański w tradycji zachodniej i problemy współczesnej Rosji*, tłum. R. Mazurkiewicz, „Znak” 1992, nr 6.
- B r o d a M., „Zrozumieć Rosję”? *O rosyjskiej zagadce-tajemnicy*, Wydawnictwo Naukowe „Ibidem”, Łódź 2011.
- H a u k e - L i g o w s k i A., *Od „Świętej Rusi” do Imperium Rosyjskiego*, „Znak” 1982, nr 6 (331).
- J e d l i Ń s k i M., *Rosyjskie poszukiwania sensu i celu... Myśl historyzoficzna Iwana Kiriiejewskiego, Aleksego Chomiakowa i Piotra Czaadajewa*, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2015.
- K l i n e G. L., *Rosyjscy i zachodnioeuropejscy myśliciele o tradycji, nowoczesności i przyszłości*, [w:] *Europa i co z tego wynika*, „Res Publica”, Warszawa 1990.
- L a r u e l l e M., *Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right?* Kennan Institute Occasional Papers, 2006, no. 294, s. 1-4, [w:] źródło elektroniczne: <http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/OP294.pdf> (05.09.2015).
- P a ł u b i c k a A., *Gramatyka kultury europejskiej*, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2013.
- U s p i e n s k i B., *Religia i semiotyka*, wybrał, przełożył i przedmową opatrzył B. Żyłko, Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2001.
- V e r b e k e G., *Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza*, „Roczniki Filozoficzne” 1975, t. XXIII (z. 1).
- W a l i c k i A., *W kręgu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
- Źródło elektroniczne: http://ruskline.ru/opp/2014/05/7/chernyj_maj_ili_tanki_na_zapad/ (20.09.2015).
- Źródło elektroniczne: <http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=1164> (18.09.2015).

- А в е р и н ц е в С. С., *Два рождения европейского рационализма*, „Вопросы философии” 1989, № 3.
- Д у г и н А. Г., *Археомодерн*, Арктогея, Москва 2011.
- Д у г и н А. Г., *Мартин Хайдеггер. Возможность русской философии*, Академический Проект Гаудеамус, Москва 2011.
- Д у г и н А. Г., *Постфилософия. Три парадигмы в истории мысли*, Евразийское Движение, Москва 2009.
- К и р е в с к и й И. В., *Девятнадцатый век*, [w:] *tegoż*, *Полное собрание сочинений в двух томах*, т. I, ред. М. Гершензон, Типография Императорского Московского Университета, Москва 1911.
- Н о в и к о в а Л. И., С и з е м с к а я И. Н., *Идеи мессианизма в русской философии истории*, „Общественные науки и современность” 1995, № 6.
- Послание о неблагоприятных днях и часах*, [w:] *Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века*, ред. Л. А. Дмитриев, Д. С. Лихачев, Художественная литература, Москва 1984.
- С т р е м о у х о в Д., *Москва – Третий Рим: источник доктрины*, [w:] *Из истории русской культуры. Киевская и Московская Русь*, т. II: *Языки славянской культуры*, Москва 2002.
- Ш п е т Г., *Очерк развития русской философии*, т. I, РОССПЭН, Москва 2008.

ROSJA KATARZYNY II W ZAPISKACH
LOUISA PHILIPPE'A DE SÉGURA

CATHERINE THE GREAT'S RUSSIA
IN LOUIS PHILIPPE DE SÉGURA'S MEMOIRS

JOLANTA KAZIMIERCZYK-KUNCER

ABSTRACT. The text presents deliberations on Russia by Louis Philippe de Ségur, a French diplomat, who spent almost five years in Petersburg at the court of Catherine the Great. Against the background of his intricately crafted missionary strategy, whose aim was to sign a trade treaty with Russia, Ségur draws a distinctive portrait of the tsarina and her favourite, Potiomkin, skilfully smuggling in a criticism of their reformation activities. Exposing the delusion of Russia's civilization progress, "the country of dumb obedience and anarchy" whose nation, superficially absorbing European customs, is still plunged into slavery, he simultaneously revisits "the Russian mirage".

Jolanta Kazimierczyk-Kuncer, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk – Polska, jkazimierczyk@interia.pl

Hrabia Louis Philippe de Ségur (1753–1830) – syn generała i marszałka Francji rządu Ludwika XVI i ojciec hrabiego Philippe'a Paula de Ségura¹ – 10 marca 1785 roku przybywa do Petersburga² jako 32-letni poseł i minister rządu francuskiego, by pozostać w Rosji przy dworze Katarzyny II do 11 października 1789 roku. Dzięki jego zręcznie prowadzonej misji dyplomatycznej, której tajnikom poświęca zdecydowaną większość swych

¹ Hrabia Philippe Paul de Ségur, jeden z adiutantów Napoleona, generał brygady kampanii napoleońskiej w Rosji, autor *Histoire de Napoléon et de la grande armée pendant l'année 1812*, Paryż 1824 (*Dzieje Napoleona i Wielkiej Armii w roku 1812*), znanej w polskim wydaniu jako *Pamiętniki adiutanta Napoleona*, przekład E. Leszczyńska, Warszawa 1967. Zob. także: E. K i ś l a k, *Car-Trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego*, Warszawa 1991, s. 34–49.

² Trudno oprzeć się wrażeniu, że Ségur nie zawsze interpretuje rosyjską rzeczywistość zgodnie z prawdą. Jedynie on nie narzekał na rosyjskie drogi, a przecież czynić to będą wszyscy, bez wyjątku, podróżnicy (nie tylko francuscy) także na przestrzeni XIX wieku. Według jego opisu, droga do Petersburga – przez Rygę, przypominającą mu bardziej miasto niemieckie bądź szwedzkie – „była wspaniała; minął kilka pięknych miast i wiele wsi; w miejscach postoju miał do dyspozycji wygodne hotele i przydzielali mu dobre konie”. Zob.: *Записки Графа Сегюра О Пребываніи Его Въ Россіи Въ Царствованіи Екатерины II 1785–1789*, Санкт-Петербургъ 1865, s. 10. Przekład własny, pozostałe tłumaczenia w tekście – także.

zapisków, udało się w 1787 roku zawrzeć korzystny dla Francji traktat handlowy z Rosją. Rewolucyjne zawirowania 1789 roku zmusiły go do powrotu na łono ojczyzny, ale tam jako konstytucjonalistę aresztowano go z perspektywą szafotu, którego udało mu się uniknąć. Zawieszona na czas wydarzeń rewolucyjnych jego działalność polityczna ożywa wraz z nadejściem władzy Napoleona, w którego rządzie został doradcą i senatorem. Ostatnie 30 lat życia poświęca on pracy twórczej, pozostawiając po sobie liczne traktaty historyczne i polityczne, także poematy, powieści, dramaty, a jego komedie wystawiane są w Ermitażnym Teatrze Katarzyny Wielkiej³.

W swych memuarach wydanych w 1827 roku w Paryżu jako trzytomowe dzieło: *Memoires ou souvenirs et anecdotes (Dzienniki czy wspomnienia i anegdoty)*⁴ dwa tomy poświęca sytuacji społeczno-politycznej Rosji epoki Katarzyny II, dyskretnie przemycając swe krytyczne rozważania o kulturze narodu rosyjskiego. I jeśli ufać rekomendacjom Grigorija Giennadiego – autora rosyjskiego przekładu⁵ z 1865 roku pt. *Записки Графа Сегюра О Пребывании Его Вь Россіи Вь Царствованіи Екатерины II 1785–1789* – „kрасомówstwo i pompatyczność nie utrudniają zbytnio odbioru opisów i rozważań, a czytając między wierszami, nietrudno odnaleźć sens i prawdę”⁶.

³ W rejestrze spektakli wystawionych w Teatrze Katarzyny Wielkiej w Ermitażu znajdują się 3 komedie Ségura: *Криспин надзирательницею, Похищение, Нерассудный*.

⁴ Pierwsze wydanie memuarów pojawiło się na kilka lat przed jego śmiercią i, co ważne, Katarzyny II nie było już wśród żywych. To dawało autorowi komfort pracy, bowiem nie lękał się ewentualnych konsekwencji, wynikających choćby z faktu ujawnienia tajników swej misji dyplomatycznej. Zob.: В. В. А р т е м о в а, *Культура России глазами посетивших ее французов (последняя треть XVIII века)*, Москва 2000, s. 92–93.

⁵ Mimo niezwykle pochlebnych opinii o memuarach Ségura, pojawiających się zarówno w Europie, jak i w samej Rosji, nie doczekały się one pełnego rosyjskiego wydania. Wybrane fragmenty ukazały się już w 1827 roku w czasopiśmie „Сын Отечества” (№ 1 i 2), a niepełny przekład (z trzech tomów wybrano tylko fragmenty dotyczące Rosji, wyłączając zupełnie I tom, poświęcony życiu samego Ségura) pojawił się w Petersburgu w 1865 roku jako *Записки Графа Сегюра О Пребывании Его Вь Россіи Вь Царствованіи Екатерины II 1785–1789*, Санкт-Петербургъ 1865, Вь Типографіи В. Н. Майкова, dopuszczone do druku cenzurą z dnia 18 grudnia 1864 roku, w przekładzie znanego bibliografa (także N. Gogola, A. Puszkina) Grigorija Nikolajewicza Giennadi (1826–1880). Do tego wydania, reprinted oryginału, odnoszę się w niniejszej pracy. W ocenie niektórych znawców przedmiotu, choćby W. A. Bilbasowa, znakomitego biografy Katarzyny II, nie jest on najlepszej jakości. Rekomendowany jest przekład z 1907 roku pt. *Пять лет в России при Екатерине Великой. Записки*. Zob.: В. В. А р т е м о в а, op. cit., s. 90–91. Znacznie skrócony wariant tegoż przekładu można odnaleźć w pracy: Ю. А. Л и м о н о в, *Записки о пребывании в России в царствование Екатерины II, [w:] Россия XVIII века глазами иностранцев*, Ленинград 1989, s. 313–456.

⁶ *Записки Графа Сегюра О Пребывании Его Вь Россіи Вь Царствованіи Екатерины II 1785–1789*, Санкт-Петербургъ 1865, s. 8–9. Numery stron pochodzących z tego wydania cytatów ujęte będą w nawiasach, bezpośrednio w tekście.

Istotnie – sięgając głębiej – można odnaleźć prawdziwe oblicze Rosji, nieretuszowane zabiegami walczącej o polityczną hegemonię w Europie Katarzyny II – malarki rosyjskiego mirażu, czy staraniami jej faworytów i francuskich sprzymierzeńców – głównie Woltera i Diderota⁷. Wprawdzie zadania tego nie ułatwia czytelnikom rusofilski, tylko pozornie, postawa Ségura, który omamiony rosyjskim teatrem władzy niejednokrotnie ulegać będzie urokowi carycy, w której żyłach płynęła krew Piotra I” (s. 218). Źródłem jego stroniczej admiracji była polityczna poprawność błyskotliwego dyplomaty, nad którym ciążyła odpowiedzialność za ocieplenie wizerunku Francji, bo przecież „w ciągu ostatnich lat stosunki między wersalskim i petersburskim dworem były chłodne” (s. 13), a i „wszystkim znane było uprzedzenie Katarzyny do wersalskiego gabinetu” (s. 49) i stworzenie, choćby tylko pozorów wzajemnej przyjaźni⁸. Balansując, niczym kameleon, między zachwytem a eufemicznie konstruowaną krytyką poczynań Katarzyny – kreatorki nowego układu sił w Europie – na przestrzeni całego swego pobytu prowadził z nią subtelną i inteligentną grę polityczną, w której meandrach poruszała się ona z niezwykłą lotnością. Czyni wszystko, by sprostać monitorowanym przez rząd francuski zadaniom:

открыть настоящие замыслы Екатерины, [...] различать вероятное от действительно существующего, угрозы от настоящих действий и ложные слухи от действительных намерений⁹.

Kontakty Ségura ograniczone były kręgiem dworu petersburskiego, co sprzyjało częstym spotkaniom z samą Katarzyną, stąd nader wyraziście

⁷ O przyjaźni Katarzyny II z Wolterem i Denisem Diderot głośno było w całej Europie. To oni stali się nosicielami idei oświeconej monarchii, ku którym skłaniała się Katarzyna II, uważając siebie za „skromną uczennicę”. O tym więcej między innymi: Н. И. П а в л е н к о, *Екатерина Великая*, Москва 2006, s. 104–112.

⁸ Podłożem nieprzychylności Katarzyny II dla rządu francuskiego było wsparcie, jankiego Francja udzielała Turcji (w czasie wojny Imperium Rosyjskiego z Imperium Osmańskim 1768–1774), stając się gwarantem przymierza Rzeczypospolitej (konfederacji barskiej) z Turcją, która żądała wycofania wojsk rosyjskich z polskich terenów. Zob.: L. B a - z y l o w, P. W i e c z o r k i e w i c z, *Historia Rosji*, Warszawa 2005, s. 169–172. Tę niechęć potęgował fakt niedawno wydanej (w 1768 roku) *Podróży na Syberię* Chappe’a d’Auteroche, dotkliwie obnażającej wciąż funkcjonujący w Rosji system samodzierżawia, burząc tym samym mit o „oświeconej” monarchini i potędze Imperium Rosyjskiego. Odpowiedzią był „Antidot”, wydany anonimowo, ale Ségur celnie wskazuje autorkę tegoż traktatu refutacyjnego (s. 14). Zob. także: E. К а р р е р д’А н к о с, *Императрица и аббат. Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шанпа д’Отероша*, пер. О. А. Павловская, Москва 2005, s. 229. Krytyczny charakter zapisków Chappe’a potępia także sam Ségur, określając je mianem „jadowitego utworu” (s. 13).

⁹ *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 51. Ton powyższym pryncypiom nadawał, skrzętnie rozliczając Ségura z postępów, paryski minister spraw zagranicznych Etienne-François de Choiseul (1719–1785).

kreślony portret władczyni, która tak pięknie „украсила страницы истории своей страны” (s. 15), i jej „tworu” – faworyta Potiomkina, któremu „przepowiedziała świetlaną przyszłość” (s. 282). Tenże „чудак-князь” – sybaryta, wizerunkiem i mentalnością przypominający bardziej „tureckiego czy perskiego paszę” (s. 112, 54), stał się instrumentem w rękach wyrachowanego dyplomaty, który świadomy faktu, iż tylko on „potrafił poskromić w imperatorowej niechęć do Francji” (s. 50), starał się zaskarbić sobie jego względy. Z niebywałą finezją, intuicyjnie niemalże, manipulował nim, wciągając Potiomkina w intrygującą walkę o wpływy w środowisku rywalizujących ze sobą dyplomatów zagranicznych, jak i w orbitę swych politycznych manewrów z Katarzyną.

W tle licznych zasług tejże miłościwie panującej „matuszki”, która niczym bohaterka sentymentalnej idylli troszczy się o dobro swych dzieci, o ten „jeszcze nieokrzesany i prosty naród, dopiero co poruszony oświeceniem” (s. 202), o to swoje – jak zwykła mawiać z przekąsem, kpiąc sobie z krążących w Europie mitów o Rosji jako „kraju niedźwiedzi” i „chodzących na czworakach” (s. 149) barbarzyńców – „маленькое хозяйство” (s. 142, 144), Ségur-erudyta przemycy, a czyni to dyskretnie, zmyślnie aranżowaną krytykę Katarzyny. Nie kryje przy tym swej fascynacji osobowością carycy, ekscytując się melanzem przymiotów: hedonizmem i bezpośredniością w życiu prywatnym z jednej strony, z drugiej zaś pracowitością i skrytością w sprawach politycznych (s. 16). Pochyla się nad jej powszechnie znanymi przypadłościami: chorobliwą wręcz ambicją, silnie demonstrowaną niezależnością sądów i osławioną już *hybris*, a także szokującą go, czego dowiedzie niebawem w podróży na Krym, próżnością, podsycaną silną potrzebą fetyszyzacji życia politycznego. Ten niepełny rys charakterologiczny dookreśla Ségur, wskazując na konsekwencje powyższych stygmatów politycznych. Dominantą panowania Katarzyny II staje się maniakalna wręcz, bezgraniczna żądza władzy, tak dobitnie i czytelnie eksponowana przez nią wobec poddanych: „nie zapominajcie, że waszym obowiązkiem jest, bez sprzeciwu, wypełniać wszystkie moje polecenia” (s. 41). To z myślą uzdrowienia absolutyzmu rosyjskiego w stylu europejskiej monarchii konstytucyjnej, by „stworzyć nowy świat”¹⁰, niestrudzony „szczur archiwów”¹¹, jak sama o sobie mówiła, przeorganizowuje go w „oświecony”. Jego wy-

¹⁰ Л. И. Семеновна, *Россия в мировом сообществе цивилизаций*, Москва 2009, s. 220. Takowe deklaracje zawarła w jednym z wielu listów do Woltera, dodając, iż marzy, nie bez lęku, o zlikwidowaniu niewolnictwa, tego strasznego wrzodu Rosji.

¹¹ В. О. Ключевский, *Исторические портреты*, Москва 1991, s. 280. W ten sposób Katarzyna II, odpierała zarzuty i posądzenia o kopiowanie francuskich myślicieli: „Wszyscy twierdzą, że jestem spryciarą, a ja powiem wam, że stałam się prawdziwym szczurem archiwów”. Zob.: ibidem.

kładnię prezentuje *Наказ*¹² (*Wielki Nakaz*, bądź *Instrukcja*), w którym, powołując się na *Дух законов* prezydenta Monteskiusza, ów „modlitewnik władców”¹³, „Mądra Matka Ojczyzny”¹⁴ pod pozorem kodyfikacji prawodawstwa rosyjskiego, wydobyca go z „chaosu” (s. 22), tworzy ostatecznie „kwiecistą wersję filozoficznej apologii”¹⁵ monarszej, niczym nieograniczonej władzy *imperium russorum*. Doniosłe kwestie społeczno-polityczne dopełnia zasadzonymi na *ratio* rozważaniami o najistotniejszych – geograficznych i geopolitycznych – determinantach systemu władzy: „Monarcha jest samowładny, ponieważ żadna inna, jak tylko ta, zespolona w jego osobie władza nie może działać w państwie takiej rozciągłości”¹⁶. Podając w wątpliwość dojrzałość cywilizacyjną Rosji, rewiduje swe zapędy reformatorskie i ostatecznie przesądza sama o efektach swej „papierowej” konstytucji: „Cokolwiek robiłabym dla Rosji, zawsze to będzie kropla w morzu”¹⁷. Stąd bezwzględna konieczność reinterpretacji rozporządzeń *Nakazu*, który w istocie winien jedynie „озарять сцену и зрительную залу, оставаясь сам незримым светочем”¹⁸.

Tenże pragmatyzm niezależnej w sądach Katarzyny II wieścił światu, że tylko samodzierżca jest gwarantem powszechnej szczęśliwości w Rosji. Jak dowiedzie historia, władza Katarzyny „по ее мысли, получила новый

¹² Jak dowodzi W. Kluczewski, „*Nakaz* jest kompilacją, stworzoną w oparciu o kilka utworów ówczesnej literatury epoki Oświecenia”. Najważniejsze z nich to słynna rozprawa Monteskiusza *O duchu praw* i włoskiego kryminologa Cesaro Beccari (1738–1794) *O przestępstwach i karach*. Historiograf wskazuje, iż na łączną ilość 665 artykułów tegoż dokumentu prawnego, aż 294 odnoszą się do pierwszego źródła. Cały rozdział X (z istniejących XX), to znaczy ponad 100 artykułów, odnosi się do drugiego źródła – C. Beccari. Zob.: В. О. К л ю ч е в с к и й, *Русская история. Полный курс лекций*, т. 3, Ростов-на-Дону 2000, s. 311; М. Н е л л е r, *Historia Imperium Rosyjskiego*, przekład E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2002, s. 430.

¹³ Tak powszechnie nazywano *Дух законов* Monteskiusza. Zob.: В. О. К л ю ч е в с к и й, *Русская история...*, op. cit., s. 311. Katarzyna lojalnie przyznawała się do tego, że po prostu „okradła” Monteskiusza, posiłkując się jego ideami politycznymi. Zob.: С. Ф. П л а т о н о в, *Полный курс лекций по русской истории*, Санкт-Петербург 2000, s. 693. Zdaje się to potwierdzać, zresztą bardzo czytelnie, i sam Ségur. Zob.: *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 44.

¹⁴ Komisja Legislacyjna z lat 1766–1767, która działała z polecenia Katarzyny II, jednogłośnie przyznała jej tytuł „Katarzyny Wielkiej, Mądrej, Matki Ojczyzny”. Zob.: J. Н. В и л л и н г т о n, *Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej*, przekład J. Hunia, Kraków 2008, s. 202.

¹⁵ *Ibidem*, s. 202.

¹⁶ М. Н е л л е r, op. cit., s. 431. Powyższy cytat pochodzi z paragrafu dziewiątego *Nakazu* (*Instrukcji*).

¹⁷ В. О. К л ю ч е в с к и й, *Исторические портреты*, op. cit., s. 339.

¹⁸ В. О. К л ю ч е в с к и й, *Русская история...*, op. cit., s. 347.

облик, становилась чем-то вроде лично конституционного абсолютизма”¹⁹. Wraz z apologią „oświeconej monarchii”, która była niczym „парадный фасад (украшенный западно-европейской либеральной фразеологией и символикой)”²⁰, wpisywał się on w model absolutyzmu typu wschodniego – wysublimowanego „przaśnego despotyzmu”, będącego antynomią oświeconego²¹. W jego cieniu uzurpatorka, o której niecnym czynach głośno było w Europie²², skrywała swój organiczny wręcz lęk o władzę, co zdaje się potwierdzać Ségur. Z zażenowaniem obserwuje jej nadwrażliwość i czujność na, drobne choćby, przejawy nielojalności swych poddanych, a hołdując zasadzie „глаз хозяйский зорок” (s. 155), zapobiegawczo lustruje także ich korespondencje, choć, z przekąsem komentuje uważny dyplomata, przecież wszyscy w Rosji i tak piszą „bardzo ostrożnie” (s. 116).

W ponurej, ale i empatycznej, poetyce Ségur komentuje obraz życia „pograżonego w niewolnictwie” (s. 31) pospółstwa, które swą prostotą obyczajów, przywodzi na myśl byt ludów pierwotnych. Ich potrzeby sprawdzone są do egzystencjalnego minimum: zapewnienia dachu nad głową i pożywienia. Żyją w chatach, zbudowanych ze zbitych pali, w których małe okna otwór służy za okno, a umeblowanie stanowią stojące wzdłuż ścian

¹⁹ Tamże, s. 318. Ową wizję absolutyzmu Katarzyny II dopełnia M. Malia, określając go mianem absolutyzmu militarystycznego, który „wykorzystywał naukę i towarzyszący jej filozoficzny racjonalizm nie tylko do prowadzenia wojen, lecz także dla promowania skuteczniejszych rządów, większej dyscypliny społecznej i ulepszeń w gospodarce”. Cyt. za.: R. F o r y c k i, *Droga do Rosji. Spór o Imperium carów (1761-1839)*, Warszawa 2013, s. 51.

²⁰ И. В. К о н д а к о в, *История культуры России*, Москва 2003, s. 193.

²¹ Zob.: J. H. B i l l i n g t o n, op. cit., s. 206. W 1839 roku Mikołajowską Rosję odwiedzi markiz de Custine i dopowie Europie:

despotyzm wtedy jest najstraszniejszy, gdy zamierza czynić dobro, sądzi bowiem, że owym zamiarem okupi swoje najbardziej oburzające postęпки, a zło, które traktuje jak lekarstwo, nie ma już granic.

Zob.: Astolphe d e C u s t i n e, *Rosja w roku 1839*, przekład P. Hertz, Warszawa 1995, t. 2, s. 406.

²² W całej Europie, także we Francji, komentowano przewrót pałacowy z udziałem faworyta Katarzyny II – Grogorija Orłowa i jego braci, dzięki któremu odsunięto od władzy prawowitego następcę – Piotra III. Ludwik XV „z niecierpliwością oczekiwał nowego przewrotu pałacowego, który winien był pozbawić władzy uzurpatorkę”. Zob.: *Przedmowa* E. К а р р е р д’ А н к о с, [w:] E. К а р р е р д’ А н к о с, *Императрица и аббат...*, op. cit., s. 32. Król Francji nie życzył sobie kontaktów z kobietą, której „ambicji i politycznej amoralności nie akceptował”. Zob.: Cyt. za: E. К а р р е р д’ А н к о с, *Екатерина II. Золотой век в истории России*, пер. О. Д. Чехович, Москва 2006, s. 50. Ségur nie wspomina tego faktu, rejestrując jedynie, że „Piotr tylko mignął na tronie...” (s. 16), i powołując się na „godnych zaufania ludzi”, przekonuje, iż „to oskarżenie jest krzywdzącym kłamstwem” (s. 22).

ławy i szeroki piec, mają co jeść: zazwyczaj jest to kasza i pieczone mięso, mają co pić: kwas i miód (s. 30), a do tego jeszcze jeden napitek – wódkę, której „nie przełknie gardło Europejczyka” (s. 31). I, o dziwo, nikt „nie cierpi z powodu swej nędzy, tej straszliwej plagi oświeconych narodów” (s. 31). Zwolnieni z trosk o byt, z myślenia o przyszłości, zawierają swe życie panom, którzy mimo faktu posiadania nieograniczonej władzy nad nimi²³ „prawie wszyscy wykorzystują ją nadzwyczaj umiarkowanie” (s. 31). Na dowód tego Ségur przytacza „liczne przykłady przywiązania chłopów do swoich właścicieli” (s. 34), ograniczając się jednak, *sic!*, zaledwie do jednego, kiedy oddani swemu panu – hrabiemu*** – chłopci dołączali się do zbiórki pieniędzy na spłatę jego długów, by w ten sposób zapobiec ich sprzedaży i przejściu pod władzę innego właściciela (s. 34–35). Ale za chwilę, zapominając o etykietce dyplomatycznej, z niekłamany współczuciem zatroskanego Europejczyka pochyla się nad ich chropawym, niepewnym losem, który „по своему произволу, подчиняет их хорошему или дурному владельцу”²⁴, od którego zależeć ma całe ich życie. W końcu odważa się dopełnić swe rozważania mocnym akordem dygresji, że „w kraju niemiego posłuszeństwa i bezprawia” (s. 39), w którym człowiek nie znajduje oparcia w prawodawstwie (s. 35), nikt nie może czuć się bezpiecznym i szczęśliwym.

²³ Należy dodać, iż w epoce Katarzyny II

właściciele ziemscy uzyskali faktycznie nieograniczoną władzę nad swymi poddanymi. Sami zaś mieli wobec nich do spełnienia jeden tylko obowiązek – wyżywić ich w okresie nieurodzajów.

Mieli więc prawo do

wykorzystywania pracy pańszczyźnianej w dowolnej skali, [...] do sprzedaży poddanych, [...] do zmuszania (ich) do zawierania małżeństw wbrew ich woli, [...] do karania (ich) w każdy sposób, jaki uznają za stosowny, z wyjątkiem pozbawienia życia, [...] do zsyłania poddanych na Syberię, w celu osiedlenia, a w latach 1765–1807 – na ciężkie roboty (katorgę). Panowie mogli również wydawać swych chłopów do dożywotniej służby wojskowej.

Cyt. za.: R. P i p e s, *Własność a wolność*, przekład L. Niedzielski, Warszawa 2000, s. 293–294.

²⁴ *Зануцку Графа Сегюра...*, op. cit., s. 35. Sama Katarzyna uświadamiała Denisa Diderota, że chłopci pańszczyźniani są „poddanymi” swych panów. Zob.: R. P i p e s, op. cit., s. 292. Zaś Nikołaj Trubieckoj dowodzi, iż ówczesne prawdziwe relacje były pełne nieufności i ukrytej wrogości:

dziedzic był dla chłopca nie tylko przedstawicielem klasy rządzącej, ale i nosicielem obcej kultury; natomiast chłop był dla zeuropeizowanego dziedzica nie tylko przedstawicielem stanu prawnie nie usankcjonowanego, ale i ciemnym dzikusiem.

Zob.: N. T r u b i e c k o j, *Spojrzenie na historię Rosji nie z Zachodu a ze Wschodu*, [w:] *Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna)*, red. A. de Lazari, Warszawa 2004, s. 285.

Deprymuje go też model życia bogatych kupców i przedstawicieli najbardziej nobilitowanego w Rosji stanu – szlachty²⁵, której status w Rosji – dzięki licznym przywilejom i tak wymownej „opiece socjalnej” Katarzyny II, gwarantowanej zapisem prawnym pt. *Жалованная грамота дворянству*²⁶ – jak diagnozuje Ségur, jest znacznie wyższy niż w pozostałych, nawet konstytucyjnych, krajach Europy²⁷. Niestety, wzrost prestiżu i władzy nie idzie w parze z jej duchowym rozwojem i diapazonem wrażliwości dla świata, pogłębiając przy tym przepaść między szlachtą a ludem, między rosyjską a europejską kulturą. Niepojęte dla Ségura zamięszanie do codziennych beztrudnych biesiad, przesadne pielęgnowanie tradycji hucznego świętowania dnia urodzin czy imienin, kiedy „беспрестанно приходилось устраивать пиры” (s. 33), ograniczało ich aktywność do wzajemnych wizyt i rewizyt w domach. Zdegustowany gani powszechny brak umiaru w jedzeniu (co ciekawe, nie wspomina o rosyjskiej ambrozji – wódce²⁸) i ostrzega potencjalnego gościa: potrawy z wołowiny, dziczyzny, ryb, jaj, ciast serwowane są w takich ilościach, że „napawają zgrozą najodważniejsze żołądki” (s. 31). Rzetelnie jednak podkreśla gościnność narodu rosyjskiego – dzięki czemu szybko udało mu się zapomnieć, że jest tutaj jako obcy (s. 35); nie kryjąc jednocześnie faktu, że z racji gnuśności atmosfery i intelektualnej jałowości wystawnych wprawdzie, ale jakże nużących, spotkań towarzyskich stał się wkrótce ofiarą tegoż powszechnego targowiska próżności.

Z pełną *atencji ekscytacją* rozprawia o wielu spotkanych kobietach, które, jak wspomina, inteligencją nie ustępowały mężczyznom. Były nie tylko piękne, ale i doskonale wykształcone, poliglotki, operujące czterema czy nawet pięcioma językami, znające literaturę francuską, włoską i angielską, a do tego grające na różnych instrumentach (s. 32). Wartościując ich bogactwo duchowe, przeciwstawia je zdystansowanym, chłodnym, nieoby-

²⁵ W aksjologii Aleksandra Hercena tylko szlachta była dla Katarzyny II „jej ludem”. Zob.: A. H e r c e n, *Eseje filozoficzne. Rosja i stary świat*, przekład W. Bieńkowska, t. 2, Warszawa 1966, s. 111.

²⁶ Wydana w 1785 roku *Жалованная грамота дворянству* w znacznym stopniu umacniała pozycję szlachty. W myśl jej rozporządzeń szlachcic zwolniony był od podatków, kar cielesnych, posiadał pełne prawo do własności ziemskiej, łącznie z jej bogactwami naturalnymi i, oczywiście, przypisanymi do niej chłopami pańszczyźnianymi, a także prawo do zakładania manufaktur, handlu i organizacji na swych ziemiach tragów i jarmarków. Zob.: A. A n d r u s i e w i c z, *Cywilizacja rosyjska*, t. 2, Warszawa 2005, s. 122.

²⁷ Zob.: *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 42. Należy zaznaczyć, iż panowanie Katarzyny II nazywane jest „złotym wiekiem szlachectwa”.

²⁸ W wielu zapiskach europejskich podróżników komentowano rosyjską kulturę picia alkoholu wśród szlachty, czego unika Ségur. Oczyszcza nawet Katarzynę z powszechnie krążących zarzutów, że jakoby nadużywała alkoholu, stwierdzając, że piła ona jedynie sok z czarnej porzeczki, który kolorem imitował czerwone wino. Zob.: *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 17.

tym towarzysko, najczęściej milczącym mężczyznom i autorytatywnie akcentuje ich niski poziom kultury humanistycznej. Szczególnie drażni go w nich brak zainteresowania zarówno kobietami, jak i otaczającym światem: zazwyczaj „niewiele wiedzieli o tym, co działo się poza granicami ich ojczyzny”²⁹. Poza tą rozczarowującą Europejczyka taksonomią pozostawia jedynie tych przedstawicieli męskiego świata, którzy reprezentują znakomite rody arystokratyczne (choćby Szuwałowych, Golicynów, Dołgorukich, Rumiancewych), wymownie świadczące o tym, że „Россия идет вперед на пути славы и просвещения” (s. 43).

Rzucający się w oczy przybyszom przyziemny model egzystencji każdego ze stanów, ograniczony jedynie troską o materialną, bytową stronę, wydaje się dyplomacie zaledwie żalną wegetacją, której wyznacznikiem jest monotonia: „każdy kolejny dzień jest powtórzeniem poprzedniego”, a pozabawiony ambicji, tej „wszechożywej i wichrzycielskiej siły napędowej” (s. 31), naród zastyga w cywilizacyjnym marazmie. To sprawia, jak *implicite* dowodzi Ségur, że Rosjanie to wciąż jeszcze „gnuśniejący w mroku średniowiecza” (s. 32) naród, który z takim trudem próbuje wyjść z głębokiej otchłani kulturowej, by podążać za europejską cywilizacją.

Analizując rosyjski system społeczno-polityczny, Ségur nie waha się zwracać uwagę czytelnika na widoczną „gołym okiem” powierzchowność zmian cywilizacyjnych. Ich ilustracją jest, *nomen omen*, jedno z najpiękniejszych miast Europy – Petersburg i jego wszechobecne i wciąż żywe „ślady siły, władzy i pomniki geniuszu Piotra Wielkiego”, dzięki któremu „распространились плодотворные лучи просвещения” (s. 10). Czujności bystrego eksploratora nie umykają tajemnice, które skrywa w sobie to miasto:

представляет уму двойственное зрелище; здесь в одно время встречаешь просвещение и варварство, следы X и XVIII веков, Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и невежественную толпу (s. 30).

Niezwykle żywotny, jak podkreśla Ségur, okazuje się mit funkcjonującej w Rosji już od pół wieku manii naśladowczej: „wszyscy przywykli na-

²⁹ *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 33. Tenże subtelny w formie wywód Ségura dopełnia Charles-Francois-Philibert Masson, który zauważa, że szlachta rosyjska w tym czasie była najzwyczajszą miernotą: „не обладая ни знаниями, ни кругозором, ни воспитанием, ни честностью”. Zob.: Ш.-Ф. М а с с о н, *Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I*, ред. Е. Э. Лямина, Е. Е. Пастернак, Москва 1996, s. 44. Masson w 1786 roku przybył do Petersburga (w tym czasie na służbie w Rosji przebywał jego starszy brat), by osiąść tutaj, ożenić się i założyć rodzinę. Był wykładowcą artyleryjskiego i inżynierskiego szlacheckiego korpusu kadetów, nauczycielem matematyki wielkich książąt Aleksandra i Konstantego, a następnie sekretarzem księcia Aleksandra – przyszłego cara. Za czasów panowania Pawła I (w końcu 1796 roku, zaledwie półtora miesiąca po śmierci Katarzyny II) on i jego brat zostali wydaleny z Rosji (prawdopodobnie za sympatie młodszego Massona dla Napoleona).

śladować obcokrajowców”, żyjąc wedle zwyczajów podobnych do życia codziennego i towarzyskiego Francuzów, Anglików, Niemców³⁰. Co więcej, wstąpiwszy dopiero co na drogę oświecenia, uzurpują sobie oni nawet prawa rzymskich patrycjuszy (s. 236). Niejednokrotnie przysłuchiwał się on rozmowom szlachty, kupców, obserwował ich maniery, by dowieść, iż wciąż przypominają oni średniowiecznych bojarów (s. 32). Ostatecznie Ségur pozwala sobie na konstatację, która obnaża ułudę rosyjskiego mirażu, weryfikując krążący w Europie mit o reformach cywilizacyjnych Rosji, która z takim impetem podąża na Zachód: „pod powłoką europejskiego blichtru widoczne są jeszcze ślady minionych czasów” (s. 32). Zaś między wierszami pozwala czytelnikowi doczytać: mechanizm konstruowanej pozoranczkimi zabiegami nowej Rosji nie przystaje do wymogów zachodniego świata, a sami Rosjanie nie są w stanie ukryć swego prawdziwego oblicza. Nie przysłonią go powierzchownie wchłonięte europejskie maniery i zwyczaje, nie przystające do mentalności rosyjskiej czy rosyjskiego kanonu kulturowego. Ségur z sarkazmem ekstrapoluje: „за этим легким покровом внимательный наблюдатель мог легко открыть следы старобытной Московии” (s. 146).

Z drugiej zaś strony, niwelując nieco chłód swych mentorskich – czasem nawet oskarżycielskich – zapędów, dowodzi, iż za panowania Katarzyny II wiele się zmieniło: żadna wiedza młodzież rozproszyła się po europejskich miastach, stając się żywym świadectwem zmian kulturowych. Także „wzbogaciła się sztuka, nauka i styl państwa, które do niedawna uważano za zacofane i barbarzyńskie” (s. 32). Można więc mniemać, iż zgodnie z ideologią Oświecenia Rosja stała się bardziej „oświecona”.

Nader osobliwe i absolutnie nie ekscytujące wydają się dyplomacie prowokacyjne demonstracje sił w wojnie z Turcją, czy przeglądy wojsk „в полной силе и действии” (s. 194), które interpretuje jako nachalne „пышные и бесполезные выставки сил” (s. 251). Obok kolejnej manifestacji omnipotencji rosyjskiego imperium: epatowania bogactwem, przepychem – nawet pokoje na statkach „błyszczały złotem i jedwabiem” (s. 184), a i o zawrót głowy przyprawiał go „nadmiar służby w domach” (s. 33–34) – stały się etykietami (z czasem ewoluującymi w stereotypy) rekomendującymi Europie Rosję niezwyklej monarchini, „oryginalnie i błyskotliwie zwaną «Catherine le grand»” (s. 12), Rosję stygmatyzowaną, na jej życzenie, bulwersującym „piętnem próżności”³¹.

Zaproszony przez Katarzynę, towarzyszy jej (obok ministrów Anglii i Austrii) w lipcu 1785 roku w podróży po Ładodze, Wołdze i jeziorze Ilmeń, a 2 lata później (w 1787 roku) w penetracji świeżej jeszcze zdobyczy – Kry-

³⁰ Zob.: *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 32. Niemalże we wszystkich memuarach podróżników I połowy XIX wieku mania naśladowcza Rosjan funkcjonować będzie jako często powielany stereotyp.

³¹ Zob.: Astolphe de Custine, op. cit., t. 2, s. 152.

mu³², by, przypomina Ségur, wypełniając wolę wielkich przodków, zwyciężyć Piotrowe dzieło: uroczyście „zająć tron tatarskich chanów” (s. 208). Oprócz najbliższych współpracowników imperatorowej, księcia zdobywcy – Potiomkina, hrabiego Bieborodko i Mamonowa, znaleźli się też goście zagraniczni: dyplomata w służbie Austrii – książę Charles-Joseph de Ligne, angielski poseł – baron Alleyne Fitzherbert, do nich dołączył także cesarz austriacki Józef II. Opisom tej wyprawy – od Carskiego Sioła, poprzez Kijów, Smoleńsk, Nowogród, Chersoń, Bachczysaraj, Sewastopol, a w drodze powrotnej przez Połtawę, Charków, Kursk, Moskwę, Twer, Torżek – Ségur poświęca wiele miejsca w swych zapiskach, ubolewając, iż nie zobaczył Rosji prawdziwej, lecz Rosję feeryczną, „zaczarowaną” na potrzeby imperatorskiej wizyty. Nie dając się zwieść, uświadamia czytelnika, że podróż ta w niczym nie przypominała tradycyjnych, kiedy „jedziesz sam i widzisz ludzi, kraj i obyczaje w naturalnej postaci. Towarzysząc monarsze, spotykasz wszędzie sztuczność, falsyfikaty, dekoracje...” (s. 135). Skrajne emocje budziła w nim architektura budowanych i „ożywianych” na czas wizyty Katarzyny miast i wsi, które jak za dotknięciem magicznej różdżki (Potiomkina) tworzyły zachwycające „czarujące obrazy”, tkliwie kojąc egotyzm imperatorowej i „schlebiając (jej) miłości własnej” (s. 198), a także wyszukany (czy może bardziej manierycznym) gustom estetycznym. Ziemskim napędem teje magicznej prezentacji była bez wątpienia paranoiczna wręcz obsesja kreacji fantazmatów, czyli, kolokwialnie ujmując, propagandowa polityka Potiomkina – *spiritus movens* wyrafinowanej krymskiej karykatury postępu. Celebrując podróżny szlak imperatorowej, korzystał on niejako, ze zdumieniem rejestruje Ségur, z nadludzkiej mocy: potrafił „pokonywać wszystkie możliwe przeszkody, zwyciężać przyrodę, skracać odległości, ukrywać braki, oszukiwać wzrok tam, gdzie były tylko monotonne piaszczyste równiny”, by urzeczywistnić swój maniakałny zamysł „teatralizacji” krymskiej przestrzeni i „дать пищу уму на пространстве долгого пути и придать вид жизни степям и пустыням” (s. 192–193). Ségur przyznaje: „внешность действительно блестящая”, ale jakże ułomna: „за все берутся, ничего не довершают” (s. 228, 227), a unoszący się w czasie podróży ulotny i lśniący fałszywym blaskiem czar – namaszczony przepychem licznych podobnych sobie wystawnych uroczystości, pełnych scenicznych efektów: pretensjonalnych i nużących balów, improvizowanych widowisk, pompatycznych wierszy, olśniewających fajerwer-

³² Krym przyłączono do Rosji w 1783 roku. Zarys marszruty opracowany był już w 1784 roku, i 13 października jego autor – książę Potiomkin – nakazał, by na terenach objętych trasą przejazdu Katarzyny rozpocząć budowę pałaców, domów dla towarzyszących Katarzynie gości czy służby. Półtora roku później, 2 marca 1786 roku, Katarzyna osobiście wyznaczyła szlak swej podróży, skrupulatnie zaznaczając miasta, wsie, objęte wizytacją Jej Imperatorskiej Mości.

ków, „po których pozostaje tylko dym, wiele straconego czasu, pieniędzy i sił...” (s. 235) – może omamić, ale nie na długo. Do świata realnego sprowadzają go przygnębiające obrazy: rzesze biednych wieśniaków, będących żenującym dopełnieniem szlaku krymskich fantazji.

Z pokrytymi szronem brodami, nie bacząc na chłód, tłumnie zbierali się wokół wzniesionych wśród ich chałup, jakąś czarodziejską siłą, maleńkich pałaców, [...] w których wesola świta imperatorowej, siedząc za wystawnymi stołami i na wygodnych otomanach, nie zauważała przejmującego zimna i ubóstwa okolicznych miejsc (s. 142).

Bogactwa tej „błyszczącej nędzy”³³ zdaje się nie dostrzegać Katarzyna, gromko wieszcząc światu, że w zamyśle jej daleka i długa wyprawa to wyłącznie „путешествие в видах общественной пользы”³⁴ z zasnym społecznym przesłaniem:

дать народу возможность дойти до меня, выслушать жалобы и внушить лицам, которые могут употребить во зло мое доверие, опасение, что я открою все их грехи³⁵.

Imponujący rozmach organizacyjny i finansowy, z jakim Potiomkin realizował swój majestatyczny projekt – „эфемерные архитектурные подвиги за безумные деньги”³⁶, nie zachwycił Ségura. Dezawuuując faworyta Jej Imperatorskiej Mości, demaskuje bezmyślną i krótkowzroczną logistykę jego fasadowego dzieła: to absurdalna bufonada, „Потемкинская показуха”, w której „больше блеска, чем прочности” (s. 227), i antycypuje: kiedy po wyjeździe Katarzyny kurtyna opadnie, „вместе с нею исчезнут все прикрасы” (s. 228). Czar pryśnie, straci swój wdzięk i rozplynie się we wspomnieniach „zaczarowana Tauryda”³⁷ z *Tysiąca i jednej nosy*, a wraz z nią tak nagle stworzone floty, oświecone drogi, góry w ogniu, za-

³³ Astolphe de Custine, op. cit., t. 2, s. 427.

³⁴ *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 235. Na dowód tego, po zakończeniu tejże podróży, na pamiątkę wybito medal, na którym z jednej strony był profil Katarzyny, z drugiej mapa podróży, a wokół niej napis *Путь на пользу*.

³⁵ *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 154–155. W. Kluczewski utrzymuje, że niezwykłą umiejętność, jaką wykazywała się w swej działalności politycznej Katarzyna II – „бесподобное умение слушать”, wyniosła z domu rodzinnego. W dzieciństwie wpałano jej, że jest nieładna, starała się więc za wszelką cenę, różnymi metodami osiąść sztukę podobania się, a ta wymagała cytowanej wyżej umiejętności. Zob.: В. О. К л ю ч е в с к и й, *Русская история...*, op. cit., s. 259–261.

³⁶ Е. К а р р е р д' А н к о с, *Екатерина II. Золотой век в истории России*, пер. с фр. О. Д. Чехович, Москва 2006, s. 306.

³⁷ Katarzyna II przywróciła Krymowi jego pierwotną i znaną ze starożytności nazwę: Tauryda, którą także operuje w swych zapiskach Ségur. Zob.: *Записки Графа Сегюра...*, op. cit., s. 208.

czarowane zamki, zadrzewione w jedną noc sady, świątynie Diany, wspinała haremy... (s. 237–238). Zdecydowanym i pełnym oburzenia tonem stwierdza: to wszystko możliwe tylko w Rosji, która „trwoni pieniądze i nie oszczędza ludzi”, kategoryzując ostatecznie: „ani w Niemczech, ani we Francji nikt nie odważyłby się nawet o tym pomyśleć” (s. 201).

Przez pryzmat europejskiej percepcji francuski dyplomata konceptualizuje, jako jeden z pierwszych, granice imperium. Jego entourage wyznacza Rosja efemeryczna, ze swą *idée fixe* – iluzoryczną krainą wiecznej szczęśliwości, inspirowana polityczną utopią³⁸ Semiramidy Północy, Rosja „upośledzona” – zakamuflowana, w jawnej „cichości”, w „oświecony” absolutyzm, z brutalnym systemem despotyzmu i niewolnictwa, legitymizującym ową Custinowską „utajoną tyranie”³⁹. I choć to Ségur był inicjatorem zbliżenia i „ocieplenia” dyplomatycznych relacji między Wersalem a Petersburgiem⁴⁰, to sama Katarzyna, mimo przyjacielskich deklaracji, nie wierzyła w szczerść jego koniunkturalnych laudacji. Ufając tylko samej sobie i zasadzie: „Zgłębiajcie ludzi, starajcie się ich wykorzystywać, nie darząc ich ślepym zaufaniem”⁴¹, szybko o nim zapomniała⁴², tak jak zapomniała o nim historiografia rosyjska, nie traktując zapisków Ségura jako materiału źródłowego o dziejach XVIII-wiecznej Rosji i jej pozycji na arenie europejskiej.

Bibliografia

Andrusiewicz A., *Cywilizacja rosyjska*, t. 2, Warszawa 2005.

Bazyłow L., Wierzchowicz P., *Historia Rosji*, Warszawa 2005.

Billington J. H., *Ikona i topór. Historia kultury rosyjskiej*, przekład J. Hunia, Kraków 2008.

³⁸ Wszakże całe XVIII stulecie, z naciskiem na II połowę, nazywane jest „złotym wiekiem utopii”. Zob.: Д. В. Устинов, А. Ю. Веселова, *Утопия как деятельность в русской культуре II половины XVIII века*, „Вестник Санкт-Петербургского университета. История, языкознание” 1998, № 1, s. 77–85.

³⁹ Astolphe de Custine, op. cit., t. 1, s. 338.

⁴⁰ Jego zasługą jest też opracowanie ogólnej koncepcji politycznego układu sił, wciągniętych w wojnę z Turcją państw, na linii Francja – Rosja – Austria. Zob.: Э. Капперд’Анкосс, *Екатерина II ...*, op. cit., s. 347, a także В. В. Артемова, op. cit., s. 139–140.

⁴¹ Cyt. za: M. Heller, op. cit., s. 426.

⁴² Dowodzi tego Kamiński, który zwraca uwagę czytelnika na fakt, że po wyjeździe Ségura do Francji, Katarzyna nie odpowiadała na jego listy. Zob.: А. Б. Каменский, Шарль Массон. „Секретные записки о России”, „Вопросы истории” 2001, № 1, s. 169–170. Jeśli zważyć, że także na rodzimym gruncie Ségur umiejętnie lawirował politycznie między władzą Ludwika XVI, Napoleona i Ludwika XVIII, wątpliwości i podejrzenia Katarzyny II wydają się zasadne.

- Custine de Astolphe, *Rosja w roku 1839*, przekład P. Hertz, t. 2, Warszawa 1995.
- Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna)*, red. A. de Lazari, Warszawa 2004.
- Foryski R., *Droga do Rosji. Spór o Imperium carów (1761–1839)*, Warszawa 2013.
- Heller M., *Historia Imperium Rosyjskiego*, przekład E. Melech, T. Kaczmarek, Warszawa 2002.
- Herzen A., *Eseje filozoficzne. Rosja i stary świat*, przekład W. Bieńkowska, t. 2, Warszawa 1966.
- Kiślak E., *Car-Trup i Król-Duch. Rosja w twórczości Słowackiego*, Warszawa 1991.
- Pipes R., *Własność a wolność*, przekład L. Niedzielski, Warszawa 2000.
- Артемова В. В., *Культура России глазами посетивших ее французов (последняя треть XVIII века)*, Москва 2000.
- Записки Графа Сегюра О Пребывании Его Въ Россіи Въ Царствованіе Екатерины II 1785–1789*, Санкт-Петербург 1865.
- Каменский А. Б., Шарль Массон. „Секретные записки о России”, „Вопросы истории” 2001, № 1, s. 169–170.
- Каррер д’ Анкос Е., *Екатерина II. Золотой век в истории России*, пер. О. Д. Чехович, Москва 2006.
- Каррер д’ Анкос Е., *Императрица и аббат: Неизданная литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д’Отероша*, пер. О. А. Павловская, Москва 2005.
- Ключевский В. О., *Исторические портреты*, Москва 1991.
- Ключевский В. О., *Русская история. Полный курс лекций*, т. 3, Ростов-на-Дону 2000.
- Кондаков И. В., *История культуры России*, Москва 2003.
- Массон Ш.-Ф., *Секретные записки о России времен царствования Екатерины II и Павла I*, ред. Е. Э. Лямина, Е. Е. Пастернак, Москва 1996.
- Павленко Н. И., *Екатерина Великая*, Москва 2006.
- Платонов С. Ф., *Полный курс лекций по русской истории*, Санкт-Петербург 2000.
- Россия XVIII века глазами иностранцев*, ред. Ю. А. Лимонова, Ленинград 1989.
- Семенникова Л. И., *Россия в мировом сообществе цивилизаций*, Москва 2009.
- Устинов Д. В., Веселова А. Ю., *Утопия как деятельность в русской культуре II половины XVIII века*, „Вестник Санкт-Петербургского университета. История, языкознание” 1998, № 1, s. 77–85.

ANTONA CZECHOWA SPOJRZENIE NA BIEG HISTORII

CHEKHOV'S VIEW ON THE COURSE OF HISTORY

ANDRZEJ KSENICZ

ABSTRACT. Among the issues, themes and contributions which Anton Chekhov undertook in his works, one may also find the broadly-understood issue of an individual's place in the course of historical events. In this case, and others like it, this writer's opinion stands out among the works of other Russian writers. This is related to the fact that the author of *The Steppe* is convinced that the individual, and his conscious behaviour, contributes to the behaviour of a group and society. This is in contrast to the reasoning of most Russian writers of those times; however, it proves to be characteristic of Chekhov's thinking.

Andrzej Ksenicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra – Polska,
andrzejksenicz@o2.pl

Zacznę od stwierdzenia, iż sam postawiłem się w kłopotliwej sytuacji, ponieważ jeszcze w latach osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zastanawiałem się, czy autor *Mojego życia* unika podejmowania zagadnień z kręgu historii i filozofii. Sądzę, że udało mi się wtedy udowodnić obecność kwestii zawierających się w kręgu obu tych nauk w twórczości pisarza, jego korespondencji, wyrażających się nie tylko poprzez przywoływanie nazwisk znanych filozofów czy badaczy dziejów z różnych epok. Przy okazji stwierdziłem, że kwestia ta była pomijana przez badaczy rosyjskich. Wprawdzie już w 1900 roku ksiądz G. Pietrow dowodził, że mylą się ci, którzy twierdzą, iż pisarza nie interesują sprawy najistotniejsze dla człowieka. Wychodził on od *Ewangelii*, a swój wywód ilustrował tzw. „krzyczącą rzeczywistością”, wskazując przy tym, że już poczynając od Platona mówiono, iż wszystkim należy stawiać jednakowe wymagania i dawać możliwość realizowania ich potrzeb, co odnotowywał on u autora *Stepu*¹. Kilka lat później inny autor, również związany z cerkwią, mówił wprost, że Czechow kontynuuje literaturę filozoficzną typu L. Tolstoja i F. Dostojewskiego. Trafnie zauważał też, iż czytając Czechowa, należy wychodzić od filozofii chrześcijańskiej, ale nie posuwał się do głębszej analizy jego tekstów. Trzeba wszakże zgodzić się z takim jego przekonaniem:

¹ Zob. Г. П е т р о в, *Евангелие, как основа жизни*, Санкт-Петербург 1900, s. 98-106.

Итак, общечеловеческий, а по тому самому и философский вопрос, дающий главное содержание творчеству Чехова, есть вопрос о нравственной слабости, бессилии добра в душе среднего человека, благодаря которому сваливается он без борьбы, [...] благодаря которому идеальные стремления не поднимают, а только заставляют бессильно страдать человека [...].²

Przez wiele dziesiątek lat uważano jednak Czechowa za autora, który prezentuje realny, źle zbudowany świat i na tym zwykle poprzestaje. Jeszcze w latach siedemdziesiątych-osiemdziesiątych XX wieku w byłym ZSRR pisano o autorze *Nieciekawej historii* jako twórcy, którego nie interesuje historia, jej przebieg. A jeżeli już nawet odnotowywano ten moment, to konstатовano, że pojawia się on u pisarza, jak pisał m.in. I. Gurwicz, jako „powszedniość, a nie historia”. Natomiast same fakty historyczne ujmowane są w jego utworach „w lirycznym komentarzu”³.

W latach dziewięćdziesiątych zaczęły pojawiać się nawiązania do przytoczonych tu najwcześniejszych ocen odnoszących się do pisarstwa Czechowa. A. Sobiennikow przypominał, że dla tego twórcy „люди все равны потому, что они люди”⁴. Podobny sąd o pisarzu wyraził w swej powieści *Życie i los* (*Жизнь и судьба*) Wasilij Grossman, ale wtedy nie przebił się on przez oficjalną ocenę Czechowa. Głos ten był zanadto śmiały, aby mógł być przyjęty w radzieckich czasach jako możliwy do zaakceptowania⁵. Pozwolę sobie w tym miejscu na mały prywatny *wtręt*. W latach osiemdziesiątych-dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku pisałem, że Czechow nie jest pisarzem „rosyjskim”. I to nie z uwagi na to, że zawsze nazywał siebie „chochłem”, ale dlatego, że nie znajdujemy u niego nic z myślenia Tołstoja czy Dostojewskiego o Rosji, Rosjanach⁶. Wydaje się, że dziś potwierdza się to, tak z mojego punktu widzenia, jak też w rozumieniu Grossmana.

Jedno z istotniejszych stanowisk z połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku prezentuje wypowiedź W. Katajewa, który pisał wprost, iż krytyka nadal „pozostawia pisarza z boku”, jeżeli chodzi o koncepcje filozoficzne w jego twórczości. Obiegowa ocena z tamtego okresu brzmi mniej więcej tak: „тонкий художник, но не мыслитель”. Autor artykułu uważa, że pisarz nie jest ontologiem, o czym mówiono już wcześniej, ale że umie on widzieć świat gnozeologicznie: „Таким — редчайшим для Рос-

² С. Булгаков, *Чехов, как мыслитель*, Киев 1905, s. 11.

³ И. Гурвич, *Проза Чехова. (Человек и действительность)*, Москва 1970, s. 151-152.

⁴ Zob. А. С о б е н н и к о в, *Библейский образ в прозе А. П. Чехова (аксиология и поэтика)*, [w:] *О поэтике А. П. Чехова. Сборник научных трудов*, редкол. Г. Чернышова и др., Изд-во Иркутского университета, Иркутск 1993, s. 24-25.

⁵ Zob. W. G r o s s m a n, *Życie i los*, przeł. J. Czech, Warszawa 2011, s. 289-294.

⁶ Zob. m.in. A. K s e n i c z, *Anton Czechow – nieco inaczej o sobie i innych*, [w:] tegoż, *Słowiański wielość, czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza*, Zielona Góra 1999, s. 5-30.

сии гносеологическим художником был Чехов"⁷. To on powtórzył za Czechowem, że nikt nie zna „absolutnej prawdy”, do czego piszący te słowa nawiąże jeszcze w niniejszym tekście.

Wypada teraz zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, co wynika z przywołanych tu sądów dla naszego zamysłu sformułowanego w temacie artykułu? Jeżeli wyjdziemy od przytoczonej zasady pisarza, to okaże się, że według niego ciągiem wypadków historycznych rządzi przypadek, czasem człowiek oraz jakaś wyższa wola. Aby do tego dojść, należy, jak sądzę, spróbować znaleźć w wypowiedziach pisarza, w jego korespondencji pewne wskazówki, dotyczące zagadnień mieszczących się w szerokim kręgu zagadnienia, jakim jest kwestia filozofii dziejów. Dla autora *Czarnego mnicha* najważniejsza jest jednostka, jej miejsce na ziemi uświadamiane sobie przez nią samą⁸. Dopiero po takim jednostkowym samouświadomieniu może tworzyć się świadomość biegu wypadków w grupie i, szerzej, w społeczeństwie. Odgłosy takiego rozumowania możemy odszukać w listach Czechowa.

Antropocentryczny Czechowowski porządek świata kazał mu widzieć w jednostce aktywny element, co nie znaczy, że nie może ona godzić się z pewnym fatalizmem w jej życiu. Takie myślenie nie było obce autorowi *Kameleona*, chociaż w swoim postępowaniu wykazywał się dużą siłą woli. Ale przecież, kiedy wiedział już bez cienia wątpliwości, że jest ciężko chory, to do siostry Marii pisał tak:

Скажи матери, что как бы ни вели себя собаки и самовары, все равно после лета должна быть зима, после молодости старость, за счастьем несчастье и наоборот; человек не может быть всю жизнь здоров и весел, его ожидают потери, он не может уберечься от смерти, хотя бы был Александром Македонским, — и надо быть ко всему готовым и ко всему относиться как к неизбежно необходимому, как это ни грустно⁹.

Czy było to spowodowane tylko sytuacją, w jakiej postawiło go życie? Sądzę, że nie, ponieważ zawsze kierował się on trzeźwym rozumowaniem z zauważalną niekiedy dozą rezygnacji. Niespełna trzydziestoletni pisarz konstatował:

Все, что живет на земле, материалистично по необходимости. [...] Существа высшего порядка, мыслящие люди — материалистичны тоже по необходимости (П. 3. s. 208).

⁷ В. К а т а е в, *Спор о Чехове: конец или начало?*, [w:] *Чеховиана. Мелиховские труды и дни*, Москва 1995, s. 5–6.

⁸ Zob. m. in. A. K s e n i c z, *Czechowowskie przemiany wewnętrzne*, [w:] tegoż, *Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa*, Zielona Góra 2007, s. 173–192.

⁹ А. П. Ч е х о в, *Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма в двенадцати томах*, т. 7, Москва 1974–1983, s. 98. Kolejne cytaty w tekście ze wskazaniem na utwór lub list oraz tom i stronę.

Pisarz był materialistą w filozoficznym rozumieniu istnienia świata, do czego odnosił się z charakterystyczną dla niego nutką pesymizmu. Kiedy wszakże taka zdawała się pojawiać, to nie poddawał się jej:

Я верю в отдельных людей. Я вижу спасение в отдельных личностях, [...] чтобы там ни было, наука все продвигается вперед, [...] (П. 3, s. 100-101).

Na zakończenie tej części prezentacji sposobu myślenia pisarza przytoczę jeszcze dwie wypowiedzi autora *Mewy*, świadczące o jego swoiście filozoficznym podejściu do znanych mu w tym czasie koncepcji w sposobie postrzegania rzeczywistości. W końcu lat dziewięćdziesiątych XIX wieku zainteresowano się F. Nietzschem. Czechow nie byłby sobą, gdyby nie skomentował tego na swój sposób. W jednym z listów zauważał on:

С таким философом, как Нитче, я хотел бы встретиться где-нибудь в вагоне или на пароходе и проговорить с ним целую ночь. Философию его, впрочем, я считаю недолговременной. Она не столь убедительна, сколь бравурна (П. 6, s. 29).

Nic zatem dziwnego, że do reżysera W. Niemirowicza-Danczenki pisał z odrobiną sarkazmu, że można narzekać, a nawet obwiniać klimat, środowisko i co jeszcze chcesz, ale: „[...] предоставь обстоятельства их собственному, неумолимому течению, уповая на лучшее будущее” (П. 6, s. 241-242). Sam był przekonany, że wypadki biegną we właściwym kierunku, co potwierdzają inne jego wypowiedzi. Nie możemy ich tu pomieścić, natomiast wskażę choćby takich adresatów jego listów jak I. Orłow czy A. Tarachowski. Do tego drugiego pisał:

Ведь при росте теперешней культурной жизни никто не может поручиться, что для библиотеки не понадобится через 25-40 лет пятиэтажное здание! Театры же учреждения наполовину коммерческие; дайте срок, и они сами начнут расти, как грибы [...] Как в Неаполе, например (П. 8, s. 314).

Podobnie, choć nierzadko jednak inaczej, wygląda spojrzenie pisarza na bieg wypadków, kiedy zagłębimy się w treść jego prozy i dramaturgii. Najogólniej rzecz można by ująć w stwierdzeniu, że znajdziemy tam mniej czy bardziej wprost, zawsze przy tym po Czechowowsku niejednoznacznie zarysowane, postrzeganie biegu dziejów, w którym uczestniczy jednostka, szerzej, grupa społeczna i już raczej rzadko ogólnie rozumiany naród. Aby ten proces zilustrować, oczywiście w jakiejś jego drobnej części, odwołam się do kilku utworów pisarza. Zacznę od dość wczesnego opowiadania *Fujarka (Свирель)* z 1887 roku. Wątek utworu wydaje się bardzo prosty, bowiem zasadza się na typowym „spotkaniu w drodze”. Myśliwy, przypominający postać z dobrze znanego utworu I. Turgieniewa, spotyka przypadkiem w czasie wędrowki po okolicy staruszka-pastucha. Opisowi lasu, pola, myśliwego i samego staruszka naddaje autor pewne zastanawiające rysy, które wywołują u czytelnika wrażenie jakiejś niezwykłości czasu i miejsca:

Утро было нехорошее, пасмурное. С деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротника сыпались крупные брызги, лесная сырость издавала острый запах гнили (С. 6, s. 321).

Postacie myśliwego i pastucha również są wystylizowane, co nadaje im osobliwy charakter. Pierwszy z nich jest roslym, silnym, wydawałoby się, mężczyzną, ale jego głos, uśmiech i „cała figura” miały w sobie coś „бабье, робкое и смиренное”. Pastuch stoi przed myśliwym: „тощий, в рваной сермяге и без шапки” (s. 321). Już początek rozmowy między nimi wskazuje, jak bardzo poważnie traktują oni to, co zauważyli w przyrodzie. Staruszek ocenia odnotowane zmiany bardzo pesymistycznie: „Все к одному клонится... Добра не жди” (s. 322). Mówi to na podstawie obserwacji przyrody, która jego zdaniem ginie: „Лет двадцать назад, помню, тут и гуси были, и журавли, и утки, и тетерева — туча-тучей. [...] Нынче, брат, волк и лиса в диковинку, а не то что медведь или норка”. Swą dość długą tyradę zamyka zdaniem pełnym pesymizmu: „— К худу, паря. Надо думать, к гибели... Пришла пора божьему миру погибать” (s. 323). Sąd swój opiera on na obserwacji tego, co zachodzi w całej okolicy. Jeszcze gorzej jest „z narodem”, który stał się chorowity, słaby, nie chce pracować, chociaż zdaniem pastucha naród jest teraz mądrzejszy. Po takich zabarwionych filozoficznie uwagach rozmówców jeszcze bardziej pesymistycznie zdaje się wyglądać przyroda. Jest jesień, wszystko wędnie, zamiera, co zdaje się zapowiadać brak nadziei na lepsze jutro.

Czy tak myślał sam młody pisarz? Skłonny jestem twierdzić, że nie. Podobnie jak w innych kwestiach, tak i w tej autor pozostawał trzeźwo myślącym obserwatorem. W opublikowanym rok później *Stepie (Стень)*, utworze bardzo ważnym w procesie formowania Czechowa-twórcy, znajdujemy inne rozwiązanie dla kwestii biegu wypadków, które obejmują wiele postaci z różnych kręgów społecznych. Charakterystycznym momentem wydaje się to, że wszystkim wydarzeniom i rozważaniom przygląda się i przysłuchuje dziesięcioletni chłopiec, odbywający długą podróż do szkoły. Ten fakt podwaja niejako moment oczekiwania czegoś nowego, zapowiada poznawanie przyszłej szkoły życia. O tym, jakie to życie było i jest, chłopiec dowiadyuje się w trakcie podróży. Poznaje „wiele prawd”, których jeszcze nie rozumie, podobnie jak nie rozumie, dlaczego większość starszych ludzi mówi o nieudanym życiu. Jedynym szczęśliwym wydaje się młody chochoł-Ukrainiec, który niedawno ożenił się i chętnie o tym opowiada. Wśród smutnych prawd o życiu, jakie słyszy Jegoruszka, następująca brzmi bardzo pesymistycznie: „Русский человек любит вспоминать, но не любит жить [...]”, ponieważ „мы обижены и оскорблены судьбой” (С. 7, s. 63). To, co jest niewiadomą dla chłopca, czytelnikowi wydaje się nawet banalne, ale rozumie on zarazem, że jest to początek drogi, na której spotkają chłopca rozczarowania, wyzwania i samotność. Nie zaskakuje zatem końcowe pytanie w opowieści: „Какова-то будет жизнь?” (s. 104).

Pytanie to zdaje się zadawać pisarz, a nie Jegoruszka. Dla pierwszego z nich, który sam przeszedł trudną szkołę życia, jest ono niezwykle istotne. W listach pisarza niejednokrotnie pojawia się podobny moment zastanowienia nad złożonością życia człowieka. Takie uwagi na temat myślenia pisarza spotykamy we wspomnieniach ludzi z kręgu jego znajomych¹⁰. Z obu źródeł dowiadujemy się, że to człowiek odpowiada za to, jak przeżył swoje życie.

Kolejnym, chronologicznie, po *Stepie* jest opowiadanie *Ognie* (*Огни*). Zajmuje ono u twórcy miejsce dość szczególne, z uwagi na podjętą w nim kwestię, a stanowią o tym rozważania na temat roli człowieka w historii i rozwoju naszej cywilizacji. Pozostają one jakby w cieniu głównego wątku, osnutego na historii głównego bohatera i jego nieudanej miłości. Wskazane w tym miejscu wydaje się przypomnienie sytuacji zarysowanej w pierwszym z przywołanych przez nas utworów, a mianowicie o tworzeniu przez Czechowa specyficznej atmosfery panującej w jego *filozoficznych* opowiadaniach. Nie możemy tu zagłębić się specjalnie w jej odtworzenie, natomiast wskażę na jeden choćby moment, który takową buduje:

Высокая, наполовину готовая насыпь, кучи песку и щебня, ямы, разбросанные кое-где тачки, плоские возвышения над землянками, в которых жили рабочие, — весь этот ералаш, выкрашенный потемками в один цвет, придавал земле какую-то странную, дикую физиономию, напоминающую о временах хаоса. [...] Огни были неподвижны. В них, в ночной тишине и унылой песне телеграфа чувствовалось что-то общее. Казалось, какая-то важная тайна была зарыта под насыпью, и о ней знали только огни, ночь и проволоки... (С. 7, s. 105–106).

Jeden z bohaterów opowiadania postrzega teraźniejszość i przeszłość bardzo pesymistycznie. Wygłasza sądy o śmierci. Odeszli tacy jak Szekspir i Darwin, co zatem może czekać zwykłych ludzi? Jego interlokutor i zarazem główny bohater rozumie, że jeżeli wszyscy będziemy tak myśleć, to wtedy: „[...] невозможен никакой прогресс, ни наук, ни искусства, ни само мышление” (s. 112). Zapewne można to przemóc, ale trzeba zająć się pracą, żeby odpędzić takie myśli. Tytułowe ognie pełnią w utworze nadaną im funkcję. Ogień towarzyszy człowiekowi od momentu oswojenia go przez naszych przodków. W tekście pojawiają się one w specyficznym historycznym, a zarazem cywilizacyjnym kontekście:

— Знаете, на что похожи эти бесконечные огни? Они вызывают во мне представление о чем-то давно умершем, жившем тысячи лет тому назад, о чем-то вроде лагеря амеликитян или филистимлян. Точно какой-то ветхозаветный народ расположился станом и ждет утра, чтобы подражаться с Саулом или

¹⁰ Zob. А. П. Чехов в воспоминаниях современников, ред. В. Вацуро и др., Москва 1986.

Давидом. Для полноты иллюзии не хватает только трубных звуков, да чтобы на каком-нибудь эфиопском языке перекликались часовые (s. 107).

Poszerzony nieco wgląd w to opowiadanie uzasadniony jest, jak sędzę, specyficznie Czechowowskimi niedopowiedzeniami związanymi z tajemnicą zagadki życia jednostki, narodu, z jakimi spotykamy się w jego utworach. Nic zatem dziwnego, że ten głęboko cywilizacyjny moment, zasadzający się na chęci odpowiedzi na ową zagadkę życia w jej filozoficznym rozumieniu, również w tym utworze kończą słowa bohatera, podkreślające zamysł pisarza: „Ничего не разберешь на этом свете!” (s. 140).

Znakomity profesor, europejska sława, bohater opowiadania *Nieciekawa historia* (*Скучная история*) to przykład postrzegania życia i historii jako bytu indywidualnego, wpisanego w dość przypadkowy bieg wypadków. Zdaje on sobie sprawę, że przeżył bogate w osiągnięcia naukowe życie, ale teraz czeka go tylko śmierć. Czuje się osamotniony, odtrącony. Godzi się z tym faktem, a jedyne, co sprawia mu przykrość, to fakt, że nie może powiedzieć młodym, jak mają żyć, aby byli szczęśliwi. Pozostała mu jeszcze wiara w naukę:

Испуская последний вздох, я все-таки буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя (С. 7, s. 263).

Podobnie, na co zwracaliśmy już uwagę, również tutaj mamy ten niezwykły dla bohatera, ale zarazem konieczny moment na zastanowienie się i zrozumienie sytuacji, w jakiej postawiło go życie:

Бывают страшные ночи с громом, дождем и ветром, которые в народе называются воробьиными. Одна точно такая же воробьиная ночь была и в моей жизни... (s. 300).

Wywołuje to u profesora strach przed tym, co będzie dalej. Jeszcze większy niepokój odczuwa jego przybrana córka, która prosi go o radę: „Говорите, что мне делать? [...] Ведь вы умны, образованны, долго жили! Вы были учителем!” Odpowiedź profesora jest porażająco prosta: „— По совести, Катя: не знаю...” (s. 308–309). A zatem znowu niedopowiedzenie, zagadka. Katia pozostaje sama ze swoim pytaniem. Ale, rozumując po Czechowowsku, odpowiedź na nie pada: „Nie wiem”.

Zagadka życia, jego koleje zajmowały pisarza wyjątkowo mocno, przy czym zwykle widział on jednostkę wpisaną w niby codzienne bytowanie, ale zawsze przy tym wyczuwalny jest u niego konkretny moment historyczny. Tak było w przywoływanych tu utworach, przy czym wpisanie ich wątku fabularnego w rzeczywisty moment historyczny pozostawia Czechow czytelnikowi. Wymaga to od niego znajomości szerszego kontekstu czasowego, który zapodany jest wystarczająco czytelnie poprzez wskazanie na znane powszechnie wydarzenia, czasem datę, nie zawsze konkretną, jak

to było np. w *Ogniach*, lub też poprzez odwołanie się bohatera do jego wspomnień z młodości, jak to ma miejsce również w tym opowiadaniu. W kolejnych utworach, m.in. w *Opowiadaniu nieznanego człowieka* (*Рассказ неизвестного человека*), *Studencie* (*Студент*), *Moim życiu* (*Моя жизнь*), spotykamy się z takim właśnie postawieniem tej kwestii. Prezentowana jest ona i dyskutowana przez różne postacie, co sprawia, że przyjmuje ten moment zawsze niejednoznaczny charakter. Zrozumiałe wydaje się, że zwykle w takich sytuacjach pojawiają się wypowiedzi, w których obecne są słowa w rodzaju „filozofować”, „rozważać”, „myśleć” czy zwrot typu „znowu o tym samym”, charakterystyczny dla utworów dramatycznych. Jeżeli odniesiemy to do kwestii bytu, to nic dziwnego, że dysputy takie kończą postacie Czechowa bez konkretnego rezultatu.

W poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania jego bohaterowie odwołują się zwykle do wydarzeń z przeszłości, do swoich doświadczeń; do wydarzeń historycznych czy też zaczerpniętych z *Ewangelii* i *Biblii*. Takie powtarzające się sytuacje, zdawałoby się, powinny w końcu zmusić bohaterów Czechowa do zdecydowanych kroków. Te jednak nie następują, co nie znaczy, że nie spotkamy się z próbami pokazania, iż życie człowieka zmieniało się na przestrzeni wieków. Pewien sygnał takiego rozumowania zabrzmiał w *Ogniach*. W *Opowiadaniu nieznanego człowieka*, wyraźniej niż w innych utworach, przejawia się konkretny moment historyczny, zawołany wszakże na tyle, aby czytelnik zmuszony został do ustalenia historycznych faktów. Uważny i zorientowany odbiorca odnajdzie w utworze echa związane z działalnością Narodnej woli, której członkiem był kiedyś główny bohater. W opowiadaniu nie padają daty czy nazwiska, ale portret narodowolca, który kaja się po latach, przyznając się do swoich błędów, jest mocno przekonujący. Zdaje się, że pisarz chciał powiedzieć, iż słuszne z pozoru idee, którym służy pojedynczy człowiek i wyznająca je grupa, mogą, z punktu widzenia biegu historii, okazać się niewłaściwymi, a nawet tragicznymi. Czy w ten sposób pisarz odrzucał podobne działania? W tym przypadku wydaje się, że tak. Wskazywać na to mogą utwory, w których Czechow pokazuje, w co zamieniły się po latach działania ludzi takich jak bohater opowiadania. Ilustrują to utwory typu *Dom z facjatą* (*Дом с мезонином*) czy *Nowa dacha* (*Новая дача*).

Następnym, dość wyjątkowym przykładem ujęcia biegu dziejów przez pisarza może być opowiadanie *Student*. Jego bohater to seminarzysta, który przyjechał do rodziców na Święto Zmartwychwstania. Wybór tego momentu w kalendarzu nie jest przypadkowy. W Wielki Piątek młody człowiek błądzi po polach. Głodny i zziębnięty nie przypadkiem zapewne odczuwa zastanawiającą zbieżność tego dnia i miejsca z historią, jaka miała miejsce dawno temu:

И теперь, пожимаясь от холода, студент думал о том, что точно такой же ветер дул при Рюрике и при Иване Грозном, и при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соломенные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, — все эти ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему хотелось домой (П. 8, s.306).

Rozmowa z dwiema kobietami, grzejącymi się przy ognisku, jeszcze bardziej wzmocniła uczucie bliskości tamtej ewangelicznej sytuacji z aktualną: „Ах, какая то была страшная ночь, бабушка!” (s. 307). Kiedy student przypomniał kobietom sąd nad Jezusem, biczowanie i jego śmierć, to odczucia te udzieliły się również im. Wrażenie bliskości tej „strasznej nocy” z tamtą jest tak silne, że Iwan Wielkopolski całkowicie poddaje mu się. W jego głowie kłębią się różne myśli — od bardzo smutnych do radosnych. Te drugie, co może zastanawiać, zdają się jednak przeważać. Może to rozdzić pytanie, na ile bliskie mogą one być samemu pisarzowi:

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших одно из другого. И казалось ему, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой (s. 309).

Podobnie mocnego, wyrażonego wprost przekonania o związku przeszłości z terażniejszością raczej trudno byłoby szukać u pisarza, chociaż będzie się ono przewijało w szeregu innych opowiadań i utworach dramatycznych, włącznie z zamykającymi jego twórczość opowiadaniem *Narieczona* (*Невечна*) i sztuką *Wiśniowy sad* (*Вишневы сад*). Wiele razy zetknijemy się tam z „prozą życia”, która wydaje się niezmienna, nudna, ale trzeba się z nią godzić, jak ma to miejsce w *Wujaszku Wani*. Trzeba jednak mieć nadzieję, że za „sto czy dwieście” lat odmieni się życie jednostki. Czechow widział realizację tego marzenia nawet wcześniej, czemu dał wyraz w historii bohaterki opowiadania *Narieczona*. Wprawdzie w jego zakończeniu nie mogło zabraknąć „Czechowowskiego powątpiewania” w postaci słów:

Она пошла наверх к себе укладываться, а на другой день утром простилась со своими и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда (С. 10, s. 220).

Odnutowywałem nieco wcześniej, że problematyka „bytopisania” u pisarza wymaga szerszego rozważenia. Niech niniejszy tekst będzie tego dowodem, a jego rozwinięcie nastąpi za jakiś czas. Nie można przy tej okazji nie przypomnieć, że nadal aktualne jest przekonanie o „zagadkowości Czechowa”, które długo nie mogło przebić się do świadomości krytyki i czytelnika z uwagi na powtarzające się niezbyt trafne twierdzenia typu „kronikarz codzienności” czy bardziej wyrozumiałe, ale ogólnikowe, „głęboki psycholog” oraz „znawca życia rosyjskiej prowincji”.

Bibliografia

- G r o s s m a n W., *Życie i los*, przeł. J. Czech, Warszawa 2011.
- K s e n i c z A., *Anton Czechow – nieco inaczej o sobie i innych*, [w:] tegoż, *Słowiański wielogłos, czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza*, Zielona Góra 1999, s. 5–30.
- K s e n i c z A., *Czechowowskie przemiany wewnętrzne*, [w:] tegoż, *Ścieżkami bohaterów Antona Czechowa*, Zielona Góra 2007, s. 173–192.
- А. П. Чехов в воспоминаниях современников, ред. В. Вацуро и др., Москва 1986.
- Б у л г а к о в С., *Чехов, как мыслитель*, Киев 1905.
- Г у р в и ч И., *Проза Чехова. (Человек и действительность)*, Москва 1970.
- К а т а е в В., *Спор о Чехове: конец или начало?*, [w:] *Чеховиана. Мелиховские труды и дни*, Москва 1995.
- П е т р о в Г., *Евангелие, как основа жизни*, Санкт-Петербург 1900.
- С о б е н н и к о в А., *Библейский образ в прозе А. П. Чехова (аксиология и поэтика)*, [w:] *О поэтике А. П. Чехова, Сборник научных трудов*, ред. кол. Г. Чернышова и др., Изд-во Иркутского университета, Иркутск 1993, s. 24–25.
- Ч е х о в А. П., *Полное собрание сочинений и писем в тридцати томах. Письма в двенадцати томах*, Москва 1974–1983.

ДОСТОЕВСКИЙ О ПОЛЯКАХ – ПОЛЯКИ О ДОСТОЕВСКОМ:
МЕТАСТЕРЕОТИПНОСТЬ КАК ИМАГОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

FYODOR DOSTOYEVSKY IN JERZY STEMPOWSKI'S RECEPTION:
THE IMAGOLOGICAL ASPECT

ЛЕОНИД МАЛЬЦЕВ

ABSTRACT. In the article, Jerzy Stempowski's essay *The Poles in Novels by Dostoyevsky* is analyzed in terms of its imagological aspect. Polish motifs in the novel *The Brothers Karamazov* are investigated in connexion with the writer's religious philosophy and existential consciousness.

Леонид Мальцев, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград – Россия, lamaltsev23@mail.ru

Статья представляет собой опыт анализа эссе Ежи Стемповского *Поляки в романах Достоевского* в теоретическом аспекте имагологии. Подробно рассматриваются польские мотивы в романе *Братья Карамазовы* в соотношении с религиозной философией и экзистенциальным самоощущением писателя.

В самосознании народа предметом особого интереса является его образ в глазах „других”. Совокупность этих отображений, непосредственных и производных, изучается в гуманитарных науках в неразрывной связи со стереотипией, которая является одним из возможных способов ментального упорядочивания окружающей действительности, зачастую не поддающейся либо мало поддающейся объективному и всестороннему объяснению и описанию. Как устойчиво-закостенелая форма, стереотип может быть болезненно и даже раздражительно чувствителен по отношению к любому нестандартному мнению, так как, по емкой метафоре У. Липпмана, стереотип является „бастионом нашей традиции, и, укрывшись за стенами этого бастиона, мы можем чувствовать себя в безопасности”¹. В крайнем случае ломка стереотипов провоцирует крах самой идентичности, в более мягких вариантах – приводит к корректировке устоявшихся мнений либо к адаптации по отношению к изменившимся внешним условиям.

¹ У. Л и п п м а н, *Общественное мнение*, Москва 2004, с. 109.

Для литературоведческой имагологии², наряду с понятием стереотипа, продуктивно понятие „метастереотип“, определяемое как „представление человека о стереотипах другой группы относительно своей“³. Без аспекта метастереотипности русско-польская имагологическая „картина“ представлялась бы неполной, поскольку, занимаясь стереотипностью как таковой, исследователь русско-польских отношений в большей или меньшей степени касается вопроса, как тот или иной стереотип, возвращаясь в сферу бытования „своего“, „родного“, модифицирует наши представления и о своей собственной культуре, и о культуре другой, продуцирующей стереотипы с той или иной эмоциональной окраской.

В русской классике и ее рецепции на Западе метастереотипный прецедент создают нелюбимые образы поляков в творчестве Федора Михайловича Достоевского и связанное с этим нередко негативное отношение польского реципиента не только к отдельно взятым „антипольским“ эпизодам, но и ко всему творчеству русского писателя. В качестве примера приведем высказывание крупного польского прозаика конца XIX — начала XX века Стефана Жеромского, который, испытав очевидное творческое воздействие со стороны Достоевского⁴, в очерке *Снобизм и прогресс* (*Snobizm i postęp*) назвал его не иначе как „duchowym ojcem czarnej sotni, czysto moskiewskim mistykiem, zaciekłym prorokiem“⁵.

Эту отрицательную слагаемую польского образа Достоевского следует воспринимать довольно специфической составной частью исторически сформировавшегося образа Достоевского на Западе. В свою очередь, отраженный образ „западного“ Достоевского, не отделимый от идей и образов Ницше, Кафки, французских писателей и философов-экзистенциалистов и многих других видных представителей западной культуры, не тождествен собственно „русскому Достоевскому“,

² Имагология как направление литературной компаративистики получила развитие в России начала XXI века в работах видных литературоведов разных направлений, см.: В. А. Х о р е в, *Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки*, Москва 2005; В. Б., З е м с к о в, *Образ России „на переломе“ времен (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация „другой“ культуры)*, „Новые российские гуманитарные исследования“ 2006, № 1; Н. П. М и х а л ь с к а я, *Россия и Англия: проблемы имагологии*, Москва 2012.

³ См. Т. Н е л ь с о н, *Психология предрассудков. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения*, Санкт-Петербург 2003, с. 218.

⁴ См., напр.: А. И. Б а р а н о в, *Стефан Жеромский и Ф. М. Достоевский*, [в:] *Литературные связи славянских народов*, Ленинград 1988.

⁵ S. Ż e r o m s k i, *Snobizm i postęp*, [в:] электронный ресурс: <http://literat.ug.edu.pl/xxx/snobizm/0002.htm> (18.12.2015).

взгляды которого – идеологические, психологические, этические и религиозные – нельзя рассматривать иначе, как в контексте общественного и духовного климата России XIX века, сформировавшего творческую личность Достоевского.

Наднациональной тенденцией интерпретации Достоевского не только в русской, но и в западной культуре является его метастереотипизация. Не ставя задачу раскрывать все ее компоненты, назовем существенно важные для данного исследования: во-первых, представление о Достоевском как о „жестоком таланте“, исходящее от одноименной статьи Николая Константиновича Михайловского, и происходящие отсюда далеко идущие выводы о садистических интенциях русского писателя; во-вторых, утрированное представление о Достоевском как „Ницше до Ницше“ и, думается, излишне категоричный вывод о том, что Достоевский еще до Ницше взрыхлил почву для „переоценки ценностей“, изменившей духовный облик России и Европы в XX веке⁶. Фактором, порождающим метастереотипность в восприятии Достоевского, является свойственная и русской, и западной рецепции тенденция отождествления взглядов писателя с идеями персонажей-парадоксалистов из *Записок из подполья* и *Дневника писателя*, а также Раскольникова, Кириллова, Ивана Карамазова, Великого Инквизитора.

Специфика польской традиции рецепции Достоевского в том, что она, следуя в русле западной традиции „раздвоения“ Достоевского – художника-мыслителя всемирного значения и националистически настроенного идеолога-публициста, характерна вполне предсказуемой и понятной чувствительностью к „ксенофобскому“, прежде всего, „полонофобскому“ сюжету. Например, Гжегож Пшебинда, говоря о публицистике *Дневника писателя*, заявляет следующее: „Достоевский выступает как отъявленный националист и популяризатор идеи великой Российской империи, враг немцев, поляков и евреев“⁷. В исследовании Яцека Углика категорически утверждается: „для Достоевского поляки представляли собой один лишь этнографический материал“⁸.

На этом фоне выделяется – источниковедчески и аналитически – исследование Марка Ведеманна, освещающее историю польской рецепции Достоевского в XIX веке и отличающееся тонкостью подхода к природе „польского вопроса“ в творчестве Достоевского. Как попытку ревизии бытующих в польско-русском дискурсе метастереоти-

⁶ См. по этой проблеме анализ В. В. Дудкина: В. В. Дудкин, *Достоевский – Ницше (Проблема человека)*, Петрозаводск 1994.

⁷ Г. Пшебинда, *Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше*, Москва 2013, с. 81–82.

⁸ Я. Углик, *Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского*, „Toronto Slavic Quaterly“, summer 2011, no. 37, с. 142. Курсив автора цитируемой публикации.

пов можно охарактеризовать полемическую сверхзадачу монографии — оспаривание

efektywnej, lecz niepodpartej żadnymi dowodami tezy Aleksandra Brücknera, jakoby po roku 1831, a zwłaszcza po 1863, wskutek zaostrzenia się konfliktu rosyjsko-polskiego „już nie tylko książki, ale całą wielką literaturę wielkiego narodu wstawiono u nas niby na *index librorum prohibitorium*”⁹.

В связи с „польским” сюжетом в творчестве Достоевского вызывает особый интерес и побуждает к размышлениям опыт писателей и эссеистов XX века¹⁰, нередко состоящий в том, чтобы путем рефлексии найти „третий путь”, путь комплементарности двух правд — польской и русской, исходящий из более общего и, кажется, бесспорного утверждения, что истина сложна, богата оговорками и оттенками, и подчас неуловима и невыразима в слове.

Прежде всего речь идет об эссе Ежи Стемповского *Поляки в романах Достоевского (Polacy w powieściach Dostojewskiego)*. В этой работе, датированной 1931 годом, эссеист производит весьма остроумный опыт стыкования частного и общего — польской темы, занимающей в прозе писателя определенное место, с базовыми положениями его религиозно-философской словесности. Не высказываясь прямо, Стемповский затрагивает одну из смысловых доминант православной традиции в творчестве Достоевского — идею апокатастасиса, понятого как всеобщее прощение грешников и восстановление райского догреховного состояния тварной природы. Например, в романе *Братья Карамазовы* отголоски этой мысли есть в многочисленных повествовательных вставках — в жизнеописании старца Зосимы, рассказанном им самим, в кратком пересказе Иваном древнерусского апокрифа *Хождение Богородицы по мукам*, в „басенке” Грушеньки о луковке, в народной „легенде” о сошествии Христа в ад, пересказанной ямщиком Андреем. Соотнося сложную концепцию апокатастасиса с прямолинейным решением польской темы у Достоевского, Стемповский вполне осознанно ставит мировоззренческие постулаты Достоевского на грань нонсенса:

Czytelnik jednak odnosi zupełnie określone wrażenie, że z ogólnego zbawienia wszystkich upokorzonych — Marmeladowa, generała Iwołgina, kapitana Lebiadkina — zostanie zrobiony *jeden* wyjątek i że tym wyjątkiem będą właśnie Polacy”, для которых вообще „nie znajdzie się miejsca w łodzi zbawienia metafizycznego”.

⁹ M. W e d e m a n n, *Polonofil czy polakożerca. Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897*, Poznań 2010, s. 10.

¹⁰ См. об этом: В. А. Х о р е в, *Ф. Достоевский в сознании польских писателей XX века, [в:] его же, Восприятие России и русской литературы польскими писателями. Очерки*, Москва 2012, с. 71–98.

И дальше:

W fantastycznym świecie Dostojewskiego Polacy zajmują miejsce podobne do tego, jakie w twórczości Nietzschego zajmuje ostatni, najszpetniejszy człowiek, którego widok napelnia Zaratuszę wstydem i podpowiada mu same tylko myśli w rodzaju następującej: „Powiadają mi, że człowiek samego siebie kocha: och, jak wielka musi być ta miłość siebie! Ileż wzgardy ma ona przeciw sobie... Człowiek jest czymś, co przezwyciężone być musi”¹¹.

Этот тезис следует рассматривать как построение Стемповского на основе синтеза идеологием Достоевского и Ницше, но не имманентно присущее мировоззрению Достоевского. Это предпринятый в духе Достоевского эксперимент, который можно назвать испытанием идеи. В отличие от христианской идеи апокатастасиса, приоткрывшейся в образах романа *Братья Карамазовы*, комбинированная идея Ницше-Достоевского, переконструированная польским автором, имеет ярко выраженную антихристианскую, если можно так сказать – националистическо-метафизическую, направленность.

Исследуя причины этого религиозно-идеологического комплекса, имеющего лишь видимое отношение к мировоззрению Достоевского, Стемповский обращается к экзистенциально-трагической концепции Льва Шестова, развернуто изложенной им в работе *Философия трагедии „Достоевский и Ницше“*:

Jeden z jego (Dostojewskiego – Л. М.) najgłębszych znawców, Lew Szestow, którego Kraków miał zaszczyt gościć w swych murach przed kilku miesiącami, zauważył słusznie, że w powieściach Dostojewskiego okropności jest więcej niż w samej rzeczywistości.

Парафразом философии Шестова является утверждение:

Swój ogromny talent wizjonera koszmarów (Dostojewski – Л. М.) położył w poprzek drogi wytyczonej przez rozsądek i tradycję. Mowa jego jest ostrym krzykiem człowieka rozkazującego nam wracać do Podziemia, akceptować niegodziwość życia bez omówień i uogólnień¹².

В русле Шестова Стемповский утверждает, что антиморалистические постулаты Достоевского-Ницше заключаются в отказе от любого промежуточного утешения, в касании дна отчаяния и в фантастическом обретении спасения и жизни вечной: „odrodzenie prawdziwych potępionych, zgubionych niepowrotnie nie może odbywać się inaczej jak wzorem Feniksa, z niczego”¹³. Стемповский допускает, что поляки, найдив-

¹¹ J. S t e m p o w s k i, *Polacy w powieściach Dostojewskiego*, [в:] его же, *Eseje dla Kasandry*, Gdańsk 2005, с. 283–284. Курсив автора цитируемой публикации.

¹² Там же, с. 293–294.

¹³ Там же, с. 297.

шие метафизическое оправдание собственным страданиям в идеологии мессианизма, могли негативно восприниматься Достоевским именно с точки зрения „подпольной“ философии, о которой говорит Шестов.

Стемповский редуцирует художественную философию Достоевского до „философии трагедии“ Шестова, не рассматривая возможность контрпозиции, т. е. другие варианты интерпретации религиозной философии Достоевского, в том числе экзистенциальную концепцию Николая Бердяева. Из поля зрения Стемповского выпадает христианство старца Зосимы, связанное с православными корнями мировоззрения Достоевского. Этот „зосимовский“ аспект художественной философии колеблет утверждения Стемповского о чуждости Достоевского идеям космической гармонии, поскольку мировоззрение Зосимы основывается на представлении о жизни как рае, о саде жизни в его „таинственном касании мирам иным“, о религиозной этике любви к жизни и признания своей вины и ответственности перед всем и всеми. Всего этого Стемповский во вторично-рецептивном, шестовском видении Достоевского не находит в русской классике.

При всем том у Стемповского нет склонности к принятию шестовской экзистенциальной „философии трагедии“, в качестве иллюстрации которой русский мыслитель-экзистенциалист берет образы из Достоевского. Польский автор — это, в первую очередь, холодный скептик-наблюдатель, предпочитавший сохранять верность классическим канонам средиземноморской культуры и потому не разделявший „lugere et destari“ („скорбеть и проклинать“ — Л. М.) библейского Иова, которое Шестов считал новым способом философствования. В связи с этим, по словам Я. Томковского,

Traktował (Stempowski — Л. М.) podejrzliwie Tertuliana, który kazał chrześcijaństwu wybierać między Atenami a Jerozolimą. Taki punkt widzenia wydawał mu się z gruntu fałszywy. Sam wolał wybierać między Rzymem a Jerozolimą, decydując się naturalnie na pierwszą możliwość. Akceptował zresztą Rzym dawnych pisarzy, a nie współczesnych papieży, dla tradycji religijnych „wiecznego miasta“ znajdując niewiele zrozumienia¹⁴.

Закономерно, что попытка Стемповского объяснить польские стереотипы Достоевского его базовыми художественно-философскими постулатами не приводит к желаемому результату. Этот отрицательный результат, на наш взгляд, поучителен не только в частном историко-литературном примере, но и в теоретических обобщениях, так как художественно-философская концепция автора неравномерно отражается в разных сегментах романного текста. Сцены и персонажи,

¹⁴ J. T o m k o w s k i, *Jerzy Stempowski*, Warszawa 1991, с. 12.

далеко отстоящие от художественно-философской концепции автора романа, согласно емкой метафоре Кундеры, выполняют роль „окон“¹⁵. Именно „оконную“ функцию в текстах Достоевского исполняет, на наш взгляд, „польская“ тема, не обнаруживающая прямых причинно-следственных связей с художественной философией писателя. Ближе к реальному положению вещей объяснение казуса „поляков Достоевского“ не индивидуально-мировоззренческим или этико-философским, а эстетико-социологическим фактором эпохи, вызвавшей к жизни обилие клишированных образов поляков в русской публицистике, беллетристике и даже в литературной классике¹⁶. Но и названный фактор не представляется исчерпывающим. Правдоподобно предположение Стемповского, что польские персонажи не были взяты Достоевским из жизни, а представляли искусственно смоделированные конструкции, типологически подобные мольеровскому Тартюфу. Польские типажи „сделаны“ скорее по канонам классицизма, чем реализма. Точно так же, как Пушкин противопоставлял „характерам“ Шекспира „типы“ Мольера, Достоевский воспроизводит упрощенный тип-маску персонажа, сводящийся к двум-трем доминантным признакам и в общей конструкции романа полярно противоположный шекспировски и шиллеровски полнообъемным характерам Достоевского.

Но было бы преувеличением полагать, что „ограниченными“ в произведениях Достоевского представлены только польские персонажи. Нам не кажется оправданным допущение об их „изолированном“ статусе в романах Достоевского. Панорамный взгляд на Книгу Восьмую *Митя* романа *Братья Карамазовы* демонстрирует то, что комический дуэт – „прежний“ и „беспорный“ жених Грушеньки пан Муссялович и его спутник Врублевский – органично вписывается в галерею мошенников, плутов и авантюристов: это „старый купчишка, развратный мужик и городской голова“ Иван Кузьмич Самсонов с лицом „как у истукана“¹⁷, купец-лесоторговец Горсткин по прозвищу Лягавый, которому надо смотреть на бороду, чтобы понять, плутует ли он или говорит правду¹⁸, наконец, хозяин двора в Мокром Трифон Борисыч, „имевший дар быстро изменять лицо свое на самое подобострастное выражение, когда чуял взять выгоду“¹⁹. Этот ряд личин, масок, предстающий перед Митей в период его хаотических метаний, подобен

¹⁵ М. Кунд е р а, *Нарушенные заветы: эссе*, Санкт-Петербург 2005, с. 225–230.

¹⁶ См. об этом: В. А. Х о р е в, *Польский вопрос в России после восстания 1863 г.*, [в:] его же, *Польша и поляки глазами русских литераторов...*, указ. соч., с. 78–101.

¹⁷ Ф. М. Д о с т о е в с к и й, *Собрание сочинений в двенадцати томах*, т. 11, Москва 1982, с. 435.

¹⁸ Там же, с. 445.

¹⁹ Там же, с. 486.

даже не столько комическим героям Мольера, сколько комическо-гротескному аду поэмы Гоголя *Мертвые души*, в котором, как известно, представлены персонажи „один пошлее другого“²⁰, и странствующий герой которого, подобно мечущемуся Мите Карамазову, вправе сказать словами Ницше: „Поистине, друзья мои, я хожу среди людей как среди обломков и отдельных частей человека!“²¹. Гоголевский код книги *Митя* подчеркнут самим автором — в главе *Прежний и бесспорный* на фоне скучающей польской пары вниманием окружающих завладевает помещик Максимов, предпринимающий рискованную попытку само-пиара — рекомендуясь „тем самым“ помещиком Максимовым, высеченным гоголевским Ноздревым. Сам по себе этот дантовско-гоголевский круг персонажей не указывает на наличие критериев избирательности по национальному признаку, в которых подозревает Достоевского Стемповский.

Второстепенный или третьестепенный, заведомо „эпизодический“ статус польской темы в романе *Братья Карамазовы* также не представляется самоочевидным. Конечно, читатель обращает внимание на то, что имя и фамилия польского „прежнего“ жениха Грушеньки практически на протяжении всего присутствия этого персонажа на сцене являются сокрытыми. Однако его сюжетное появление компенсируется значимым и звучным местоимением: „На диване сидел он...“²². Но кто „он“?

В упомянутом адском кругу авантюристов и мошенников Книги 8 *Митя* оказывается один из главных героев романа Федор Павлович Карамазов в последние минуты его жизни. В организуемой Достоевским последовательности событий неслучайно появление польского жениха Грушеньки после смерти Федора Павловича. С Митиной перспективы возникает поразительное сходство между поляком и его отцом — возникает идентичное отношение Мити к обоим фигурам и сходное внезапное, практически одновременное исчезновение обоих со сцены. „Прежний“ и „бесспорный“ поляк Грушеньки есть не что иное, как фантомный, инобытийный „отец“ Мити Карамазова. Оба, Федор Павлович и поляк, — „конкуренты“ Мити, к обоим Митя ревнует, явно или скрыто, и, следовательно, испытывает неприязнь. В обоих случаях неприязнь проявляется в форме зрительного отторжения, при виде Федора Павловича всеохватывающего: „Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший кадык его, нос крючком...“²³, при

²⁰ Н. В. Г о г о л ь, *Собрание сочинений в семи томах*, т. 5, Москва 1985, с. 469.

²¹ Ф. Н и ц ш е, *Сочинения в двух томах*, т. 2, Москва 1990, с. 100.

²² Ф. М. Д о с т о е в с к и й, указ. соч., с. 489.

²³ Там же, с. 462.

созерцании поляка („обрюзглое лицо“, „востренькие усики“, „дрянь-ненький паричок“²⁴) рассудочное „я“ Мити пытается сдержать антипатию, постепенно завладевающую эмоциональной стороной его души: „«Ну что же такое, ну и хорошо, что он курит трубку», созерцал Митя... «значит так и надо, коли парик», – блаженно продолжал он созерцать”²⁵.

Польский персонаж в подсознании Мити становится „отголоском“, „эхом“ Отца, следовательно, он лишен бытийной самостоятельности. Неслучайно он назван „привидением“. В его образе присутствует мотив оборотничества, превращения, как, например, в одноименном рассказе Франца Кафки, герой которого превращается в насекомое. „Он“ в романе Достоевского превращается в „оно“:

Теперь с одним по крайней мере *привидением*, страшилищем покончено: этот ее „прежний“, ее бесспорный, фатальный человек этот исчез, не оставив и следа. Страшное привидение *обратилось вдруг* во что-то такое маленькое, такое комическое: его снесли руками в спальню и заперли на ключ. Оно никогда не воротится²⁶ (курсив – Л. М.).

Таков механизм метаморфозы и слияния двух образов: главного – Федора Павловича Карамазова и эпизодического – польского.

Посмертный образ Федора Павловича приобретает фантастический „полонизированный“ колорит. Об этом также свидетельствует странная и произнесенная невпопад фраза прокурора Ипполита Кирилловича, сказанная о Федоре Павловиче Карамазове: „ведь мы все его знали: «Он между нами жил...»”²⁷ – начало известного стихотворения Пушкина о Мицкевиче. К Мицкевичу, конечно, образ жизни Федора Павловича Карамазова не имеет никакого отношения, но показательным то, что таким образом в образ Карамазова-старшего без каких-либо объяснений вносится польский колорит.

Но вернемся к Стемповскому. Практически одновременно с очерком *Поляки в романах Достоевского* появляется эссе-криптопамфлет *Пан Иовяльский и его наследники (Pan Jowialski i jego spadkobiercy)*. Последний некоторые читатели восприняли как текст с зашифрованными смыслами и посланиями читателю, далеко отходящими от смыслов буквальных²⁸. Историко-литературный анализ комедии выдающегося польского драматурга XIX века Александра Фредро содержал в себе скрытую критику политической системы Польши времен

²⁴ Там же, с. 492–493.

²⁵ Там же, с. 493.

²⁶ Там же, с. 513.

²⁷ Ф. М. Достоевский, указ. соч., т. 12, с. 218.

²⁸ J. Tomkowski, указ. соч., с. 7.

Юзефа Пилсудского, а сам образ пана Иовяльского был чем-то вроде маски польского диктатора. По аналогии с упомянутым текстом эссе о Достоевском скрывает возможность прочтения наоборот. В частности, заставляет задуматься высказывание о Ежи Стемповском Марии Домбровской из дневника за 1935 год: „Aż dziwnie, że człowiek w niczym prócz siebie nie potrafi nic dobrego zobaczyć. I aż dziwnie, co robi w Polsce, którą uważa za tak nikczemną i spodłaną”²⁹. Это свидетельство позволяет предположить, что сатирические польские эпизоды Достоевского воспринимались Стемповским даже не без некоторого сочувствия. Так или иначе, мессианизм, идея „Польша — Христа народов”, бывшая символом веры польских эмигрантов и деятелей национально-освободительного движения XIX века, романтизм с его национально-патриотическими императивами однозначно не был идеологическим кредо Стемповского, его он считал архаикой, признаком культурного отставания.

В поэтике романа *Братья Карамазовы* польская тема ориентирована на кардинальный архетип всего произведения — архетип Отцовства, тесно связанный в мировой культуре с представлением о порядке мира и мировой иерархии. Для польской литературы XX века, к которой принадлежал Стемповский, Достоевский может считаться неявным предтечей „литературы насмешки”, гротескно-сатирического направления, разоблачавшего мифы „польскости”, выступающего с критикой „школы недействительности”, занимавшейся производством псевдоценностей и псевдоидеалов. Одним из видных представителей этой школы насмешки над действительностью, а значит, „союзником” Достоевского, может считаться Витольд Гомбрович, читавший книгу *Братья Карамазовы* практически синхронно с написанием романа *Транс-Атлантик*, в котором жесткому и скандальному осмеянию подвергнуты мифы „польскости”. Симптоматично, что в этом романе на смену дорогому сердцу поляка мифу Отчизны (производному от Отца) приходит неомиф „земли обетованной”, маркируемой Гомбровичем с помощью неологизма „Сынчизна”.

Библиография

Б а р а н о в А. И., Стефан Жеромский и Ф. М. Достоевский, [в:] *Литературные связи славянских народов*, Ленинград 1988.

Г о г о л ь Н. В., *Собрание сочинений в семи томах*, т. 5, Москва 1985.

Д о с т о е в с к и й Ф. М., *Собрание сочинений в двенадцати томах*, т. 11, Москва 1982.

Д у д к и н В. В., *Достоевский — Ницше (Проблема человека)*, Петрозаводск 1994.

²⁹ Там же, с. 39–40.

- Земсков В. Б., *Образ России „на переломе” времен (Теоретический аспект: рецепция и репрезентация „другой” культуры), „Новые российские гуманитарные исследования”* 2006, № 1.
- Кундера М., *Нарушенные заветы: эссе*, Санкт-Петербург 2005.
- Липпман У., *Общественное мнение*, Москва 2004.
- Михальская Н. П., *Россия и Англия: проблемы имагологии*, Москва 2012.
- Нельсон Т., *Психология предубеждений. Секреты шаблонов мышления, восприятия и поведения*, Санкт-Петербург 2003.
- Ницше Ф., *Сочинения в двух томах*, т. 2, Москва 1990.
- Пшебинда Г., *Между Краковом, Римом и Москвой. Русская идея в новой Польше*, Москва 2013.
- Углик Я., *Образ поляков в романах и публицистике Ф. М. Достоевского*, “Toronto Slavic Quaterly”, summer 2011, nr 37, с. 142.
- Хорев В. А., *Ф. Достоевский в сознании польских писателей XX века*, [в:] его же, *Восприятие России и русской литературы польскими писателями. Очерки*, Москва 2012, с. 71–98.
- Хорев В. А., *Польша и поляки глазами русских литераторов. Имагологические очерки*, Москва 2005.
- Stempowski J., *Polacy w powieściach Dostojewskiego*, [в:] его же, *Eseje dla Kassandry*, Gdańsk 2005, с. 283–284.
- Wedemann M., *Polonofil czy polakożerca. Fiodor Dostojewski w piśmiennictwie polskim lat 1847–1897*, Poznań 2010.
- Żeromski S., *Snobizm i postęp*, [в:] электронный ресурс: <http://literat.ug.edu.pl/xxx/snobizm/0002.htm> (18.12.2015).

МОЯ ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ БЕРНАР
В ВОСПРИЯТИИ М. ЦВЕТАЕВОЙ

MY DOUBLE LIFE BY SARAH BERNHRDT
AS PERCEIVED BY M. TSVETAEVA

ROMAN VOITEKHOVICH

ABSTRACT. The article is devoted to Marina Tsvetaeva's perception of *Ma Double Vie* (1907) by Sarah Bernhardt. The poem *Sara v Versal'skom monastyre* is analyzed, as well as other works by Tsvetaeva. The book by Bernhardt is one of the pillars of Tsvetaeva's autobiographical myth, including the image of the coffin in which Sarah was having a rest and anecdotes about this coffin. Even the appearance of the poet (her haircut) reflects one of Bernhardt's scenic images.

Роман Войтехович, Тартуский университет, Тарту – Эстония, voitehh@mail.ru

Юрий Михайлович Лотман чрезвычайно интересовался феноменом случайности как одним из необходимых элементов исторического процесса и любого творческого развития, начиная с процесса создания стихотворения и заканчивая построением целой биографии. Герои Лотмана (Карамзин, Пушкин и другие) всегда строят себя и свою жизнь, но строят не всегда по намеченному плану, а точнее – план *всегда* меняется в процессе строительства (иногда „чем случайней, тем вернее“, как сказал Пастернак¹). Даже законченная постройка, например книга, для Лотмана – постоянно перестраивающееся „здание“: „...все боишься, что, пока не читал, она (книга – Р. В.) уже изменилась, как река [...] пока жил – тоже жила [...] Никто дважды не вступал в ту же реку. А вступал ли кто дважды в ту же книгу?“². Это – слова Цветаевой из статьи *Пушкин и Пугачев* (1937), и они хорошо иллюстрируют мысль, к которой Лотман постоянно возвращался.

¹ А. Москалева, „Случайное“ как дискурсивная закономерность в поэзии Бориса Пастернака („И чем случайней, тем вернее...“), [в:] *Случайность и непредсказуемость в истории культуры. Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллинском университете* (4–6 июня 2010 г.), Таллинн 2013, с. 359.

² М. И. Цветаева, *Пушкин и Пугачев*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т., т. 5: Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы*, Москва 1994, с. 499.

Тема настоящей заметки также возникла по чистой случайности. В городской библиотеке среди выброшенных (списанных) книг мне попался томик мемуаров Сары Бернар *Моя двойная жизнь*, и эта находка существенным образом усложнила мое представление о жизненных ориентирах юной Цветаевой. Я бы никогда не стал искать эту книгу сознательно: мало ли сколько актрис перевидала на своем веку Цветаева, сколько мемуаров она прочла, есть огромные и неосвоенные наукой горы книг, прочитанных Цветаевой и имеющих (с позиций „дистанцированного чтения“) более очевидное отношение к ее творчеству. Кроме того, на тему „Цветаева и Сара Бернар“ уже написано несколько статей. В одной уточняются спектакли, на которые ходила Цветаева³, в другой анализируются отклики российской прессы на три визита Сары Бернар в Россию⁴. В третьей доказывается, что попытка застрелиться на спектакле Сары Бернар в 1908 г. не имеет отношения к предсмертному письму 1910 г.⁵ и т. д.

Кое-что давно известно из воспоминаний Анастасии Цветаевой⁶, есть записи Цветаевой⁷ и юмористические замечания в письмах ее мужа⁸. Из этой мозаики упоминаний возникает образ эксцентричной старухи с наполеоновскими замашками (одноногая пожилая дама играет прелестного юношу), которая собственно и важна-то только как приложение к наполеоновскому культу самой Цветаевой. Эта позиция четко высказана дочерью Цветаевой, Ариадной Эфрон⁹, и хотя всем извест-

³ В. А. Петров, *Двенадцать вечеров Марины Цветаевой с Сарой Бернар*, [в:] „Поэт предельной правды чувства“. Материалы Первых Международных Цветаевских чтений, Елабуга 2002, с. 64–77.

⁴ Н. Б. Шанин, *Сара Бернар в русской критике и в восприятии Марины Цветаевой*, [в:] *Лики Марины Цветаевой: XIII Международная научно-тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2005 г.)*. Сборник докладов, Москва 2006, с. 222–232.

⁵ Е. И. Лубянникова, *О прощальном письме Марины Цветаевой 1910 года*, [в:] „Дух – мой сподвижник и Дух – мой вожатый“. Проблемы перевода произведений М. И. Цветаевой. Популяризация творческого наследия Поэта. Материалы Шестых Международных Цветаевских чтений в Елабуге, Елабуга 2013, с. 77–87.

⁶ А. И. Цветаева, *Воспоминания: в 2 т.*, т. 1: 1898–1911 годы, Москва 2008, с. 480, 491, 517–525.

⁷ М. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки: в 2 т.*, т. 1: 1913–1919, Москва 2000, с. 147–148, 154–155.

⁸ Вчера вечером видал Сару в Орленке. Хотя я и не мог всего понять, но все же был поражен игрой. Сара с трудом ходит по сцене (с костью). Голос старческий, походка дряблая – и все-таки прекрасно!

М. Цветаева, *Неизданное. Семья. История в письмах*, Москва 1999, с. 127.

⁹ Прочтя в Москве все книги о нем – а их было немало – и перелюбив все его портреты, она отправилась в Париж, к гробнице Наполеона, как крестоносец – к Гробу Господню, и – на поклон к Саре Бернар, прославленной трагической актрисе, игравшей роستانовского „Орленка“ [...] зрелище негибавшей старости [...] отдавало

но правило „врет как очевидец“, нельзя не подпасть под влияние этой концепции: Эфрон была не только дочерью, но и важным интеллектуальным донором раннего цветаеведения.

Но и Сара Бернар не была для Цветаевой просто исполнительницей роли Орленка и служительницей наполеоновского мифа. И если обратиться к упомянутым статьям и даже просто внимательно прочесть комментарии к ранним стихотворениям Цветаевой, картина отчасти прояснится. Но вот что удивительно и за что следует воздать хвалу случайности: *нигде не обсуждается книга Сары Бернар*. Факты из нее приводятся, знакомство с нею считается вероятным (зная Цветаеву, в этом можно не сомневаться)¹⁰, но сама *Двойная жизнь* как будто не представляет интереса для исследователей.

Наталья Шаинян, автор наиболее серьезной работы по интересующей нас теме, пишет:

Удивляет скорее, что Цветаеву так мало интересовали актеры [...] и самых восторженных отзывов Цветаевой удостоиваются люди, в истории сцены оставшиеся на третьих ролях, например, А. А. Стахович, С. Е. Голлидэй. [...] И все же была актриса [Сара Бернар — Р. В.], которой Цветаева бесконечно восхищалась — именно как актрисой, вне ее человеческой сущности, о которой не знала в силу разделявшего их расстояния, с чистым театральным любованием¹¹.

В этом противопоставлении есть доля истины, но есть и натяжки. Да, с Софьей Голлидэй Цветаева общалась много, но со Стаховичем лично виделась едва ли не единожды. При этом Цветаева виделась и с Сарой Бернар: ходила на ее спектакли в Москве и Париже, брала автографы и запомнила, как великая женщина проявила свой неукротимый характер. Две фотографии подписала как полагается, а на третьей рощерком через все лицо написала: „Ce n'est pas moi!!!“ (это — не я)¹².

Забавно, что подобную реакцию вызвал, по-видимому, цвет волос: они казались на фотографии седыми. Цветаевой, напротив, нравилось

гротеском и оказалось тоже гробницей, воздвигнутой Сарой и Ростану, и ростановскому „Орленку“.

А. С. Э ф р о н, *Страницы воспоминаний*, [в:] ее же, *История жизни, история души: в 3 т.*, т. 3: *Воспоминания, проза, стихотворения, устные рассказы, переводы*, Москва 2008, с. 33–34.

¹⁰ Цветаева могла прочесть издание: *Ma double vie: mémoires de Sarah Bernhardt. Avec de nombreuses illustrations dont plusieurs en couleurs*, Librairie Charpentier et Fasquelle, Paris 1907.

¹¹ Н. Б. Ш а и н я н, *Сара Бернар в русской критике и в восприятии Марины Цветаевой*, [в:] *Лики Марины Цветаевой: XIII Международная научно-тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2005 г.)*. Сборник докладов, Москва 2006, с. 222–233.

¹² А. И. Ц в е т а е в а, *Воспоминания: в 2 т.*, указ. соч., т. 1, с. 491.

это сияние, этот „лунный лед“, она видела в Саре что-то „серафическое“¹³. Даже глаза актрисы она называла голубыми, хотя они были зелеными, как у самой Цветаевой, — но ведь о цвете глаз не было написано в книге *Моя двойная жизнь!*

Вообще, не важно, сколько Цветаева лично общалась со своим ку-миром. Любовь на расстоянии — через пространства и века — была для Цветаевой естественной, что доказывает и эпизод с попыткой самоубийства на *Орленке* Ростана, и любовь „через сто лет“ к Генриху Гейне. За два-три месяца до приезда Сары Бернар в Россию в 1908 г. Цветаева написала Петру Юркевичу о своей любви к сыну Наполеона:

я несколько дней совершенно о Вас не вспоминала. А герцога Рейхштадтского [...] не забываю ни на минуту [...] умерла бы за встречу с ним с восторгом, а за встречу с Вами — нет. [...] Я все лето, всю прошлую весну жила мыслями, снами, чтением о нем. [...] Читаешь и чувствуешь, как подступают слезы, и плачешь, плачешь в тоске по этому молодому, чудесному, непризнанному ребенку, так несправедливо загубленного [sic!] судьбой. Да, такая любовь, как моя к этому болезненному мальчику, этому призраку, — это действительно любовь. Если бы мне сказали: „Ты согласишься сейчас увидеть драму *L'Aiglon*, а потом умереть?“ — я бы без колебаний ответила — „Да!“¹⁴.

Как пишет, Е. И. Лубяникова, вскоре ей представилась такая возможность¹⁵, но, по счастью, с техникой у Цветаевой всегда случались осечки: пистолет подвел. Самое удивительное, что и сам этот сюжет самоубийства на спектакле мог оказаться инспирированным книгой Сары Бернар: на ее спектаклях уже пытались покончить с собой. Позднее у Цветаевой этот мотив всплывет в реквиеме Маяковскому: „Вроде юнкера, на Тоске Выстрелившего — с тоски!“¹⁶. Конечно, в эпоху самоубийств такое случалось сплошь и рядом, но у Сары Бернар этот мотив точно был, и мы не можем сбрасывать его со счетов.

¹³ М. Ц в е т а е в а, *Неизданное. Записные книжки: в 2 т., т. 1: 1913–1919*, Москва 2000, с. 161.

¹⁴ М. И. Ц в е т а е в а, *Собрание сочинений: в 7 т., т. 7: Письма*, Москва 1995, с. 727–728.

¹⁵ Эти слова были написаны М. Цветаевой осенью 1908 г., а через 2 или 3 месяца Судьба в лице С. Бернар, приехавшей в Россию со спектаклем „Орленок“, словно испытывала юного поэта на верность данному им слову.

Е. И. Л у б я н н и к о в а, *О прощальном письме Марины Цветаевой 1910 года*, [в:] „Дух — мой сподвижник и Дух — мой вожатый“: Проблемы перевода произведений М. И. Цветаевой. Популяризация творческого наследия Поэта: Материалы Шестых Международных Цветаевских чтений в Елабуге, Елабуга 2013, с. 85.

¹⁶ М. И. Ц в е т а е в а, *Маяковскому: 4. И полушки не поставишь...*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т., т. 7: Стихотворения. Переводы*, Москва 1994, с. 276.

Если герцога Рейхштадского Цветаева любила по книге Ростана (прочитав при этом и все другие книги о нем), то нет сомнений в том, что и любовь к Саре Бернар была не менее книжной. В понимании Цветаевой книга в концентрированном виде выражает „человеческую сущность“, поэтому нельзя сказать, как пишет Н. Шаинян, что любовь Цветаевой к Саре Бернар протекала „вне ее человеческой сущности“.

Более того, единственное произведение Цветаевой, прямо посвященное Саре Бернар, посвящено отнюдь не ее театральным выступлениям. Большинство читателей даже не подозревает, что это стихотворение — о великой актрисе. Думается, даже В. Я. Брюсов, который рецензировал *Вечерний альбом* и упрекал юного автора за обилие детских имен на страницах книги¹⁷, не понял, что *Сара в Версальском монастыре* (раздел *Детство*, XXVIII) — стихотворение о Саре Бернар. Цветаева могла надеяться, что великую Сару опознают по имени, но сам эпизод, о котором идет речь в стихотворении, большинству театралов не был известен. Зато он был известен читателям Бернаровских мемуаров:

Голубей над крышей вьется пара,
Засыпает монастырский сад.
Замечталась маленькая Сара
На закат.

Льнет к окну, лучи рукою ловит,
Как былинка нежная слаба,
И не знает крошка, что готовит
Ей судьба.

Вся застыла в грезе молчаливой,
От раздумья щечки розовой,
Вьются кудри золотистой гривой
До бровей.

На губах улыбка бродит редко,
Чуть звенит цепочкою браслет, —
Все дитя как будто статуэтка
Давних лет.

Этих глаз синее не бывает!
Резкий звук развеял пенье чар:
То звонок воспитанниц сзывает
В дортуар.

¹⁷ [...] если в следующих книгах г-жи Цветаевой вновь появятся те же ее любимые герои — мама, Володя, Сережа, маленькая Аня, маленькая Валенька [...], мы будем надеяться, что они станут синтетическими образами, символами общечеловеческого, а не просто беглыми портретами родных и знакомых [...].

В. Б р ю с о в, *Новые сборники стихов*, [в:] *Марина Цветаева в критике современников: в 2 ч.*, ч. 1, Москва 2003, с. 28.

Подымает девочку с окошка,
 Как перо, монахиня-сестра.
 Добрый голос шепчет: „Сара-крошка,
 Спать пора!“

Село солнце в медленном пожаре,
 Серп луны прокрался из-за туч,
 И всю ночь легенды шепчет Саре
 Лунный луч¹⁸.

Как видим, особых событий тут нет. Важен сам факт пребывания Сары Бернар в монастыре — в обстановке хорошо знакомой Цветаевой. Стихотворение построено по контрасту со скандальной репутацией и мировой славой французской актрисы. Сара находится в самом спокойном месте на свете, в монастыре — никаких скандалов, она почти неподвижна — никакого действия, на нее никто не смотрит — она сама смотрит на заходящее солнце, а ночью с нею разговаривает лунный луч.

Для читателей Сары Бернар этот лунный луч перекликается с эпизодом одного из первых скандалов, устроенных Сарой Бернар и получивших широкую огласку. В одной из пьес напарница (а по сюжету — соперница) Сары выступала под светом прожектора, изображавшего лунный свет. Она была фавориткой директора театра, который всегда старался подать свою возлюбленную в самом лучшем свете, иногда в ущерб другим актрисам. Сара потребовала и себе лунный луч. Возникла полемика, были проведены опросы и эксперименты, в результате которых Сара Бернар получила свой маленький прожектор и тоже выступала в лунном освещении¹⁹.

Книга Сары Бернар вышла в 1907 г. и стала сенсацией, но многие читатели были разочарованы. Название *Моя двойная жизнь* никак не

¹⁸ М. Ц в е т а е в а, *Сара в Версальском монастыре*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, т. 1: *Стихотворения*, Москва 1994, с. 49–50. Ср. в мемуарах Бернар, где героиня проводит ночные часы дома — в грезах о монастырской жизни:

Погрузившись в свои думы, я так и осталась стоять у окна, прижавшись лбом к стеклу и созерцая на его запотевшей от моего дыхания поверхности сказочную вереницу домов, дворцов, экипажей, несметные сокровища, жемчуг — целые россыпи жемчуга! — принцев, королей [...] в беспредельном пространстве серых небес мне привиделся монастырь Гран-Шан, мой белый дортуар, маленькая лампадка, раскачивающаяся над фигуркой Пресвятой Богородицы, украшенной нашими руками. Трону, предложенному королем, я предпочла бы трон матери-настоятельницы, который мне смутно грезился в отдаленном будущем [...]. Не знаю, сколько времени провела я так, предаваясь своим мечтам, из задумчивости меня вывел мамин голос, она спрашивала у нашей старой служанки Маргариты, не проснулась ли я. Я сразу же нырнула в постель и спрятала нос под простыню.

С. Б е р н а р, *Моя двойная жизнь: мемуары*, пер. с франц. Н. Световидовой, Н. Паниной, Санкт-Петербург 1995, с. 73–74.

¹⁹ Там же, с. 325–327.

отражало содержания. Все ожидали шокирующих откровенностей, но в книге не оказалось ничего, связанного с любовными переживаниями. Главные привязанности, о которых говорится в книге, — это мать, младшая сестра (которую мама любит больше), няня и ребенок — мальчик, об отце которого в книге не сказано ни слова. Тут буквально каждая черта (даже то, что мать заставляла юную Сару заниматься музыкой, которую обожала) перекликается с автобиографическим мифом самой Цветаевой²⁰. Даже мечта иметь ребенка от неизвестного проходимца, которая выльется позднее в сюжеты пьес о Казанове и Лозене, у Цветаевой была²¹. Замечу заодно, что и внешне Цветаева словно ориентировалась на Сару Бернар: очень старалась похудеть и обзавестись непослушными кудрями. И прическа пажа (из иконографии мужских ролей Сары Бернар), и сравнение с маленькой цыганкой — все это были крайне обольстительные для Цветаевой черты, образцы которых давали и снимки, и книга Сары Бернар. Даже то, что Сара была еврейкой по матери, перекликается с известными строками из автобиографической анкеты Цветаевой: „Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия. Страсть к еврейству. Один против всех. Heroica)“²².

Сама неукротимость Сары и ее „жажда всех дорог“ в прямом и переносном смысле — она и актриса, и скульптор, и живописец, и драматург, и прозаик, и покоритель морских бездн, и летчик (полеты на воздушном шаре) — все это было чрезвычайно близко юной Цветаевой, а развитие получило уже в самые разные периоды ее жизни и творчества. Наконец, главное основание имиджа — доминанта голоса над внешностью. Когда в 1917 г. Сара Бернар тяжело заболела во время гастролей в США (с трудом удалось избежать удаления почки, но Саре придется носить дренажную трубку), Цветаева записала в дневнике: „[Апрель, после 13. Воспитательный дом] Умирает Сарра Бернар. Умирает глубочайшее в мире — голос“²³. По счастью, Сара Бернар прожила еще шесть лет после этого.

²⁰ М. И. Цветаева, *Мать и музыка*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, т. 5: *Автобиографическая проза. Статьи. Эссе. Переводы*, Москва 1994, с. 10–32.

²¹ В 1924 г. Цветаева пишет:

Я поступила правильно [...] я не воткнула палки в спицы колеса судьбы [...] и будь этот ребенок у меня от первого прох[одимца], он все-таки был бы, п. ч. он захотел через меня быть.

М. И. Цветаева, Б. Л. Пастернак, *Души начинают видеть: письма 1922–1936 годов*, Москва 2008, с. 100.

²² М. И. Цветаева, *Ответ на анкету*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, т. 4: *Воспоминания о современниках. Дневниковая проза*, Москва 1994, с. 621.

²³ М. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки: в 2 т.*, указ. соч., т. 1, с. 147.

В определенном смысле автопортрет Сары Бернар в ее собственной книге получился достаточно инфантильным. Хотя там есть и героические страницы: во время немецкой оккупации Парижа Сара Бернар спасает раненых — буквально под пулями. В своем театре она устроила лазарет. И спасала в нем не только французов, но и немцев, что не могло не понравиться Цветаевой. Эта инфантильность, которая проявляется даже в простоте слога и какой-то наивности — полном отсутствии рисовки и самолюбования (что не отменяет энергичной простоты стиля, юмора, эффектных фабульных ходов), кого-то разочаровала, но Цветаеву могла только очаровать. Неслучайно Цветаева и сама представила Сару Бернар — на тот момент уже пожилую женщину — в образе ребенка, как она поступила и со многими другими героями своих первых книг (например с Максимилианом Волошиным в *Волшебном фонаре*).

Эта тенденция раннего творчества Цветаевой еще недостаточно проанализирована: Цветаева не просто изображает детей в своих стихах, она запускает творческую „машину времени“ в обратном направлении. Детство — это не то, чего у Цветаевой в избытке в эти годы (уже после первой книги Цветаева вышла замуж и родила ребенка), это — утраченный рай, куда она всеми силами пытается вернуться, достигая в этом смысле пика в сборнике *Из двух книг* (1913), апофеозе Цветаевского воинствующего инфантилизма. Таким же гимном детству стала и первая поэма *Чародей* (1914), а в 30-е годы — и прозаическое квази-мемуарное творчество Цветаевой. Даже в стихотворении *Генералам двенадцатого года* (1913) генералы все время называются или сравниваются с детьми — до назойливости: „Вас охраняла длань Господня / И сердце матери. Вчера / — Малютки-мальчики, сегодня / — Офицера. [...] Вы были дети и герои, / Вы всё могли. // Что так же трогательно-юно, / Как ваша бешеная рать?... / Вас златокудрая Фортуна / Вела, как мать“²⁴. Ребенок и юная мать — вот две ипостаси, в которых Сара Бернар появляется на страницах собственной книги.

Если взглянуть на содержание первых книг Цветаевой, то выяснится, что присутствие Сары Бернар в них не ограничивается одним стихотворением. От Сары неотделим весь „ростановско-наполеоновский“ слой. Надо сказать, что Сара не только играла Орленка, но и сама дружила с потомками Наполеона и восхищалась им самим: об этом тоже есть на страницах *Двойной жизни*²⁵.

Давно прокомментировано, что такое важное стихотворение, как *Даме с камелиями* („Все твой путь блестящей залой зла, / Маргарита,

²⁴ М. И. Ц в е т а е в а, *Генералам двенадцатого года*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, т. 1: *Стихотворения*, Москва 1994, с. 194–195.

²⁵ С. Б е р н а р, *Моя двойная жизнь...*, указ. соч., с. 180, 216–217, 363, 473.

осуждают смело. / В чем вина твоя? Грешило тело! / Душу ты — невинной сберегла”²⁶), связано с одной из вершинных ролей Сары Бернар. Абсолютно точно известно, что Цветаева была на этом представлении²⁷. Видела Цветаева и Сару Бернар в *Федре* Расина²⁸, и позднее развитие образа Федры в стихах Цветаевой, несомненно, коренится в ранних впечатлениях, как от *Федры*, так и от *Дамы с камелиями*. Этот еврипидовско-расиновский тип грешно-безгрешной героини, безусловно, оказался важен для всего творчества Цветаевой и, думается, образ Сары Бернар сыграл в этом определенную роль, а книга *Моя двойная жизнь* укрепила Цветаеву в мысли о том, что истинная Сара — та, из монастыря.

И даже на известных стихах Цветаевой о собственной смерти, как нам кажется, лежит ответ Сары Бернар. Ср.:

Настанет день — печальный, говорят!
 Отцарствуют, оплачут, отгорят,
 — Остужены чужими пятаками —
 Мои глаза, подвижные как пламя.
 И — двойника нащупавший двойник —
 Сквозь легкое лицо проступит лик.
 О, наконец тебя я удостоюсь,
 Благообразия прекрасный пояс!²⁹

Сара Бернар, как известно, любила спать, а иногда и фотографироваться в гробу. С этим связан в книге и трагикомический эпизод. У Сары умерла сестра, и пришлось внести в комнату второй гроб:

Когда служащие похоронного бюро вошли в комнату, чтобы вынести тело усопшей, они увидели два гроба, и, растерявшись, главный распорядитель спешно послал за вторым катафалком. Я была в тот момент у матери, лежавшей без чувств, и вернулась как раз вовремя, чтобы не дать людям в черном унести мой гроб. Второй катафалк отпустили, но газеты раздули этот случай. Меня ославили, осудили и т. д. Но в чем тут была моя вина?...³⁰

Последний риторический вопрос — словно цитата из стихотворения Цветаевой о Маргарите Готье!³¹

²⁶ М. Цветаева, *Дамы с камелиями*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, указ. соч., т. 1, с. 18.

²⁷ М. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки: в 2 т.*, указ. соч., т. 1, с. 148.

²⁸ Там же, с. 489.

²⁹ М. И. Цветаева, *Стихи о Москве: 4. Настанет день — печальный, говорят!...*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, указ. соч., т. 1, с. 270–271.

³⁰ С. Бернар, *Моя двойная жизнь...*, указ. соч., с. 333.

³¹ Ср. макабрический розыгрыш Цветаевой (31 мая 1920 г. — разговор с Н. Н. Вышеславцевым):

После всего сказанного знакомые наизусть слова Цветаевой из ответа на анкету 1926 г. звучат иначе:

Постепенность душевных событий: все раннее детство — музыка, 10 лет — Революция и море [...], 11 лет — католичество, 12 лет — первое родино-чувствие [...] Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и Шмидтом [...] 16 лет — разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар („Орленок“), взрыв бонапартизма [...] Французские и германские поэты³².

Да, Наполеон главенствует в этом описании, но все-таки „любовь к Саре Бернар“ выделена отдельным пунктом, и эта любовь служит переломным моментом, после которого следует реставрация Наполеона в сердце поэта.

И, конечно, уже с большим доверием можно отнести к имени Сары Бернар, неожиданно всплывающему в 1932 г. в *Живое о живом*, где Цветаева вспоминает, как якобы бросила „стакан — через всю террасу — в дерзкую актрису, осмелившуюся обозвать Сару Бернар старой кривлякой“³³. Поступок в духе самой Сары Бернар. Там же говорится, как Цветаева рассказывала Волошину „о Саре Бернар, к которой год назад сорвалась в Париж, которой там не застала и кроме которой там все-таки ничего не видела...“³⁴.

Вообще, есть и другие объяснения поездки Цветаевой в Париж в 1909 г. Но, может быть, этот пассаж отчасти объясняет сравнение Са-

Встреча с НН. в саду. Мой лепет про покойника (выдумала вчера, всю ночь хохотала одна — вслух — до утра — не могла спать!)
 — „НН, у меня есть к Вам маленькая просьба: у одной моей знакомой дамы умер муж, — и вот — ее выселяют с квартиры, не могли ли бы Вы взять его к себе — пока — потом, когда она найдет квартиру, она опять его возьмет...“ [...]
 — „Т. е. кого — его?“ (Пауза) — „Покойника?“
 — „Да“.
 — „Во первых я здесь сам живу без прописки, во вторых — куда же я его помешу?“
 — „Я думала, — в проходной комнате“.
 — „Т. е. там, где я развешиваю хлеб?“
 — „Да. — Не надолго, на неделю, она наверное скоро найдет квартиру“.
 — „Но он в неделю отравит мне весь воздух. Нет, не могу, отказываюсь“.
 — „Я так и думала“, (и, не унывая:) — „тогда у меня другая просьба: не могли ли бы Вы его нарисовать, так, по памяти?“
 — „?“ —
 — „П[отому] ч[то] карточки нет, а сам он сейчас ужасно непохож. — Так... скомбинировать...“ затем, побезумившись, изложила, в чем дело.

М. Ц в е т а е в а, *Неизданное. Записные книжки: в 2 т.*, указ. соч., т. 1, с. 193.

³² М. И. Ц в е т а е в а, *Ответ на анкету*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, т. 4: *Воспоминания о современниках. Дневниковая проза*, Москва 1994, с. 622.

³³ М. И. Ц в е т а е в а, *Живое о живом*, [в:] ее же, *Собрание сочинений: в 7 т.*, указ. соч., т. 4, с. 190.

³⁴ Там же, с. 163.

ры Бернар и Ахматовой, к которой Цветаева совершила паломничество в Петроград, но уже в конце 1915 г. (хотя и в этом случае были другие резоны): „Сарра Бернар и Ахматова. Видела и слышала Сарру, Ахматову — никогда. Но любила я их какой-то одной волной“³⁵. Далее — запись разговора с неизвестным:

— Вы знакомы с Ахматовой? [...] Расскажите мне про нее: какие у нее глаза, походка, голос. [...] — Голос у Ахматовой... Я знаю два таких голоса... Голос Сарры Бернар — и голос Анны Ахматовой...³⁶

Думаю, сказанного достаточно для введения в тему и для того, что-бы побудить других исследователей Цветаевой к более внимательному знакомству с книгой Сары Бернар.

Библиография

- Бернар С., *Моя двойная жизнь: мемуары*, пер. с франц. Н. Световидовой, Н. Паниной, Санкт-Петербург 1995.
- Лубянникова Е. И., *О прощальном письме Марины Цветаевой 1910 года*, [в:] „Дух — мой сподвижник и Дух — мой вожатый“. Проблемы перевода произведений М. И. Цветаевой. Популяризация творческого наследия Поэта: Материалы Шестых Международных Цветаевских чтений в Елабуге, Елабуга 2013, с. 77–87.
- Марина Цветаева в критике современников: в 2 ч., ч. 1, Москва 2003.
- Москалева А., „Случайное“ как дискурсивная закономерность в поэзии Бориса Пастернака („И чем случайней, тем вернее...“), [в:] *Случайность и непредсказуемость в истории культуры. Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллинском университете (4–6 июня 2010 г.)*, Таллинн 2013, с. 346–361.
- Петров В. А., *Двенадцать вечеров Марины Цветаевой с Сарой Бернар*, [в:] „Поэт предельной правды чувства“. Материалы Первых Международных Цветаевских чтений, Елабуга 2002, с. 64–77.
- Цветаева А. И., *Воспоминания: в 2 т., т. 1: 1898–1911 годы*, Москва 2008.
- Цветаева М., *Неизданное. Записные книжки: в 2 т., т. 1: 1913–1919*, Москва 2000.
- Цветаева М. И., *Собрание сочинений: в 7 т., Москва 1994–1995*.
- Цветаева М. И., Пастернак Б.Л., *Души начинают видеть: письма 1922–1936 годов*, Москва 2008.
- Шаинян Н. Б., *Сара Бернар в русской критике и в восприятии Марины Цветаевой*, [в:] *Лики Марины Цветаевой: XIII Международная научно-тематическая конференция (Москва, 9–12 октября 2005 г.)*. Сборник докладов, Москва 2006, с. 222–232.

³⁵ М. Цветаева, *Неизданное. Записные книжки: в 2 т.*, указ. соч., т. 1, с. 155.

³⁶ Там же.

BORYS PASTERNAK WOBEC IDEOLOGII SWOICH CZASÓW

BORIS PASTERNAK AND THE IDEOLOGY OF HIS TIMES

ZYGMUNT ZBYROWSKI

ABSTRACT. Boris Pasternak avoided open ideological declarations. We usually discern his attitude and views from his works. As an active participant of the intellectual and artistic life of his times, however, Pasternak was compelled to opt for a standpoint regarding the problems faced by Russian society at the time. The poet represented a certain attitude towards such ideological issues as revolution, anti-Semitism, feminism, the role of Christianity in history, and new ideas and trends in art. Other ideologies such as ecology, Tolstoyism and Marxism, to which he attached lesser importance, should also be mentioned.

Zygmunt Zbyrowski, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz – Polska, zygmun.zbyrowski@gmail.com

Borys Pasternak żył i działał w czasach, kiedy w Rosji zachodziły radykalne zmiany społeczno-polityczne, rodziły się i walczyły między sobą różnorodne ideologie¹. Wymagało to ciągłego podejmowania decyzji, zajmowania stanowiska, wyrażania poglądów, zwłaszcza w przypadku osób występujących publicznie, między innymi ludzi kultury, w szczególności pisarzy, poetów. Pasternak od wczesnej młodości był człowiekiem aktywnym, uczestniczył w życiu kulturalnym, literackim przed- i porewolucyjnym. Utrzymywał kontakty zawodowe i prywatne ze środowiskami i działaczami politycznymi, społecznymi, naukowymi i kulturalnymi tamtych czasów. Stwarzało to sytuacje zmuszające go do dokonywania trudnych wyborów. Starał się tego unikać. Nigdy otwarcie nie deklarował swojego stanowiska ideowego, zachowywał umiar, powściągliwość. Często się wahał, miał wątpliwości. Był bardzo daleki od wszelkiego radykalizmu.

Po rewolucji, szczególnie w latach 30., oskarżano go o postawę społeczną. Poczul się zmuszony do pewnych społeczno-politycznych deklaracji.

Pisał:

Иль я не знаю, что в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,

¹ Z. Z b y r o w s k i, *Borys Pasternak wobec doświadczenia zbiorowego*, [w:] *Słowiańszczyzna Wschodnia: twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe*, Zielona Góra 1998, s. 107–115.

И я урод, и счастье сотен тысяч
 Не ближе мне пустого счастья ста?
 И разве я не мерюсь пятилеткой,
 Не падаю, не поднимаюсь с ней?²

Ale takie jednoznaczne wyznania były zupełnym wyjątkiem.

Dystans do ideologii przypuszczalnie przejął od rodziców. Ich postawę i poglądy społeczno-polityczne, podobnie jak ich środowiska zawodowego i towarzyskiego, można określić jako postępowe, demokratyczne, ale nie rewolucyjne. Nie angażowali się w żadną działalność publiczną, społeczno-polityczną, całkowicie poświęcając się życiu artystycznemu, towarzyskiemu i rodzinnemu. W takim otoczeniu i w takiej atmosferze wyrastał Borys. Prawdopodobnie przejmował jako własne ideały otoczenia rodzinnego i środowiskowego. W zasadzie w dzieciństwie i młodości ukształtował się jego światopogląd i postawa ideowa, którym pozostał wierny przez całe życie.

Można wymienić kilka obszarów życia publicznego, zwłaszcza społeczno-politycznego, gdzie powstawały problemy wymagające zajęcia przez niego stanowiska. Cezurą była rewolucja październikowa 1917 roku. Ona rozwiązała pewne problemy Rosji przedrewolucyjnej, ale stworzyła nowe. Warto im się przyjrzeć, by przekonać się, jak je traktował Pasternak w życiu i twórczości.

Przed rewolucją w Rosji dominowały kwestie ekonomiczne, społeczne i wywołane przez nie ideologie, krytyka rzeczywistości, bunt chłopski i studencki, ruch robotniczy. I pisarz do nich się ustosunkowywał w swojej twórczości³. Wszystko to przygotowywało grunt pod rewolucję. Do niej też trzeba było się ustosunkować. Ale były i inne kwestie nabrzmiałe lub dopiero rodzące się, takie jak judaizm i antysemityzm, sytuacja kobiet i budzący się ruch feministyczny. Po rewolucji doszły takie problemy jak cenzura i represje polityczne, marksizm, pacyfizm, ekologia. Niektórym z nich Pasternak poświęcił więcej uwagi, o innych tylko pobieżnie wspominał, na przykład w rozmowach lub rozmyślaniach bohaterów. Możemy jednak z tego wyciągnąć wnioski co do jego poglądów i ocen.

Pierwszym ważnym wydarzeniem społeczno-politycznym, które musiało wywrzeć wpływ na jego postawę i poglądy oraz zaistnieć w twórczości, była niewątpliwie rewolucja 1905 roku. Przeżył ją jako piętnastola-

² Б. П а с т е р н а к, *Борису Пильняку*, [w:] tegoż, *Стихотворения и поэмы в двух томах*, т. 1, Ленинград 1990, s. 202. Dalej wiersze Pasternaka przytaczam z tego wydania, podając w tekście tytuł i stronę.

³ Z. Z b y r o w s k i, *Критика дореволюционных общественно-политических отношений в романе Бориса Пастернака „Доктор Живаго”*, [w:] *Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII. Studia*, pod red. W. Supy, Białystok 2008, s. 181–190; tegoż, *Rosja carska w powieści Borysa Pasternaka „Doktor Żywago”*, [w:] *Mistrzowi i przyjacielowi. Pamięci profesora Zbigniewa Barańskiego*, Wrocław 2010, s. 445–456.

tek. Można przypuszczać, że podobnie jak duża część postępowej inteligencji rosyjskiej popierał jej idee, cele, choć może nie do końca uświadomione i sprecyzowane. Chyba oczekiwał trochę czego innego. Nie mógł czynnie uczestniczyć w wydarzeniach, ale był uważnym obserwatorem. Potwierdzają to jego wspomnienia w *Liście żelaznym* (*Охранная грамота* (1930)), a zwłaszcza napisane w połowie lat dwudziestych dwa poematy *1905 rok* (*Девятьсот пятый год* (1926)) i *Lejtnant Szmidt* (*Лейтенант Шмидт* (1927)). Sam fakt podjęcia tego tematu dowodzi zainteresowania problematyką rewolucyjną. Odgrywa ona również ważną rolę w dwóch innych dużych utworach powstałych w latach dwudziestych – w poemacie *Wzniosła choroba* i w powieści wierszem *Spektorski*.

Ta sama tematyka zajmuje ważne miejsce w fabule, losach, postawach i przeżyciach bohaterów *Doktora Żywago* (*Доктор Живаго* (1989))⁴. Przeważa pozytywny, choć krytyczny, stosunek do rewolucji i jej aktywnych uczestników. Nie mógł jednak pisarz nie zauważać nieszczęść, nienawiści, okrucieństwa, jakie towarzyszyły rewolucji i wojnie domowej. Zło widział jednak po obu stronach politycznej barykady.

W czasie, gdy kształtował się światopogląd i poglądy ideologiczne Pasternaka, dużą rolę odgrywało Towarzystwo Religijno-Filozoficzne powstałe w 1907 roku w Petersburgu. Dyskutowano w nim również nad problemami społecznymi. Nie stworzono zorganizowanej szkoły filozoficznej, natomiast działali wybitni myśliciele (Mikołaj Bierdiajew, Sergiusz Bułgakow, Wasyl Rozanow, Mikołaj Fiodorow oraz Włodzimierz Sołowjow). Nawiązywano również do myśli religijno-filozoficznej Fiodora Dostojewskiego, Lwa Tołstoja i Andrieja Bielego. Pasternak nie zainteresował się ich teoriami, choć je znał. Natomiast skorzystał z ich ideologii i poglądów w *Doktorze Żywago*⁵. Reprezentuje je Mikołaj Wiedieniapin⁶ i jego młodzi zwolennicy (Jurij Żywago, jego przyjaciele Misza Gordon, Nika Dudorow oraz Sima Tuncewa). Wiadać, że bliskie autorowi są ich poglądy na historię, zwłaszcza na pozytywną rolę w niej chrześcijaństwa. Ci bohaterowie są zafascynowani problemami nieśmiertelności, walki życia ze śmiercią. Głoszą oni swobodę jednostki,

⁴ R. H. Howard, *Ideology and "Doctor Zhivago"*, "Antioch Review" 1959, no. 19, s. 224-236; А. Поремский, *Политические мотивы в романе „Доктор Живаго“*, „Наши дни” 1959, № 1, s. 33-45; F. Lohnbill, *„Dr Zhivago” and the Russian Revolution*, "Contemporary Issues" 2011, no. 41, s. 1-10.

⁵ Z. Zbyrowski, *Религиозно-философская проблематика начала 20 века в романе Бориса Пастернака „Доктор Живаго“*, [w:] *Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku. Poszukiwania. Eksperymenty. Rewizje*, Gdańsk 2008, s. 29-42.

⁶ R. E. Peterson, *Andrej Belyj and Nikolaj Vedenjapin*, "Wiener slawistischer Almanach", 1982, nr 9, s. 111-117; А. В. Лавров, *Еще раз о Веденяпине в „Докторе Живаго“*, [w:] *„Быть знаменитым некрасиво...”. Пастернаковские чтения*, вып. 1, Москва 1992, s. 92-100.

którą przeciwstawiają tłumowi i państwu. Bliska im jest idea ekumenizmu. Ich postawy i poglądy nie mają jednak w powieści wpływu na fabułę, na losy bohaterów, a więc w sumie odgrywają rolę drugorzędną. Są tylko przedmiotem rozmyślań i rozmów.

Ważnym dla kształtowania postawy życiowej i poglądów ideologicznych Pasternaka był jego dwukrotny kilkumiesięczny pobyt na Uralu. Wyjechał tam, by oderwać się od środowiska futurystycznego oraz problemów bieżącego życia literackiego i poświęcić się pracy twórczej. Wynajmował pokój u inżyniera biochemika Borysa Zbarskiego, po rewolucji profesora i akademika. Zaprzyjaźnił się z nim i jego żoną Fanni. Zbarscy byli z przekonania socjalistami-rewolucjonistami. Łączyło ich z Pasternakiem podobieństwo postaw życiowych, Jednak on nie przejął ideologii eserów. Utrzymywał kontakt ze Zbarskimi również po rewolucji. Na Uralu miał okazję zetknąć się z przemysłem i klasą robotniczą, co przypuszczalnie mogło wpłynąć na jego postawę społeczno-polityczną i ułatwić mu zaakceptowanie przemian rewolucyjnych.

Uralski epizod pozostawił trwały ślad w jego twórczości. Akcje wielu swoich utworów poetyckich i prozaicznych: *Spektorski* (*Спекторский* (1931)), *Dzieciństwo Luwers* (*Детство Люберс* (1922)), *Opowieść* (*Повесть* (1929–1934)), a przede wszystkim dużą część fabuły powieści *Doktor Żywago* umieścił właśnie na Uralu i spożytkował w nich tamtejsze realia.

Duże znaczenie dla jego postawy i twórczości miało rewolucyjne lato 1917 roku⁷. Powstała wówczas większość wierszy zbioru *Siostra moja – życie* (*Сестра моя – жизнь* (1922)). Przelomowe wydarzenia społeczno-polityczne tego roku nie znalazły jednak odbicia w tematyce wierszy i przeżyciach bohatera lirycznego. Natomiast tworzyły atmosferę, nastrój wyzwolenia. Działalność ludzi przedstawił poeta jako aktywność natury. Ona stwarza wrażenie, że dzieje się coś cudownego, niezwykłego, następuje przeobrażenie przyrody i człowieka. W wierszach zbioru dominuje optymizm, aprobata życia.

Rewolucja październikowa wprowadziła poważne zmiany w życiu społeczeństwa rosyjskiego. Dotyczyło to również Pasternaków. Dotknęły ich różne kłopoty życiowe, bytowe. Ojciec stracił regularne zarobki, zabrano im część mieszkania. Borys nie miał stałych dochodów. Mimo to, jak duża część ich środowisk, rewolucję przyjęli przychylnie, choć wiązali z nią nieco inne nadzieje. Nie tyle społeczne i polityczne, ile etyczne i estetyczne. Niezwykle interesujące i symptomatyczne są bezpośrednie kontakty Pasternaków z czołowymi przedstawicielami obozu władzy porewolucyjnej. Znajdowało to również wyraz w twórczości Leonida i Borysa Pasternaków.

⁷ Е. П а с т е р н а к, *Лето 1917 года: „Сестра моя – жизнь” и „Доктор Живаго”*, „Звезда” 1990, № 2, s. 159–165.

Leonid Pasternak stworzył szkice do portretu Lenina występującego na IX Zjeździe Rad w lipcu 1921 roku. Był malarz zatem świadkiem tego wydarzenia, podobnie jak Borys, który, dopracowując do wydania w 1928 roku swój poemat *Wzniosta choroba* (*Высокая болезнь* (1923–1927)), włączył do niego ten epizod. Jego ocena wodza rewolucji była ambiwalentna. W poemacie prezentował go z pozycji naocznego świadka, wnikliwego obserwatora. Dawał wysoką ocenę jego osobowości. Widział w nim postać nieprzeciętną, podkreślał jego aktywność. Lecz jednocześnie wódz rewolucji był dla niego uosobieniem fanatyzmu, nietolerancji.

Kiedy rodzice z córkami w 1921 roku ubiegali się o zgodę na wyjazd do Niemiec w celach zdrowotnych i edukacyjnych, uzyskali osobiste poparcie samego ministra Anatola Łunaczarskiego. Z kolei Borys przed wyjazdem do Berlina z żoną w 1922 roku prosił o poparcie Lwa Trockiego, który znał i cenił go jako poetę (napisał o nim w tym czasie artykuł), ale wahał się, gdyż nie bez pewnych podstaw podejrzewał go, że może planować emigrację. Ale ostatecznie poparł jego prośbę. Powyższe fakty pozwalają wyciągnąć wniosek, że Pasternakowie (nie wyłączając Borysa) w pierwszych latach po rewolucji nie byli jej wrogami. Raczej ją akceptowali⁸.

Pasternak w latach dwudziestych i szczególnie w pierwszej połowie trzydziestych przeżywał nawet proces zbliżenia ideowego do rzeczywistości porewolucyjnej. Ale z wahaniem i rozczarowaniami. Sam swoje przeżycia początku lat 30. nazywał „powtórными narodzinami”, jak zatytułował powstały wówczas zbiorek poezji. Wkładał w to pojęcie również akceptację rzeczywistości. Zbliżenie z nią wynikało z różnych przyczyn i przejawiało się różnie. Stosunkowo najmniej w twórczości, najwidoczniej zaś w kontaktach zawodowych i przyjacielskich. Przeważały w nich środowiska i ludzie kojarzeni z władzą lub ją popierający.

Sugerowano Pasternakowi po śmierci Majakowskiego, podobno z inicjatywy Stalina, by zajął miejsce czołowego, sztandarowego poety radzieckiego. Taka rola nie odpowiadała mu zarówno ze względów osobowościowych, jak i ideowych. Na szczęście dla niego nie upierano się przy tym pomysle. Swoje kontakty z przedstawicielami władzy wykorzystywał nie tyle we własnym interesie, ile pomagając innym.

Pasternak musiał ustosunkować się do idei uprzemysłowienia, postępu technicznego, przeobrażenia przyrody, podporządkowania jej człowiekowi, często z naruszeniem jej praw. Traktowano ją jak wroga. Jeśli nie da się go złamać, to można, a nawet trzeba, go zniszczyć. Pasternak demonstrował swoją postawę proekologiczną, odmawiał akceptacji dla uprzemysłowienia, przynajmniej w tej postaci, w której dokonywano nadużyć i nie liczone

⁸ M. Aucouturier, *Pasternak et la revolution*, „Europe – Revue Litteraire Mensuelle”, mars 1993, s. 27–47.

się ze stratami w przyrodzie⁹. W całej jego twórczości znajdujemy wyraziste przeciwstawienie z jednej strony natury jako zjawiska pozytywnego, uosabiającego życie, dobro, światło, barwy, z drugiej zaś negatywnie ocenianej cywilizacji reprezentującej martwość, zło, ciemność, szarość. W wielu utworach w ujemnej roli ideowej występuje kolej, z którą związane są tragiczne losy i przeżycia ludzi¹⁰. Pasternak opiewa przyrodę i zawsze staje po jej stronie. Jej nieraz powierza poeta przeżycia i refleksje bohatera lirycznego.

Okres złudzeń ideowych trwał krótko. Już pod koniec lat dwudziestych Pasternak raz po raz zajmował negatywne stanowisko wobec różnych zjawisk i wydarzeń życia politycznego i kulturalnego. Nasiliło się to w drugiej połowie lat trzydziestych, kiedy ofiarami represji politycznych stawali się ludzie mu bliscy – Bucharin, Woronski, Połonski, Pilniak oraz gruzińscy przyjaciele Tabidze i Jaszwili. Konsekwentnie odmawiał podpisywania różnych apeli potępiających represjonowanych pisarzy i działaczy politycznych¹¹.

Już w latach dwudziestych sporadycznie miewał kłopoty z cenzurą. Swoimi odczuciami dzielił się z kuzynką Olgą Freidenberg w liście z 20 października 1930 roku:

Написал я своего *Медного всадника*, Оля, — скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего. Вероятно, он не увидит света. Цензура стала кромсать меня в повторных изданиях и, наверстывая свое прежнее невнимание ко мне, с излишним вниманием впивается в рукописи, еще не напечатанные¹².

Budziło to jego sprzeciw, któremu dawał wyraz¹³. Przykładem mogą być perypetie w końcu 1929 roku związane z publikacją powieści wierszem *Spektorski* w wydawnictwie Lengiz, które domagało się zmiany politycznego wydźwięku zakończenia, gdzie autor m.in. nawiązywał do zabójstwa rodziny carskiej: „Там мучили, там сбрасывали в штольни, Там измы-

⁹ Z. Z b y r o w s k i, *Экологическое мировосприятие Бориса Пастернака*, [w:] *Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi*, Zielona Góra 2004, s. 211–220.

¹⁰ R. B. A n d e r s o n, *The Railroad in "Doktor Zhivago"*, "Slavic and East European Journal" 1987, 31, no. 4, s. 503–519; R. B o b r y k, J. F a r y n o, *Parowóz wzorowego maszynisty*, „Studia Litteraria Polono-Slavica” Warszawa 1999, nr 3, s. 243–246; Б. М а н с к о в, *Поезда в „Докторе Живаго” Бориса Пастернака*, „Studia Litteraria Polono-Slavica” 1999, nr 3, s. 235–241; Е. М. Т ю л е н е в а, *Мифологема „вокзала” в поэтическом пространстве Пастернака 1910–1920-х гг.*, [w:] *Творчество писателя и литературный процесс*, ИВАНОВО 1999, s. 97–108.

¹¹ Z. Z b y r o w s k i, *Emigracja wewnętrzna Borysa Pasternaka. Próba interpretacji*, [w:] *Studia Rossica X. O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej*, pod red. W. Skrundy, Warszawa 2000, s. 51–61.

¹² *Переписка Бориса Пастернака*, Москва 1990, s. 129.

¹³ Z. Z b y r o w s k i, *Borys Pasternak wobec represji politycznych*, [w:] *Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku*, Zielona Góra 2000, s. 53–63.

вался шахтами Урал” (t. 1, s. 367). W związku z tym Pasternak pisał: „На букве идеологии стали настаивать, точно она — буква контракта. Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен”¹⁴. Autor nie zgodził się na wprowadzenie zmian i umowa została zerwana. W sierpniu 1931 roku Wydawnictwo Literackie w Leningradzie zawarło umowę na wydanie *Dzieł zebranych* Pasternaka. Jednak w 1932 roku wykreślono jego nazwisko z planu wydawniczego. Zrezygnowano również z wydania planowanej książki Borysa Buchsztaba, poświęconej życiu i twórczości Pasternaka.

Borys Pasternak żył i działał w środowisku, w którym na co dzień osobiście nie stykał się z antysemityzmem¹⁵. Nieprzypadkowo problem żydowski i antysemityzm nie pojawiały się w jego twórczości. Pomijał go również w innych wypowiedziach, np. w utworach autobiograficznych, korespondencji, artykułach. Pojawił się tylko przelotnie w *Liście żelaznym*. Kontakty zawodowe i osobiste, podobnie jak rodzice, utrzymywał zarówno z Żydami, jak też prawosławnymi Rosjanami. Pochodzenie etniczne i religia nie odgrywały żadnej roli w jego życiu uczuciowym. Dopiero po opublikowaniu na Zachodzie powieści *Doktor Żywago* i otrzymaniu przez niego Nagrody Nobla zaczęto przez pewien czas wypominać mu złe pochodzenie.

Ale już w dzieciństwie zetknął się osobiście i bezpośrednio z tym problemem. W wieku 10 lat ubiegał się o przyjęcie do gimnazjum, zdał dobrze egzamin wstępny. Okazało się jednak, że szkoła miała limit 3% uczniów Żydów. W tym roku był on wyczerpany, nie zwolniło się żadne miejsce. I mimo protekcji wysoko postawionych osób nie można było złamać lub obejść przepisów. W ten sposób chłopcu przypomniano, że należy do tej części społeczeństwa, której mniej wolno. Musiał przez rok czekać, ucząc się w domu.

Nie ulega wątpliwości, że to swymi ówczesnymi przeżyciami, odczuciami i refleksjami obdarzył pisarz jednego z ważnych bohaterów *Doktora Żywago*, Miszę Gordona. Na początku powieści był on w tym samym wieku, co Borys, gdy spotkało go to pierwsze niezаслужone niepowodzenie życiowe. Prawdopodobnie to właśnie autor rozważał swoją sytuację tak, jak w powieści Misza. Ten zauważał, że w jakiś sposób jest wyłączony ze wspólnoty otaczających go ludzi.

Właśnie w powieści Pasternak po raz pierwszy i jedyne bardzo bezpośrednio i zdecydowanie zajął stanowisko w tej ważnej sprawie. Skorzystał jednak z pośrednictwa bohaterów. To Jurij Żywago, Misza Gordon i Lara

¹⁴ Из истории советской литературы. 1920–1930, „Литературное наследство”, Москва 1983, т. 93, с. 715.

¹⁵ J. S t o r a, *Pasternak et le judaisme*, „Cahiers du monde russe et soviétique” 1968, no. 9, s. 353–364; З. Б. Ы р о в с к и, *Еврейский вопрос в жизни и творчестве Бориса Пастернака*, „Studia Rossica Posnaniensia”, Poznań 1998, z. XXVIII, s. 37–42.

wypowiadają myśli bliskie autorowi. Jego poglądy sprowadzają się do jednoznacznego potępienia antysemityzmu. Takie stanowisko zajmuje doktor Żywago w strefie przyfrontowej w scenie, gdy strofuje żołnierza i zabrania mu znęcania się nad starym Żydem na oczach rodziny. W rozmowie z przyjacielem Miszą broni również Żydów przed oskarżeniem o brak patriotyzmu. Jednak w wypowiedzi Lary, postaci ważnej i bliskiej głównemu bohaterowi, a jednocześnie sympatycznej dla autora, narratora i czytelników, wyraża też myśl, że Żydzi są sami winni, gdyż nie chcą się asymilować. On sam i jego najbliższa rodzina praktycznie zasymilowali się.

Problem kobiecy, ruch feministyczny na początku XX wieku w Rosji jeszcze nawet się nie zaczął. Ale praktycznie działały już jego przedstawicielki, kobiety ambitne, wykształcone, aktywnie działające zawodowo¹⁶. I młody poeta spotykał je, zauważał i akceptował ich postawę. Nigdy nie wypowiadał się publicznie jako zwolennik feminizmu. Ale zauważał poniżenie kobiet, współczuł im, popierał ich bunt.

W najbardziej jaskrawy i jednoznaczny sposób poniżenie kobiet i ich walkę o swoją pozycję społeczną i godność osobistą zaprezentował Pasternak w utworze z 1929 roku *Opowieść*¹⁷. Tam też wyraźnie opowiedział się po stronie krzywdzonej, upokarzanej i walczącej kobiety. Główny bohater Sierioża, nauczyciel domowy syna Frestelnów, spotyka Annę Arild, z pochodzenia Dunkę, młodą wdowę po pastorze. Zatrudniła się ona jako dama do towarzystwa pani Fresteln, lecz ta traktuje ją jak służącą, zmusza do wykonywania upokarzających prac fizycznych, nie dopuszcza do towarzystwa. Anna widocznie zetknęła się już na Zachodzie z ruchem feministycznym i nie zamierza godzić się z taką pozycją, szuka i znajduje lepsze rozwiązanie. W *Opowieści* nie ma mowy o ideologicznej walce o prawa kobiet, równouprawnienie. Również bohaterka nie powołuje się na żadne prawa.

Inny nabrzmiały problem kobiecy w *Opowieści* to wątek prostytutki. Ten zawód reprezentuje Sasza. Jej los bulwersuje głównego bohatera, Sieriożę. Próbuje on poprawić go w naiwny sposób. Zamierza zdobyć pieniądze i dać jej, by nie musiała się sprzedawać. Liczy na honorarium za opowieść, w której bohater, młody poeta i kompozytor, sprzedaje siebie na aukcji za duże pieniądze. Chce je przeznaczyć na ulżenie doli kobiet. Oczywiście jest, że ani Sierioża, ani bohater jego utworu niczego nie rozwiązują. Stosunki społeczne, sytuacja materialna kobiet nadal będzie je zmuszać do sprzedawania swego ciała. Ważne jest jednak, że pisarz zauważał istnienie tego problemu i rozważał sposoby jego rozwiązania.

¹⁶ В. В. И в а н о в, О теме женщины у Пастернака, [w:] „Быть знаменитым некрасиво...”, op. cit., вып. 1, s. 43–54.

¹⁷ Z. Z b y r o w s k i, *Borys Pasternak wobec losu kobiety*, [w:] *Studia Rossica XII. Literatura rosyjska na rozdrożach XX w.*, Warszawa 2003, s. 251–262.

Jednym z aspektów kobiecości, który pojawił się w XX wieku i domagał się podjęcia i ustosunkowania się przez pisarza, był problem seksu, również pozamałżeńskiego. Pasternak znał ten problem z własnego doświadczenia i nie pomijał go w twórczości, choć tylko w prozie (*Dzieciństwo Luwers, Opowieść, Doktor Żywago*). Na przykładzie Żeni Luwers przedstawił przeżycia nastolatki dojrzewającej do życia płciowego, postawionej wobec niepojętego i niepokojącego przeżycia, która w dorosłych nie znajduje oparcia, pomocy, informacji, rady.

Problem kobiecy pojawił się w powieści *Doktor Żywago*, choć również nie jako zjawisko ideologiczne. Nie ma przedstawicielek feminizmu, bojowniczek o prawa kobiet, o równouprawnienie. Kwestia kobieca nie jest przedmiotem narracji, rozmyślań bohaterów, rozmów, sporów. Nie jest też przyczyną konfliktów. Natomiast występują różne typy kobiet. Możemy je podzielić na nowoczesne i tradycyjne, zawodowo aktywne i bierne, działające publicznie, aspirujące do funkcji społecznych lub skupione na życiu osobistym, rodzinnym, na roli żony i matki. Ewentualnie kochanki. Niektóre nawet z powodzeniem godzą obowiązki zawodowe z rodzinnymi. Dotyczy to nie tylko głównej bohaterki, Lary, kobiety niewątpliwie nowoczesnej, z inicjatywą, lecz także szeregu innych postaci. Niespełnioną kobietą nowoczesną okazała się Tonia, żona doktora. Była, tak jak Lara, osobą zdolną, inteligentną, wykształconą, lecz nie podjęła pracy zawodowej. Podobnie jak jej matka skupiła się na życiu rodzinnym.

Przy różnych okazjach, ale głównie w powieści, ustosunkowuje się Pasternak do ważnych lub tylko modnych zjawisk ideowych tamtych czasów, takich jak terrorizm, tołstoizm, marksizm. Nie odgrywają one żadnej roli w fabule utworu, w postawach i losach wiodących bohaterów. Pojawiają się wyłącznie w ich rozmyślaniach i rozmowach. Wątek terroryzmu związany jest z rodzicami jednego z ważnych młodych bohaterów Niki Dudorowa. O jego ojcu dowiadujemy się, że „terrorysta Diemientij Dudorow był na katordze, na którą z najwyższej łaski zamieniono mu karę śmierci przez powieszenie”¹⁸. Zaś o swej matce tak rozmyśla Nika:

Mama też dobra. Wyjeżdżając, oczywiście oszukała i jego i Woskobojsnikowa. Nie jest na żadnym Kaukazie, po prostu na najbliższej stacji węzłowej skręciła na północ i teraz najspokojniej w świecie strzela razem ze studentami do policji w Petersburgu (*Doktor Żywago*, s. 23).

Wiadomo, że Pasternakowie, również Borys, wysoko cenili Lwa Tołstoję jako pisarza, akceptowali jego postawę estetyczną, natomiast nie uzna-

¹⁸ B. Pasternak, *Doktor Żywago*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990, s. 22–23. Dalej cytaty z powieści przytaczam z tego wydania, podając w tekście tytuł i stronę.

wali tego, co określa się mianem tołstoizmu, a więc jego poglądów ideologicznych, filozoficznych, moralnych, religijnych. W powieści tę postawę reprezentuje działacz społeczny, pozytywista Wywołocznow. Organizuje on odczyty na rzecz zesłańców politycznych, walczy o szkoły wiejskie i seminaria nauczycielskie, uważa że potrzebne są szpitale i opieka społeczna, a nie symbolistyczna poezja. Narrator przedstawia go lekceważąco: „Wywołocznow był jednym z tych zwolenników Lwa Tołstoja, w których umysłach idee nie znającego spokoju geniusza układały się do długiego beztróskiego wypoczynku i nieodwracalnie karłały” (*Doktor Żywago*, s. 48). Jego rozmówca Wiedieniapin sprzecza się z nim: „do pewnego stopnia podzielam pańskie przekonanie. Ale Tołstoj mówi, że im bardziej człowiek oddaje się pięknu, tym bardziej oddala się od dobra.

A pan uważa, że jest odwrotnie? Że świat może uratować piękno, misteria i tak dalej, Rozanow i Dostojewski?” (*Doktor Żywago*, s. 48). Każdy z rozmówców pozostaje przy swoim zdaniu.

Ważną ideologią w tym czasie był marksizm. Wpływał on niewątpliwie na postawy rewolucyjne niektórych bohaterów, zwłaszcza ze środowisk robotniczych, kolejarskich. Bywał też obiektem sporów ideologicznych. Żywago, którego poglądy są bliskie autorowi, polemizuje z socjaldemokratą Samdiewiatowem, pochodzącym z burżuazji, na co jako na sprzeczność zwraca uwagę Żywago:

- A pańska socjaldemokracja?
- A co to ma wspólnego z socjaldemokracją, na miłość boską? Gdzie jest powiedziane, że człowiek o poglądach marksistowskich musi być fajtlapą? Marksizm to nauka pozytywna, nauka o rzeczywistości, filozofia warunków historycznych.
- Marksizm i nauka? [...] marksizm ma zbyt mało opanowania, aby być nauką. Nauka jest zrównoważona. Marksizm i obiektywizm? Nie znam kierunku bardziej wyizolowanego i dalekiego od faktów (*Доктор Живаго*, s. 282).

To stanowisko jest bliższe autorowi, choć, jak zwykle, nie deklaruje wprost swego poglądu.

Dokonany przegląd pozwala stwierdzić, że autor *Doktora Żywago* nie unikał ważnych, aktualnych problemów społecznych i odpowiadających na nie postaw i poglądów ideowych. Przed rewolucją był zwolennikiem przemian demokratycznych. To pozwoliło mu w zasadzie zaakceptować rewolucję i szukać własnego miejsca w zmieniającym się społeczeństwie. Ale zachował krytyczne spojrzenie. To skłoniło go od połowy lat trzydziestych do końca życia do zajmowania postawy opozycyjnej, ale biernej. Był nie uczestnikiem, lecz raczej świadkiem konfliktów i sporów ideowych. Jego postawę cechował krytyczny dystans, brak praktycznego zaangażowania po którejś ze stron. Ale swoich ocen, czasem dość ryzykownych, nie ukrywał, wypowiadał je zdecydowanie, jednoznacznie. Najbardziej jaskrawym

przykładem może być jego wiersz *Nagroda Nobla* (*Нобелевская премия* (1959)), w którym zaprotestował przeciw represjom, które go dotknęły za publikowanie powieści *Doktor Żywago*:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет [...].
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

(*Нобелевская премия*, t. 2, s. 130–131).

Tę zdecydowaną deklarację polityczną można potraktować jako testament ideowy pisarza.

Bibliografia

- A n d e r s o n R. B., *The Railroad in "Doktor Zhivago"*, "Slavic and East European Journal" 1987, 31, no. 4, s. 503–519.
- A u c o u t u r i e r M., *Pasternak et la revolution*, „Europe — Revue Litteraire Mensuelle”, mars 1993, s. 27–47.
- B o b r y k R., F a r y n o J., *Parowóz wzorowego maszynisty*, „Studia Litteraria Polono-Slavica” Warszawa 1999, nr 3, s. 243–246.
- H o w a r d R. H., *Ideology and "Doctor Zhivago"*, "Antioch Review" 1959, no. 19, s. 224–236.
- L o h e n b i l l F., *"Dr Zhivago" and the Russian Revolution*, "Contemporary Issues" 2011, no. 41, s. 1–10.
- P a s t e r n a k B., *Doktor Żywago*, przeł. E. Rojewska-Olejarczuk, Warszawa 1990.
- P e t e r s o n R. E., *Andrej Belyj and Nikolaj Vedenjapin*, "Wiener slawistischer Almanach", 1982, nr 9, s. 111–117.
- S t o r a J., *Pasternak et le judaisme*, "Cahiers du monde russe et sovietique" 1968, no. 9, s. 353–364.
- Z b y r o w s k i Z., *Borys Pasternak wobec doświadczenia zbiorowego*, [w:] *Słowiańszczyzna Wschodnia: twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe*, Zielona Góra 1998, s. 107–115.
- Z b y r o w s k i Z., *Borys Pasternak wobec losu kobiety*, [w:] *Studia Rossica XII. Literatura rosyjska na rozdrożach XX w.*, Warszawa 2003, s. 251–262.
- Z b y r o w s k i Z., *Borys Pasternak wobec represji politycznych*, [w:] *Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku*, Zielona Góra 2000, s. 53–63.

- Z b y r o w s k i Z., *Emigracja wewnętrzna Borysa Pasternaka. Próba interpretacji*, [w:] *Studia Rossica X. O literaturze rosyjskiej nowej i dawnej*, pod red. W. Skrundy, Warszawa 2000, s. 51–61.
- Z b y r o w s k i Z., *Rosja carska w powieści Borysa Pasternaka „Doktor Żywago”*, [w:] *Mistrzowi i przyjacielowi. Pamięci profesora Zbigniewa Barańskiego*, Wrocław 2010, s. 445–456.
- З б ы р о в с к и З., *Еврейский вопрос в жизни и творчестве Бориса Пастернака*, „*Studia Rossica Posnaniensia*”, Poznań 1998, z. XXVIII, s. 37–42.
- Z b y r o w s k i Z., *Критика дореволюционных общественно-политических отношений в романе Бориса Пастернака „Доктор Живаго”*, [w:] *Satyra w literaturach wschodniosłowiańskich VII. Studia*, pod red. W. Supy, Białystok 2008, s. 181–190.
- Z b y r o w s k i Z., *Религиозно-философская проблематика начала 20 века в романе Бориса Пастернака „Доктор Живаго”*, [w:] *Literatura rosyjska przelotom XIX i XX wieku. Poszukiwania. Eksperymenty. Rewizje*, Gdańsk 2008, s. 29–42.
- Z b y r o w s k i Z., *Экологическое мировосприятие Бориса Пастернака*, [w:] *Ze studiów nad językami i literaturami wschodniosłowiańskimi*, Zielona Góra 2004, s. 211–220.
- И в а н о в В. В., *О теме женщины у Пастернака*, [w:] *„Быть знаменитым некрасиво...”. Пастернаковские чтения*, вып. 1, Москва 1992, s. 43–54.
- Из истории советской литературы. 1920–1930*, „*Литературное наследство*”, Москва 1983, т. 93, s. 715.
- Л а в р о в А. В., *Еще раз о Веденяпине в „Докторе Живаго”*, [w:] *„Быть знаменитым некрасиво...”. Пастернаковские чтения*, вып. 1, Москва 1992, s. 92–100.
- М а н с к о в Б., *Поезда в „Докторе Живаго” Бориса Пастернака*, „*Studia Litteraria Polono-Slavica*” 1999, nr 3, s. 235–241.
- П а с т е р н а к Б., *Борису Пильняку*, [w:] *tegoż, Стихотворения и поэмы в двух томах*, т. 1, Ленинград 1990.
- П а с т е р н а к Е., *Лето 1917 года: „Сестра моя – жизнь” и „Доктор Живаго”*, „*Звезда*” 1990, № 2, s. 159–165.
- Переписка Бориса Пастернака*, Москва 1990.
- П о р е м с к и й А., *Политические мотивы в романе „Доктор Живаго”*, „*Наши дни*” 1959, № 1, s. 33–45.
- Т ю л е н е в а Е. М., *Мифологема „вокзала” в поэтическом пространстве Пастернака 1910–1920-х гг.*, [w:] *Творчество писателя и литературный процесс*, Иваново 1999, s. 97–108.

MOTYWY HISTORIOZOFICZNE
W TWÓRCZOŚCI FIODORA STIEPUNA

HISTORIOSOPHICAL MOTIFS IN THE WORK OF FYODOR STEPUN

MARCIN ZIOMEK

ABSTRACT. The aim of the article is to introduce the historiosophical views of Fyodor Stepun, one of the most prominent representatives of Russian emigration. In the 1920s, this thinker published a series of ten articles entitled *Thoughts on Russia*, which attempted to describe the Bolshevik revolution in the broadest possible sociocultural context. *Thoughts on Russia* are among the first texts interpreting the revolution in historiosophical terms.

Marcin Ziomek, Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała – Polska,
ziomekmarcin@gmail.com

Fiodor Stiepun był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli rosyjskiej emigracji. Jego dorobek znajduje się jednak na marginesie polskich badań nad dziedzictwem intelektualnym rosyjskiego renesansu oraz emigracji pierwszej fali.

Myśliciel urodził się w 1884 roku w Moskwie, zmarł w 1965 roku w Monachium.

В русской эмигрантской философии Федор Августович Степун был [...] последним из могикан. Он успел увидеть закат сталинизма, эпоху хрущевской оттепели и ее крах. Всю жизнь он сохранил надежду на демократические изменения в России¹

– pisze Władimir Kantor, znawca myśli Stiepuna i wydawca jego pism. Myśliciel należał do grona najmłodszych przedstawicieli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego, a więc pokolenia, którego młodość i intelektualne dojrzewanie przypadły na burzliwy przełom stuleci zwieńczony rewolucją w 1905 roku. W 1910 roku Stiepun ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie w katedrze neokantysty Wilhelma Windelbanda obronił rozprawę doktorską poświęconą historiozofii Władimira Sołowjowa. Po powrocie do Rosji współredagował rosyjskie wydanie

¹ В. Кантор, Ф. А. Степун: русский философ в эпоху безумия разума, [w:] Ф. А. Степун, *Жизнь и творчество. Избранные сочинения*, Москва 2009, s. 3.

międzynarodowego czasopisma filozoficznego „Logos” oraz aktywnie uczestniczył w życiu kulturalno-intelektualnym Petersburga.

Poglądy filozoficzne Stiepuna stanowią szczególną syntezę neokantyzmu i przyprawionej romantyzmem „filozofii życia” z rosyjską filozofią religijną w duchu Władimira Sołowjowa. Wielu współczesnym ta synteza nie wydała się organiczną, ale jest ona znamieną dla stanu ducha określonego nurtu rosyjskiej konstrukcji filozoficznej²

– pisze Leonid Stołowicz. Warto zaznaczyć, że Stiepun był jednym z pierwszych, którzy dostrzegli związek pomiędzy rosyjskim słowianofilstwem a niemiecką filozofią idealistyczną.

Niemiecki uczeń myśliciela pisze:

В Степуне воплотился не только ученый и мыслитель, прошедший суровую школу неокантианства, и социолог, обученный Михайловским, Максом Вебером, Г. Зиммелем, но и художник, романист и повествователь, тонкий литературный критик и знаток театра [...] посвященный во все мистерии сцены, экрана и актерского искусства; и тоже пленительный артист, режиссер и режиссер. Вместе с тем он был и знаменитым стилистом, и притом двуязычным, владевшим как художник слова немецкой речью настолько хорошо, как и русской, — и не только как эссеист, мемуарист и повествователь, но и как выдающийся оратор и блестящий академический учитель³.

Powyższe słowa pokazują olbrzymią ilość życiowych ról Stiepuna (uczony-socjolog, pisarz, krytyk literacki i znawca teatru, eseista, reżyser teatralny, znakomity mówca i wykładowca akademicki) oraz wskazują na krąg jego zainteresowań i twórczych inspiracji.

Momentem przełomowym w życiu myśliciela była przymusowa emigracja. Stiepun był jednym z ponad dwustu intelektualistów wyrzuconych w pamiętnym 1922 roku ze Związku Sowieckiego za nieprawomyślne poglądy. Wygnanie z Rosji w sposób umowny dzieli jego życie i twórczą biografię na dwie części. Przy czym — jak zauważa W. Kantor — drugą połowę życia myśliciel poświęcił przede wszystkim na intelektualny namysł nad historiozoficznym sensem wydarzeń, które wypełniły pierwszą jego część. Po opuszczeniu Rosji mieszkał i pracował w Niemczech, najpierw w Dreźnie, a po II wojnie światowej w Monachium. Był przede wszystkim wykładowcą akademickim oraz aktywnym publicystą.

Na emigracji — jak pisze Michał Bohun — Stiepun oddalił się od filozofii systematycznej na rzecz badań socjologicznych i kulturoznawczych [...]. Przez całe życie pozostał [...] publicystą filozoficznym. W jego esejach i szkicach wątki

² L. Stołowicz, *Historia filozofii rosyjskiej*, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008, s. 351.

³ А. Штаммлер, *Русская религиозно-философская мысль XX века*, ред. Н.П. Полторацкий, Питтсбург 1975, s. 323.

filozoficzne łączyły się z [...] żywymi zainteresowaniami artystyczno-literackimi, politycznymi, religijnymi oraz [...] analizami sowietologicznymi⁴.

W latach trzydziestych wraz z Georgijem Fiedotowem i Ilją Bunakowem Fondaminskim współredagował czasopismo „Новый Град”. Środowisko skupione wokół paryskiego periodyku przyjęło się określać mianem „новоградство” lub „новоградское движение” i, jak stwierdza M. Bohun, było ono „rosyjską wersją chrześcijańskiego socjalizmu o liberalnym zabarwieniu”⁵. Doskonała znajomość języka niemieckiego wyniesiona z domu i udoskonalona podczas studiów sprawiała, że myśliciel znalazł się w o wiele bardziej komfortowej sytuacji niż zdecydowana większość rosyjskich emigrantów. W 1937 roku jako zdeklarowany przeciwnik narodowego socjalizmu został odsunięty od działalności akademickiej. Po wojnie mieszkał i pracował w Monachium. Na tamtejszym uniwersytecie objął specjalnie utworzoną dla niego katedrę historii i kultury rosyjskiej. Myśliciel zmarł jako jeden z ostatnich przedstawicieli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego.

Stiepun jest autorem rozprawy filozoficznej *Życie a twórczość* (*Жизнь и творчество*, 1923), dwóch powieści filozoficznych: *Z listów chorążego-artyleryzisty* (*Из писем прапорщика-артиллериста*, 1918) i *Nikołaj Pereslegin* (*Николай Переслегин*, 1929), prac kulturoznawczo-literaturoznawczych: *Podstawowe problemy teatru* (*Основные проблемы театра*, 1923), *Teatr i kino* (*Theater und Kino*, 1932), *Bolszewizm i egzystencja chrześcijańska* (*Der Bolschewismus und die christliche Existenz*, 1959), *Dostojewski i Tołstoj* (*Dostoevskij und Tolstoj*, 1961), *Mistyczne światoodczucie* (*Mystische Weltanschauung*, 1964), licznych artykułów, esejów, szkiców i recenzji, a także monumentalnych wspomnień *Co się zdarzyło i nie zdarzyło* (*Бывшее и несбывшееся*, 1956), poświęconych głównie duchowej atmosferze rosyjskiego Srebrnego wieku oraz rewolucji rosyjskiej.

W latach 1923–1928 na łamach najpoczytniejszego i najbardziej opiniotwórczego emigracyjnego periodyku – czasopisma „Современные записки” – Stiepun opublikował cykl szkiców zatytułowanych *Myśli o Rosji*. Główny redaktor paryskiego periodyku – Mark Wiszniak – wspominał po latach: „в 20-х и 30-х годах подход Степуна казался оригинальным и увлекательным проникновением в самые глубины русского духа и существа большевизма”⁶. Artykuły zajmują istotne miejsce zarówno w dorobku samego Stiepun, jak i w szeroko pojętej myśli emigracyjnej, ponieważ ich autor był jednym z pierwszych emigrantów, który próbował

⁴ M. B o h u n, *Nowa ontologia czy „prywatna metafizyka”? Kilka uwag na marginesie „syntezy krytycznej Fiodora Stiepun”, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 4 (26), s. 296.*

⁵ M. B o h u n, *„Nowy człowiek” i tragedia elit w myśleniu Georgija Fiedotowa*, [w:] *Emigracja rosyjska. Losy i idee*, red. R. Bäcker, Z. Karpus, Łódź 2002, s. 90.

⁶ M. В и ш н я к, *„Современные Записки”. Воспоминания редактора*, Indiana 1957, s. 234.

opisać minione wydarzenia w kategoriach historiozoficznych. Aleksandr Jermicziow zauważa:

То был один из первых документов пореволюционного сознания, не только признавшего историческую оправданность русской революции, но и почтительного ее необходимым, хотя и болезненным этапом на пути к будущей христианской России⁷.

Myśli o Rosji Stiepana wpisują się w tak chętnie podejmowaną przez rosyjskich myślicieli problematykę historiozoficzną.

Filozofia historii to bowiem obok antropologii dominujący nurt w rosyjskiej myśli filozoficznej. Wasilij Zieńkowski pisze: „Русская философия [...] больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории”⁸. Namysł nad sensem dziejów w filozofii rosyjskiej sprowokowało wystąpienie Piotra Czaadajewa i porównanie Rosji do niezapisanej kartki papieru. Publikacja w 1836 roku na łamach czasopisma „Teleskop” pierwszego *Listu filozoficznego* podziałała jak impuls – „wystzał wśród ciemnej nocy” (Aleksander Hercen), który sprawił, że na szerszą skalę zaczęto dyskutować nad kulturowo-cywilizacyjnym posłannictwem Rosji i jej rolą w historii powszechnej. U podstaw Czaadajewowskiej filozofii historii – jak zauważa Andrzej Walicki – legły: koncepcja „ducha świata”, czyli historycznie rozwijającej się świadomości zbiorowej, oraz pochwała społeczno-organizacyjnej funkcji kościoła⁹. „Historiozofia ta – pisze badacz – była próbą ponownej sakralizacji zeświecczonej przez oświecenie historii”¹⁰. Ramy dyskursu historiozoficznego w dziewiętnastym stuleciu wyznaczył w głównej mierze spór pomiędzy słowianofilami a okcydentalistami, będący zarazem najważniejszą dyskusją światopoglądową na gruncie filozofii rosyjskiej¹¹. Zwieńczeniem historiozoficznych po-

⁷ А. А. Е р м и ч е в, *Того же рода имя*, [w:] Ф. А. С т е п у н, *Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма*, Санкт-Петербург 2012, s. 10.

⁸ В. В. З е н ь к о в с к и й, *История русской философии*, т. 1, Ленинград 1991, s. 16.

⁹ Zob. А. W a l i c k i, *Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego*, Kraków 2005, s. 142.

¹⁰ Tamże. Grzegorz Przebinda pisze:

Wszystkie listy filozoficzne Czaadajewa (w sumie osiem) stanowiły otwartą polemikę z historiozofią Oświecenia, dla której Średniowiecze było jedynie epoką fanatyzmu i przesądu. Jednakże Oświecenie, jak pisał Czaadajew w 1829 roku, było tylko epizodycznym historycznym okresem między dwiema epokami religijnymi.

G. P r z e b i n d a, *Czaadajew – ojciec providencjalizmu w Rosji*, [w:] tegoż, *Między Moskwą a Rzymem*, Kraków 2003, s. 30.

¹¹ Przyjmuje się niekiedy, że cała historia kultury rosyjskiej jest ciągłym, przybierającym coraz to inne postaci, sporem między słowianofilstwem a – pozostającym w trwałym z nim związku przeciwieństwem i dialogu – okcydentalizmem.

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. A. de Lazari, t. 1, Warszawa 1999, s. 362.

szukiwań, a zarazem punktem odniesienia dla kolejnego pokolenia była teokratyczna koncepcja Władimira Sołowjowa – „twórcy najbardziej systematycznego wykładu providencjalizmu w nowożytnej Rosji”¹².

Samo pojęcie *historiozofia* na gruncie myśli rosyjskiej rozumiane jest nieco szerzej aniżeli w ujęciu tradycyjnym (jako filozofia dziejów), ponieważ, zdaniem wielu myślicieli, przede wszystkim jednak religijnych (w tym także Stieputa), proces historyczny nie kończy się tylko i wyłącznie na ludzkich dziejach, lecz stanowi

przygotowania ludzkości na przejście od historii do metahistorii, to znaczy „nadchodzącego życia w królestwie Bożym. Istotnym warunkiem doskonałości w tym królestwie jest przemienienie duszy i ciała, czyli przeobstwienie, dzięki miłosierdziu Boga”¹³.

Łączenie problematyki historiozoficznej z eschatologiczną i metafizyczną zdaje się być cechą wyróżniającą rosyjskiej filozofii historii.

Dramatyczne wydarzenia pierwszego dwudziestolecia XX wieku zintensyfikowały pytania o sens i cel historii, zaś szczególnego znaczenia kwestie historiozoficzne nabrały dla rzeszy wygnańców z sowieckiej Rosji. Spory, które rozgorzały wówczas pośród nich w najważniejszych ośrodkach emigracyjnych oraz na łamach emigracyjnych gazet i czasopism, stawały się od razu częścią niezakończonych dyskusji o kulturowej tożsamości Rosji. W emigracyjnych sporach o Rosję Stieputa zajmował stanowisko, które wielokrotnie budziło kontrowersje i prowokowało dyskusje. M. Wiszniaak przyznaje: „Мысли о России Степуна внесли в «Современные Записки» не только новую ноту, но и ноту до того чуждую журналу”¹⁴ i dodaje: „я и Руднев почти болезненно воспринимали «углубленный подход» Степуна к большевизму, который нам казался «советофильством» и введением в искушение читателей журнала”¹⁵. Stieputa, podejmując namysł nad historiozoficznym sensem minionych wydarzeń, miał świadomość, że źródeł narodowej tragedii, jaką była dla jego pokolenia rewolucja bolszewicka, należy szukać daleko w przeszłości, i tym właśnie poszukiwaniom poświęcony jest przywołany cykl szkiców.

Zasadniczym tematem swoich rozważań Stieputa uczynił rewolucję rosyjską, którą starał się opisać w możliwie szerokim kontekście kulturowo-społecznym oraz z bardzo różnorodnych perspektyw (historycznej, socjologicznej, filozoficznej). Nie miał przy tym najmniejszych wątpliwości, że przewrót bolszewicki w Rosji to jedno z najważniejszych wydarzeń euro-

¹² G. P r z e b i n d a, *Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922)*, Kraków 1998, s. 271.

¹³ M. Ł o s s k i, *Historia filozofii rosyjskiej*, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000, s. 458.

¹⁴ М. В. В и ш н я к, op. cit., s. 231.

¹⁵ Ibidem, s. 235.

pejskiej historii XX wieku, i jak wielu ówczesnych świadków historii zadawał dramatyczne pytanie *unde malum?* Jednocześnie stwierdzał: „Русские события последних лет навсегда, конечно, останутся одной из самых интересных глав истории 20-го века” (270)¹⁶, i dalej: „С первых же дней революции вопрос России стал осью европейской жизни” (271).

Stiepun patrzył na minione wydarzenia z perspektywy ich uczestnika. Rewolucja lutowa zastała myśliciela na froncie w Galicji, gdzie był wówczas chorążym w pułku artylerii. Na czele delegacji frontu południowo-wschodniego przyjechał do Piotrogradu, a następnie został wybrany do Wszechrosyjskiej Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich. W maju-czerwcu 1917 roku stanął na czele wydziału kulturalno-oświatowego przy Zarządzie Politycznym w Ministerstwie Wojny w Rządzie Tymczasowym¹⁷. W szkicu II Stiepun tak wspomina rewolucję lutową:

Помню, как и я скакал, как и я говорил речи, как сам кричал солдатам „смертникам”, шедшим занимать позиции: „за землю и волю”, „без анексий и контрибуций”! [...] Все это я, как и все, делал с абсолютной искренностью, с пренебрежением всякой опасности и с готовностью на всякую жертву (265).

I dodaje: „когда я ходил по улицам Риги, с нежностью вспоминая войну, которую так ненавидел, и со стыдом революцию, которую приветствовал” (268). Pisanie o rewolucji jest więc dla Stiepuna aktem swoistego samorozliczenia i zadośćuczynienia.

Мысли о Росji składają się z dziesięciu szkiców. Każdy z esejów tworzy zamkniętą całość, jednak czytane razem tworzą swoisty cykl – historiozoficzny traktat o Rosji i rewolucji. Ujawnia się w ten sposób pewna paradoksalność formy: Stiepun nazywa swoje artykuły „myślami”. Wskazuje tym samym na pewną ulotność, fragmentaryczność czy nawet chaotyczność opisu. I takie też miejscami wydają się teksty myśliciela. Uważna lektura sprawia jednak, że dostrzegamy w nich próbę całościowego opisu źródeł, przyczyn i konsekwencji rewolucji. Swoistym dopełnieniem cyklu jest tekst *Религиозный смысл революции*, opublikowany w 1929 roku w czterdziestym numerze tego samego czasopisma.

Trzy pierwsze szkice cyklu mają charakter wspomnieniowy i pełnią rolę wprowadzenia w podejmowaną problematykę. Wspomnienia sąsiadują w nich z opisem aktualnej sytuacji, w jakiej znalazł się myśliciel na skutek decyzji najwyższych władz bolszewickiej Rosji. Stiepun opisuje swoją przymusową podróż z ojczyzny na zachód Europy. Pisze w charakterystyczny dla siebie obrazowy sposób o rozczarowaniu emigranta:

¹⁶ Wszystkie cytaty pochodzą z następującego wydania: Ф. А. С т е п у н, *Жизнь и творчество. Избранные сочинения*, Москва 2009. W nawiasie podaję odpowiednią stronę.

¹⁷ Zob. L. S t o ł o w i c z, op. cit., s. 350.

Но вот мы изгнаны из России в ту самую Европу, о которой в последние годы так страстно мечтали, и что же? Непонятно, и все-таки так — изгнанием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы. Любя Европу, мы „русские европейцы“, очевидно, любили ее только как прекрасный пейзаж в своем „Петровом окне“; ушел родной подоконник из-под локтей — ушло очарование пейзажа (276).

Szkice czwarty i piąty myśliciel poświęcił przede wszystkim kwestii demokracji w kontekście minionych wydarzeń, natomiast w szkicu szóstym pisze o ideologii komunistycznej oraz o stosunku emigrantów do bolszewików. Szkic siódmy podejmuje kwestię powrotów do bolszewickiej Rosji oraz porusza problematykę kulturowych zadań emigracji. Trzy ostatnie teksty to wykłady Stiepuna z socjologii rewolucji rosyjskiej. Pisze w nich m. in. o narodowo-religijnych korzeniach bolszewizmu, marksizmie, socjalizmie, demokracji i ideokracji.

Цыкл otwiera obraz Stiepuna-emigranta, który stwierdza: „Я сижу и чувствую, что решительно ничего не понимаю, что Россия входит в какой-то свой особенный час, быть может — в разум своего безумия“ (257). Szkice są przeniknięte dogłębną próbą zrozumienia swojej epoki oraz minionych wydarzeń. A. Jermiczow zauważa: „Русская тема овладела Ф. А. Степуном постепенно, а со времени мировой войны и революционных событий в России она стала доминирующей в его сочинениях“¹⁸. U podstaw historizowicznych poglądów Stiepuna leży przekonanie w duchu Sołowjowa o historii jako procesie bogocłowieczym. Мысльiciel stwierdza:

[...] сущность исторического процесса заключается в постоянном переформировании сверхисторического содержания жизни; что смысл человеческой истории заключается в реализации связи между абсолютным и относительным, небесным и земным, Богом и человеком. Без утверждения реальности этой связи процесс истории вообще не может быть осмыслен (481).

Stiepun jako myśliciel religijny przyjmuje zatem, że istota procesu historycznego sprowadza się do metafizycznej więzi pomiędzy tym, co absolutne, a tym, co skończone, pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Метафизика не противоположна истории. И Вечное становится на земле через временное. Весь смысл исторического процесса в осуществлении на земле сверхисторического — Абсолютного (407)

— stwierdza. Tak przyjęte założenie sprawia, że rewolucja jawi się myślicielowi jako wydarzenie w życiu duchowym ludzkości, za które człowiek

¹⁸ А. А. Ермичов, Федор Степун: христианское видение России, [w:] Ф. А. Степун, *Чаямая Россия*, Санкт-Петербург 1999, s. 457.

ponosi moralną odpowiedzialność, i dlatego też Stiepun będzie szukał jej religijnego sensu i uzasadnienia.

Stiepun postrzegał rewolucję bolszewicką jako zjawisko wynikające z rosyjskiej historii oraz mające swoje uzasadnienie w minionych wydarzeniach historycznych. Rewolucja była dla niego naturalną konsekwencją rosyjskiej historii. Podobnie jak wielu przedstawicieli inteligencji do pewnego stopnia pomógł w jej urzeczywistnieniu.

Русская интеллигенция десятилетиями готовила революцию, но себя к ней не подготовила. Почти для всех революция оказалась камнем преткновения, большинство больно ударила, многих убила (295)

– pisze Stiepun. Należy przy tym podkreślić, że inteligencja w Rosji od połowy XIX wieku intensywnie przygotowywała się do rewolucji. Janusz Dobieszewski stwierdza:

Rewolucja rosyjska stała się od około połowy XIX wieku już nie tylko teoretycznym projektem i praktycznym celem, ale wręcz mitem jedynej aktywnej politycznej warstwy społecznej państwa rosyjskiego – inteligencji. Mitem był na tyle silny, sugestywny i przekonujący [...], że jego zakładnikami stały się także umiarkowane kręgi inteligencji, co prowadziło [...] do zacieśniającej się, zapętlającej i samoniszczącej dynamiki politycznych i intelektualnych maksymalizmów, dogmatyzmów, radykalizmów starego i nowego świata¹⁹.

W przekonaniu Stiepuna inteligencja ponosi moralną odpowiedzialność za ideologiczny kształt rewolucji. Jej ideowe zaangażowanie sprawiło, że bolszewicy nie ograniczyli się tylko i wyłącznie do postulatów natury ekonomicznej, ale dążyli do całościowej zmiany dotychczasowych form społecznych. Stiepun pisze:

Одна из причин, затрудняющих западно-европейскому сознанию действительное понимание русской революции, заключается в непонимании той роли, которую сыграла в ней интеллигенция. Не подлежит никакому сомнению, что если бы эта роль была меньше, если бы революция ограничилась выражением и защитой реальных хозяйственных нужд русского народа, то она вылилась бы в совершенно иные формы, чем те, которыми она ныне и влечет, и пугает Европу (415).

Myśliciel, jak wielu mu współczesnych, zaskoczony rozmiarem i skalą kulturowych przeobrażeń, próbował w swoich szkicach dociekać tego niebywałego „sukcesu” bolszewików i ich ideologii. Interpretował i analizował rewolucję nie tylko w kategoriach wyłącznie historycznych, jako ciąg następujących po sobie zdarzeń, ale przede wszystkim w kategoriach duchowych. W *Religijnym sensie rewolucji* myśliciel tak pisał:

¹⁹ J. Dobieszewski, *Rosyjskie reakcje na rewolucję październikową*, „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 2007, nr 4, s. 5.

Поскольку революция не есть только ряд внешних фактов, а есть некое внутреннее событие духа, постольку ее бытие и состоит не в чем ином, как в осмысливании, обесмысливании и переосмысливании жизни (477).

Stieput nazwał rewolucję bolszewicką „apokalipsą bez Chrystusa, apokalipsą w imię Marksa”, a jej źródła upatrywał w zderzeniu marksizmu z rosyjską ideą.

Самая страшная и нравственно самая неприемлемая сторона большевицкой революции — это гнусный политический размен религиозной бездны народной души: апокалипсис без Христа, апокалипсис во имя Маркса (414).

Traktował rewolucję jako grzech Rosji wobec samej siebie („грехопадение русской национальной идеи”), ponieważ oznaczała ona dla niego nagły i gwałtowny rozpad religijno-kulturowo-socjalnej jedności ojczyzny. A gwałtowność rewolucji i żywiołowość działań bolszewików Stieput łączył z czynnikami geograficzno-psychologicznymi, które miały w znacznej mierze kształtować rosyjski charakter: „большевизм — это географическая бескрайность и психологическая безмерность России” (258) — konstatował już w pierwszym szkicu. Postrzegał rewolucję jako potężny żywioł sprzecznych ze sobą pierwiastków: „Все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики” (314). Rewolucja była więc dla Stieputa z jednej strony zjawiskiem gwałtownym i nieprzewidywalnym, które w sposób nagły przerywa dotychczasowe życie, a z drugiej strony wydarzeniem, które dojrzewa przez lata i stanowi rezultat opóźnionej ewolucji form społecznych.

Na emigracji znaleźli się przedstawiciele właściwie wszystkich przedrewolucyjnych orientacji politycznych, którzy żywo dyskutowali na łamach prasy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Rosji. Emigrantów różnił jednak stosunek do rewolucji bolszewickiej i sowieckiej Rosji. Stieput pisał w szkicu siódmym o dyskusjach w środowisku emigracyjnym:

Последние месяцы внутренней жизни эмиграции прошли под знаком двух дискуссий: „возрожденской” — о необходимости всеэмигрантского объединения для окончательного наступления на большевиков и „возвращенской” — о необходимости всеэмигрантского примирения с Советской Россией (317).

Stanowisko Stieputa — dalekie od jakichkolwiek skrajności — wielokrotnie budziło spory i kontrowersje. Świadczą o tym liczne artykuły polemiczne publikowane na łamach czasopism emigracyjnych. W przekonaniu zdecydowanej większości rosyjskich emigrantów Rosja przestała istnieć w październiku 1917 roku. Znane jest także przeświadczenie rosyjskich wygnańców, że prawdziwa Rosja wraz z nimi znajduje się na obczyźnie.

Tymczasem Stiepun, niejako na przekór postawom konserwatywno-izolacyjnym, stwierdza: „несмотря на большевиков Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу” (286). Myśliciel niezwykle krytycznie odnosił się do tej części emigracji, która żyła tylko i wyłącznie nostalgicznym wspomnieniem minionej przeszłości. Stiepun wielokrotnie krytykował emigrację za wyidealizowany kult przeszłości i monarchiczne tęsknoty. Bezkrytyczne i melancholijne zapatrzenie w przeszłość myśliciel określał słowem *эмигрантищина* i we właściwy dla siebie obrazowy sposób charakteryzował przedstawicieli tej postawy:

Эмигрантищина – отрицание будущего во имя прошлого, вера в мертвый принцип и растерянность перед жизнью; старческое брюзжание над чашкою с собственной желчью (293).

Wspomnieniom i nostalgii przeciwstawiał siłę pamięci. To właśnie pamięć o rosyjskim dziedzictwie kulturowym miała być według myśliciela moralnym obowiązkiem każdego emigranta. Pamięć bowiem zwraca się w stronę przeszłości, by w twórczy sposób kształtować przyszłość. „Память – величайшая духовная сила, в ней основа всякой традиции, всякой культуры, она же и мерило человеческого благородства” (368).

Rewolucja i wydarzenia, które po niej nastąpiły, były dla Stiepuna tragedią w wymiarze religijnym. Nie oznacza to jednak, że spoglądał na historię w kategoriach providencjalnych bądź katastroficznych. W swoich szkicach poddał rewolucję szczegółowej analizie kulturowo-historycznej, niepozbawionej jednak głęboko religijnych odniesień. Z punktu widzenia XXI wieku Stiepunowskie *Myśli o Rosji* są interesującym świadectwem i dokumentem atmosfery intelektualnej środowiska emigracyjnego.

Bibliografia

- Bohun M., *Nowa ontologia czy „prywatna metafizyka”? Kilka uwag na marginesie „syntezy krytycznej Fiodora Stiepuna”*, „Estetyka i Krytyka” 2012, nr 4 (26), s. 296.
- Bohun M., *„Nowy człowiek” i tragedia elit w myśleniu Georgija Fiedotowa*, [w:] *Emigracja rosyjska. Losy i idee*, red. R. Bäcker, Z. Karpus, Łódź 2002, s. 90.
- Dobieszewski J., *Rosyjskie reakcje na rewolucję październikową*, „Kronos. Metafizyka – Kultura – Religia” 2007, nr 4, s. 5.
- Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski*, red. A. de Lazari, t. 1, Warszawa 1999.
- Łoski M., *Historia filozofii rosyjskiej*, tłum. H. Paprocki, Kęty 2000.
- Przebinda G., *Czaadajew – ojciec providencjalizmu w Rosji*, [w:] tegoż, *Między Moskwą a Rzymem*, Kraków 2003, s. 30.
- Przebinda G., *Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922)*, Kraków 1998.

- Stołowicz L., *Historia filozofii rosyjskiej*, tłum. B. Żyłko, Gdańsk 2008.
- Walicki A., *Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego*, Kraków 2005.
- Вишняк М. В., „Современные Записки”. Воспоминания редактора, Indiana 1957.
- Ермичев А. А., *Того же рода имя*, [w:] Ф. А. Степун, *Мистическое мировидение. Пять образов русского символизма*, Санкт-Петербург 2012, s. 10.
- Ермичов А. А., *Федор Степун: христианское видение России*, [w:] Ф. А. Степун, *Чаемая Россия*, Санкт-Петербург 1999, s. 457.
- Зеньковский В. В., *История русской философии*, т. 1, Ленинград 1991.
- Кантор В., *Ф. А. Степун: русский философ в эпоху безумия разума*, [w:] Ф. А. Степун, *Жизнь и творчество. Избранные сочинения*, Москва 2009, s. 3.
- Штамплер А., *Русская религиозно-философская мысль XX века*, ред. Н. П. Полторацкий, Питтсбург 1975.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ЛЕКСИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XI–XVII ВЕКОВ

LEXICON USED FOR INVESTIGATIVE ACTION IN THE RUSSIAN LANGUAGE 11–17TH CENTURIES

ELENA CZASZCZYNA

ABSTRACT. Investigative action is understood here as research into the circumstances of a case and establishing the truth. During the history of Russian legislation, the ways of gathering and submitting proof were changed. The article looks at the juridical lexicon of texts, which show these processes from the period of Ancient Russia to the late 17th century.

E. Czaszczyzna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań — Polska,
jelena.c@amu.edu.pl

В широком смысле следственными именуются те действия, которые служат способами исследования обстоятельств дела и установления истины. В узком смысле этого слова следственные действия — это действия по собиранию доказательств¹. К числу наиболее важных следственных действий относятся: осмотр места происшествия, трупа, местности, помещений, предметов и документов; обыск (личный, в помещении, на местности); допрос (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля); очная ставка². В России с течением времени способы сбора и предоставления доказательств менялись. Остановимся на некоторых их особенностях с древнерусского периода до конца XVII века.

В Древней Руси со времени упрочения княжеской власти к многочисленным функциям князя стали относиться и судебные. Арабский путешественник Ибн Русте сообщает, что если кто-нибудь из русов

возбудит дело против другого, то зовет его на суд к царю, перед которым (они) и препираются. Когда же царь произнес приговор, исполняется то,

¹ С. А. Шейфер, *Следственные действия. Система и процессуальная форма*, Москва 2001, с. 5.

² Там же, с. 56.

что он велит. Если же обе стороны недовольны приговором царя, то по его приказанию дело решается оружием (мечами), и чей из мечей острее, тот и побеждает. На этот поединок родственники (обеих сторон) приходят вооруженные и становятся. Затем соперники вступают в бой, и кто одолеет противника, выигрывает дело³.

Таким образом, мы видим, что судебный приговор царя русов не являлся обязательным для исполнения. Весь ход судебного процесса осуществлялся в форме состязания сторон, а судья лишь руководил процессуальной борьбой, следил за тем, чтобы она не отступала от строго установленных обычаев форм⁴. Кроме того, и само исполнение приговора лежало на выигравшей процесс стороне.

Не говоря уже о древнейших временах родовой мести, кредитор сам устраивал продажу должника или обиженный сам расправлялся с обидчиком, подлежащим телесной каре. При таком характере процесса главное назначение суда состояло в определении тех норм обычного права, которые подходили к данному случаю⁵.

При совершении убийства отыскать преступника и осуществить наказание должны были родственники убитого. Хотя кровная месть своими корнями уходит в глубокую древность, в древнерусском государстве она считалась действием справедливым и была закреплена на законодательном уровне в *Русской правде*: „Аже убиеть мужь мужа, то мстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо брату чадо, ли братню сынови“⁶. При отказе от мести или невозможности ее совершения по каким-либо причинам предусматривались денежные выплаты родственникам убитого:

Аще ли не будеть кто его мстыя, то положити за голову 80 гривень, аще будеть князь мужь или тиуна княжа; аще ли будеть русинь, или гридь, любо купець, любо тивунь боярескъ, любо мечникъ, любо изгой, ли словенинь, то 40 гривень положити за нь⁷.

³ А. П. Новосельцев, *Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв.*, [в:] его же и др., *Древнерусское государство и его международное значение*, Москва 1965, с. 397–398.

⁴ И. Я. Фроянов, *Киевская Русь. Очерки социально-политической истории*, Ленинград 1980, с. 17.

⁵ А. Е. Пресняков, *Лекции по русской истории*, т. 1: *Киевская Русь*, Москва 1938, с. 200.

⁶ *Русская правда*, [в:] электронный ресурс: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947> (19.09.2015).

⁷ Там же.

Убийца сам мог настаивать на выкупе и вести переговоры с родственниками убитого. И. Д. Беляев отмечает, что по славянским и скандинавским законам

убийца мог вступать в договор о выкупе с родственниками убитого, но прежде этого он должен был бежать в пустыню, в дикие леса и только по прошествии 40 дней после убийства мог вступать в переговоры через своих родственников. Если родственники убитого не соглашались на выкуп, то убийца снова мог возобновить свое предложение через год, если во второй раз его предложение отвергалось, то по прошествии года он мог вступить еще раз в переговоры. Но если и на этот раз не было согласия, то убийца лишался всякой надежды выкупить свое преступление⁸.

Важной особенностью судебного процесса являлось то обстоятельство, что открывался он только при наличии иска со стороны потерпевшего. В случае кражи потерпевший при подаче иска должен был знать лицо, против которого он его выдвигает, он сам должен был отыскать вора, найти ту вещь, которую у него украли, а также представить суду свидетелей, каких он соберет, чтобы перед ними сделать необходимые заявления и предъявить факты. Какими правами обладал истец в процессе поиска преступника? 1) Вора можно было поймать с поличным. *Поличное* — ‘краденая вещь, найденная у вора и уличающая его в краже’: „А поличное то, что выимуть из клетки изъ-за замка; а найдуть что во дворе или в пустой хоромине, а не за замком, ино то не поличное”⁹. Как видим, в качестве доказательства принималась вещь, найденная в закрытом помещении. Если вещь обнаруживалась во дворе или месте, доступ к которому имели посторонние, то в таком случае вещь уликой не считалась, так как ее могли подбросить. Как правило, поличное изымалось при обыске в присутствии понятых. 2) Мог обеспечить себе право на возврат краденого путем *заклича на торгу* — объявления об утраченной вещи. *Закликати* — ‘объявить публично о чем-либо’¹⁰. Потерпевший, объявив о факте кражи какой-либо вещи, давал подробное ее описание, называл те признаки, по которым ее можно было узнать. Если по истечении трех дней с момента заклика пропажа обнаруживалась, то тот, у кого она находилась, считался ответчиком. 3) Потерпевший мог отыскать преступника путем *свода*, гонения следа. *Свод* — ‘процедура нахождения лица, незаконно присвоившего чужую вещь (конечного татя), и возвращение ее первоначальному хозяину’¹¹. Розыск украденной вещи и вора осуществлялся таким

⁸ И. Д. Беляев, *Лекции по истории русского законодательства*, Москва 1879, с. 68.

⁹ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 16, Москва 1990, с. 219.

¹⁰ Там же, вып. 5, Москва 1978, с. 214.

¹¹ Там же, вып. 23, Москва 1996, с. 179.

образом: тот, у кого была обнаружена пропавшая вещь, должен был указать, у кого он ее приобрел. Свод продолжался до тех пор, пока не доходил до человека, который не мог объяснить, откуда у него эта вещь, он и был признан вором. О гонении следа говорится в статье 77 *Русской правды*:

Не будет ли татя, то по следу женуть; аже будет следъ ли к селу или к товару, а не отсочать от собе следа, ни едутъ на следъ или отбють, то темь платити татбу и продажу; а следъ гнати с чюжими людми а с послухи; аже погубять следъ на гостиньце на велице, а села не будетъ, или на пуссте, где же не будетъ ни села, ни людии, то не платити ни продажи, ни татбы¹².

То есть, если вор сразу не обнаружен, то его следует искать по следу, если след приведет к селу, а люди не отведут след от себя и не примут участия в расследовании, то они должны заплатить за украденную вещь штраф князю и возместить ущерб потерпевшему. Если след потеряется на большой торговой дороге или безлюдном месте, то ущерб потерпевшему не возмещается и штраф князю не платится. Ответственность за поимку преступника в значительной степени возлагается на общину. С существительным *след*, имевшим значение 'оставленный преступником след, улика'¹³, встречаются словосочетания *гнати по следу* 'идти по следу, преследовать кого-либо'¹⁴, *отсочити след* 'отвести от себя подозрение, доказав, что след уходит в другую сторону'¹⁵.

Роль общины в розыске преступника подчеркивается также в статье 70 *Русской правды*, где говорится: „Аже будетъ росечена земля или знамение, им же ловлено, или сеть, то по верви искати в собе татя любо платити продажу”¹⁶. Эта статья указывает на обязанность жителей участвовать в поимке вора на своей территории или платить штраф, если в месте бобрового промысла найдены будут следы или остатки орудий незаконной ловли. Кроме того, если на общинной земле будет обнаружено мертвое тело, а убийца не будет найден, то община за то, что не отыскала убийцу или скрывала его, платит штраф — *дикую виру*:

Будеть ли головникъ ихъ въ верви, то зане к нимъ прикладываетъ, того же деля имъ помагати головнику; любо си дикую виру, но сплатити имъ во обчи 40 гривень, а головничество самому головнику, а въ 40 гривень ему заплатити ис дружины свою часть¹⁷.

¹² *Русская правда*, указ. соч.

¹³ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 25, Москва 2000, с. 76.

¹⁴ Там же, вып. 4, Москва 1977, с. 41.

¹⁵ Там же, вып. 14, Москва 1988, с. 31.

¹⁶ *Русская правда*, указ. соч.

¹⁷ Там же.

Дикая вира — ‘добровольная складчина членов общины, из которой платился штраф в случае убийства’¹⁸.

Что касается доказательств, то они предоставлялись истцом и опровергались ответчиком. Наличие синяков, ран, крови являлось достаточным доказательством. Это подтверждает 29 статья *Русской правды*:

Аже придет кровавь мужь на дворъ или синь, то видока ему не искати, но платити ему продажу 3 гривны; аще ли не будеть на немь знаменья, то привести ему видокъ слово противу слова; а кто будеть почаль, тому платити 60 кунь; аче же и кровавь придет или будеть самъ почаль, а вылезутъ послуши, то то ему за платежь, оже и били¹⁹.

Как видим, доказательством служили также свидетельские показания, в качестве свидетелей выступали *видоки* и *послухи*. Истец и ответчик, подтверждая свои показания, шли на *роту*, то есть давали присягу. Присяга принималась в качестве доказательства без каких-либо сомнений, так как считалось, что нарушивший присягу обрекает себя на вечные муки после смерти. Если прямых улик и свидетелей не было, тогда прибегали к высшей инстанции — Божьей воле, узнать которую можно было путем *испытаний*, к которым относились испытания железом и водою. Тот, кто выдерживал испытания, считался правым, так как на его стороне Бог.

Следует отметить, что княжеская власть получала в свою пользу разного рода выплаты, в зависимости от характера преступлений: *виры*, *продажи* и другие судебные пошлины. *Вира* — ‘побор, штраф в пользу князя за убийство свободного человека’: „А учинится у нихъ въ волости или въ коемъ стану душегубство, а не доищутся душегубца, ино за голову виры два рубли новгородские”²⁰. *Продажа* — ‘1) пеня, штраф за преступление, 2) судебная пошлина’²¹. Следует отметить, что на XI–XII вв. приходится активная законодательная деятельность князей: создаются *Русская правда* Ярослава, а позднее Ярославичей, уставы Владимира Мономаха, церковные княжеские уставы.

Таким образом, в Древней Руси судебный процесс носил обвинительный характер, следственные действия осуществлялись потерпевшей стороной: розыск преступника, поиск доказательств и свидетелей.

В период Московского государства ситуация меняется: преступления, которые являются опасными для государства, преследуются властью без участия обвинителя. Общество принимает на себя право суда и уста-

¹⁸ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 2, Москва 1975, с. 188.

¹⁹ *Русская правда, Русская правда*, указ. соч.

²⁰ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 2, указ. соч., с. 188.

²¹ Там же, вып. 20, Москва 1995, с. 116.

новления наказания. Преступление рассматривается не как действие против частного лица, но как нарушение общественного порядка в государстве. Доказательства перестают быть делом между сторонами, они добываются государственными чиновниками и передаются в ведение судьи. Уголовное право в этот период преследует две цели: лица, совершившие преступления, должны быть наказаны, а будущие преступления должны быть предупреждены²². Требования к проведению расследования излагались в уставных грамотах, а затем вошли в состав Уложений.

Во время правления Ивана IV ведение уголовного суда было поручено наместникам и волостелям по ряду преступлений, к которым относились душегубство, разбой и татьба с поличным. В России в то время уровень преступности был необычайно высок. Это было обусловлено огромными территориями, покрытыми лесными массивами и мало населенными, а также связано, во-первых, с безнаказанностью лиц, совершавших преступления, так как не всегда были обвинители, и во-вторых, с затруднениями по изобличению преступника, так как одними из главных доказательств оставались испытания. Иван Грозный, пытаясь решить эту проблему, начал посылать из Москвы на места *обыщиков*, которые должны были навести порядок и обеспечить безопасность населению. *Обыщик* – ‘человек, производящий расследование, дознание’: „И мы къ вамъ посылали на Белоозеро обыщиковъ своихъ, и отъ нашихъ деи обыщиков и отъ неделщиков чинятца вамъ великие убытки“²³. Обыщики не только не справлялись с поставленной задачей, но и создавали новые проблемы местным жителям, приносили им убытки, так как содержание этих чиновников было непомерно высоким. Местное население обратилось к царю с просьбой не посылать к ним обыщиков и позволить им самим бороться с преступностью. Тогда по приказу царя было поручено проводить расследование *губным старостам* и *целовальникам*. Так, в *Губном наказе Новгородской земле 1559 г.* говорится:

И яз, царь великий князь Иван Васильевич всея Руси, по их челобитью, пожаловал: велел есми у них быти в Великом Нове Городе на посади и в Новгородском уезде в станех и в волостех у розбойных и у татинных дел в губных старостах детем боярским, кого землею выберут, да с ними губным целовальником²⁴.

²² В. Л и н о в с к и й, *Опыт исторических разысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России*, Одесса 1849, с. 9–12.

²³ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 12, Москва 1987, с. 219.

²⁴ *Губной наказ Новгородской земле 1559 г.*, [в:] электронный ресурс: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Gubnoj_nakaz_novgorod1559/text.htm (19.09.2015).

В *Словаре русского языка XI–XVII вв.* фиксируется: *губной староста* – ‘выборное лицо из местных дворян, ведающее судебными делами в уезде (губе)’:

Отвель я человека своего Ортюшку Иванова въ Шую, въ губу, къ губному старосте къ Семену Кишкину, потому что тотъ человекъ мой Ортюшка живучи у меня, учаль клети мои красть и улыи мои ломать.

Губной целовальник – ‘выборный помощник губного старосты из среды зажиточных крестьян’²⁵. Губным старостам было вменено в обязанность ловить преступников, судить их, а затем подвергать установленным наказаниям, в том числе смертной казни. Такой полноты власти не было даже у наместников и волостелей, так как они не могли принимать решений без доклада царю, а губные старосты самостоятельно принимали решения.

Одним из важных элементов следствия, проводимого губными старостами, являлся *повальный обыск*, который представлял собой опрос по делу всех возможных свидетелей:

А велено ему по росписи про беглыхъ крестьянъ сыскивати около техъ местъ нашими дворцовыми селы и поместными и вотчинными всякими сыски накрепко, большим повальным обыскомъ, версть по тридцати и больши²⁶.

Большой повальный обыск проводился на расстоянии 30 километров и более, а *малый повальный обыск* на расстоянии до 20 километров. В одно место съезжались губные старосты и целовальники, куда из всего уезда должны были явиться к ним жители всех сословий:

И как на съезд к старостам съедутца, и старостам обыскивати князьми и детьми боярскими, и их приказшики, и царя великого князя дворцовых сел и черных деревень крестьяны [...] и всеми без омены, чей хто нибуди²⁷.

На собрании старосты расспрашивали людей,

кто у них в губи лихих людей татей и розбойников, и х кому тати и розбойники приежают и розбойную рухлядь привозят, и от кого на розбой ездять, и х кому розбойную рухлядь продают за разбойное²⁸.

Следует отметить, что существительное *обыск* использовалось также в значении ‘свидетельские показания, данные дознания’:

И х кому съ розбою и на розбой ездили, про то про все взяти у обыскныхъ людей за ихъ и за отцовъ ихъ духовныхъ руками обыски, да и по темъ обыскомъ лихихъ людей татей и розбойниковъ и оговорныхъ людей имати²⁹.

²⁵ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 4, Москва 1977, с. 153.

²⁶ Там же, вып. 12, указ. соч., с. 213–214.

²⁷ *Губной наказ Новгородской земле 1559 г.*, указ. соч.

²⁸ Там же.

²⁹ *Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 12, указ. соч., с. 214.

Люди, привлеченные к расследованию в качестве свидетелей, именовались словосочетанием *обыскные люди*³⁰. Показания обыскных людей записывал дьяк по статьям. Если свидетели владели грамотой, то они сами подписывали документ, если грамотой не владели, то право подписи предоставлялось их духовным отцам. Свидетельские показания обозначались двусоставным наименованием *обыскные речи*:

Да кто что про то про все въ обыску обыскные люди скажутъ, и ты бѣ те обыскные речи, за руками обыскных людей и отцовъ ихъ духовныхъ и за своею рукою, прислалъ къ намъ, къ Москвѣ³¹.

Если на кого-то показывали в обыске, что „они лихие люди, а исцов им нет“, то старостам в таком случае следовало

их имати, да ставити перед собою [...] и как их перед старостами поставят, и старостам тех людей по обыску в розбоях пытати³².

Если обыскные люди подтверждали факт преступления, то оговариваемые ими лица назывались *лихими людьми с доводом*. *Лихие люди* (*лихой человек*) – ‘преступники, преступник’³³; *довод* – ‘доказательство, улика’³⁴.

Глагол *обыскати* использовался в двух значениях: 1) ‘обыскать, произвестить обыск’:

А у кого учинится какова гибель и кто пригонит какой след [...] и гибельщик у него обыщет двор и поимает, а не вымет поличного, ино у него гибель пропала;

А татю веры не нять, а на кого възклеплеть, ино домъ его обыскать и найдуть в дому его что поличное, и онъ тот же тать;

2) ‘произвести дознание, расследовать дело (судебным порядком)’:

А будетъ учинитца у нихъ на монастырской земле душегубство бесхитростно: ково громъ убьеть или з древа или с хоромины убьетца, или згорить, или утонеть [...] а обыщуть про то в правду, что учинилось бесхитростно³⁵.

Как видим, первое значение этого глагола сохраняется и сегодня, а второе значение имело обобщенный характер, обозначало расследование в целом.

Обвиняемые в ходе повального обыска именовались словосочетанием *лихованные люди*. Глагол *лиховати* употреблялся со значением ‘оговаривать, опорочивать’:

³⁰ Там же, с. 216.

³¹ Там же.

³² Губной наказ Новгородской земле 1559 г., указ. соч.

³³ Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 8, Москва 1981, с. 249.

³⁴ Там же, вып. 4, Москва 1977, с. 276.

³⁵ Там же, вып. 12, указ. соч., с. 214.

И онъ Иванъ, по темъ обыскомъ техъ лихованныхъ людей, которые въ обыску лихованы, велеть имать губнымъ целовальникомъ³⁶.

Встречаем также глагол *облиховать* 'обвинить, уличить кого-либо в ходе судебного разбирательства':

А тех людей, на которых в татбах или в разбоях и языки учнуть говорить и в обыску их облихуютъ, а сами те лихованные люди с пыток не учнуть говорить [...] тех лихованных людей сажати в тюрьму³⁷.

Нередко показания давались под пыткой, во время которой обвиняемый должен был дать сведения о своих сообщниках. Такие показания являлись одним из видов доказательств и обозначались словосочетанием *язычная молвка*. В *Словаре русского языка XI–XVII вв.* говорится: *язычная молвка* — 'донос, свидетельские показания':

А которые воры тати и розбойники... учнуть говорити затевая воровствомъ какую татину и розбойную молку на иныхъ людей [...] и темъ ихъ язычным молкам не верити³⁸.

Тот, кто давал показания в ходе дознания, именовался существительным *язык*:

А на которых людей в розбоех язык говорил, а в обыску его назовут половина добрым человеком, а другая половина лихим человеком, и того человека пытати; и не учнет пытан на себя в розбоех говорити, и того человека дати на поруку за обыскных людей, которые его одобрили³⁹.

Названных обвиняемым сообщников также подвергали пытке, а имущество, принадлежавшее им, опечатывали⁴⁰.

Следует отметить, что обвиняемые имели право на защиту. Так, лиц, названных под пыткой сообщниками, подвергали пытке не сразу. Они имели право потребовать провести повальный обыск и получить свидетельские показания в свою пользу. Однако в случае, если на одно и то же лицо под пыткой показывали два или три человека, повальный обыск не проводился. Кроме того, если обвиняемые считали, что тот, кто давал показания, говорил неправду, то они имели право на очную ставку — *поставити с очей на очи*. Очная ставка как одно из следственных действий была закреплена законодательно:

И учнут на себя и на товарищов своих в розбое говорити и старостам по языку по тех людей посылати, а велети их ставити перед собою с языки с очей на очи⁴¹.

³⁶ Там же, вып. 8, Москва 1981, с. 247.

³⁷ Губной наказ Новгородской земле 1559 г., указ. соч.

³⁸ Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 9, Москва 1982, с. 241.

³⁹ Губной наказ Новгородской земле 1559 г., указ. соч.

⁴⁰ В. Л и н о в с к и й, указ. соч., с. 122.

В 1669 г. для расследования уголовных преступлений была введена должность *сыщика*, а губной староста назначался его помощником. Должность губного целовальника была отменена. Однако должность сыщика просуществовала недолго, в 1683 г. она была ликвидирована, а все полномочия по розыску преступников и ведению суда были переданы *воеводам*, что затем и было подтверждено указом Петра I в 1702 г.

Одним из видов доказательств являлось собственное признание. Собственное признание в виновности или невиновности имело большее или меньшее значение в разные периоды развития правовых отношений. В древние времена признание считалось важнейшим фактором в расследовании преступления. Преступник, изобличенный рядом доказательств, часто не подвергался наказанию, если не было его собственного признания. С течением времени ситуация меняется. Так, по делам, которые были в ведении губных старост, практически не требовалось добровольного признания человека, которого обвиняли в преступлении. В татьбе и в разбое с поличным было достаточно оговора *язычною молвкою и облихования* в обыске, после чего подсудимого подвергали пытке. Важное значение признание приобретает позднее, в эпоху Петра I, когда при его наличии приостанавливается поиск других доказательств. Однако к признанию предъявляется ряд требований: оно должно быть добровольным, должно произноситься в суде перед судьей, а также соответствовать произошедшим событиям⁴².

Таким образом, в Древней Руси суд совершался только при наличии иска частного лица. Исполнял приговор сам потерпевший или его родственники. Как отмечает историк права В. И. Сергеевич,

первоначально наказание имеет исключительно частный характер, наказывает не государство, а частное лицо, сам потерпевший или его родственники⁴³.

Большую роль в поиске преступника играла община. К следственным действиям относились *заклич на торгу, свод (гонение следа)*. Доказательствами являлись следы побоев — *знамения*, присяга — *рота*, показания свидетелей — *видок* и *послухов*. Если доказательств не было, полагались на Божью волю и проводили поединки или испытания (ордалии). В Московский период следствие становится делом государственным, а отдельные частные лица от руководства этим процессом отстраняются. Проведение следствия поручается государственным чиновни-

⁴¹ Губной наказ Новгородской земле 1559 г., указ. соч.

⁴² В. Л и н о в с к и й, указ. соч., с. 89–90.

⁴³ В. И. С е р г е е в и ч, *Лекции и исследования по древней истории русского права*, Санкт-Петербург 1910, с. 382–383.

кам: *наместникам, волостелям, обыщикам, губным старостам и губным целовальникам, сыщикам, воеводам*. К следственным действиям относятся: *обыск, повальный обыск (большой и малый) – допрос свидетелей, пытка, очная ставка – поставити с очей на очи*. В качестве доказательств принимаются показания *языков* (допрашиваемых) – *язычная молвка*. Обвинение – *облихование* – совершается при наличии показаний свидетелей – *обыскных людей* и *улик – доводов*. Следствие, в ходе которого собираются доказательства, помогает восстановить ход событий и обеспечить объективность судебному процессу.

Библиография

- Беляев И. Д., *Лекции по истории русского законодательства*, Москва 1879, с. 68.
- Губной наказ Новгородской земле 1559 г.*, [в:] электронный ресурс: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVI/1540-1560/Gubnoj_nakaz_novgorod1559/text.htm (19.09.2015).
- Л и н о в с к и й В., *Опыт исторических разысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России*, Одесса 1849.
- Н о в о с е л ь ц е в А. П., *Восточные источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв.*, [в:] его же и др., *Древнерусское государство и его международное значение*, Москва 1965, с. 397–398.
- П р е с н я к о в А. Е., *Лекции по русской истории*, т. 1: *Киевская Русь*, Москва 1938, с. 200.
- Русская правда*, [в:] электронный ресурс: <http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4947> (19.09.2015).
- С е р г е е в и ч В. И., *Лекции и исследования по древней истории русского права*, Санкт-Петербург 1910.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 2, Москва 1975, с. 188.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 4, Москва 1977, с. 153, 276.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 5, Москва 1978, с. 214.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 8, Москва 1981, с. 247, 249.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 9, Москва 1982, с. 241.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 12, Москва 1987, с. 213–214, 219.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 16, Москва 1990, с. 219.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 20, Москва 1995, с. 116.
- Словарь русского языка XI–XVII вв.*, вып. 23, Москва 1996, с. 179.
- Ф р о я н о в И. Я., *Киевская Русь. Очерки социально-политической истории*, Ленинград 1980.
- Ш е й ф е р С. А., *Следственные действия. Система и процессуальная форма*, Москва 2001.

КОГНИТИВНАЯ СЕМАНТИКА И НАРРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
ПАРЕНТЕЗЫ КАЖЕТСЯ В РАЗНЫХ КОНТЕКСТАХ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА

THE COGNITIVE SEMANTICS AND NARRATIVE FUNCTIONS
OF THE PARENTHESIS КАЖЕТСЯ IN DIFFERENT CONTEXTS
OF FICTIONAL DISCOURSE

ЕЛЕНА ЧЕРНЦОВА

ABSTRACT. This article analyzes the cognitive semantics of the parenthesis *кажется*, as well as its functions in developing a fictional narrative strategy. The analysis shows that the parenthesis *кажется* does not have its own conceptual value and it is functionally related to the subject's reflection on cognitive activity, whose contents are predetermined by various perspectives of the context. The semantics and narrative functions of the parenthesis *кажется* are identified within such parameters as 'communicative logic of the cognitively active subject', 'subjective structure of context', along with a 'communicative register' – 'reproductive' or 'informative' – and a 'narrative strategy'.

Елена Чернцова, Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков – Украина, e.v.cherntsova@yandex.ru

В предыдущих публикациях автора была показана когнитивная семантика и функции парентезы *кажется* в диалогических контекстах обыденного дискурса¹, а также нарративных контекстах разных жанров – обыденного рассказа, бытового письма; автобиографических жанров (мемуаров, записок, дневника); публицистического эссе; научно-публицистических жанров².

Исследование дискурсивно обусловленных значений базируется на анализе, выявляющем смысловое соответствие словесного выражения целям и установкам говорящего. Дискурсивный анализ в этом случае базируется на таких параметрах: 'дискурсивный тип контекста'; 'нарративная стратегия'; 'коммуникативный регистр' (репродуктивный – информативный – генеритивный – волонтивный – реактив-

¹ Е. В. Чернцова, *Дискурсивная семантика парентезы „кажется“*, „Вісник Харківського національного університету. Сер.: Філологія“ 2012, № 1014, с. 91–98.

² Е. В. Чернцова, *Дискурсивные проекции парентезы „кажется“ в жанрах нарратива*, [в:] *Слов'янський збірник (збірник наукових праць)*, Видавничий дім Дмитра Бураго, вип. 17, ч. 2, Київ 2012, с. 535–540.

ный); 'субъект когнитивной деятельности'; 'субъектная структура контекста'.

Параметр 'дискурсивный тип контекста' актуализирует специфику референции текста (в данном случае художественного), predeterminedенную характером связанного с ним мира (в данном случае фикционального). Специфический характер фикционального мира задают воображение и память — основные категории художественного сознания, они же predeterminedяют способ сообщения о нем. Так, логика художественного дискурса формирует различные речевые планы повествования, в которых реализуются позиции рассказчика (повествование от 1-го лица), нарратора (повествование от 3-го лица), персонажа. Эти планы фиксируются термином 'субъектная структура контекста' и позволяют различать дискурс персонажа и дискурс рассказчика или нарратора. Для выявления особенностей функционирования парентезы *кажется*, ее роли в синтаксическом оформлении 'коммуникативной позиции говорящего', которая традиционно описывается в категориях прямой, косвенной, свободной косвенной речи, будем последовательно отвечать на вопрос: кто является субъектом когнитивного акта, маркируемого парентезой *кажется*, — нарратор, рассказчик или персонаж.

В решении поставленной задачи важна взаимосвязь между когнитивным значением парентезы *кажется* и художественной нарративной стратегией, осмысляемой в контексте параметра 'коммуникативный регистр'³. Коммуникативный регистр понимается лингвистами как определенный тип отражения действительности, обусловленный точкой зрения говорящего, его пространственно-временной позицией, запечатленной в тексте. В контексте задач исследования вводится различие репродуктивного и информативного характера коммуникативного регистра. Репродуктивный регистр представляет субъекта, который находится в локусе описываемого им события, в силу чего он констатирует лишь только то, что видит, слышит или чувствует непосредственно. Информативный регистр имплицитно представляет субъекта, который не просто описывает то, что видит, но интерпретирует наблюдаемую ситуацию: осмысляет, оценивает ее с позиций собственного понимания.

Дискурсивный анализ может выявить когнитивную значимость слова в построении той или иной нарративной стратегии, связанной с репродуктивным или информативным регистром. Для того чтобы дифференцировать высказывание с парентезой *кажется* и более широкий контекст, частью которого является это высказывание, примем

³ Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова, *Коммуникативная грамматика русского языка*, под общ. ред. Г. А. Золотовой, Наука, Москва 2004, с. 29–35.

следующие условные обозначения: высказывание с парентезой — ‘контекст парентезы’; более широкое дискурсивное окружение — ‘внешний контекст’. Анализ значимости парентезы в разных типах художественного контекста, представленных в дискурсивном материале Национального корпуса⁴ русского языка, позволяет различать частные типы контекстов.

1. Диалогический контекст прямой речи персонажа

1.1. Внешний репродуктивный контекст (первого типа). Парентеза *кажется* принадлежит дискурсу персонажа, который выступает ‘субъектом когнитивной деятельности’. Начнем с диалогического контекста репродуктивного регистра, в котором персонаж представлен как участник ситуации, опирающийся на данные своего наблюдения, ср. (1): — *Вот этот, — кричала ему барышня, становясь на колени перед могучим телом бородача дворника, — кажется, дышит, господин офицер, дайте ему воды* (П. Н. Краснов, *От Двуглавого Орла к красному знамени*). В репродуктивном контексте обретает значимость синхронность времени наблюдения и времени события. Субъект-наблюдатель выдвигает предположение о состоянии наблюдаемого лица. Парентеза *кажется* в таком случае отражает интерпретационный ментальный акт субъекта-наблюдателя, который осознает принципиальную невозможность истинного суждения о физическом состоянии наблюдаемого лица по ряду причин, в частности субъект может осознавать свою некомпетентность в таких вопросах. Иллокуция интерпретационного диалогического речевого акта, выраженная парентезой *кажется*, может быть определена следующим образом: ‘говорящий высказывает свою версию происходящего и приглашает адресата к его верификации: поправь меня, если я ошибаюсь’. Парентезой *кажется* маркируется актуальный (для моделируемого в диалогическом контексте момента времени) рефлексивный акт субъекта-наблюдателя.

Двойственность семантики *кажется* состоит в том, что рефлексия по поводу наблюдаемого как вид когнитивной деятельности отражает не только репродуктивную (‘описываю то, что вижу’), но и информативную коммуникативную установку субъекта речи (‘предлагаю свой вариант понимания происходящего, осознавая, что могу ошибаться’). Несмотря на внешний репродуктивный контекст, функцию парентезы *кажется* можно интерпретировать как функцию маркера информативного и волюнтивного речевого акта персонажа. Подобную функцию выполняет парентеза в ситуации обыденного диалога о наблюдаемом собеседниками положении дел. Функциональная нагрузка парентезы

⁴ См. электронный ресурс: <http://www.ruscorpora.ru/>

в художественном диалогическом контексте увеличивается, в частности за счет указания на особенности 'речевого портрета персонажа'.

1.2. Внешний информативный контекст (второго типа). В этом случае реплика с парентезой *кажется* принадлежит персонажу, строящему свое предположение не на непосредственном наблюдении, а на определенных фоновых знаниях, ср. (2): — *А он всё-таки здесь!* — *Не понимаю...* — *пожал плечами студент Конякин.* — *Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня.* — *Он, кажется, скрывается,* — *постукивая носком ботинка о ковёр, сообщила Серафима Петровна.* — *За ним следят. Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился.* (А. Т. Аверченко, *Ложь*). Рассмотрим коммуникативную структуру диалога персонажей. Реплика — *Он, кажется, скрывается* — выполняет в структуре диалога двойную роль: высказывания-реакции на предшествующий речевой акт собеседника и высказывания-сообщения об обсуждаемом предмете речи, которое задает перспекцию дискурса. В контексте задач нашего исследования важна роль парентезы в формировании особой иллокуции сообщения — *Он, кажется, скрывается*, в котором представлена интерпретация субъектом-персонажем мотивов поведения другого персонажа. В таком контексте парентеза выполняет функцию маркера процесса становления мысли персонажа, его рефлексии: персонаж представляется как субъект, который находится в состоянии активного мыслительного процесса. Отметим еще раз, что субъект дискурса изображается как дистанцированный в пространстве и времени, но имеющий некоторые представления об объекте осмысления.

1.3. В внешнем информативном контексте (третьего типа) представлен рассказчик, вспоминающий о деталях прошлого события, а парентеза *кажется* маркирует рефлексии над соответствующей когнитивной деятельностью — 'если я правильно помню', 'если мне не изменяет память'. Ср. (3): *Я тогда ухаживал за одной местной, ничего была женщина, как же её звали? Кажется, Настя.* — *Нина,* — *подсказал Скворцов.* — *Не путай, Нина — это в другой раз. А на этот раз была Настя, я теперь твёрдо вспомнил* (И. Грекова, *На испытаниях*). Нарративная стратегия, разворачивающая процесс воспоминания персонажа-рассказчика, строится из фрагментов разного типа — автодиалога (*как же её звали? Кажется, Настя*) и собственно диалога (*Нина, — подсказал Скворцов. — Не путай, Нина — это в другой раз*). В таком контексте *кажется* маркирует установку рассказчика на восстановление в памяти забытой информации.

Таким образом, контекст парентезы может быть связан с внешним репродуктивным контекстом и с внешним информативным контекстом. Различия между возникающими контекстными значениями па-

рентезы можно объяснить особенностями коммуникативной логики ‘субъекта когнитивной деятельности’: в ситуации непосредственного наблюдения субъект восприятия осмысляет полученное впечатление и его рефлексивный акт направлен на понимание или объяснение увиденного: субъект интерпретирует физические или ментальные состояния наблюдаемого лица или возможные причины наблюдаемого события (контекст № 1). В процессе осмысления тех или иных ситуаций интерпретационный акт субъекта опирается на впечатления, полученные в прошлом, фоновые знания о предмете мысли, которые часто обобщаются, систематизируются в процессе обдумывания (контекст № 2). В процессе воспоминания интерпретация субъекта базируется на припоминании всей той информации, которая содержится в памяти говорящего (контекст № 3). В этом случае рефлексивный акт направлен на процесс восстановления информации в памяти.

Коммуникативная логика субъекта-наблюдателя обуславливает характер субъектной структуры внешнего репродуктивного контекста, которая включает субъекта-наблюдателя, субъекта речи и субъекта рефлексии над полученным впечатлением. Эти три позиции субъекта могут совпадать в персонаже (контексте № 1). Коммуникативная логика субъекта-носителя знания реализуется в виде иной субъектной структуры: субъект фоновых знаний, субъект рефлексии и субъект речи. Логика репродуктивного регистра задает в контексте значение парентезы, отражающее актуальную (во временном значении термина) рефлексии субъекта-наблюдателя, а логика информативного регистра формирует либо значение ‘рефлексивный интерпретационный акт субъекта-носителя знаний’, либо ‘рефлексивный акт субъекта, который вспоминает нечто’.

Реализация того или иного варианта контекстного значения парентезы *кажется* зависит от параметров внешнего контекста. Если в контексте эксплицитно фиксируется значение ‘ретроспективный взгляд субъекта’, формируемое лексическими средствами (*помнить, вспомнить* и др.), то парентеза становится знаком ‘рефлексии над воспоминанием’ – ‘если я правильно помню’, ‘если мне не изменяет память’.

Таким образом, главная особенность парентезы состоит в том, что она не имеет собственного понятийного значения: *кажется* функционально связана с рефлексией субъекта над когнитивной деятельностью, содержание которой обусловлено различными планами контекста.

Поскольку парентеза *кажется* может отражать актуальный рефлексивный акт субъекта-наблюдателя, а рефлексия как тип когнитивной деятельности (как и интерпретация, объяснение) концептуально связана с коммуникативной установкой информативного регистра, то парентеза получает дополнительную функциональную нагрузку – мар-

кирует смену коммуникативного регистра с репродуктивного на информативный, что отражает движение авторской мысли в тексте.

2. Нарративный контекст косвенной речи

Как показывает дискурсивный анализ, контекстное значение парентезы *кажется* координируется с коммуникативной логикой субъекта дискурса ('субъект когнитивной деятельности'). Так, в обыденном дискурсе коммуникативная логика говорящего предопределяется различными обстоятельствами, в частности субъект может не обладать абсолютным знанием о событии по ряду причин: например, говорящий может забыть некоторые подробности той ситуации, свидетелем которой он был. В таком случае рефлексивный акт будет направлен на восстановление в памяти всех деталей произошедшего. Характер рефлексии ('если мне не изменяет память') говорящего фиксируется ментальной рамкой *мне кажется, парентезой кажется*.

В художественном дискурсе коммуникативная логика **иная**: нарратор моделируется как субъект-носитель абсолютного знания о событиях художественного мира, при этом свое присутствие в тексте нарратор чаще всего не выражает эксплицитной ментальной рамкой *мне кажется*, однако парентеза *кажется* часто встречается в дискурсе нарратора в функции, которую уточним далее. Рассмотрим роль парентезы *кажется* в организации нарративной стратегии в различных типах контекста.

2.1. Внешний информативный контекст (четвертого типа) со значением 'ретроспективный взгляд нарратора', в котором парентеза маркирует рефлексии нарратора над актом воспоминания.

Начнем с контекстов, в которых нарратор запечатлен как субъект, в целом владеющий всей информацией о персонаже и событиях его жизни (а не субъект-наблюдатель), но как будто бы забывший некоторые подробности, ср. (4): *Поступивши в Красную Армию еще в 1918 году, он многократно успел доказать свою преданность общему делу, был, **кажется**, ранен, командиров всех знал лично, понимал их верно, ладил с ними по-товарищески, и они его любили и уважали — „свой” был, словом, человек* (Д. А. Фурманов, *Чапаев*). В контексте представляется фрагмент биографии персонажа. Зная о судьбе персонажа все, нарратор, тем не менее, выбирает языковые средства, эксплицирующие актуальную мыслительную деятельность, что привносит в контекст мемуарный характер. Парентезы *кажется, словом* выступают маркерами когнитивного стиля нарратора — неавторитарного, некатегоричного размышления, включающего рефлексии (*кажется, ранен*) и собственные выводы („свой” был, словом, человек). Ср. также следующий контекст (5): *Тотчас силы удвоились: испитой врангелевец, некогда ротмистр ея императорского величества*

гусарского полка, Варшавского, **кажется**, и в доску нашенский квадратный полковник-танкист (Ю. Давыдов, Синие тюльпаны).

В следующих информативных контекстах с парентезой нарратор также моделируется как субъект, который, сообщая нечто о прошлых событиях, „запамятовал“ фамилию одного из героев своего рассказа, ср. (6): Анна Францевна де Фужере, пятидесятилетняя почтенная и очень деловая дама, три комнаты из пяти сдавала жильцам: одному, фамилия которого была, **кажется**, Беломут, и другому — с утраченной фамилией (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита); ср. похожий контекст (7): Кто-то из лётчиков, **кажется**, Молчанов, ответил, что есть плохие люди среди всех наций (В. Гроссман, Жизнь и судьба); далее речь идет о номере смеси, который „восстанавливает в своей памяти“ нарратор, ср. (8): Тайное знание: покупать следовало смесь под определенным номером, **кажется**, 36, поскольку она содержала не только грузинский чайный лист, но и известную долю индийского (Б. Кенжеев, Из Книги счастья).

2.2. Внешний репродуктивный контекст (пятого типа). Если контекст отражает ретроспективный взгляд нарратора на события художественного мира и строится из фрагментов разных регистровых блоков: внешнего репродуктивного и информативного — то нарративная функция парентезы усложняется, ср. (9): Плясали свои и приглашённые гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта, какой-то Витя Куфтик из Ростова, **кажется**, режиссёр, с лиловым лишаём во всю щёку, плясали виднейшие представители поэтического подразделения МАССОЛИТа, то есть Павианов, Богохульский, Сладкий, Шпичкин и Адельфина Буздяк, плясали неизвестной профессии молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами, плясал какой-то очень пожилой с бородой, в которой застряло пёрышко зелёного лука, плясала с ним пожилая, доедаемая малокровием девушка в оранжевом шёлковом измятом платице (М. А. Булгаков, Мастер и Маргарита). Контекст в целом описывает внешние, наблюдаемые извне действия персонажей, отнесенные в план прошлого: Плясали свои и приглашённые гости, московские и приезжие, писатель Иоганн из Кронштадта; внешние, наблюдаемые извне приметы персонажей — ...с лиловым лишаём во всю щёку...; ...молодые люди в стрижке боксом, с подбитыми ватой плечами; очень пожилой с бородой, в которой застряло пёрышко зелёного лука...; ...доедаемая малокровием девушка в оранжевом шёлковом измятом платице. Репродуктивно-описательная нарративная стратегия отражает точку зрения нарратора-наблюдателя. Сообщение же, формируемое парентезой (какой-то Витя Куфтик из Ростова, **кажется**, режиссёр), отражает информативный регистр, парентеза маркирует когнитивный акт субъекта (нарратора), связанный с припоминанием профессии „наблюдаемого“ персонажа. Фрагменты разных регистров выполняют определенные функции в построении

художественного текста: предложения репродуктивного регистра служат констатации происходящего (наблюдаемого) в художественном мире, а предложения информативного регистра выражают мысли, реакции нарратора на наблюдаемое событие в целом либо его участников. Сочетание фрагментов разных регистров создает движение мысли в тексте — от описания увиденного к его объяснению, осмыслению. Нарративная функция парентезы *кажется* усложняется во внешнем репродуктивном контексте косвенной речи: сам контекст имплицитно фиксирует позицию субъекта-экспериментатора — участника события, а парентеза указывает на нарратора, маркирует его когнитивный акт — ‘припоминание некоторой информации о персонаже’. В таком контексте нарратор моделируется и как субъект-наблюдатель, и как субъект когнитивной деятельности.

2.3. Внешний репродуктивный контекст (шестого типа), в котором парентеза маркирует когнитивный акт интерпретации „видимого” и „слышимого” нарратором (без значения ‘рефлексия над воспоминанием’). Большинство контекстов такого типа строится из блоков разных коммуникативных регистров — репродуктивного и информативного. Так, например, в следующем контексте нарратор моделируется как находящийся в том же локусе, что и его персонажи, нарратор как будто бы видит все, что происходит, и слышит все, о чем говорят персонажи. К средствам, обнаруживающим локус нарратора, относятся глаголы, выражающие прямое восприятие субъектом-наблюдателем описываемых действий персонажа — *Мудряк... подмигивал и прищелкивал пальцами...* Ср. (10): *Мудряк, **кажется**, понимал, что мелет чушь, и потому подмигивал и прищелкивал пальцами; обращался к Милию Алексеевичу на „ты”, но это было не внове Милию Алексеевичу: люди, вовсе с ним незнакомые, чаще всего говорили ему „ты”, и он не одергивал, а только как бы немножко конфузился за них „тыкающих”* (Ю. Давыдов, *Синие тюльпаны*). Парентеза *кажется* принадлежит дискурсу нарратора, маркирует его когнитивный акт, направленный на объяснение причины увиденного: почему персонаж ведет себя таким образом. Парентеза фиксирует рефлексивный акт — ‘колебания субъекта между стремлением вынести истинное суждение и осознанием принципиальной невозможности истинного суждения о содержании чужих мыслей’. Парентеза выполняет функцию ‘переключателя’ коммуникативных регистров — с репродуктивного на информативный, что позволяет, во-первых, усложнить субъектную структуру контекста — нарратор моделируется в нем как субъект-наблюдатель и одновременно как субъект рефлексивного акта; во-вторых, передать движение мысли в тексте — от внутренней мотивации поступка персонажа к описанию его поведения; от причины к следствию.

В контексте репродуктивного регистра парентеза *кажется* отражает коммуникативную логику субъекта (нарратора-наблюдателя) — установку понять и объяснить читателю „видимое“ и „слышимое“ нарратором. Нарративная функция парентезы усложняется за счет импликаций — ‘нарратор наблюдает за описываемым событием’, ‘владеет полной информацией о персонажах, хочет объяснить читателю внутреннюю мотивацию поступков персонажей, раскрыть содержание их мыслей’.

3. Нарративный контекст свободной косвенной речи

3.1. Внешний репродуктивный контекст (седьмого типа). В нарративных контекстах свободной косвенной речи⁵ парентеза выполняет функцию маркера рефлексивного акта персонажа, включенного в виде трансформированной цитаты в дискурс нарратора. Ср. (11): *Неспешно подойдя к машине, шофёр сказал, что полетел, **кажется**, кардан, пассажиры его спешат, не подвезёт ли он их до Москвы* (А. Азольский, *Лопушок*). Чтобы показать нарративную функцию парентезы, трансформируем синтаксическую форму контекста свободной косвенной речи в прямую речь персонажа и слова автора и сравним два контекста: *Неспешно подойдя к машине, шофёр сказал — Полетел, **кажется**, кардан. Мои пассажиры спешат. Не подвезете ли Вы их до Москвы?* Сопоставление двух контекстов — авторского и трансформированного нами — показывает, что с синтаксической точки зрения весь авторский контекст представляет собою косвенную речь, кроме парентезы. Парентеза *кажется* — знак интерпретационного акта, субъектом которого выступает персонаж, а значит, парентеза цитируется нарратором. Парентеза становится индикатором синтаксической техники свободной косвенной речи. В таком контексте парентеза *кажется* выполняет функцию маркера пересечения двух дискурсов, посредством которого имплицитруется их связь, а значит, задается пространственно-временная позиция нарратора-наблюдателя описываемой ситуации. Нарратор моделируется в контексте как находящийся в том же локусе, что и его персонажи, нарратор как будто „слышит“ то, что говорит персонаж, и пересказывает его слова читателю.

Если нарративный контекст сообщает о пересказе нарратором слов персонажа, содержит предикативную конструкцию типа — *он сказал, что...; она говорит, что...*, то парентеза имплицитует значение — ‘пространственно-временные позиции нарратора-наблюдателя и персонажа, моделируемые в тексте, синхронны’. В такой многоголосой кон-

⁵ Свободной косвенной речью называется синтаксическая техника, смешивающая формы косвенной и прямой речи.

струкции содержится два субъекта диктума, два их референта и три предикации: одна — от речи персонажа и две — от авторской. Таким образом, парентеза открывает субъектную позицию для когнитивного (рефлексивного) акта персонажа в дискурсе нарратора. Субъектная структура контекста усложняется: в нем два субъекта речи — персонаж и нарратор, а также представлен субъект рефлексии — персонаж. Нарративная стратегия при этом описывает состояние сознания персонажа, строится как совмещающая две точки зрения: „изнутри” сознания персонажа и оценивающая позиция „извне”, принадлежащая нарратору-наблюдателю.

3.2. Внешний контекст свободной косвенной речи (восьмого типа).

Нарративный контекст пересказа речевого акта воспоминания близок к предыдущему контексту свободной косвенной речи. Ср.: (12): *Что они потом говорили и где были, Корнилов помнит очень плохо. Кажется, вдвоём они провожали Марью Григорьевну. Кажется, потом Марья Григорьевна проводила их* (Ю. О. Домбровский, *Факультет ненужных вещей*). Нарративная стратегия использует точку зрения персонажа: нарратор воссоздает в своем дискурсе речевой акт персонажа, направленный на то, чтобы вспомнить произошедшее с ним, персонажем, событие. Представления об устойчивых причинно-следственных связях позволяют интерпретировать контекст следующим образом: в контексте имплицитно нарратор в позиции наблюдателя или даже участника прошлого разговора с персонажем: нарратор „слышит” сказанное персонажем.

Синтаксическое построение контекста таково: первое сложное предложение с придаточными изъяснительного типа представляет собою контекст косвенной речи — *Что они потом говорили и где были, Корнилов помнит очень плохо*; но второе и третье предложения — контекст свободной косвенной речи, так как содержит парентезу *кажется*, принадлежащую дискурсу персонажа и маркирующую его рефлексивный акт — *‘насколько я помню’, ‘если меня не подводит память’*. Поскольку парентеза *кажется* заимствуется нарратором из дискурса персонажа, то в контексте формируется прагматическая импликатура: пространственно-временные позиции персонажа и нарратора синхронны, персонаж „сообщил” нарратору релевантную для повествования информацию.

Проанализированный материал позволяет сделать такие выводы:

1. Парентеза *кажется* не имеет собственного понятийного значения, функционально связана с рефлексией субъекта над когнитивной деятельностью, содержание которой обусловлено различными планами контекста. Контекстное значение парентезы *кажется* задается коммуникативной логикой ‘субъекта когнитивной деятельности’, скоординировано с ‘коммуникативным регистром’, ‘субъектной структурой’ внешнего контекста.

2. Коммуникативный регистр организован как когнитивный гештальт-сценарий, центром которого выступает ‘субъект когнитивной деятельности’. В контексте репродуктивного регистра представлены три позиции субъекта – субъект-наблюдатель, субъект речи и субъект рефлексии (*кажется*). В ‘субъектной структуре’ контекста информативного регистра вместо позиции субъекта наблюдения имплицитно позиция субъекта-носителя знания, обладающего полной информацией о событии.

3. Когнитивную семантику парентезы *кажется*, связанную с рефлексивным актом субъекта, можно представить в виде трех когнитивных сценариев:

– Субъект-наблюдатель рефлектирует над увиденным (в момент восприятия): его интенции направлены на то, чтобы различить то, что он видит, либо убедиться в ‘истинности / обманчивости’ первого впечатления, которое часто предполагает последующую интерпретацию мотива поступка человека или причины наблюдаемого события. Диалогический рефлексивный акт субъекта ориентирован на адресата – ‘поправь меня, если я ошибаюсь’.

– Субъект-носитель знания выдвигает свою интерпретацию происходящего в художественном мире, маркируя парентезой рефлексивный акт, который отражает установку на поиск ‘адекватного’ суждения, при этом субъект допускает, что может ошибаться. Рефлексивный акт, как правило, носит реактивный характер и представлен в диалоге персонажей.

– Субъект-носитель знания вспоминает некоторые подробности, его рефлексивный акт направлен на процесс восстановления информации в памяти – ‘если мне не изменяет память’.

В художественных контекстах разного типа выявленные сценарии представляются либо в чистом виде, либо совмещаются по принципу палимпсеста: ‘субъект рефлектирует над впечатлением, полученным в прошлом’.

4. Сравнение контекстов диалогической речи персонажей (1–3) с контекстами косвенной речи нарратора (4–10) показывает различия в функционировании парентезы, которые объясняются коммуникативной логикой ‘субъекта когнитивной деятельности’. Когнитивной основой рефлексивного акта нарратора выступает либо моделируемая в тексте ситуация ‘наблюдения’ за событием художественного мира (первый когнитивный сценарий), либо ‘вспоминание’ (третий сценарий). В контекстах косвенной речи не представлен второй когнитивный сценарий, в котором не содержится ни апелляции к ‘наблюдению’, ни к ‘вспоминанию’ (второй когнитивный сценарий реализуется исключительно в контексте диалогического типа).

5. По мере усложнения субъектной структуры нарративного художественного контекста функциональная нагрузка парентезы *кажется* возрастает:

– в контекстах информативной биографической стратегии парентеза маркирует рефлексивный акт нарратора, направленный на восстановление в памяти некоторой информации; такая стратегия не опирается, как правило, на репродукцию зрительных впечатлений и образов (внешний контекст четвертого типа);

– в контекстах нарративной стратегии, совмещающей различные коммуникативные установки, парентеза актуализирует позицию нарратора, 'переключает' регистр с репродуктивного на информативный, в результате чего в контексте создается импликация: 'нарратор вспоминает нечто о „наблюдаемом“ персонаже' (внешний контекст пятого типа);

– в контекстах репродуктивной стратегии (внешний контекст шестого типа) парентеза *кажется* отражает коммуникативную логику субъекта-наблюдателя, обусловленную установкой объяснить читателю „видимое“ и „слышимое“ нарратором;

– в рамках стратегии пересказа нарратором речи персонажа парентеза играет двойную роль: в дискурсе персонажа сигнализирует о его рефлексивном акте – 'интерпретации' или 'припоминании' (внешний контекст седьмого и восьмого типа), а в дискурсе нарратора имплицитно указывает единую пространственно-временную локализованность нарратора и персонажа.

Библиография

Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю., *Коммуникативная грамматика русского языка*, под общ. ред. Г. А. Золотовой, Наука, Москва 2004, с. 29–35.

Черцова Е. В., *Дискурсивная семантика парентезы „кажется“*, „Вісник Харківського національного університету. Сер.: Філологія“ 2012, № 1014, с. 91–98.

Черцова Е. В., *Дискурсивные проекции парентезы „кажется“ в жанрах нарратива*, [в:] *Слов'янський збірник (збірник наукових праць)*, Видавничий дім Дмитра Бураго, вип. 17, ч. 2, Київ 2012, с. 535–540.

Электронный ресурс: <http://www.ruscorpora.ru/>

О СЕМАНТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ
В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ
(НА ПРИМЕРЕ СЛОВА *ФАШИЗМ* И ЕГО ДЕРИВАТОВ)

ABOUT SEMANTIC PROCESSES IN THE POLITICAL LEXICON
(ON THE EXAMPLE OF THE WORD *FASCISM* AND ITS DERIVATIVES)

ОЛЬГА ФРОЛОВА

ABSTRACT. The article discusses the semantics of the word *fascism* in explanatory dictionaries and analyzes its current use. Comparing different interpretations in dictionaries, one can see how the authors avoid mentioning a particular period in which the term *fascism* emerged. The important semantic features of the term *fascism* are racism, dictatorship, and opposition to a free society. The word *fascist* is used to refer to: a) a supporter of a certain ideological and political doctrine that arose and was implemented in Italy and Germany in the first half of the twentieth century, characterized by racism and chauvinism, and taking the form of dictatorship; b) a follower of racist attitudes; c) the enemy, an object of hatred; d) the enemy in children's games; e) camouflage element in the oxymoronic phrase 'liberal fascism', masking the rejection of liberal values by the speaker.

Ольга Фролова, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва – Россия, Olga_frolova@list.ru

Динамичные изменения в современном русском языке привлекают пристальное внимание лингвистов¹. Единицы, значение которых представляется установившимся, также демонстрируют семантические трансформации. Мы намереваемся проанализировать употребление слов *фашизм*, *фашист* в русской речи.

Обратимся к толковым и энциклопедическим словарям. У Д. Н. Ушакова *фашизм* – „(ит. *fascismo* от латин. *fascis* – ‘пучок прутьев, в Древнем Риме служивший символом власти’) (нов. полит.) одна из форм от-

¹ См. следующие работы: И. Т. Вепрева, *Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху*, Москва 2005; В. Г. Костомаров, *Языковой вкус эпохи*, Москва 1994; Р. Ратмайр, *Русская речь и рынок: традиции и инновации в деловом и повседневном общении*, Москва 2013; *Русский язык конца XX столетия*, отв. ред. Е. А. Земская, 2-е изд., Москва 2000; *Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX–XXI веков*, отв. ред. Л. П. Крысин, Москва 2008; *Современный русский язык: система-норма-узус*, отв. ред. Л. П. Крысин, Москва 2010; *Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация*, отв. ред. Л. П. Крысин, Москва 2003.

крытой буржуазной диктатуры в нек-рых капиталистических странах, возникшая в Италии после первой империалистической войны в обстановке общего кризиса капитализма”². В словаре под редакцией А. П. Евгеньевой несколько иное толкование: „Политическое течение, возникшее в капиталистических странах в период общего кризиса капитализма и выражающее интересы наиболее реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии, а также открыто террористическая диктатура наиболее реакционных сил монополистического капитала, для которых характерны воинствующий антикоммунизм, шовинизм, расизм, подавление всех демократических свобод, подготовка и развязывание захватнических войн”³. В академическом много-томном словаре второй половины XX в. данное слово объясняется следующим образом: „Крайне реакционное политическое течение, выражающее интересы наиболее агрессивных кругов империалистической буржуазии и характеризующееся разнузданным шовинизмом, расизмом, уничтожением демократических свобод, развязыванием захватнических войн; террористическая диктатура монополистического капитала”⁴. В толковом словаре последнего времени представлена такая семантизация: „Политическое течение, в основе которого лежит идеология культа сильной личности, вождизма, агрессивного шовинизма и расизма”⁵. В качестве актуальной единицы данное слово входит в словарь актуальной лексики последнего времени, *фашизм* – „*Полит.* Идеология и политика шовинизма и расизма, направленные на уничтожение демократии и установление тоталитарных, репрессивных режимов”⁶.

В качестве энциклопедических изданий мы избрали электронные издания, свободные от идеологизации советской эпохи. В русскоязычной Википедии дается такое определение: *фашизм* – „(итал. *fascismo* от *fascio* ‘союз, пучок, связка, объединение’) обобщенное название крайне правых политических движений, идеологий и соответствующая им форма правления диктаторского типа, характерными признаками которых являются милитаристский национализм (в широком понима-

² Толковый словарь русского языка: в 4-х т., под ред. Д. Н. Ушакова, т. 4, Москва 1996, с. 1064.

³ Словарь русского языка: в 4-х т., под ред. А. П. Евгеньевой, 2-е изд., испр. и доп., т. 4, Москва 1981–1984, с. 556.

⁴ Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти т., т. 16, Москва 1948–1965, с. 1285.

⁵ Большой толковый словарь русского языка, гл. ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 2002, с. 1418.

⁶ Толковый словарь русского языка начала XXI века: актуальная лексика, под ред. Г. Н. Складневской, Москва 2008, с. 1020.

нии), антикоммунизм, ксенофобия, реваншизм и шовинизм, мистический вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму, вера в господство элит и естественную социальную иерархию, этатизм и в ряде случаев геноцид”⁷. Англоязычная Википедия, не совпадая с русской, делает несколько иные акценты в дефиниции: *fascism* „is a form of radical authoritarian nationalism that came to prominence in early 20th-century Europe. Influenced by national syndicalism, fascism originated in Italy during World War I, in opposition to liberalism, Marxism, and Anarchism. Fascism is usually placed on the far-right within the traditional left-right spectrum”⁸.

С целью выявления ключевых сем слова мы обратились также и к пародийному электронному изданию Луркморье, сохраняя лексику и орфографию источника. *Фашист* – „разновидность поцреотов, которые не любят агентов ZOGa, чурок, азиатов, жыдов, жителей солнечной Африки, почитают Гитлера и любят дописывать 1488 к своим никам. Испытывают неприязнь к многонациональным ымперцам, коммунякам и антифашистам, что выливается в ожесточенный пиздёж в интернете, бурления говен и холивары. Фашисты делятся на множество подвидов: от квасных поцреотов до хардкорных скинов, но при этом редко сами себя называют фашистами, предпочитая маски, вроде «националист», «расист», «национал-социалист» и т. п.”⁹.

Как видно из толкования в Луркморье, явление, описываемое с помощью заголовочной единицы, является предметом острых идеологических дискуссий в современном российском обществе. Статья содержит указания на многочисленные символы, которые сторонники движения объясняют как древние индийские солярные и славянские знаки. В энциклопедии предлагается также заголовочная единица *гламурный фашизм*, происхождение которого связано с популярным сериалом советского времени „Семнадцать мгновений весны”. С одной стороны, Луркморье отмечает идеологическое противостояние фашистов по отношению к представителям других рас и национальностей, с другой – дает расширенное толкование, говоря о нескольких видах фашистов.

Энциклопедические и толковые словари выделяют сходные семы в толковании, во-первых, определяя статус единицы: для русской языковой картины мира именно слово *фашизм* является гиперонимом. На эту роль не претендуют близкие термины *нацизм* и *национал-социализм*.

⁷ Википедия, [в:] электронный ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC>

⁸ Википедия, [в:] электронный ресурс: <https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism>

⁹ Луркморье, [в:] электронный ресурс: <https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82>

Во-вторых, при сопоставлении толкований выделяются несколько сем: форма — политическое течение и его признаки — шовинизм и расизм. В-третьих, отмечается форма правления — диктатура. В-четвертых, антонимические отношения связывают искомое слово с терминами *либерализм, демократия, свобода, анархия*. Заметим, что антонимические отношения *фашизма* и *марксизма* упоминает лишь англоязычная Википедия. Показательно, что из толкований уходят упоминания Италии как страны, в которой родилась идеология фашизма, сохраняется лишь отсылка к этимологии слова¹⁰.

Что касается слова *фашист*, его значение описывается в словарях как более широкое по объему: „Приверженец фашизма, член фашистской организации. || Разг. О солдатах и офицерах гитлеровской Германии. Отряд фашистов. Сражаться с фашистами. | Бранно. О крайне агрессивном, злобном человеке”¹¹. Отенок значения с пометой *бранно* позволяет такую интерпретацию, в которой идеологическая составляющая отходит на второй план. Сопоставление словарных толкований позволяет выявить разночтения: например, Г. Н. Складаревская сужает объем значения, не включая перенос. *Фашист* — „Полит. Сторонник, последователь фашизма; член нацистской партии”¹².

Чтобы проанализировать употребление, обратимся к *Национальному корпусу русского языка*¹³.

(1) „Советские школьники, чьи родители воевали, ребята, реально помнившие войну, играли в фашистов, собирали портреты Гитлера и его приспешников”¹⁴.

В первом примере отражено употребление, сложившееся в детской речи: после Второй мировой войны в детских играх в войну противник довольно часто получал наименование *фашиста*.

В примере 2 *фашист* включен в довольно обширную группу *не наших*, т. е. враждебных сил.

(2) „Да ещё в команду сил зла помимо традиционных персонажей типа леших, вурдалаков, упырей включили фашистов, каратистов, де-

¹⁰ В специальной исторической литературе выделяются те же характеристики фашизма как политического движения. См.: R. Griffin, *The Nature of Fascism*, London 1993; *История фашизма в Западной Европе*, Москва 1978; Ж. Желев, *Фашизм. Тоталитарное государство*, Москва 1991; Э. Нольте, *Фашизм в его эпохе*, Новосибирск 2001; Ф. Л. Нойманн, *Бегемот. Структура и практика национал-социализма. 1933–1944*, Санкт-Петербург 2015.

¹¹ БТС 2002: 1418.

¹² *Толковый словарь русского языка начала XXI века...*, указ. соч., с. 1020.

¹³ *Национальный корпус русского языка*, [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru

¹⁴ Д. Драгунский, *Помет валькирий*, „Частный корреспондент” 2011, [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru (23.03.2011).

виц лёгкого поведения, супермена Рембо, шпионов ниндзя и даже лидера мирового терроризма Усаму бен Ладена”¹⁵.

Пример 3 демонстрирует отход от идеологической точности в употреблении: тоталитарное государство 1930–1950 г. в СССР, по-видимому, исключало практику расизма. В речи персонажа слово *фашист* употреблено как характеризующий, а не таксономический предикат.

(3) „Сюзанна Карловна не здороваётся со старухой Ольгой Николаевной, — та назвала Сталина фашистом, а Ленина убийцей русской свободы”¹⁶.

Пример 4 показывает, что довольно часто слово *фашист* в употреблении освобождается от своей идеологической семантики, обозначая политического противника.

(4) „В фашисты записывали всех: и Тито, и Эйзенхауэра, и вообще всех капиталистов”¹⁷.

В современном употреблении авторы зачастую не прибегают к композиту *неофашист*, используя термин, имеющий точную датировку и относящийся к середине XX в.

(5) „С уверенностью, что все плохое возможно, с чувством готовности на улице, сконцентрировавшись, с врезавшимся в память знанием болевых мест, разделенные на страты и кланы, на «элиты» и «быдло», на «фашистов» и «черножопых», на «патриотов» и «либерастов», и так до мельчайшей стадии дробления, до той, где каждый человек сам за себя и против всех, — мы дружно воплощаем парадигму воюющей страны”¹⁸.

Показательно, что в политическом дискурсе слово *фашист* может обозначать политического противника как на русском, так и на других языках. Свидетельством этого служит перевод речи Каддафи.

(6) „Выступившие против Ливии западные державы лишь «кучка фашистов, которая кончит свои дни на свалке истории», — убежден ливийский лидер Муамар Каддафи, войска которого продолжают успешно противостоять повстанцам, несмотря на авиаудары сил западной коалиции”¹⁹.

¹⁵ *Темные силы против Масленицы*, „Народное творчество” 2004, [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru

¹⁶ В. Г р о с с м а н, *Все течет* (1955–1963), „Октябрь” 1989, [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru

¹⁷ Д. Д р а г у н с к и й, указ. соч.

¹⁸ В. А п л е т а е в, *Гражданское добивание*, „Русский репортер”, 22 сентября 2011, № 37 (215), [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru

¹⁹ Ю. К а л а ч и х и н а, *Каддафи отправил Запад на „свалку истории”*, [в:] электронный ресурс: <http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/world/562949979918858.shtml> (23.03.2011).

Употребление слова *фашист* в позиции предиката демонстрирует практически полную десемантизацию, утрату идеологической составляющей, которая заменена психологической.

(7) „Он — эгоманьяк, который ради всеобщего признания готов на все и начинает считать себя богом. Стремление к идеалу делает нас фашистами. Через двадцать пять лет люди научатся продлевать себе молодость и жить до ста лет”²⁰.

При этом в русском языке функционируют сложные слова *неофашист*, *неонацист*: по данным НКРЯ, обнаруживаются 22 документа (25 контекстов) с первым из них и 24 документа (28 контекстов) со вторым. Достаточно сравнить эти результаты со статистикой употребления существительного *фашист* (996 документов, 2987 контекстов), как выбор говорящего становится ясен.

В связи со сложными социальными процессами в России и кризисом на Украине попытки предложить номинации для националистических группировок привели к возникновению игровых слов, представляющих собой контаминации: *нашист* (участник проправительственной молодежной организации „Наши”, который с точки зрения говорящего пропагандирует националистические взгляды), *рашист* (русский фашист), *укрофашист* (сторонник националистического движения на Украине, чьи взгляды говорящий считает фашистскими).

В последнее время в российском Интернете ведутся дискуссии о содержании термина. На портале mail.ru в режиме „вопрос-ответ” пользователи дают свои толкования слова, порой отличающиеся полнотой.

(8) „чук чучхе Мастер (1497),

я вот не пойму... почему людей декларирующих СЛАВУ РОССИИ!!! называют фашистами???

– Фашисты это все проповедники, защитники и симпатизанты идеи глобального насилия против России как геополитического субъекта и против русских как самобытного народа с его правом самостоятельно определять пути развития своей цивилизации”²¹.

(9) „В отличие от таких понятий, как консерватизм, либерализм, социализм, коммунизм и т. д., понятие «фашизм» лишено содержания”²².

(10) „Это общность нации, основанная на тотальной идеологической сплоченности, агрессивном отношении к иным. «Фашизм» мы понимаем не только как проявления немецкого пост империализма, а развернуто, как некую систему противодействующую равноправ-

²⁰ Е. Г у с я т и н с к и й, *О маньяках и кризисе*, „Русский репортер”, 22 сентября 2011, № 37 (215), [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru

²¹ См.: электронный ресурс: <https://otvet.mail.ru/question/20705322> (23.03.2011).

²² См.: электронный ресурс: <https://otvet.mail.ru/question/10993861> (23.03.2011).

ному демократическому устройству мира, и выделяющую «хороших» и «нехороших» людей”²³.

Как видим, в предложенных объяснениях наблюдаются три тенденции: попытки выявить признаки движения (пример 10), десемантизировать термин (пример 9), прагматически заострить номинацию, обратив ее против оппонента или идеологического противника в противостоянии своего и чужого (пример 8).

В 2008 г. была опубликована в оригинале, а в 2012 г. вышла в переводе на русский язык книга Дж. Голдберга *Либеральный фашизм*²⁴. В англоязычной Википедии авторы отмечают неординарную трактовку содержания термина: автор „argues that over time, the term *fascism* has lost its original meaning and has descended to the level of being a modern word for 'heretic'”²⁵. Авторы статьи прямо говорят о десемантизации термина. Предложенное в книге словосочетание *либеральный фашизм* звучит оксюморонно. Автор снимает антонимию диктаторского характера фашизма и демократии, на которую указывают и энциклопедические, и толковые словари. Дж. Голдберг пишет: „То подновленное здание американского прогрессивизма, которое мы называем либерализмом, фактически стоит на фундаменте фашизма и является одним из его проявлений”²⁶.

Термин *либеральный фашизм* или *либералфашизм* был взят на вооружение в качестве инструмента для объяснения конфликтов и актов терроризма в демократических странах. Данный термин встречается как в политологических, так и неспециальных текстах. Поиск в системе Google, проведенный 20 сентября 2015 г., дает примерно 453 000 результатов.

(11) „По Европе прокатились манифестации под маркером манифестующих «Я — Шарли». Идеологически сущность этого движения можно определить как «либеральный фашизм». Либеральный — потому, что его базовая идеологема — «свобода слова». Фашизм — потому, что отрицается право другого на иную ценностную платформу, на иную культурную идентичность”²⁷.

В примере 11 автор задается целью предложить новое содержание понятия *фашизм*, заменив политические и идеологические основания экономическими.

²³ См.: электронный ресурс: <https://otvet.mail.ru/question/50979100> (23.03.2011).

²⁴ Дж. Г о л д б е р г, *Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы*, Москва 2012.

²⁵ Wikipedia, [в:] электронный ресурс: https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Fascism

²⁶ Дж. Г о л д б е р г, указ. соч., с. 9.

²⁷ В. Э. Б а г д а с а р я н, „Шарли Эбдо” — либеральный фашизм, [в:] электронный ресурс: <http://rusrand.ru/docconf/sharli-ebdo--liberalnyy-fashizm>

(12) „Выражение «либеральный фашизм» у эстетов принято считать истеричным и бессодержательным.

– Как фашизм может быть либеральным? Что общего может быть у идеологии прав человека с фашизмом?

Но ведь они же противоположны, либерализм и фашизм, да?

Идеологии вроде бы разные, а объект ненависти всё тот же.

Объект ненависти – мы.

Либерализм и фашизм объединяет стоящий у них за спиной истинный исторический субъект – капитал. Капитал как историческая сила. При помощи фашизма он сокрушает сопротивление других исторических сил и субъектов, при помощи либерализма обеспечивает и сохраняет собственное доминирование”²⁸.

Как видим, интересующий нас термин встречается в текстах, оформленных по правилам научного дискурса: с введением дефиниций, дополнительных терминов *идеологема, маркер, субъект, доминирование*.

Политолог и журналист М. Л. Шевченко без ссылок на Голдберга активно употребляет словосочетание *либеральный фашизм* в своих передачах.

(13) „Я считаю, что доминирующая сила в Украине, да и в других частях постсоветского пространства некоторых – это либерал-фашизм, это господство спайки бюрократии, олигархии, силовиков и криминала. Либерал-фашизм, который обеспечивает полный контроль над обществом и государством небольшой группе людей с полным тотальным медиагосподством и с наличием при всем при этом не социально ориентированного политического мировоззрения, которое считало бы, что миллионы людей, живущих в Украине там или в России, достойны бесплатного образования, бесплатной медицины, бесплатных разных структур, приводящих к развитию их личности”²⁹.

Объяснения Шевченко во многом, как видим, совпадают с тезисами Дж. Голдберга.

(14) „Рябцева решила напомнить либералам о том, что необходимо тактично разговаривать с оппонентами, отказаться от нетерпимости. Интересно, что сама нетерпимость, по словам Рябцевой, это – «либеральный фашизм»”³⁰.

²⁸ Р. Н о с и к о в, *Капитализм и Глобальное Зло. Рецензия на „Мстителей-2”*, [в:] электронный ресурс: <http://www.odnako.org/blogs/kapitalizm-i-globalnoe-zlo-recenziya-na-mstiteley-2/>

²⁹ „Особое мнение” 28 мая 2014 г., [в:] электронный ресурс: <http://echo.msk.ru/programs/personalno/1329372-echo/>

³⁰ Журналист „Эха Москвы” обнаружила либеральных фашистов в собственных рядах, [в:] электронный ресурс: <http://politruussia.com/opozitsiya/zhurnalistka-ekha-moskvy-419/>

Пример 14 демонстрирует иную тенденцию: термин лишается своего идеологического содержания, подобно тому как *фашистом* дети называют противника в игре.

Подводя итоги, можем сказать, что личное существительное *фашист* оказывается шире по объему, чем абстрактный термин. В речи слово *фашист* употребляется для обозначения: а) сторонника определенной идеологической и политической доктрины, возникшей и реализованной на государственном уровне в Италии и Германии в первой половине XX в., характеризующейся расизмом, шовинизмом, осуществляющейся в форме диктатуры; б) последователя расистских взглядов; в) противника, объекта ненависти; г) противника в детских играх; д) камуфлирующего элемента в оксюморонном словосочетании *либеральный фашизм*, маскирующего неприятие говорящим либеральных ценностей.

Библиография

- А п л е т а е в В., *Гражданское добивание*, „Русский репортер“, 22 сентября 2011, № 37 (215), [в:] электронный ресурс: www.ruscorgora.ru
- Б а г д а с а р я н В. Э., „Шарли Эбдо“ – либеральный фашизм, [в:] электронный ресурс: <http://rusrand.ru/docconf/sharli-ebdo--liberalnyy-fashizm>
- Большой толковый словарь русского языка*, гл. ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 2002.
- В е п р е в а И. Т., *Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху*, Москва 2005.
- Википедия, [в:] электронный ресурс: <https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism>
- Википедия, [в:] электронный ресурс: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC>
- Г о л д б е р г Дж., *Либеральный фашизм. История левых сил от Муссолини до Обамы*, Москва 2012.
- Г р о с с м а н В., *Все течет (1955–1963)*, „Октябрь“ 1989, [в:] электронный ресурс: www.ruscorgora.ru (23.03.2011).
- Г у с я т и н с к и й Е., *О маньяках и кризисе*, „Русский репортер“, 22 сентября 2011, № 37 (215), [в:] электронный ресурс: www.ruscorgora.ru
- Д р а г у н с к и й Д., *Помет валькирий*, „Частный корреспондент“ 2011, [в:] электронный ресурс: www.ruscorgora.ru (23.03.2011).
- Ж е л е в Ж., *Фашизм. Тоталитарное государство*, Москва 1991.
- Журналист „Эха Москвы“ обнаружила либеральных фашистов в собственных рядах*, [в:] электронный ресурс: <http://politruussia.com/opozitsiya/zhurnalistka-ekha-moskvy-419/>
- История фашизма в Западной Европе*, Москва 1978.
- К а л а ч и х и н а Ю., *Каддафи отправил Запад на „свалку истории“*, [в:] электронный ресурс: <http://www.rbcdaily.ru/2011/03/23/world/562949979918858.shtml> (23.03.2011).

- Костомаров В. Г., *Языковой вкус эпохи*, Москва 1994.
- Лукоморье, [в:] электронный ресурс: <https://lurkmore.to/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82>
- Национальный корпус русского языка, [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru
- Нойманн Ф. Л., *Бегемот. Структура и практика национал-социализма. 1933–1944*, Санкт-Петербург 2015.
- Нольте Э., *Фашизм в его эпохе*, Новосибирск 2001.
- Носиков Р., *Капитализм и Глобальное Зло. Рецензия на „Мстителю-2“*, [в:] электронный ресурс: <http://www.odnako.org/blogs/kapitalizm-i-globalnoe-zlo-recenziya-na-mstiteley-2/>
- „Особое мнение“ 28 мая 2014 г., [в:] электронный ресурс: <http://echo.msk.ru/programs/personalno/1329372-echo/>
- Ратай Р., *Русская речь и рынок: традиции и инновации в деловом и повседневном общении*, Москва 2013.
- Русский язык конца XX столетия*, отв. ред. Е. А. Земская, 2-е изд., Москва 2000.
- Словарь русского языка: в 4-х т.*, под ред. А. П. Евгеньевой, 2-е изд., испр. и доп., т. 4, Москва 1981–1984, с. 556.
- Словарь современного русского литературного языка: в 17-ти т.*, т. 16, Москва 1948–1965, с. 1285.
- Современный русский язык. Активные процессы на рубеже XX–XXI веков*, отв. ред. Л. П. Крысин, Москва 2008.
- Современный русский язык: система-норма-узус*, отв. ред. Л. П. Крысин, Москва 2010.
- Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация*, отв. ред. Л. П. Крысин, Москва 2003.
- Темные силы против Масленицы*, „Народное творчество“ 2004, [в:] электронный ресурс: www.ruscorpora.ru
- Толковый словарь русского языка: в 4-х т.*, под ред. Д. Н. Ушакова, т. 4, Москва 1996, с. 1064.
- Толковый словарь русского языка начала XXI века: актуальная лексика*, под ред. Г. Н. Скляревной, Москва 2008, с. 1020.
- Электронный ресурс: <https://otvet.mail.ru/question/20705322> (23.03.2011).
- Электронный ресурс: <https://otvet.mail.ru/question/10993861> (23.03.2011).
- Электронный ресурс: <https://otvet.mail.ru/question/50979100> (23.03.2011).
- Griffin R., *The Nature of Fascism*, London 1993.
- Wikipedia, [в:] электронный ресурс: https://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_Fascism

ANTROPONIMY W NOWOCZESNYM ROSYJSKO-POLSKIM
SŁOWNIKU PRZEKŁADOWYM

ANTHROPONYMS IN RUSSIAN-POLISH GREAT
TRANSLATION DICTIONARIES

BOGUMIŁ GASEK

ABSTRACT. The article discusses the problem of the presentation of anthroponyms in translation dictionaries. A critical analysis is conducted using the resources included in *The Great Russian-Polish Dictionary* edited by "Wydawnictwo PWN". Inaccuracies found in dictionary entries allow us to formulate some conclusions about suitable methods to present anthroponyms in a modern electronic Russian-Polish translation dictionary.

Bogumił Gasek, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Polska, b.gasek@wp.pl

Znany w literaturze przedmiotu pogląd, głoszący, że „w ścisłym sensie imiona własne nie mogą być, w zgodzie ze swą naturą, tłumaczone”¹, nie oznacza, że nazwy własne nie są zaliczane do trudności przekładowo-leksykograficznych. Na materiale rosyjsko-polskim problematyka nazw własnych w przekładzie (w tym również antroponimów, którym jest poświęcony niniejszy artykuł) jest szczególnie widoczna ze względu na stosowanie dwóch różnych alfabetów, co siłą rzeczy zmusza tłumacza do posługiwania się takimi zabiegami jak transliteracja, transkrypcja, transpozycja i innymi rodzajami transformacji.

Wobec powyższego jakość danych słownikowych, zakres i sposób prezentacji odpowiedników na poziomie antroponimów zasługują na poważną refleksję teoretyczną. Jako punkt wyjścia do rozważań teoretycznych posłuży analiza *Wielkiego słownika rosyjsko-polskiego* pod red. J. Wawrzyńczyka (dalej w tekście – słownik PWN)². Wybór tego dzieła leksykograficznego w charakterze obiektu badawczego uzasadniają dwie przesłanki: słownik ten jest przez samych autorów określany jako pierwsze od dziesięcioleci tego typu opracowanie stworzone od podstaw i zgodnie z deklaracją re-

¹ A. B o g u s ł a w s k i, *Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej*, Łask 2013.

² *Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim*, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2004.

daktora naukowego powstawał „w określonej koncepcyjnej opozycji”³ między innymi w stosunku do poprzedniego fundamentalnego dzieła, jakim był słownik Wiedzy Powszechnej⁴.

Nowatorskim rozwiązaniem w stosunku do słownika Wiedzy Powszechnej, zawierającego aneks z wykazem różnych nazw własnych, było włączenie leksemów danego typu do korpusu słownika. Takie rozwiązanie, jak się wydaje, uwypukla znaczenie nazw własnych w praktycznym wykorzystaniu słownika, a więc tłumaczeniu i dydaktyce, i jest dość wygodne z punktu widzenia użytkownika tradycyjnej wersji papierowej. Wydawnictwo zaproponowało też analogiczną wersję elektroniczną, której praktyczna wygoda użytkownika (czas potrzebny na wyszukanie hasła i możliwość dotarcia do informacji niehasłowych – ukrytych w treści artykułu hasłowego, komentarzach, przykładach użycia itp.) jest bezsprzeczna.

Przyjrzyjmy się sposobowi prezentacji antroponimów. Słownik PWN zawiera dużą liczbę par transland – translat o strukturze 1:1, np. **Карпов** [-ва] Karpow. W ten sposób skonstruowano część haseł zawierających imiona (**Дина** [-ны] Dina), nazwiska (**Кравченко** *неизм.* Krawczenko), imiona odojcowskie (**Борисович** [-ча] Borisowicz), skrócone formy imion (**Толя** [-ли] Tola), nazwy postaci baśniowych **конёк-горбунок** [конь-ка-горбунка] konik-garbusek.

Tego typu przykłady mają ograniczoną wartość praktyczną dla tłumacza – informują o istnieniu określonej formy w języku wyjściowym w jej normatywnym kształcie ortograficznym i ortofonicznym oraz o jej standardowym polskim odpowiedniku. Jednak identyfikacja formy wyjściowej i poprawne użycie odpowiednika mogą być utrudnione ze względu na brak jakichkolwiek wskazówek, komentarzy, czy też przykładów funkcjonowania w tekście w przypadku większości zaprezentowanych antroponimów. Brak jakiegokolwiek eksplikacji jest szczególnie zauważalny przy prezentacji skróconych form imion, np. **Саша** [-ши] Sasza. Sam fakt włączenia tej grupy antroponimów do słownika to krok w dobrym kierunku, jednak konstrukcja danej kategorii haseł pozostawia wiele do życzenia. Hasła w wielkim słowniku przekładowym powinny umożliwiać proces tłumaczenia tekstów, a więc zapewniać jego dwa podstawowe etapy – interpretację (poprawne zrozumienie) leksemu wyjściowego oraz wybór właściwego odpowiednika. W związku z tym w tego typu hasłach należy podawać odwołanie do formy wyjściowej, zwłaszcza że w języku rosyjskim może być to forma supletywna (np. Георгий – Жора), jedna forma skrócona może się odnosić do osób obojga płci (Саша – Александр, Александра; Женя

³ J. W a w r z y ń c z y k, *Blaski i cienie translato sfery*, [w:] *Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych*, red. W. Chlebda, Opole 2011, s. 171.

⁴ A. M i r o w i c z, I. D u l e w i c z o w a, I. G r e k - P a b i s o w a, I. M a r y n i a k o w a, *Wielki słownik rosyjsko-polski*, t. 1-2, wyd. VI, Moskwa-Warszawa 1999.

– Евгений, Евгения). Ponadto specyficzną cechą języka rosyjskiego jest wielość form skróconych tych samych imion wyjściowych, np. Александр to zarówno Саша, Шура, jak i Саня oraz szereg pochodnych zdrobnień (Сашенька, Шурик⁵), czego nie dowiemy się ze słownika notującego je w zupełnym oderwaniu od form wyjściowych. Tego typu artykuły hasłowe mogłyby przybrać następującą formę: **Саша** (уменьшительное от Александр, Александра) – Sasza. Nieznaczone rozszerzenie artykułu zwiększyłoby jego wartość praktyczną.

Na pozytywną ocenę zasługuje wskazanie dla niektórych imion i nazwisk dwóch różnych wariantów odpowiedników polskich, np.

Лариса [-сы]

1. Łarisa
2. (*в полонизир. форме*) Larysa

Ваня [-ни]

1. Wania
2. (*в полонизир. форме*) Janek.

Taki kształt hasła uświadamia tłumaczowi możliwość stosowania różnych ekwiwalentów w zależności od rodzaju tekstu i przyjętej strategii translatorycznej. Wydaje się jednak, że autorzy słownika dopuszczają się pewnej nieścisłości: w pierwszym przykładzie mamy transkrybowany ekwiwalent i spolszczony odpowiednik, w drugim natomiast po przetranskrybowanym ekwiwalencie pojawia się analogia kulturowa rosyjskiego imienia. Taki zabieg (stosowany obecnie bardzo rzadko nawet w przekładzie artystycznym) nosi nazwę transpozycji⁶ lub przekładu funkcjonalnego. Być może w nawiasie powinna znaleźć się uwaga *польский аналог* **Janek**⁷. Dodajmy, że słownik nie uwzględnia wszystkich podstawowych form skróconych najpopularniejszych imion rosyjskich. Z jednej strony odnotowano takie przykłady jak Алёша, Боря, Валя, Ваня, Вася, Вова, Гриша, Дима, Женя, Жора, Зина, Катя, Коля, Костя, Лена, Лиза, Люба, Маша, Миша,

⁵ Zapewne w wersji papierowej nie ma sensu notowanie wszystkich form pochodnych utworzonych od form skróconych – problem ich wielości można rozwiązać poprzez włączenie informacji o schematach ich tworzenia do obecnych we *Wstępie* do słownika PWN informacji o charakterze słotwórczym. Jeśli jednak opracowywać słownik wyłącznie w wersji elektronicznej (o czym w dalszej części artykułu), to takie rozwiązanie jest godne zastosowania. Ważne jednak, żeby poinformować odbiorcę o kształcie formy wyjściowej oraz scharakteryzować transland jako zdrobnienie lub formę familiarną, potoczną, rzadką itp.

⁶ W takim znaczeniu ten termin stosuje D. I. Jermołowicz, por.: Д. И. Е р м о л о в и ч, *Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи*, Москва 2005, s. 199.

⁷ Co ciekawe, z hasła **Маргарита** dowiemy się że forma spolszczona to Małgorzata, ale już dla zdrobnienia **Рита** (samodzielne hasło) formą spolszczoną ma być Ryta, a nie Małgosia, czy też Gosia. W tym ostatnim przypadku proponowałbym ekwiwalent trójpunktowy: na drugim miejscu spolszczenie Ryta, na trzecim rezultat transpozycji – Gosia.

Надя, Настя, Наташа, Оля⁸, Паша, Петя, Рита, Саша, Света, Слава, Стёпа, Таня, Тоня, Федя, Юля, Юра, ale zabrakło – Валера⁹, Вика, Володя, Гоша, Даша, Ира, Лёня, Лера, Лора, Мила, Митя, Рома, Саня, Стас, Толя, Тома, Шура.

Słownik PWN podaje również najbardziej rozpowszechnione męskie i żeńskie imiona odojcowskie. Najczęściej takie hasła mają postać transland – translat, a więc np. **Сергеевна** [-ны] Siergiejewna, **Андреев** [-ва] Andriejew, ale w przypadku zbieżności graficznej z nazwiskami rosyjskimi autorzy uznają za konieczne zróżnicowanie obydwóch form, co przybiera następującą postać:

Абрамович [-ча] Abramowicz (*imię odojcowskie*)

Абрамович [-ча] Abramowicz (*nazwisko*).

To proste i ekonomiczne rozwiązanie techniczne oceniam bardzo pozytywnie, gdyż pozwala ono na rozróżnienie w sposób łatwy i przejrzysty form dość często mylonych przez nienatywnych użytkowników języka rosyjskiego. Niestety zignorowany został problem prezentacji form skróconych imion odojcowskich w formie adresatywnej. W języku rosyjskim imiona odojcowskie utworzone od najpopularniejszych imion często funkcjonują w formie skróconej. Co ważne, forma pełna jest stosowana w odmianie pisanej języka w dokumentach i innych oficjalnych tekstach oraz w odmianie ustnej w funkcji nominatywnej, ale już jako adresatyw wspomnianych imion odojcowskich normą jest wariant skrócony¹⁰, np. Александр Саныч, a w mniej oficjalnych sytuacjach – również Сан Саныч¹¹. Formy skrócone pojawiają się

⁸ Podanie formy wyjściowej uchroniłoby niejednego użytkownika przed rozpowszechnieniem wśród Polaków błędną relacją Александра – *Оля.

⁹ Do hasła **Валера** [-ры] Valera wkraść się błąd literowy, bądź odsyła ono do jakiejś innej formy niż forma skrócona od Валерий, Валерия. Trudności interpretacyjne potwierdzają tym samym, że brak informacji klasyfikującej formę wyjściową zmniejsza wartość użytkową słownika.

¹⁰ Rozalija Francewna Kasatkina podkreśla, że:

Точно так же, как в официальном документе нельзя написать компрессированные формы *Борисич* или *Борищ*, так и в устной речи, согласно традиции, не может быть рекомендована полная форма *Борисович*. Так, например, она определенно не рекомендуется при обращении.

– Р. Ф. К а с а т к и н а, *Компрессированные формы слов в русской речи*, [w:] *Русская фонетика в развитии. Фонетические „отцы” и „дети” начала XXI века*, отв. ред. М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина, Москва 2013, s. 27.

¹¹ Walentina Kulpina postuluje włączanie do słowników w niektórych przypadkach imion i imion odojcowskich razem, m.in. gdy: „ulegają dwustronnym asymilacjom, Мария Ивановна [*pot.* Мариванна], Иван Иванович [*pot.* Ванваныч]”. W. K u l p i n a, *Właściwości konfrontacji przekładowej onomasticonu polskiego i rosyjskiego*, [w:] „50 lat polskiej translatoryki”. *Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki*

także w odmianie pisanej wszędzie tam, gdzie ma miejsce stylizacja na wypowiedzi ustne (w literaturze pięknej, w tekstach prasowych). Moim zdaniem nowoczesny słownik przekładowy powinien uwzględniać funkcjonalną relację międzyjęzykową *ros.* adresatyw imię odojcowskie – *pol.* pan/ pani + tytuł zawodowy / stanowisko / stopień naukowy¹² itp., np. **Уважаемый Сергей Анатольевич!** – Szanowny Panie Dyrektorze! (*w liście do dyrektora firmy / instytucji*)¹³ oraz Виктор Степаньч – Panie profesorze! (*na uczelni, w komunikacji ustnej*). Należałoby włączyć adresatywy z najbardziej popularnymi imionami odojcowskimi, uwzględniając wspomnianą powyżej relację, formę pełną z zaznaczeniem jej pisemnego charakteru, a w wypowiedzi ustnej – jej oficjalności oraz formę skróconą ze wskazaniem podstawowej sfery użycia, a więc komunikacji ustnej oraz ewentualnych wariantów. Uważam, że tłumacz ma prawo dowiedzieć się o istnieniu form Саныч czy Палыч. Stąd też do słownika powinno trafić hasło **Саныч** (*от Александрович, в устной речи и при обращении*) – Aleksandrowicz / Sanycz.

W siatce słownika znalazły się również nazwiska. Traktowane są one na kilka podstawowych sposobów.

a. Odpowiedniki 1 : 1, np.

Семёнов [-ва] Siemionow

Вайда [-ды] Wajda

Пржевальский Przewalski

Оруэлл [-лла] Orwell

b. Nazwisko, encyklopedyczna uwaga nawiasowa i polski ekwiwalent

Якобсон [-на] (*российский и американский лингвист, литературовед, Роман О., 1896–1982*) Jakobson.

Zapewne umieszczenie obszernej informacji w nawiasie ma na celu zindywidualizowanie nazwiska i odróżnienie go od formy homograficznej

Якобсон

Якобсон [-на]

1. Jacobson

2. (*напр. эстонский писатель, Карл Роберт, 1841–1882*) Jakobson

c. Nazwisko wraz z ujętymi w punktach odpowiednikami

Иванов [-ва]

1. Iwanow

2. (*в польской среде, о среднем поляке*) Kowalski.

Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23–25 listopada 2007 r., red. K. Hejrowski, A. Szczęsny, U. Topczewska, Warszawa 2009, s. 292.

¹² Szerzej o danej relacji przekładowej: Б. Г. Г а с е к, *Прагматические аспекты русско-польского перевода*, „Вестник Кемеровского государственного университета” 2012, т. 3, № 4 (52), s. 114–118.

¹³ Podobne przykłady takiej międzyjęzykowej relacji przekładowej znajdziemy w: *Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski*, z. 4, pod red. W. Chlebdy, Opole 2009, s. 43–47.

Pierwszy standardowy ekwiwalent to wynik transkrypcji, natomiast drugi, poprzedzony dyrektywą wyboru, jest poprawnym odpowiednikiem dla generalizującego użycia rosyjskiego leksemu.

d. Dwa odpowiedniki, z których drugi jest poprzedzony komentarzem nawiasowym, np.

Гавел [-вела]

1. Gaweł

2. (напр. чешский драматург, *Вацлав*, 1936–) Havel.

Nawiasowa dyrektywa wyboru ma na celu zawężenie odpowiednika polskiego do sytuacji, w której rosyjski leksem wyjściowy oznacza nazwisko Czecha. Odnotujmy, że informacja ma charakter encyklopedyczny, na co zwłaszcza wskazuje data urodzenia, a jej zawartość budzi pewne zastrzeżenia merytoryczne – jeśli zdecydowano się na zastosowanie elementów opisu encyklopedycznego, to jednoznaczna identyfikację można było uzyskać poprzez sformułowanie напр. *чешский драматург, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии*.

Włączenie antroponimów do siatki haseł należy ocenić bardzo pozytywnie. Uwagi jednak wymaga sposób, w jaki dokonano prezentacji materiału onomastycznego w słowniku PWN. Nazwy własne, a w węższym zakresie antroponimy, można podzielić na trzy zasadnicze kategorie: na niejednostkowe, a więc takie, które mogą oznaczać dowolnie dużą liczbę pojedynczych osób i w takiej funkcji nie niosą w sobie dodatkowych znaczeń oraz konotacji, np. *Сергей, Андреев, Олегович*, na antroponimy jednostkowe, czyli określające konkretne, powszechnie znane w danym kraju postacie – pisarzy, działaczy politycznych, postaci historycznych, aktorów, znanych sportowców. Takie antroponimy zazwyczaj posiadają potencjał konotacyjny. Szczególną kategorię antroponimów stanowią słowa mające znaczenie generalizujące i używane w funkcji apelatywnej, np. *Иванов* jako synonim przeciętnego Rosjanina.

Konstruując nowoczesny słownik przekładowy, można rozważyć pomysł rozdzielenia wymienionych kategorii antroponimów. Antroponimy niejednostkowe, a więc najpopularniejsze rosyjskie imiona, imiona odojcowskie i nazwiska, można umieścić w słowniku w postaci oddzielnych spisów¹⁴. Za takim rozwiązaniem przemawia kilka przesłanek. Przede wszystkim odpowiedniki typu *Воробьёв* – *Worobjow* pełnią funkcję preskryptywną – informują odbiorcę o istnieniu określonego nazwiska, jego poprawnej formie ortograficznej i miejscu przycisku wyrazowego oraz

¹⁴ Najpopularniejsze nazwiska rosyjskie w postaci oddzielnej listy znajdziemy np. w słowniku znanego rosyjskiego leksykografa Walerija Bierkowa: В. П. Б е р к о в, *Новый большой русско-норвежский словарь: Ny stor russisk-norsk ordbok: свыше 210 000 словарных статей, значений слов и выражений*, 3-е изд., испр., Москва 2011.

o utrwalonym sposobie oddawania danej postaci graficznej w języku polskim. Ponadto trzy oddzielne listy nazwisk imion i imion odojcowskich oraz zdrobnień odimiennych mogą spełniać funkcję dydaktyczną – pozwalają na szybkie przyswojenie sobie przez tłumacza zasadniczej pod względem frekwencyjności grupy rosyjskich antroponimów¹⁵. W przypadku włączania takich form do siatki słownika może powstać wrażenie sztucznego zapełniania słownika formami o niskiej przydatności praktycznej (hasła o relacji jeden do jednego czasem nazywane są hasłami pustymi).

Inaczej ma się rzecz z antroponimami jednostkowymi. Te powinny być włączane do siatki haseł na równi z nazwami pospolitymi. Natomiast sposób ich prezentacji powinien być inny niż w słowniku PWN. Przede wszystkim w przypadku antroponimów jednostkowych dla ich pełnej identyfikacji konieczne jest podanie nazwiska, imienia i imienia odojcowskiego dla Rosjan, np. **Ленин, Владимир Ильич** – Lenin, Włodzimierz (Iljicz). Przecinek wskazuje na konieczność odwrócenia szyku w typowym polskim użyciu tekstowym, a więc Włodzimierz (Iljicz) Lenin, a nawiasowe wskazanie imienia odojcowskiego sugeruje, że jego użycie w przekładzie jest fakultatywne. Dodajmy, że umieszczenie imienia odojcowskiego po lewej stronie słownika winno obejmować postaci funkcjonujące w rosyjskim obiegu kulturowym (nie tylko Rosjan), dlatego też należałoby wprowadzić takie hasła jak **Дзержинский, Феликс Эдмундович** – Dzierżyński, Feliks (Edmundowicz), **Сталин, Иосиф Виссарионович** – Stalin, Józef (Wissarionowicz), **Берия, Лаврентий Павлович** – Beria, Ławrientij (Pawłowicz), **Пьеха, Эдита (Станиславовна)** – Piecha, Edyta (Stanisławowna).

Tylko w ten sposób można zapewnić pełną identyfikację postaci, efektywnie poinformować o jednostkowym charakterze antroponimu (hasło **Хрущёв, Никита (Сергеевич)** w zasadzie nie wymaga komentarza – odbiorca dzięki takiemu zapisowi wie, że mowa jest o konkretnej postaci¹⁶) oraz podać poprawny odpowiednik / odpowiedniki dla całego antroponimu. Jednostkowa identyfikacja postaci nie oznacza, że danego nazwiska, imienia, imienia odojcowskiego, czy nawet wszystkich elementów jednocześnie nie mogą nosić także inne osoby. Wówczas antroponim ma charakter niejednostkowy, ale para translat – translat spełnia swoje zadanie bez potrzeby oddzielnego podawania hasła **Хрущёв** – Chruszczow.

Stosowanie zasady pełnej identyfikacji postaci daje szansę uniknięcia rozterek interpretacyjnych, które mogą pojawić się przy lekturze haseł

¹⁵ W wersji elektronicznej tłumacz może studiować wymienione listy, ale w razie konieczności znalezienia konkretnego ekwiwalentu funkcja wyszukiwania hasła obejmuje, oczywiście, cały słownik.

¹⁶ Komentarz może być potrzebny do wskazania, o jaką postać chodzi, o czym w dalszej części tekstu.

Гюго Hugo¹⁷ i **Гүго** Hugo. Postać graficzna odpowiedników polskich jest identyczna. Poprawna wymowa translatu wymaga określonej wiedzy pozajęzykowej. Wspomniane powyżej propozycje pełnej identyfikacji postaci oraz ewentualnego komentarza ujednoznaczniają wybór właściwego ekwiwalentu. Uwaga leksykografa powinna się skoncentrować na trzech zasadniczych kategoriach antroponimów – typowo rosyjskich, nazwiskach i imionach Polaków oraz licznych przedstawicieli pozostałych kultur. Nazwiska obce w stosunku do ruszczyzny i polszczyzny wymagają pieczołowitego opisu leksykograficznego, gdyż mogą być źródłem wątpliwości oraz błędów w przekładzie. Z moich obserwacji jako wykładowcy i tłumacza wyraźnie wynika, że błędy często pojawiają się przy doborze ekwiwalentów dla antroponimów w trakcie przekładu na język obcy. Niewątpliwie osobie, która przyswoiła w dzieciństwie, w szkole, czy też w ramach samodzielnej lektury formy **Виктор Гюго**, **принц Чарлз**, **Микеланджело**, trudno przyzwyczaić się do form zdomowionych w polszczyźnie, a więc: Wiktor Hugo, książę Karol, Michał Anioł. Dlatego też w nowoczesnym słowniku przekładowym powinno znaleźć się miejsce dla par ekwiwalentów nazwisko + imię. Taki zapis pozwala na pełną identyfikację postaci oraz minimalizuje prawdopodobieństwo błędu translatorycznego. Hasło **Энгельс фамилия** [-ca] Engels brzmi mało przekonująco, albowiem trudność – czy jak kto woli – potencjalny błąd kryje się w odpowiedniości na poziomie imienia, a więc **Фридрих** – Fryderyk (w tym przypadku mamy odpowiednik tradycyjny, podobnie jak w postulowanych hasłach **Маркс**, **Карл** – Marks, Karol). Teoretycznie bardzo dociekliwy użytkownik słownika PWN może ustalić wymienioną odpowiedniość, albowiem z trzeciego znaczenia hasła **Маркс** wynika, iż polski odpowiednik jest formą spolszczoną¹⁸. Natomiast lektura hasła: **Карл** [-ла]

1. Carl / Karl
2. (*во французской форме*) Charles
3. (*в полонизир. форме*) Karol

prowadzi do wniosku o możliwej relacji **Карл** – Karol. Z drugiej strony hasło **Чарлз** potencjalnego odpowiednika Karol (wraz z przykładami wskazującymi, że dotyczy on monarchów i niektórych innych znanych postaci) nie zawiera. Wszystko to świadczy o dwóch negatywnych cechach słownika PWN – skrótowości, utrudniającej bądź wręcz uniemożliwiającej znalezienie właściwego ekwiwalentu, oraz niekonsekwencji polegającej na różnym traktowaniu jednostek tego samego rzędu.

¹⁷ Skoro jest to, jak deklarują autorzy, słownik dyferencjalny, czyli przeznaczony zarówno dla Polaków, jak i Rosjan, to w danym przypadku powinna znaleźć się informacja o wymowie translatu, np. Hugo [*wym.* ügo].

¹⁸ Autorzy konsekwentnie posługują się tym wątpliwym w stosunku do relacji **Карл** – Karol określeniem.

Konwencja podawania par nazwisko rosyjskie – nazwisko polskie przyjęta w słowniku PWN jest niewłaściwa jeszcze z jednego powodu. Porównajmy hasło **Салганик** [-ка] Sałganik. Przy takiej prezentacji materiału nie jest jasne, czy chodzi o konkretną osobę, np. rosyjskiego biochemika Рудольфа Иосифовича, czy po prostu o nazwisko rosyjskie. W drugim przypadku otrzymujemy prosty wariant transkrypcyjny (tradycyjna relacja rosyjskie л – polskie ł), który według wzorców transkrypcji praktycznej może zostać wywiedziony przez każdego tłumacza (brak informacji o jakichkolwiek niuansach czy pułapkach przekładu – wariantach ekwiwalentów, konotacjach, znaczeniach przenośnych).

Szczególnie trudny problem dla leksykografii przekładowej stanowią wszelkie antroponimy o potencjale konotacyjnym. Zazwyczaj już sam fakt rozpoznawalności postaci w danym kręgu kulturowym sprawia, że jej nazwisko (imię, przydomek) nabiera dodatkowych znaczeń, które zwykle w przekładzie nie mogą zostać przekazane. Wśród rozpoznawalnych postaci można wyróżnić te, z którymi związane są konotacje utrwalone w świadomości zbiorowej. Niestety w procesie przekładu przekazywanie konotacji związanych z konkretnymi osobami zazwyczaj możliwe jest w ograniczonym zakresie poprzez stosowanie wszelkich wariantów przekładu opisowego, objaśniającego, przypisów czy przekładu funkcjonalnego. Jednak zawsze punktem wyjścia do tych – nie do końca skutecznych – zabiegów translatorycznych jest identyfikacja warstwy konotacyjnej przez tłumacza. Przede wszystkim na tym pierwszym etapie nowoczesny słownik przekładowy mógłby przynieść dużą korzyść. Antroponim jednostkowy winien być opatrzony zwięzłym komentarzem dwójakiego charakteru – encyklopedycznym oraz wskazania na potencjał konotacyjny.

W praktyce hasło **Суслов** [-ва] Susłow mogłoby przybrać następującą postać:

Суслов, Михаил Андреевич (советский полит. деятель; в период правления Л. И. Брежнева – главный партийный идеолог, называемый серым кардиналом). W ten sposób słownik przekładowy nabrałby cech słownika objaśniająco-przekładowego, ale nie byłby to wbrew pozorom krok przełomowy, gdyż słownik PWN elementy encyklopedyczne zawiera, tyle że nie zawsze przydatne z punktu widzenia tłumacza¹⁹. Trzeba podkreślić, że krótkie komentarze nawiasowe różnią się od formuł haseł w tradycyjnych encyklopediach, nawiązując raczej do zasady naiwnego opisu rzeczywistości z uwypukleniem elementów tworzących rosyjską conceptsferę. Zakres i sposób takiego zapisu jest sprawą dyskusyjną także ze względu na brak takiej tradycji w największych rosyjsko-polskich słownikach przekładowych.

¹⁹ Por. wzmiankowane hasło **Гавел**.

Niekiedy zabiegiem skuteczniejszym od komentarza może okazać się przykład ilustrujący użycie wraz z tłumaczeniem, dla nazwy odatroponimicznej:

Кащенко, Пётр Петрович 1. (известный российский врач-психиатр) – Kaszczenko, Piotr (Pietrowicz);

2. (разг. о психиатрической больнице) wariatkowo / psychiatryk / dom bez klamek²⁰.

Его уперкли в Кащенко – Zamknęli go w psychiatryku.

Antroponimy o znaczeniu uogólniającym również powinny zostać włączone do siatki haseł. Tak autorzy słownika PWN potraktowali przytaczane już przez nas hasło Иванов. Warto zaznaczyć, że w tym i podobnych hasłach możliwe jest dodanie ekwiwalentu nieantroponimicznego, np. **Иванов** – przeciętny zjadacz chleba. W określonych kontekstach przekładowych neutralizacja tekstu (zamiast antroponimu wyraz pospolity) może być bardziej wskazana niż domestykacja (relacja Иванов – Kowalski). W tym samym hasle mogłoby się znaleźć wyliczenie Иванов, Петров, Сидоров i ich odpowiednik funkcjonalny – przeciętny Kowalski i Nowak²¹. W słowniku PWN znajdziemy poprawną ekwiwalentyzację leksemu жучка: **жучка** [-чки; род. мн. -чек] burek / kundel²². Jednakże tego typu haseł w nowoczesnym słowniku przekładowym powinno być więcej. Uwzględnienia w słowniku i ekwiwalentyzacji wraz z informacją o użyciu w znaczeniu przenośnym wymagają m.in. takie jednostki jak: Вован; Вовочка; дядя Вася; дядя Стёпа; Гюльчатай; Колян; Кулибин; Марь Иванна; Манилов, Обломов,²³ Шариков; Павлик Морозов; Склифософский; Сусани; Хачик; бурёнка, odatroponomiczny potocyzm вась-вась²⁴ i wiele innych.

²⁰ Ciąg bliskoznacznych ekwiwalentów podaje zgodnie z konwencją przyjętą w słowniku PWN.

²¹ Konsekwentnie takie wyliczenie należy powtórzyć w hasle Сидоров i w hasle Петров. W słowniku PWN są to hasła o relacji jeden do jednego.

²² Słownik odnotowuje też relację **Жучка** [-ки] Kruczek, której nie potrafię zinterpretować. W związku z tym nie neguję jej sensu, ale uzyskuję kolejny argument na rzecz kategoryzacji poszczególnych antroponimów, np. **Гюго**, Виктор (французский писатель) – Hugo, Wiktor [wym. ügo].

²³ W słowniku PWN Обломов i Манилов to hasła o relacji 1:1. Znajdziemy za to rozbudowane hasła **обломовщина** [-ны] (безволие) obłomowszczyzna (bezczytność, gnuśność) i **маниловщина** [-ны] maniłowszczyzna (bezczytny błogostan – od nazwiska Maniłowa, postaci z powieści „Martwe dusze” M. Gogola). Zwraca uwagę różnica w formułowaniu wskazówek interpretacyjnych do haseł tej samej kategorii – dookreślenie w pierwszym przypadku, informacja encyklopedyczna – w drugim. O związku z nazwiskiem postaci literackiej dowiemy się tylko z drugiego hasła, ale odbiorca nie dowie się, że znaczenie przenośne i uogólniające niosą w sobie również same nazwiska Обломов i Манилов.

²⁴ Ważnym źródłem antroponimów niejednostkowych jest słownik Jewgienija Otina: Е. С. О т и н, *Словарь коннотативных собственных имен*, Донецк 2010.

Pytanie o sposób prezentacji analizowanego przez nas materiału leksykalnego to również pytanie o kształt nowoczesnego słownika przekładowego. Wydaje się, że jeśli słownik przekładowy z założenia ma być pomocny przy tworzeniu tekstów przekładu na podstawie innojęzycznych tekstów wyjściowych, to konsekwencją tego musi być przyjęcie dwóch fundamentalnych zasad – maksymalnej (z uwagi na ograniczenia techniczne, nakład pracy, aktualny stan wiedzy) rozbudowy haseł „w głąb”, a więc uwzględnianie polisemii, znaczeń dodatkowych, w tym również konotacyjnych, oraz przejrzyste ukazywanie realnych relacji transland – translat z podaniem typowych kontekstów użycia. Celowe jest zastosowanie bardziej tradycyjnych rozwiązań, jak kwalifikatory i przykłady użycia, oraz dobrych koncepcyjnie, ale nie zawsze właściwie i konsekwentnie używanych, rozwiązań przyjętych w słowniku PWN: nawiasowych dyrektyw wyboru i wskazówek interpretacyjnych. Hasło antroponimiczne może zawierać kilka podpunktów z różnymi odpowiednikami (także nieantroponimicznymi), wskazówki interpretacyjne do poszczególnych znaczeń oraz przykłady użycia, a także frazematykę antroponimiczną. Perspektywa włączania do słownika tak rozbudowanych haseł jest dzięki szybkiemu rozwojowi technologii informacyjnych realna. Rusycystyka potrzebuje wielkiego słownika prymarnie elektronicznego, najlepiej w formie zasobu online. Taki kształt słownika zapewnia, że do przeszłości przejdą dwie wielkie bolączki leksykografa – ograniczenie miejsca (objętości, papieru) oraz długotrwały proces wydawniczy, spowalniający korektę błędów i wprowadzanie nowych haseł, nowych odpowiedników. Wersja online pozwala na szersze stosowanie ilustracji tekstowych i elementów opisowych. Nowoczesny słownik przekładowy to w rzeczywistości opracowanie kompleksowe, przekładowo-objaśniające, stale rozszerzane (liczba haseł) i „pogłębiane” (ekwiwalentyzacja kolejnych znaczeń, odcieni znaczeniowych, konotacji, specyficznych użycí pragmatycznych). Praktycznie nieograniczona objętość daje możliwość włączania ignorowanych przez wielkie słowniki dwujęzyczne kategorii antroponimów: przezwisk i przydomków (także peryfrastycznych): Владимир Красное Солнышко, Николай Кровавый, określeń peryfrastycznych (гений Карпат, железный Шурик). Jest to ogromnie bogaty materiał, który może znacznie rozszerzyć objętość konkretnego artykułu hasłowego, wyposażając tłumacza w kompleksową wiedzę na temat translandu i translatów. Wielką wagę przy konstruowaniu haseł w tego typu słowniku należy przyłożyć do ilustracji użycia, w których jest miejsce na reprodukcje, czyli wszelkie odtwarzalne jednostki języka, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek ponadleksykalnych. Już nawet proste poszerzenie hasła **Базедов** [-ва] Basedow o jednostkę **болезнь Базедова** – choroba Basedowa znacznie podnosi jego wartość dla tłumacza.

Bibliografia

- Bogusławski A., *Podstawy konfrontatywnej lingwistyki przekładowej*, Łask 2013.
- Kulpina W., *Właściwości konfrontacji przekładowej onomasticonu polskiego i rosyjskiego*, [w:] „50 lat polskiej translatoryki”. *Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie w dniach 23–25 listopada 2007 r.*, red. K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska, Warszawa 2009, s. 292.
- Mirowicz A., Dulewiczowa I., Grek-Pabisowa I., Maryniakowa I., *Wielki słownik rosyjsko-polski*, t. 1–2, wyd. VI, Moskwa–Warszawa 1999.
- Podręczny idiomatykon polsko-rosyjski*, z. 4, pod red. W. Chlebdy, Opole 2009, s. 43–47.
- Wawrzyńczyk J., *Blaski i cienie translato sfery*, [w:] *Na tropach translatów. W poszukiwaniu odpowiedników przekładowych*, red. W. Chlebda, Opole 2011, s. 171.
- Wielki słownik rosyjsko-polski z kluczem polsko-rosyjskim*, pod red. J. Wawrzyńczyka, Warszawa 2004.
- Берков В. П., *Новый большой русско-норвежский словарь: Ny stor russisk-norsk ordbok: свыше 210 000 словарных статей, значений слов и выражений*, 3-е изд., испр., Москва 2011.
- Гасек Б. Г., *Прагматические аспекты русско-польского перевода*, „Вестник Кемеровского государственного университета” 2012, т. 3, № 4 (52), s. 114–118.
- Ермолович Д. И., *Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи*, Москва 2005, s. 199.
- Касаткина Р. Ф., *Компрессированные формы слов в русской речи*, [w:] *Русская фонетика в развитии. Фонетические „отцы” и „дети” начала XXI века*, отв. ред. М. Л. Каленчук, Р. Ф. Касаткина, Москва 2013, s. 27.
- Отин Е. С., *Словарь коннотативных собственных имен*, Донецк 2010.

СЛОВАРНЫЕ ГЛАГОЛЬНЫЕ ОМОГРАФЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

RUSSIAN VERBS HOMOGRAPHIC IN THEIR INFINITIVE FORMS

JERZY KALISZAN

ABSTRACT. The author analyzes the homographic potency of Russian verbs stressed differently in their infinitive forms, such as *ика́ть* – *ика́ть*, *тру́сится* – *трусíть*, *сре́зать* – *среза́ть* etc. In contemporary Russian there are about 350 of these pairs. They are able to create over 3,200 pairs of predicative homographs and almost 27,000 pairs of attributive (participial) homographs.

Jerzy Kaliszan, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań – Polska,
kaliszan@amu.edu.pl

Русский язык известен огромным числом омографов – одинаковых по написанию словесных единиц, различающихся по произношению и значению. Речь идет главным образом об **акцентных** омографах, т. е. омографах, дифференцированных по месту ударения, типа *мука* – *мука*, *ика́ть* – *ика́ть*, *атласный* (к *атлас* ‘сборник географических карт’) – *атласный* (к *атлас* ‘ткань’), *косишь* (к *косить* I ‘сжинать косой’) – *косишь* (к *косить* II ‘кривить, искривлять’), *стоят* (к *стоит*) – *стоят* (к *стоять*), *руки* (род. ед.) – *руки* (им. и вин. мн.), *боров* (им. ед.) ‘кабан’ – *боров* (род. мн. к *бор* ‘лес’), *потом* (твор. ед. к *пот*) – *потом* (нареч.), *пропасть* (сущ.) – *пропасть* (глагол.), *гостя* (род. и вин. ед. к *гость*) – *гостя* (дееприч. к *гостить*)¹. С некоторой долей условности к акцентным омографам могут быть отнесены и разноударные „ё-омографы” – слова или формы одного слова, идентичное написание которых связано с непроставкой в одном из них точек над *е*: *боек* (кратк. ф. прил. *бойкий*) – *боек* (= *боёк* ‘ударная часть механизма, инструмента’), *берег* – *берег* (= *берёг*), *ведро* (= *вёдро* ‘ясная погода’) – *ведро* ‘емкость’, *пчелы* (= *пчѐлы*) – *пчелы*, *жены* (= *жѐны*) – *жены*, *села* (= *се́ла*) – *села* и т. п. Акцентным омографам можно противопоставить другие, мало распространенные, типы омографов – **акцентно-фонематические**: *тире* [r'] (предл. ед. к *тир*) – *тире* [r] ‘пунктуационный знак’, *карате* [t] ‘искусство борьбы’ – *карате* [t'] (предл. ед. к *карат* ‘единица

¹ Здесь и далее ударные гласные пропечатаны жирным шрифтом.

массы в ювелирном деле') и **фонематические**: *конечно* [š] 'вводное слово' – *конечно* [č'] (кратк. ф. к *конечный*), *теста* [t'] (род. ед. к *тесто*) – *теста* [t] (род. ед. к *тест*), *ага* [g] 'придворный титул в султанской Турции' – *ага* [h] (част. и межд.).

Акцентные омографы, как показывают приведенные примеры, могут быть **словарными**, т. е. имеющими идентичные по написанию, но различные по произношению и значению номинативные (назывные, исходные, начальные, заголовочные, леммные) формы, например *мука* – *мука*, *икать* – *икать*, *атласный* – *атласный*, *пропасть* – *пропасть*, и **несловарными**, т. е. фонетически различными, но графически тождественными формами лексем, не омографичных в своих исходных формах, например *косишь* – *косишь*, *стоят* – *стоят*, *боров* – *боров*, *потом* – *потом*. Кроме словарных и несловарных акцентных омографов следует еще выделить омографы, представляющие собой формы одной и той же лексемы, вроде указанных выше *руки* – *руки* или *водите* (индикатив) – *водите* (императив), *синее* (платье) – *синее* (компаратив к *синий*) и т. п. Этого типа омографы обычно называются грамматическими² или парадигматическими³.

В настоящей статье речь пойдет о словарных омографах в сфере только одной части речи – глагола. Этот вид глагольных омографов, да и не только глагольных, не был до сих пор объектом отдельного анализа. Мало того, в литературе можно даже встретиться с положением, что словарные омографы вообще играют маргинальную роль в системе русской омографики⁴. Между тем, как показывают данные проведенных нами эмпирических исследований, они как раз формируют центр омографических явлений русского языка, и именно поэтому заслуживают самого пристального внимания.

Целью данной статьи является попытка характеристики омографических рядов, генерируемых парами глагольных лексем, имеющих разноакцентные заглавные формы. В задачу статьи входит, в частности, установление омографического потенциала этого рода пар лексем в зависимости от аспектуального признака компонентов отдельных пар.

² А. И. Мельникова, *К вопросу о русских омографах*, „Русский язык в школе“ 1974, № 4; ее же, *Пути возникновения и развития омографии в русском языке*, „Русский язык в школе“ 1988, № 4.

³ Н. П. Колесников, *Система словесных омонимов в русском языке*, [в:] XII научная сессия филологического факультета. План работы и тезисы докладов, Издательство Тбилисского университета, Тбилиси 1968, с. 27–29.

⁴ См., напр.: А. В. Венцов, Е. В. Грудева, В. Б. Касевич и др., *Словарь омографов русского языка*, Филологический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург 2004, с. 12.

В соответствии с данными составленного нами словаря разноударных лексем⁵, опирающегося на комплектный материал новейших словарей различных типов — толковых, орфографических, орфоэпических, грамматических, словарей омонимов, омографов и некоторых других лексикографических источников⁶, в современном русском языке налицо около 350 пар глаголов, имеющих омографичные исходные (инфинитивные) формы. Это такие глагольные пары, как *багрить* 'вытаскивать багром' — *багрить* 'обагрять, окрашивать в багряный цвет', *вдвоить* 'удвоить, перестроить ряд в строю в два ряда' — *вдвоить* 'вторично вспахать (почву, поле)', *добежать* 'кончить бегать' — *добежать* 'достигать какого-л. места бегом', *утопать* 'утоптать' — *утопать* 'топнуть' и т. п.

Как видно из примеров, глаголы, омографичные в инфинитивных формах, могут быть либо одинаковыми (*багрить* — *багрить*, *вдвоить* — *вдвоить*), либо различными (*добежать* — *добежать*, *утопать* — *утопать*) по аспектуальному значению. В первом случае имеем дело с чисто лексическими омографами, так как компоненты бинарного омографического ряда различаются только лексическим значением; во втором случае компоненты инфинитивных пар представляют собой лексико-грамматические омографы, так как они отличны друг от друга и по лексической, и по грамматической (аспектуальной) семантике⁷.

Лексические (равноаспектные) глагольные омографы целесообразно делить на полные (абсолютные) и неполные (частичные). Полные глагольные омографы — слова, омографичные друг другу во всех своих параллельных (одинаковых по грамматическому значению) формах: в инфинитивной форме, в формах спряжения и формах причастий и деепричастий (если последние считать частью глагольной парадигмы). Так, к полным омографам относятся, например, пары *икать* 'произносить звук [и] в безударных слогах на месте написания букв „е“

⁵ J. K a l i s z a n, *Словарь омографов русского языка*, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

⁶ См. там же, с. 15–16.

⁷ Деление омографов (не только глагольных) на лексические и лексико-грамматические является общим местом современных классификаций русской омографии и находит выражение между прочим в следующих работах: О. Н. Е м е л ь я н о в а, *Омонимия и смежные явления*, [в:] *Стилистический энциклопедический словарь русского языка*, ред. М. Н. Кожина, Флинта: Наука, Москва 2003, с. 263–267; А. И. М е л ь н и к о в а, *К вопросу о русских омографах*, указ. соч.; ее же, *Пути возникновения...*, указ. соч.; М. Г. П е т р е н к о, *Явление омографии в современном русском языке*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова, Одесса 1987, с. 3; М. И. Ф о м и н а, *Современный русский язык. Лексикология*, Высшая школа, Москва 1978, с. 62–63.

и „я” — *икать* ‘непроизвольно издавать гортанью короткие отрывистые звуки, вызываемые судорожным сокращением диафрагмы’; *мекать* ‘говорить нечленораздельно’ — *мекать* ‘думать, предполагать’; *миловать* ‘прощать вину’ — *миловать* ‘изъявлять любовь’; *пикировать* ‘снизиться, снижаться на большой скорости в почти вертикальном положении (о самолете, птице)’ — *пикировать* ‘произвести, производить пересадку всходов растений’. Приведем некоторые пары грамматически равнозначных спрягаемых и атрибутивных (причастных и деепричастных) форм этих глаголов: *икаю* — *икаю*, *икаешь* — *икаешь...*, *икал* — *икал*, *икала* — *икала*, *икало* — *икало*, *икали* — *икали*, *икай* — *икай*, *икайте* — *икайте*, *икая* — *икая*, *икающий* — *икающий*, *икающего* — *икающего...*, *икающее* — *икающее...*, *икающая* — *икающая*, *икающей* — *икающей...*, *икающие* — *икающие*, *икающих* — *икающих...*, *икавший* — *икавший*, *икавшего* — *икавшего...*, *икавшее* — *икавшее...*, *икавшая* — *икавшая*, *икавшей* — *икавшей...*, *икавшие* — *икавшие*, *икавших* — *икавших...* В свою очередь, неполными омографами следует признать такие, например, глаголы, как *вздоить* ‘удвоить, перестроить ряд в строю в два ряда’ — *вздоить* ‘вторично вспахать (почву, поле)’, *отворожить* ‘обратить в творог (молоко, сливки); створожить’ — *отворожить* ‘ворожкой избавить от опасного, неприятного’, *парить* ‘подвергать действию пара’ — *парить* ‘лететь, держась в воздухе на неподвижно распростертых крыльях’, *трусить* ‘бояться’ — *трусить* ‘тряся, встряхивая, ссыпать вместе’, — по той причине, что при всех прочих омографических формах они имеют неомографические формы повелительного наклонения: *вздвой(те)* — *вздвой(те)*, *отворожь(те)* — *отворожи(те)*, *парь(те)* — *пари(те)*, *трусь(те)* — *трус(те)*. По природе вещей неполными являются и те словарные омографы, которые отличаются друг от друга числом наличных парадигматических форм, т. е. имеющие неравнообъемные, асимметричные парадигмы. Например, омографы *нашивать* (многократн. к *носить*) и *нашивать* (несов. к *нашить*) не могут быть абсолютными ввиду отсутствия у первого форм настоящего времени. Необходимо указать, что неполные омографы составляют ядерную часть словарных равноаспектных омографов, полные же омографы встречаются намного реже и, по нашим данным, составляют не более чем пятую часть равноаспектных омографических оппозиций.

Неполными омографами, естественно, являются все разноаспектные омографы — с одной стороны, глаголы типа *добегать* ‘кончить бегать’ — *добегать* (несов. к *добежать*), *искушать* ‘отведать, покусать’ — *искушать* (несов. к *искусить*), *набухать* ‘набросать, налить и т. п. слишком много’ — *набухать* ‘отекасть, пухнуть’, *недосыпать* ‘всыпать, насыпать недостаточно, меньше, чем следует, требуется’ — *недосыпать* ‘спать меньше, чем это необходимо’, *отпадать* ‘перестать, кончить па-

дать (о снеге, дожде, листьях) — *отпадать* (сов. к *отпасть*), *свариться* 'браниться, ссориться' — *свариться* 'стать готовым в результате варки, кипячения', *утопать* — *утопать*, а с другой стороны, глаголы, образующие видовую пару: *окликать* — *окликать*, *присыпать* — *присыпать*, *отмерять* — *отмерять*, *зарезать* — *зарезать* и т. п. Несмотря, однако, на различия между системами форм глаголов, образующих отдельные пары, эти глаголы, тем не менее, способны давать целые серии омографических оппозиций. Ср.: *добегаю* — *добегаю*, *добегаешь* — *добегаешь*, *добегают* — *добегают*, *добегаем* — *добегаем*, *добегаете* — *добегаете*, *добегают* — *добегают*; *добегай* — *добегай*, *добегайте* — *добегайте*; *добегал* — *добегал*, *добегала* — *добегала*, *добегало* — *добегало*, *добегали* — *добегали*; *добегавший* — *добегавший...*, *добегавшая* — *добегавшая...*, *добегавшее* — *добегавшее...*, *добегавшие* — *добегавшие...*; *окликал* — *окликал*, *окликала* — *окликала*, *окликало* — *окликало*, *окликали* — *окликали*; *окликавший* — *окликавший...*, *окликавшая* — *окликавшая...*, *отмеряю* — *отмеряю*, *отмеряешь* — *отмеряешь*, *отмеряет* — *отмеряет*, *отмеряем* — *отмеряем*, *отмеряете* — *отмеряете*, *отмеряют* — *отмеряют*; *отмеряй* — *отмеряй*, *отмеряйте* — *отмеряйте*; *отмерял* — *отмерял*, *отмеряла* — *отмеряла*, *отмеряло* — *отмеряло*, *отмеряли* — *отмеряли*; *отмерявший* — *отмерявший...*, *отмерявшая* — *отмерявшая...*, *отмерявшее* — *отмерявшее...*, *отмерявшие* — *отмерявшие...*; ср. также пары причастных омографов типа *добегавшим* (дат. ед., м. / с. р.) — *добегавшим* (дат. мн.), *добегавшей* (род. / дат. / твор. / предл. ед., ж. р.) — *добегавшей* (род. / дат. / твор. / предл. ед., ж. р.) и т. п.

Словарные глагольные омографы могут быть как родственными (однокоренными), так и неродственными (разнокоренными) словами. Из родственных слов состоят такие омографические оппозиции, как *вздвоить* 'удвоить, перестроить ряд в строю в два ряда' — *вздвоить* 'вторично вспахать (почву, поле)', *выбежать* 'достичь, добиться беганьем по многим местам, инстанциям' — *выбежать* (несов. к *выбежать*), *заползть* 'начать ползть' — *заползть* 'забираться, пробираться, проникать ползком'. К неродственным, в свою очередь, относятся, между прочим, омографы типа *воронить* 'ротозейничать' — *воронить* 'чернить', *замыкаться* 'начать мыкаться, бестолково, беспорядочно двигаться' — *замыкаться* 'запираться, закрываться', *утопать* 'топая, примять, утоптать' — *утопать* 'тонуть'. Между парами однокоренных и разнокоренных глагольных омографов имеется заметная количественная диспропорция в пользу первых: они составляют 60% всех пар словарных глагольных омографов.

Нет сомнения, что количественный перевес однокоренных глагольных омографических оппозиций над разнокоренными проистекает из того, что значительное число омографических оппозиций пред-

ставляют собой соотношение мотивирующего и мотивированного слов. Так, в нашем материале имеется около 100 пар соотносительных по виду глаголов с корнями *-сып-*, *-рез-*, *-клик-*, *-мер-* типа *засыпать* — *засыпать*, *досыпать* — *досыпать*, *отсыпать* — *отсыпать*, *высыпать* — *высыпать*, *высыпаться* — *высыпаться*, *засыпаться* — *засыпаться*; *разрезать* — *разрезать*, *вырезать* — *вырезать*, *изрезать* — *изрезать*, *нарезать* — *нарезать*, *надрезать* — *надрезать*, *срезать* — *срезать*, *надрезаться* — *надрезаться*, *прорезаться* — *прорезаться*; *выкликать* — *выкликать*, *закликать* — *закликать* ‘зывать’ — *закликать* ‘зывать’, *накликать* — *накликать*, *окликать* ‘окликнуть’ — *окликать*, *прикликать* — *прикликать*; *вымерять* — *вымерять*, *домерять* — *домерять*, *обмерять* — *обмерять*, *промерять* — *промерять*, *размерять* — *размерять*. В таких видовых парах имперфективный член является дериватом перфективного члена: *засыпать* → *засыпать*, *разрезать* → *разрезать*, *прикликать* → *прикликать*, *вымерять* → *вымерять*⁸.

Вообще можно сказать, что словообразование является основным и едва ли не единственным источником образования глагольных омографов словарного типа. Это в равной мере касается как однокоренных, так и разнокоренных омографов. Так, словообразовательный фактор лежит в основе 315 пар словарных омографов из 350 отмеченных. Кроме указанных корреляций типа *засыпать* — *засыпать*, *разрезать* — *разрезать*, *прикликать* — *прикликать*, *вымерять* — *вымерять*, актуальную связь со словообразованием обнаруживают такие, например, пары, как *выкупать* (от *купать*) — *выкупать* (несов. от *выкупить*), *вылетать* ‘израсходовать горючее во время полета (о самолете)’ — *вылетать* (несов. от *вылететь*), *задвигать* ‘начать двигать’ — *задвигать* (несов. от *задвинуть*), *сбегаться* (от *бегать*) ‘научиться бегать в паре, тройке, вместе с другими в упряжке (о лошадях)’ — *сбегаться* (несов. от *сбежаться*), *рассорить* (от *ссора*) ‘вызвать ссору, поссорить’ — *рассорить* (от *сорить*) ‘роняя, рассыпать’. Немалую их часть — 125 пар — составляют корреляции отраженных омографов, т. е. омографов, копирующих омографичность мотивирующих слов, напр.: *допарить* (от *парить*) — *допарить* (от *парить*), *забронировать* (от *бронировать*) — *забронировать* (от *бронировать*), *потупить* (от *тупить*) — *потупить* (от *тупить*), *тупиться* (от *тупить*) — *тупиться* (от *тупить*), *нашиваться* (от *нашивать*) — *нашиваться* (от *нашивать*).

Охарактеризованная в данной статье разновидность глагольной омографии — омография слов, имеющих одинаковые по написанию,

⁸ Вслед за академической *Русской грамматикой* (ср.: *Русская грамматика*, ред. Н. Ю. Шведова, т. I, Наука, Москва 1980, с. 584) члены видовой пары мы считаем двумя автономными лексемами, в связи с чем корреляции типа *засыпать* — *засыпать*, *разрезать* — *разрезать* и т. п. трактуются нами как словообразовательные, а не словоизменительные.

но различные по значению и произношению словарные (инфинитивные) формы — составляет становой хребет современной русской глагольной омографии. Эта разновидность, если иметь в виду только инфинитивные и спрягаемые (предикативные) формы, насчитывает, по нашим данным, свыше 3200 оппозиций. Если же добавить к ним и оппозиции атрибутивных (причастных и деепричастных) форм, то общее число омографических корреляций, инициируемых рассматриваемыми 350 инфинитивными парами, достигнет уровня 30 тысяч. Столь огромное число омографических корреляций, имплицитных парами глагольных лексем с разноударными словарными формами, обеспечивает глаголу как части речи абсолютно доминирующее место на омографической карте современного русского языка. Для сравнения укажем, что в сфере русских существительных и прилагательных нами было обнаружено соответственно 200 и 70 пар глаголов с разноударными назывными формами, способных генерировать, по данным нашей картотеки, соответственно около 2700 и 4800 омографических рядов.

Библиография

- Венцов А. В., Грудева Е. В., Касевич В. Б. и др., *Словарь омографов русского языка*, Филологический факультет СПбГУ, Санкт-Петербург 2004, с. 12.
- Емельянова О. Н., *Омонимия и смежные явления*, [в:] *Стилистический энциклопедический словарь русского языка*, ред. М. Н. Кожина, Флинта: Наука, Москва 2003.
- K a l i s z a n J., *Словарь омографов русского языка*, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
- Колесников Н. П., *Система словесных омонимов в русском языке*, [в:] *XII научная сессия филологического факультета. План работы и тезисы докладов*, Издательство Тбилисского университета, Тбилиси 1968, с. 27–29.
- Мельникова А. И., *К вопросу о русских омографах*, „Русский язык в школе” 1974, № 4.
- Мельникова А. И., *Пути возникновения и развития омографии в русском языке*, „Русский язык в школе” 1988, № 4.
- Петренко М. Г., *Явление омографии в современном русском языке*. Автореф. дисс. ...канд. филол. наук, Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова, Одесса 1987.
- Русская грамматика*, ред. Н. Ю. Шведова, т. I, Наука, Москва 1980.
- Фомина М. И., *Современный русский язык. Лексикология*, Высшая школа, Москва 1978, с. 62–63.

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВА *ГНЕВ*
ABOUT THE HISTORY OF THE WORD *ANGER*

ALLA KAMALOVA

ABSTRACT. In the article the conceptual core of the word “anger” is described in historical terms. The author examines the semantic relations of this word and its functioning within phraseological units.

Alla Kamalova, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – Polska,
allakamalova@wp.pl

Эмоции человека издавна являются предметом пристального внимания ученых. К данному психологическому феномену проявляют интерес психологи, физиологи, философы, литературоведы, лингвисты, но убедительной концепции и классификации эмоций до сего времени не существует. Представляется, что эта задача может быть решена при взаимодействии различных научных знаний, при этом рассмотрение общих вопросов изучения эмоций не может рассматриваться без частных, связанных с отображением эмоций в языке.

Количественный состав и системные отношения русской лексики, именуемой эмоцией, в том виде, в котором они представлены сегодня, существовали не всегда. Каждое слово, его значение и особенности функционирования, место и отношения слова в языковой системе – все это имеет свою, неповторимую историю.

При изучении истории лексической единицы актуальным является выявление различий между современным понятийным ядром слова и его ядром в языке древнего периода, а также анализ изменений его статуса в лексической системе. Однако на этом пути существует трудно преодолимая преграда, заключающаяся в следующем: изучаемые отрезки действительности в разные исторические периоды могли быть иными или пониматься они могли иначе.

В толковых словарях современного русского языка слово *гнев* толкуется как „чувство сильного негодования или возмущения, состояние крайнего раздражения или недовольства кем-либо, чем-либо”¹. В современной лексико-семантической системе слово *гнев* семантически сбли-

¹ Т. Ф. Е ф р е м о в а, *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный*, Москва 2000.

жаются со словами *раздражение, ярость, бешенство, злость, досада, возмущение, негодование*, но отличается своей значимостью согласно места в системе. Так, например, русский язык позволяет сказать *обрушить на кого-либо свой гнев, ярость, раздражение; выразить (показать) кому-либо свой гнев, раздражение; прийти в страшный гнев, ярость, раздражение; разразиться яростью, гневом; ударить в бешенстве, гневом; с яростью, гневом обрушиться на кого-либо, опалить гневом*, но словосочетания **обрушить злость, досаду, возмущение, негодование, *разразиться злостью, досадой, возмущением, негодованием* невозможны. Приведенные примеры говорят о семантической близости слов *гнев, раздражение, ярость, бешенство*, их объединяет желание воздействовать на объект, являющийся причиной подобной реакции. Как указывает *Словарь синонимов русского языка, раздражение* — это „состояние недовольства и возмущения“, *гнев* — „состояние и чувство сильнейшего негодования и возмущения, вызванных кем-, чем-л.“, *бешенство* — „сильнейший гнев, проявляющийся с необузданной силой“, *ярость* — „сильнейший гнев, крайняя степень негодования“².

Отмечу, что термины *эмоция, чувство, психические состояния* часто употребляются без дифференциации значения в силу их логико-понятийной общности. Подобное наблюдается не только в обыденной речи, но также и в научной. В данной работе я сочла возможным оставить данный вопрос без обсуждения, сославшись на свою публикацию по данной проблеме³.

Как известно, лексикографические источники не содержат необходимой информации для выявления смыслов, лежащих в основе слова как функционирующей единицы, поскольку словарные дефиниции не описывают семантику слова, а только указывают на его понятийную принадлежность.

Эмоциональные концепты задаются ситуациями, типичными для известных переживаний, и эти ситуации могут быть описаны посредством ментальных сценариев. Я полагаю, что мы в самом деле интерпретируем наше эмоциональное состояние при помощи таких сценариев, и моя гипотеза подтверждается тем, что эмоциональные концепты, выражаемые в различных языках, очень хорошо моделируются при помощи таких сценариев⁴.

В текстах-скриптах аналитического типа могут быть заложены соответствующие сценарии, опираясь на которые возможно выявить содержа-

² *Словарь синонимов русского языка: в 2-х томах*, под ред. А. П. Евгеньевой, Москва 1970–1971, с. 237.

³ А. А. Камалова, *Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах*, Архангельск 1998, с. 229–253.

⁴ А. Вежбицкая, *Язык. Культура. Познание*, Москва 1997, с. 337.

ние подобных концептов. В качестве текста-скрипта избран контекст из романа Ф. М. Достоевского *Братья Карамазовы*, в котором описывается гнев, представленный в следующей сценарной структуре:

- (1) Иван Федорович затрясся..;
- (2) [...] вскричал, наконец, гневно Иван Федорович, со смирения переходя на грубость;
- (3) Что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Федоровича. Он вдруг покраснел;
- (4) Иван Федорович с трудом переводил дух;
- (5) [...] переспросил Иван Федорович, с усилием сдерживая себя и грозно сверкая глазами;
- (6) Произошло что-то страшное: Иван Федорович внезапно, как бы в судороге, закусил губу, сжал кулаки и — еще мгновение, конечно, бросился бы на Смердякова;
- (7) [...] завопил вдруг Иван Федорович, неизвестно для чего вдруг ужасно возвысив голос.

Состояние величайшего гнева описывается через указание на голос, мимику, выражение глаз, характерные движения, направленность психической реакции. Говоря о семантике предикатов со значением ‘гнев’, Л. Н. Иорданская пишет:

Слова данной группы объединяются тем, что обозначают активно-отрицательное эмоциональное состояние (раздражение), требующее внешнего проявления, выхода наружу, разрядки⁵.

В психологическом этюде Т. Рибо находим:

[...] в гневе существуют два момента. Первый (астенический) зависит от причины гнева, от внешнего впечатления, от непосредственного толчка и выражается в кратковременном подавленном состоянии (мучительном). Вторым (стеническим) соответствует наступательной реакции и по своим симптомам ближе подходит скорее к удовольствию, чем страданию. Следовательно, гнев — эмоция смешанная, хотя она не принадлежит целиком к категории неприятных состояний, тем не менее они в ней преобладают⁶.

Сравнительный анализ близких по смыслу слов⁷, а также приведенный повествовательный текст-скрипт позволили сформулировать следующее семантическое описание предиката *гнев*.

⁵ Л. Н. Иорданская, *Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувств*, [в:] *Машинный перевод и прикладная лингвистика*, вып. 13, Москва 1970, с. 20.

⁶ Т. Рибо, *Гневъ. Психологическій этюдъ*, Санкт-Петербург 1899, с. 4–5.

⁷ А. А. Камалова, указ. соч., с. 250–252.

Гнев — это 'слабо управляемая, в высокой степени проявленная в движениях, голосе, взгляде отрицательная психическая реакция, локализованная в душе, сердце или охватывавшая человека в целом, направленная на объект, являющийся причиной нарушения личных или общественных принципов носителя названного состояния, сопровождающаяся желанием активных действий с целью изменить сложившееся положение дел'.

Таким образом, намечено понятийное ядро современного слова *гнев* и его место в лексико-семантической системе. Обратимся к этимологии и истории этого слова.

Согласно этимологическому словарю М. Фасмера *гнев* — слово праславянского происхождения. В основе значения слова, выражающего данное психическое состояние, лежит метафорическое переосмысление, сближающее *гнев* и *гнить*⁸. В древнерусском языке наряду со словом ГНѢВЪ функционировали образные номинации ОПАЛА, ОПАЛИТИСЯ, ОПАЛЯТИ, ОПАЛИВЫИ⁹, значение которых мотивировано глаголами *жечь, палить*; сегодня корень с такой мотивацией сохранился лишь в идиомах *быть в опале, попасть в опалу*, однако сам образ, рожденный на ассоциации эмоциональной реакции на огонь, горение, нагревание продолжает существовать в идиомах *пылать гневом, кипеть гневом*. Ассоциацию „гнев — огонь” находим не только в народном словотворчестве, подобные смыслы выявляются и в художественном слове. Так, например, Н. Д. Арутюнова приводит следующий пример, используемый Г. О. Винокуром:

Вспомнилось, как однажды слово „гнев” встало почему-то рядом со словом „огонь” и наполнило усталую в одиночестве душу угнетающей печалью. — *Гнев*, — соображал он, *прогневаться, огневаться*, — вот он откуда, *гнев* — из огня! У кого *огонь* в душе горит, тот и *гневен* бывает. А я бывал ли *гневен-то*? Нет во мне огня (Горький)¹⁰.

Данный пример демонстрирует не только мотивацию значения, но и указывает на психический склад субъекта, поскольку „разъярить можно только темпераментного или возбудимого человека, а сердить — и флегматика”¹¹. Ю. В. Откупщиков, размышляя об истории этого слова, пишет, что первоначально именно народная этимология сбли-

⁸ М. Ф а с м е р, *Этимологический словарь русского языка*, т. I, Москва 1964, с. 420.

⁹ Здесь и далее используется современная графика, поскольку примеры цитируются не по оригинальным источникам.

¹⁰ Н. Д. А р у т ю н о в а, *Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы*, Москва 1976, с. 103.

¹¹ Ю. Д. А п р е с я н, *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*, вып. 1, Москва 1997, с. 358.

зила слова *гнев* и *огонь*, а этимолог В. В. Мартынов выдвинул эту же идею уже в качестве научной гипотезы¹².

С целью выявить содержание и функции слова *гнев* в истории русского языка я обратилась к историческим памятникам. Именно на базе литературного языка, первоначально в церковнославянских текстах формируется лексика, именуемая психические состояния. Источником материала послужили тексты литературных памятников XI–XVII веков (всего 21 произведение различных жанров)¹³. В данной работе изложу самые общие сведения о своих наблюдениях.

В памятниках представлены различные лексико-семантические группы, объединяемые значением ‘психические состояния (эмоции)’; 77% от общего числа слов с этим значением (179 лексем) выражают печаль и страдание, 11% приходится на лексемы со значением ‘радость’, остальные 12% относительно равномерно распределяются по остальным группам. Из этого следует, что лексика со значением ‘гнев’ не частотна в избранных для наблюдений текстах. Данный факт объясняется жанровой принадлежностью памятников; в ораторской и учительской прозе крайне редко встречается описание эмоциональной жизни человека, а если присутствует, то чаще всего используется не в прямой функции¹⁴. Так, например, в Поучении Владимира Мономаха находим два примера: ГНѢВЪ ВЪ ЯРОСТИ ЕГО, ВНЕГДА ПРОГНѢВАТИСЯ ЯРОСТИ ЕГО НА НЫ. Описание эмоций и, соответственно, функционирование лексем со значением психических состояний выявляются в агиографических текстах, где соответствующее состояние обозначается чаще всего лексемами ЯРОСТЬ и ГНѢВЪ, а также производными ГНѢВАТИСЯ, РАЗГНѢВАТИСЯ. Первоначально именно слово ЯРОСТЬ наиболее активно функционировало в древнерусских текстах в том же значении, что и слово ГНѢВЪ. Необходимо отметить, что этимология этого слова денотативно близка внутренней форме слова *гнев*: жар, огонь, сила [...] ¹⁵. Выявить семантические отношения слов *гнев* и *ярость* в период их функционирования в древнерусской литературе сегодня не представляется возможным, поскольку в текстах встречается прием, который можно назвать „удвоением смысла“: *гнев* и *ярость* функцио-

¹² Ю. В. О т к у п щ и к о в, *К истокам слова: рассказы о науке этимологии*, Ленинград 1968, гл. 24.

¹³ О памятниках и выборке контекстов со значением психического состояния см.: А. А. К а м а л о в а, *Формирование и функционирование лексики со значением психического состояния в русском литературном языке*, Архангельск 1994, с. 93–117.

¹⁴ Там же, с. 98.

¹⁵ Об истории слова *ярость* см.: В. В. В и н о г р а д о в, *Основные типы лексических значений слова, [в:] его же, Избранные труды: лексикология и лексикография*, Москва 1977, с. 171.

нируют в одном контексте: ОТ ЯРОСТИ ЖЕ И ГНЕВА (*Житие Феодосия Печерского*). Подобное регулярно встречается для лексем других лексико-семантических групп, например: въ тузѣ и печали (*Сказание о Борисе и Глебе*). Данные примеры позволяют сделать следующее предположение: подобное употребление лексем может свидетельствовать, во-первых, об особенностях стиля древнерусской литературы, во-вторых, о желании автора наиболее полно передать смысл, поскольку семантика и функции лексем находились в состоянии формирования.

Следует отметить, что уже в ранний период церковнославянской литературы Руси формируются устойчивые формулы в употреблении слов *гнев* и *ярость*, что, впрочем, характерно и для других лексико-семантических групп, обозначающих эмоции, например: ЕЩЕ ГНѢВЪМЪ ОДЕРЖИМА СУЩИ, и РАЖДЪГЪЩИСЯ ГНѢВЪМЪ (*Житие Феодосия Печерского*, 310, 314).

Таким образом, даже фрагментарное изложение фактов истории слова *гнев* свидетельствует о длительном функционировании данной лексической единицы в истории литературного языка. Представляется, что его современное значение, функции и значимость являются результатом длительного употребления в текстах литературного языка: первоначального в церковнославянских, а затем в художественной литературе (этот этап требует специального рассмотрения), в которых и происходила семантизация слова. Здесь же изложены только самые общие наблюдения и намечен путь описания судьбы слова *гнев* в истории русского литературного языка. Полагаю, что историю слова *гнев* следует рассматривать в рамках общих процессов, характерных для формирования лексических и фразеологических средств описания эмоций в русском языке.

Библиография

- А п р е с я н Ю. Д., *Новый объяснительный словарь синонимов русского языка*, вып. 1, Москва 1997.
- А р у т ю н о в а Н. Д., *Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы*, Москва 1976.
- В е ж б и ц к а я А., *Язык. Культура. Познание*, Москва 1997.
- В и н о г р а д о в В. В., *Основные типы лексических значений слова*, [в:] его же, *Избранные труды: лексикология и лексикография*, Москва 1977.
- Е ф р е м о в а Т. Ф., *Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный*, Москва 2000.
- И о р д а н с к а я Л. Н., *Попытка лексикографического толкования группы русских слов со значением чувств*, [в:] *Машинный перевод и прикладная лингвистика*, вып. 13, Москва 1970.

- К а м а л о в а А. А., *Семантические типы предикатов состояния в системном и функциональном аспектах*, Архангельск 1998.
- К а м а л о в а А. А., *Формирование и функционирование лексики со значением психического состояния в русском литературном языке*, Архангельск 1994.
- О т к у п щ и к о в Ю. В., *К истокам слова: рассказы о науке этимологии*, Ленинград 1968, гл. 24.
- Р и б о Т., *Гнѣвъ. Психофизиологическій этюдъ*, Санкт-Петербург 1899.
- Словарь синонимов русского языка: в 2-х томах*, под ред. А. П. Евгеньевой, Москва 1970–1971.
- Ф а с м е р М., *Этимологический словарь русского языка*, т. I, Москва 1964.

Источники

- Житие Феодосия Печерского (Житие преподобного отца нашего Феодосия, игумена Печерского)*, [в:] *Памятники литературы Древней Руси (начало русской литературы XI – начала XII века)*, Москва 1978.
- Сказание о Борисе и Глебе (Сказание и страдание и похвала святым мученикам Борису и Глебу)*, [в:] *Памятники литературы Древней Руси (начало русской литературы XI – начала XII века)*, Москва 1978.
- Поучении Владимира Мономаха*, [в:] *Памятники литературы Древней Руси (начало русской литературы XI – начала XII века)*, Москва 1978.

ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ГЕНДЕРНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНО-
И ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

THE SPECIFIC NATURE OF THE SEMANTICS
OF GENDER IDIOMATIC PHRASES
(BASED ON MATERIAL FROM EAST-SLAVONIC
AND WEST-SLAVONIC LANGUAGES)

KATERINA KEDRON

ABSTRACT. This study is an attempt to show how the “gender” semantics of fixed expressions form and what the function of the gender component is in this process. An analysis of the language material shows that there are several cases of modification of “gender” semantics of idiomatic phrases: changes in the phrase’s connotation (there are distinctions between utterances with the same structure in one language or between similar cases in different languages); the change of the referent from male to female (or vice versa) or to the common human meaning etc. It is also shown that the role of the gender component is intrinsic to semantic processes.

Katerina Kedron, Mendelova univerzita v Brně, Brno – Česká republika,
katarina.kedron@gmail.com

Одним из аспектов анализа гендерной проблематики в области фразеологии является рассмотрение семантической составляющей идиом. В данной статье рассматривается группа фразеологизмов с гендерной тематикой (далее *гендерные фразеологизмы*¹) на предмет влияния компонентов, соотносящихся с мужчиной или женщиной², на семан-

¹ Для удобства и краткости в рамках этой работы условно принимается термин *гендерный фразеологизм*. Под гендерными фразеологизмами здесь понимаются любые устойчивые словосочетания, эксплицитно или имплицитно выражающие гендерную принадлежность (т. е. так или иначе характеризующие мужчину или женщину или отношения между ними). Более подробно о подходе к границам гендерной фразеологии см. ниже.

² Во внимание принимаются фразеологизмы, значение которых характеризует как биологические признаки полов, т. е. мужское / женское, так и социальные признаки, т. е. мужественное / женственное, поскольку во фразеологии обе эти характеристики находятся в тесной взаимосвязи. Например, фразеологизмы *прекрасный пол* в значении „женщины“ не просто называет женщин по полу, а содержит дополнительные оценочные характеристики, свидетельствующие об определен-

тику фразеологизма. Особый интерес в этой связи представляет собой, с одной стороны, проявление связи гендерного компонента с общим значением фразеологизма вообще, с другой стороны, возможные варианты изменения значения аналогов в разных языках, а также изменения „гендерной” семы в процессе существования фразеологизма, когда одни фразеологизмы сохраняют свою принадлежность к мужскому или женскому референту, а другие могут ее модифицировать. Ниже предпринята попытка ответить на вопросы:

- а) как реализуются гендерные компоненты во фразеологии;
- б) какова роль таких компонентов в формировании значения, а также в процессе существования фразеологизмов;
- в) какие изменения может претерпевать общее значение фразеологизмов гендерной направленности.

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению намеченной проблематики следует уточнить актуальную терминологию и привести некоторые исходные позиции данного исследования. Прежде всего отметим, что нами принимается широкое понимание фразеологии, в рамках которого под фразеологизмом понимается сочетание языковых единиц, обладающих смыслом и создающих какую-либо аномалию в семантическом и/или грамматическом плане [Čermák 2007a: 13].

Для освещения поставленных выше вопросов привлекается материал четырех близкородственных славянских языков: двух западно-славянских (чешский и польский) и двух восточнославянских (русский и белорусский)³, что, с одной стороны, дает более широкую и полную

ных ценностях общества носителей языка (о различиях понятий *мужской / женский* vs. *мужественный / мужественный* см., напр., [Коваль 2007: 7-8]).

³ Выборка фразеологизмов проводилась из следующих фразеологических словарей: белорусский материал: И. Я. Лепешаў, *Слоўнік фразеалагізмаў*, т. 1-2, Мінск 2008; *Тлумачальны слоўнік беларускай мовы*, т. 1-5, Мінск 1977-1984; Ф. М. Янкоўскі, *Беларуская фразеалогія. Фразеалагізмы. Іх значэнне, ужыванне*, Мінск 1968; И. Я. Лепешаў, *Этымалагічны слоўнік фразеалагізмаў*, Мінск 2004; польский материал: J. Bralczyk, *Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem*, Warszawa 2008; P. Müldner-Nieckowski, *Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 2004; J. Anusiewicz, J. Skawiński, *Słownik polszczyzny potocznej*, Warszawa-Wrocław 1996; чешский материал: F. Čermák et al., *Slovník české frazeologie a idiomatiky, díl I-III*, Praha 2009; русский материал: А. Н. Тихонов, А. Г. Ломов, А. В. Королькова, *Фразеологический словарь современного русского литературного языка*, под ред. А. Н. Тихонова, т. 1-2, Москва 2004; В. М. Мокриенко, Т. Г. Никитина, *Большой словарь русских поговорок*, Москва 2007; А. К. Бирях, В. М. Мокриенко, Л. И. Степанова, *Русская фразеология*, Москва 2007. Дополнительно использовались также переводные словари: A. Aksamiłow, M. Czura, *Słownik frazeologiczny białorusko-polski*, Warszawa 2002; К. Гюлумянц, *Польско-русский фразеологический словарь*,

картину гендерной фразеологии, с другой стороны, позволяет проследить общие и различные тенденции, а также анализировать материал с целью его последующего включения в переводные словари.

Семантика фразеологизмов

При изучении семантики фразеологизмов важнейшими вопросами становятся, с одной стороны, соотношение их прямого и переносного значения, с другой стороны, соотношение общего значения фразеологизма и значения отдельных компонентов. В западной лингвистике предпринят ряд исследований экспериментального плана (в рамках непосредственно лингвистических и междисциплинарных направлений, например психо-, нейролингвистики и др.), которые изучают процессы восприятия фразеологизмов с целью понять, осознаем ли мы прямое значение фразеологизма (его компонентов) в процессе его восприятия и понимания. Центральной идеей таких работ — подтверждаемой⁴ или опровергаемой⁵ в них — является целостный характер семантики идиом, неразложимость значения и независимость его от семантики отдельных компонентов⁶.

Вопросам значения фразеологизмов посвящен целый ряд восточноевропейских исследований [см., напр., Авалиани 1971, Алефиренко 1982, Алехина 1979, Толикина 1972, Ройзензон 1977, Телия 1980, Рај-

т. 1–2, Минск 2004; H. Pietrak-Meisner, *Słownik frazeologiczny czesko-polski*, Lublin 1993; V. M. Mokijenko, A. Wurm, *Česko-ruský frazeologický slovník*, Olomouc 2002; L. Stěpanová, *Rusko-český frazeologický slovník*, Olomouc 2002. В работе над материалом русского языка был дополнительно использован словарь В. И. Даль, *Толковый словарь живого великорусского языка*, Москва 2002, далее использовались источники: национальные корпуса русского, чешского и польского языков, данные, полученные из текстов газет, журналов, а также из Интернета.

⁴ См., напр., S. A. Brown, S. M. Bell, *On catching on to idiomatic expressions*, „Memory and Cognition” 1973, no. 1, с. 343–346; R. W. Gibbs, *Spilling the beans on understanding and memory for idioms in context*, „Memory and Cognition” 1980, no. 8, с. 149–156.

⁵ См., D. A. Swinney, A. Cutler, *The access and processing of idiomatic expressions*, „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 1979, no. 18, с. 523–534; J. C. Cutting, K. Bock, *That’s the way the cookie bounces: Syntactic and semantic components of experimentally elicited idiom blends*, „Memory and Cognition” 1997, no. 25 (1), с. 57–71; S. A. Sprenger, W. J. M. Levelt, G. Kempen, *Lexical access during the production of idiomatic phrases*, „Journal of Memory and Language” 2006, no. 54, с. 161–184 и др.

⁶ Объем данного исследования не позволяет подробно рассмотреть работы западных исследователей. Однако в контексте нашей работы более важно рассмотреть взгляды славянских исследователей, поскольку именно в славянской фразеологии развивается анализ образности фразеологизмов и соотнесение образа, лежащего в основе единицы и ее семантики.

dzińska 2001 и др.]⁷, причем особое значение приобретает изучение мотивации и образности фразеологизмов в рамках лингвокультурологических и этнолингвистических исследований [Bartmiński 1998, Rajdzińska 1990, Lewicki 1990, Телия 1996 и др.]. В отличие от вышеописанных западных работ, фокусирующих внимание на значительности / незначительности прямого значения идиомы и ее компонентов в ее восприятии, восточноевропейские фразеологи часто опираются на концепцию В. Н. Телии, основанной в свою очередь на теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа, М. Джонсона [Lakoff, Johnson 1980; Lakoff 1987], смысл которой (в предельно упрощенном описании) состоит в том, что мотивация слов и идиом связывается не с их первоначальным значением, а с рядом культурно-значимых понятий, через которые они интерпретируются (сознание — это контейнер, любовь — это путешествие) и др.

Существуют различные подходы к рассмотрению семантики фразеологизмов в отношении к их образности. Проблема образного основания идиом освещается в хорошо известной в области восточнославянских исследований фразеологии книге [Телия 1996]. В. Н. Телия, подчеркивает значение образной составляющей, мотивированной первоначальным значением фразеологизма: идиообразование можно обозначить как процесс метафоризации, включающий синтез выводного знания о денотате, его ценностную квалификацию и восприятие образной гештальт-структуры —

изобразительное или умозрительное, служащее стимулом для положительного или отрицательного эмоционального отношения, переживаемого в форме чувства-отношения к тому подобию, через призму которого воспринимается обозначаемое (денотат)... [Телия 1996: 150].

Белорусский фразеолог И. Я. Лепешев, анализируя образность поговорок, отмечает, что при метафорическом переосмыслении значения возникает определенное абстрактное суждение, заложенное в поговорке, которое передается через конкретные образы. Образность, по мнению Лепешева, — это одновременное видение двух картин: например, в случае поговорки бел. *кашы маслам не сапсуеш* исходное представление, лежащее в основе поговорки, „хотя и находится как бы в тени сознания, но не может не просматриваться через его целостное паремиологическое значение” [Лепешаў 2010: 86]. Автор отмечает, что

⁷ Этот ряд не включает работы пражского исследователя Ф. Чермака и его школы, идущие врозь с когнитивными исследованиями и рассматривающие понятие фразеологизма в структурном аспекте; в настоящее время пражская фразеологическая школа ориентируется прежде всего на направление корпусных исследований.

ряд поговорок возникает на синтаксической основе, т. е. вследствие переосмысления общего значения словосочетания, а не отдельных его компонентов (напр. *Яблык ад яблыні недалёка падае*). Однако есть группа фразеологизмов, в которых переосмысляются не все компоненты, а лишь некоторые из них. Например, в поговорке *не такі страшны чорт, як яго малююць* в общем значении „это не так страшно, как кажется” иносказательное значение принимают только компоненты *чорт* и *малююць*; в поговорке *яйцо курыцу вучыць* сохраняет первоначальное значение слово *вучыць* [там же, 85–86].

В связи с этим можно упомянуть также концепцию А. М. Мелерович, которая полагает, что значение некоторых компонентов фразеологизмов может приобретать символический характер. По мнению автора,

субстантивные компоненты ФЕ, паремий с первичным внефразовым конкретнопредметным значением уже в составе ФЕ часто воспринимаются и актуализируются в тексте как особые внутрифразовые символы, семантика которых мотивирована как семантикой и структурой ФЕ, в состав которых они включены, так и содержанием и структурой включающего их текста [Мелерович 2004: 17].

Концепция образования отфразеологических символов и основополагающей роли субстантивных компонентов-символов доказывается на русском фразеологическом материале в литературном дискурсе [там же]. Таким образом, значение отдельных компонентов фразеологизмов заслуживает пристального внимания. Исходя из подхода А. М. Мелерович, мы полагаем, что гендерные компоненты часто несут символическую нагрузку и влияют на общее значение фразеологизмов. Ниже мы попытаемся показать это на конкретных примерах анализа гендерных фразеологизмов.

Символическая функция компонентов фразеологического состава

Рассматриваемые в данной статье языки включают в себя объемный корпус фразеологизмов, так или иначе характеризующих гендер. Широта возможных гендерных признаков фразеологизмов отмечается в [Першай 2014], где автор замечает, что

Во фразеологизмах разных типов „проступают” разные аспекты гендерной семантики, которые с различной динамикой и интенсивностью указывают на пол, гендерную принадлежность объекта номинации, а также на его или ее соответствие нормативным требованиям пола [Першай 2014: 44].

В связи с этим возникает проблема определения границ гендерной фразеологии, где сложности возникают на семантическом и формальном уровнях.

В центре нашего внимания находятся фразеологизмы, содержащие характеристики мужчины или женщины или их отношений, выраженные в образной составляющей устойчивых словосочетаний или их значениях. Ввиду ограниченного объема данной работы рассмотрим небольшую группу единиц, включающих определенный *гендерный компонент* (ГК)⁸.

Рассматривая единицы данной группы, интересно понаблюдать, с одной стороны, как реализуется семантика гендерных компонентов, а с другой стороны, как гендерная семантика отображается в компонентном составе. Для этого рассмотрим небольшую группу фразеологизмов с компонентом *баба* и разберем перекликающиеся вопросы а) каким образом реализуется гендерная семантика в компоненте *баба*, входящем в состав фразеологизма и б) как значение „женщина“ отражается в компонентном составе фразеологизмов данной группы⁹. Ввиду разнообразия материала и возможных функций ГК в составе фразеологизма ограничимся такими выражениями, в которых ГК называет определяемое понятие и чаще всего выполняет роль стержневого компонента (напр. пол. *baba z bazaru*, бел. *баба як гром*).

Для определения соотношения семантики фразеологизмов данной группы и указанного ГК необходимо определить значение лексемы *баба* (бел. *баба*, пол. *baba*, ч. *baba*, *bába*). В изучаемых языках оно определяется следующим образом (не считая случаев омонимии): 1. старая женщина; 2. мать матери или отца (бабушка); 3. женщина вообще (обычно с пометой *пренебр.*); 4. жена; 5. женщина, которая принимает роды (*устар.*); 6. слабохарактерный, несмелый мужчина — во всех языках; в русском и польском языке также: 7. замужняя крестьянка; в польском языке: 8. торговка [см. СРЯ, ТСБМ, SSČ, SJP]. Рассмотрим, какие из указанных значений находят отражение во фразеологии. При этом будем учитывать тот факт, что в разговорном чешском языке в значении 3. чаще всего употребляется лексема *ženská*, полностью совпадающая как в плане стилистики, так семантики со словом *баба* и его эквивалентами в польском и белорусском языках.

Во фразеологизмах, где ГК *баба* является стержневым, он реализует прежде всего значение „женщина“, другие компоненты отражают

⁸ Данный термин используется здесь условно — для удобства и обозначения единиц, обозначающих мужчин или женщин по какому-либо признаку.

⁹ Полный ответ на поставленные вопросы предполагает рассмотрение более широкого материала, тем не менее мы полагаем, что рассмотрение небольшой группы фразеологизмов с компонентом *баба* позволит обозначить основные явления и семантические процессы, связанные с формированием гендерного значения (или гендерного элемента значения) фразеологизма, поскольку лексема *баба* является ключевой и одной из самых частотных в составе гендерной фразеологии.

остальные элементы семантики и несут как содержательную, так оценочную информацию. Такие фразеологизмы встречаются во всех описываемых нами языках. Так, например, в следующих белорусских фразеологизмах, характеризующих женщину, компонент *баба* является стержневым и употреблен в значении „женщина“, в то время как остальные компоненты обозначают оценочную семантику и непосредственные качества женщины, касающиеся ее характера, внешности и т. п.: *агонь-баба*, *бой-баба*, *хват-баба*, *баба як гром*. Единицы идентичной конструкции *агонь-баба* ‘энергичная женщина’, *бой-баба* ‘полная, активная, с шумливым характером женщина’, *хват-баба* разг. одобр.¹⁰ ‘ловкая, способная в работе женщина’ и сравнение *баба як гром* восхищенн. ‘полная, сильная, энергичная женщина’ описывают женщину одобрительно и имеют положительную коннотацию. Очевидно, что в компонентах *агонь*, *бой*, *хват*, *гром* метафорически переосмыслены различные качества, которые могут касаться как характера, так и внешности женщины (а иногда совмещать эти черты). В русском языке фразеологизм *баба рязанская* прост. ирон. ‘о неловкой, рассеянной, глупой женщине’, наоборот, является негативной характеристикой, ср. также польские фразеологизмы с негативной коннотацией: *chora baba* прост. бранн. ‘глупая женщина’, *baba z magla* разг., презрит. ‘сплетница’¹¹, *baba z bazaru* презрит. ‘простая, склочная, скандальная женщина’ и др. В чешском языке во фразеологизмах такого типа значение „женщина“ в преобладающем большинстве случаев передается компонентом *ženská* (часто в сравнениях типа (*být*) *ženská jako generál*, *ženská jako hrom* и др.). Компонент *bába* чаще всего относится к старой женщине, напр. *jedová bába* неодобр. ‘злая, склочная, обычно старая женщина’, *baba jaga* неодобр. ‘старая и некрасивая женщина’. Интересно, что эквиваленты последнего фразеологизма существуют во всех описываемых языках, и лишь в польском языке единица *baba jaga*, *baba jędza* характеризует женщину безотносительно к ее возрасту: перен. ‘о неприятной или некрасивой женщине’ (ср. бел. *баба яга* ‘о старой, злой женщине’, рус. *баба яга* фольк. или прост. ‘злая, сварливая или безобразная (старая) женщина’).

Таким образом, во фразеологизмах со стержневым компонентом *баба* в последнем реализуется прежде всего значение 3 („женщина“) и менее часто значение 1 (старая женщина, старуха). Для полноты следует

¹⁰ Оценочные пометы приводятся по словарям-источникам из приведенного выше списка.

¹¹ В случае последнего фразеологизма происходит определенное „наслоение“, когда гендерная семантика выражается разными способами в нескольких компонентах фразеологизма (в данном случае в ГК *baba* и *magiel*). Подробнее о таких случаях см. ниже.

добавить, что в польском языке встречается также фразеологизм *moja baba, moja kobieta* шутл. 'моя жена'¹² (т. е. значение 4).

Гендерные фразеологизмы обладают тенденцией обобщения значения конкретного пола и приобретения общечеловеческого смысла. Прежде всего это касается фразеологизмов с компонентами мужского рода¹³, которые, в связи с этим, в вариантных формах могут заменяться компонентом *человек* (ср. ч. *pán nepán, člověk na svém místě; být mužem na svém místě; (být) správný muž na správném místě, muž činu, muž práce* и под.).

В определенной мере, хотя и в меньшей, это свойственно и фразеологизмам с женскими ГК и касается относительно небольшой группы единиц, в т. ч. ряда фразеологизмов с компонентом *баба*. Среди отобранных нами фразеологизмов во всех языках существуют эквиваленты для идиомы *базарная баба*. Они по-разному соотносятся с полом референта. Если польская единица *baba z bazaru* сохраняет свою принадлежность к представительницам прекрасного пола, то белорусский фразеологизм *базарная баба* уже имеет гендерно нейтральное значение прост. неодобр. 'крикливый, грубый **человек**', так же, как и в русском языке¹⁴. В чешском языке существуют сравнительные обороты, обла-

¹² Фразеологизмы типа *moja baba, moja kobieta* могут вызывать вопрос, можно ли их вообще считать фразеологизмами. В какой-то мере их идиоматичность спорна, хотя данные единицы фиксируются фразеографическими источниками (напр. SFJP), ведь гендерный компонент здесь реализует одно из своих прямых лексических значений, таким образом получается, что в данном устойчивом, воспроизводимом словосочетании отсутствует семантический сдвиг, что является основным признаком идиоматичности словосочетания. Несмотря на это, с нашей точки зрения, включение его в число фразеологизмов оправдано. Значение „жена” лексемы *baba* не является основным, оно не частотно и на сегодняшний день его можно считать архаичным, т. е. для современного носителя языка прямое прочтение данного фразеологизма не совпадает с его общим значением. Таким образом, мы полагаем, что значение данного словосочетания можно считать фразеологизированным.

¹³ Ср. ситуацию на лексическом уровне, где у существительных, называющих человека, обобщение происходит почти всегда в случае мужского рода, что является нормой [ср. работы Šmejrková 2002, Шульга 1997, Кронгауз 1996 и др.].

¹⁴ В некоторых случаях гендерную принадлежность фразеологизма нельзя определить только по описанию семантики в словарных статьях или указаниям лексикографов на пол референта, поскольку в разных словарях пометы могут отличаться. Это можно наблюдать и в случае русского фразеологизма *базарная баба*. К примеру, БСРП определяет данный фразеологизм следующим образом: *Базарная баба* Прост. Неодобр. 'Крикливый, грубый, вздорный **человек, скандалист**' [БСРП: 21], в то время как РСФС дает следующую характеристику: грубо-прост. неодобр. 'Крикливый, грубый, вздорный **человек (обычно женщина); скандалист**'. В таких случаях могут оказаться полезными данные национальных корпусов. В конкретном случае фразеологизма *базарная баба* корпус представляет ряд употреблений как в отноше-

дающие идентичным значением и образностью (хотя и отличающиеся от вышеописанных идиом своей конструкцией — ГК здесь находится в правой части сравнения и является определяющим, а не определяемым компонентом; более подробно о таких единицах см. ниже): прежде всего это *je užvaněný jako stará, svičková bába*, ср. также *mít hubu jako šejflířka, kramářka*. Интересно, что если данный фразеологизм имеет общечеловеческое значение, то единица *mít hubu, hádat se jako cikánka* сохраняет принадлежность к женскому полу, хотя и в этом случае переосмысливается то же самое — скандальное поведение женщины (досл. 'быть склочной, крикливой, ругаться как цыганка')¹⁵. Нейтрализация гендерного значения характерна и для других чешских фразеологизмов с компонентом *bába*, таких, например, как *kostelní bába, svičková bába*, употребляемых в значении 'ханжа, святоша, суеверный, фанатично верующий человек'.

Итак, нами была рассмотрена небольшая группа фразеологизмов, содержащих компонент *баба*, называющий определяемое понятие и выступающий в роли стержневого компонента. Из разобранных нами примеров видно, что компонент *баба* чаще всего сохраняет свое прямое лексическое значение. При этом в данной группе в некоторых случаях наблюдается свойство приобретать гендерно нейтральное, общечеловеческое значение, что присуще и лексике, где, как известно, ярко проявляется асимметрия рода, поскольку нейтрализация происходит по мужскому роду. Наши же примеры показывают, что во фразеологии не являются исключением случаи изменения семантики во фразеологизмах с женским референтом (в отличие от других уровней языка, где более систематично проявляется тенденция языкового андроцентризма, а такие случаи, как описанные выше, редки).

В целом нужно сказать, что описанные в данной статье примеры лишь частично освещают значительно более широкую тему семантики гендерных фразеологизмов и роли гендерных компонентов в общем значении идиом.

нии мужчины, так и в отношении женщины. Поэтому можно полагать, что в данном случае речь идет о нейтрализованном гендерном значении.

¹⁵ Ср. и другие примеры единиц такого типа: бел. *плакаць як баба* неодобр. 'о мужчине, слишком эмоционально реагирующем на сложившуюся ситуацию, плачущем' характеризует мужчину, а его чешский аналог *nařikat jako stará bába* употребляется независимо от пола референта: неодобр., осудит. 'о взрослом и ребенке: быть постоянно недовольным, все время ныть и жаловаться на что-л.'; ср. также аналоги: рус. *как баба сварливая* смол. неодобр. 'о вздорном, сварливом человеке' и бел. *сварлівы як старая баба* неодобр. 'о ворчливом, нудном, злобном мужчине'.

Библиография

- Bartmiński J., *Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki*, „Język a Kultura”, Wrocław 1998, t. 12, c. 63–83.
- Bobrow S. A., Bell S. M., *On catching on to idiomatic expressions*, „Memory and Cognition” 1973, no. 1, c. 343–346.
- Cutting J. C., Bock K., *That’s the way the cookie bounces: Syntactic and semantic components of experimentally elicited idiom blends*, „Memory and Cognition” 1997, no. 25 (1), c. 57–71.
- Čermák F., *Lexikon a sémantika*, Praha 2010.
- Čermák F., *Úvod: Idiomatika a frazeologie ve vztahu k jiným disciplínám*, [в:] *Frazeologie a idiomatika česká a obecná*, Praha 2007a, c. 13–22.
- Čermák F., *Základy a zásady frazeologie a idiomatiky*, V: *Frazeologie a idiomatika česká a obecná*, Praha 2007b, c. 23–72.
- Čmejrková S., *Rod v jazyce a komunikaci. Specifika češtiny*, „Slovo a slovesnost” 2002, roč. 63, c. 263–286.
- Gibbs R. W., *Spilling the beans on understanding and memory for idioms in context*, „Memory and Cognition” 1980, no. 8, c. 149–156.
- Lakoff G., *Women, Fire and Dangerous Things*, Chicago 1987.
- Lakoff G., Johnson M., *Metaphors We Live By*, Chicago 1980.
- Lewicki A. M., *Rola motywacji w opisowym słowniku zwrotów idiomatycznych*, [в:] H. Rybicka - Nowacka, B. Roślawski (eds.), *Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego*, Wydawnictwo Uniwersyteckie, Gdańsk 1990, c. 64–73.
- Pajdzińska A., *Antropocentryzm frazeologii potocznej*, „Etnolingwistyka” 1990, t. 3, c. 59–69.
- Pajdzińska A., *O znaczeniu związku frazeologicznego (raz jeszcze)*, „Problemy Frazeologii Europejskiej” 2001, t. 4, c. 11–18.
- Sprenger S. A., Levelt W. J. M., Kempen G., *Lexical access during the production of idiomatic phrases*, „Journal of Memory and Language” 2006, no. 54, c. 161–184.
- Swinney D. A., Cutler A., *The access and processing of idiomatic expressions*, „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 1979, no. 18, c. 523–534.
- А в а л и а н и Ю. Ю., *К семантическим связям слов в самостоятельной функции и в составе фразеологической единицы*, [в:] *Вопросы описания лексико-семантической системы языка*, Москва 1971, c. 15–20.
- А л е ф и р е н к о Н. Ф., *Фразеологическое значение в системе семантических единиц других уровней языка*, [в:] *Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях*, Кишинев 1982, c. 176–180.
- А л е х и н а А. И., *Фразеологическая единица и слово*, [в:] *К исследованию фразеологической системы*, Минск 1979.
- К о в а л ь В. И., *Язык и текст в аспекте гендерной лингвистики*, Гомель 2007.
- Л е п е ш а ў І. Я., *Упоравень з часам*, Гродна 2010.

- Мелерович А. М., *Концептообразующее функционирование отфразеологических символов и система их фиксации в словаре „Фразеологизмы в русской речи“*, [в:] *Проблемы фразеологической и лексической семантики*, Москва 2004, с. 16–21.
- Першай А., *Семантика пола: репрезентация гендерных отношений во фразеологии*, Вильнюс 2014.
- Ройзензон Л. И., *Русская фразеология*, Самарканд 1977.
- Телия В. Н., *Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты*, Москва 1996.
- Телия В. Н., *Семантика связанных значений слов и их сочетаемости*, [в:] *Аспекты семантических исследований*, Москва 1980, с. 250–319.
- Толикина Е. Н., *Природа значения фразеологических единиц*, [в:] *Вопросы семантики фразеологических единиц*, Новгород 1972.

Список сокращений

- БСРНС — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., *Большой словарь русских народных сравнений*, Москва 2008.
- БСПИ — Мокиенко В. М., Никитина Т. Г., *Большой словарь русских поговорок*, Москва 2007.
- SFJP — Skorpka S., *Słownik frazeologiczny języka polskiego*, Warszawa 1967.
- СРЯ — *Словарь русского языка*, ред. А. П. Евгеньева, Москва 1999.
- SJP — *Słownik języka polskiego*, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969, [в:] электронный ресурс: <http://sjp.pwn.pl/doroszewski>
- SSČ — *Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost*, reds. J. Fílipec, F. Daneš, Praha 2004.
- RČFS — Stěpanova L., *Rusko-český frazeologický slovník*, Olomouc 2007.
- ТСБМ — *Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы*, Мінск 2005.

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОГО АРГУМЕНТА
В РУССКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С МЕНТАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ:
*СОБЛЮДЕНИЕ, КОМПРЕССИЯ, РАСЩЕПЛЕНИЕ*¹

FORMS FOR REALIZING PROPOSITIONAL ARGUMENT IN RUSSIAN
SENTENCES WITH A MENTAL VERB:
OBSERVANCE, COMPRESSION AND SPLITTING

ALEKSANDER KIKLEWICZ

ABSTRACT. The subject of the article is the mental verbs (verbs of knowledge, understanding and thinking) of the modern Russian language, treated in terms of syntactic valence. The author examines the grammatical forms of the realization of propositional argument in sentences with mental verbs with the predicate-argument structure $P(x, q)$. The forms of representation of propositional argument are divided into three types: observance, compression and splitting. The author shows that in this area we have to deal with an analog reflection of the propositional structure, or more or less a compression of proposition argument, or its dismemberment and doubling of its syntactic position. The author takes into account the regularity of the implementation of each grammatical form, quoting the relevant quantitative data.

Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
– Polska, akiklewicz@gmail.com

Предметом статьи являются грамматические формы реализации пропозиционального аргумента (далее: ПА) в предложениях с ментальным глаголом в позиции сказуемого. Исследование опирается на культивируемую представителями польской школы семантического синтаксиса концепцию *эксplikативного синтаксиса*², соз-

¹ Статья написана в рамках научного проекта „Синтаксические свойства глаголов как база их интегративного лексикографического описания (на сопоставительном материале болгарского, польского и русского языков)”, реализуемого по программе Национального центра науки (Narodowe Centrum Nauki, nr 2013/11/V/HS2/03116).

² *Podstawowe struktury zdaniowe języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski*, red. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010; A. K i k l e w i c z, M. K o r y t k o w s k a, *Эксplikативный синтаксис как информационная база лексикографического описания глаголов (на материале польского и русского языков)*, „Acta Linguistica Petropolitana” 2012, nr VIII (3), с. 279–297; *tychże, Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła*

дателем которой является С. Кароляк³. Одной из главных задач этого направления является описание форм грамматической репрезентации семантической (аргументной) структуры, закодированной в лексическом значении глагольного предиката. Особое внимание обращается на то, насколько полным, дискретным, изосемическим (в терминологии Г. А. Золотовой⁴) способом в грамматической структуре предложения отражается ПА. В статье будут рассмотрены все отмеченные типы оформления ПА в предложениях с ментальными глаголами, реализующими пропозициональную структуру $P(x, q)$ (на которые приходится 87% всех ментальных глаголов). В предложениях этого типа ситуация ментального действия, состояния, процесса представляется с точки зрения активного экспериенсера, который осуществляет ментальную операцию по отношению к некоторому положению дел.

Обзор способов реализации ПА следует начать с того, который можно считать наиболее репрезентативным. Речь идет о выражении ситуации или события, которое является предметом интеллектуального действия или процесса, в виде придаточного предложения. Такие грамматические формы будут квалифицироваться как *д и с к р е т н ы е*. В данном случае наблюдается симметрия между семантическим и формально-грамматическим планами предложения: $P(x, q) \rightarrow V N_x V_q \dots$. В соответствии с терминологией динамического синтаксиса, вслед за Б. Ю. Норманом⁵, эту синтаксическую форму можно определить как *с о б л ю д е н и е*. Правда, Норман имеет в виду точное повторение в высказывании языковой структурной схемы, мы же считаем возможным более широкое применение данного понятия, в том числе в сфере отношений между значением и формой синтаксических единиц.

Конструкции данного типа различаются тем, включают они коррелятор (соотносительное местоимение *то*) или нет, имеют союзный

słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich), „Biuletyn PTJ” 2013, nr LXVIII, s. 49–68; tychże, *Opis właściwości walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplikacyjnej – problemy konfrontatywne i leksykograficzne (na przykładzie języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego)*, [в:] *Výzkum slovesné valency ve slovanských zemích*, pod red. K. Skwarskiej i E. Kaczmarskiej, Praha 2016, s. 291–304; A. K i k l e w i c z, *Русский язык в модели экспликативного синтаксиса*, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, nr VII/1, s. 133–152.

³ S. K a r o l a k, *Składnia wyrażen predykatywnych*, [в:] *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia*, pod red. Z. Topolińskiej, Warszawa 1984, s. 11–212; tegoż, *Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw*, Warszawa 2001; tegoż, *Semantyczna kategoria aspektu*, Warszawa 2008; tegoż, *Podstawowe struktury składniowe języka polskiego*, Warszawa 2002.

⁴ Г. А. З о л о т о в а, *Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса*, Москва 1988, с. 430.

⁵ Б. Ю. Н о р м а н, *Грамматика говорящего*, Санкт-Петербург 1994, с. 176.

или бессоюзный характер. На это указывают приведенные ниже иллюстрации:

- (1) Он вдумался в то, что прочитал.
- (2) Кихтенко верит, что террористов можно сделать более миролюбивыми.
- (3) Я задумался: что бы такое сказать?
- (4) Костырченко итожит: „Вольно или невольно они перешли грань дозволенного“.

Синтаксическая структура зависит также от того, имеет ли глагольный предикат фактивный или нефактивный характер⁶. В связи с этим рассмотрим два предложения:

- (5) Иван знает, что есть такой университет.
- (6) Иван думает, что есть такой университет.

Первое предложение основано на предпосылке, что придаточное предложение истинно, поэтому отрицание главной части не влияет на истинность придаточной:

- (7) Иван не знает, что [это — правда] есть такой университет.

В предложении с глаголом мнения не предполагается истинность придаточной части. Если в главную часть ввести отрицание, это вызовет отрицание зависимой части:

- (8) Иван не думает, что есть такой университет (потому что нет такого университета).

Указанное здесь различие связано со спецификой синтаксической сочетаемости фактивных и нефактивных глаголов: только первые, как пишет Е. В. Падучева⁷, допускают сочетаемость с косвенным вопросом. На косвенный вопрос указывает присутствие коннектора (союзного слова), который занимает в структуре придаточного предложения отдельную синтаксическую позицию, ср.:

- (9) Народ знает, кого почитать.
- (10) *Народ сомневается, кого почитать.

Второй тип грамматической реализации ПА представляют полудискретные экспликативные схемы, в которых показатель предикативного значения выступает в форме абстрактного существительного или, реже, инфинитива. Такие формы являются ре-

⁶ Об этом различии подробнее см.: A. K i k l e w i c z, *Podstawy składni funkcjonalnej*, Olsztyn 2004, с. 171.

⁷ Е. В. П а д у ч е в а, *Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова?*, [в:] *Логический анализ языка. Знание и мнение*, под ред. Н. Д. Арутюновой, Москва 1988, с. 38.

зультатом к о м п р е с с и и дискретных конструкций: синтаксическая форма теряет статус предложения и переходит в разряд именных групп (словосочетаний):

(11) Тело движется > движение тела.

Данный синтаксический тип, реализуемый с наибольшей регулярностью⁸, можно проиллюстрировать следующими примерами:

(12) Жена мечтает о разводе.

(13) Теннису я научился раньше.

(14) Он обманывается в своих ожиданиях.

(15) Он передумал уходить.

(16) Сын предполагает выучиться и вернуться домой.

Н е д и с к р е т н ы е к о н с т р у к ц и и являются результатом еще более сильной синтаксической компрессии: показатель предикации элиминируется, а на „поверхности“ фразы остаются именные группы, указывающие на тот или иной аргумент зависимой пропозиции. Часто конструкции этого типа имеют разговорный характер, а также широко выступают в текстах функциональных стилей, имитирующих разговорную речь (в художественном или публицистическом), ср.:

(17) Мы не поверим американцам (< Мы не поверим тому, что говорят американцы).

(18) Я подумывал о кукле из резины (< Я подумывал о том, чтобы купить куклу из резины).

(19) Она рассчитывала на Ирину (< Она рассчитывала на то, что Ирина ей поможет).

Наиболее высокая степень синтаксической компрессии наблюдается в конструкциях, в которых позиция ПА является незаполненной. Здесь мы имеем дело с так называемой н у л е в о й с и н т а к с и ч е с к о й п о з и ц и е й. Валентность ментального предиката отражается только в предложениях с бесконтекстным синтаксическим нулем, когда возможность или невозможность устранения правого колоката регулируется лексическим значением управляемого слова, т. е. глагольного предиката. К валентности глагола, однако, не имеет отношения контекстно обусловленное незаполнение позиции ПА, поскольку в этом случае действуют внешние факторы (такие, как коммуникативная ситуация, знания речевых субъектов и др.). Большинство (65%) ментальных глаголов допускает незаполненную позицию ПА. При этом пред-

⁸ A. K i k l e w i c z, *Синтаксические характеристики русских и польских интернет-форумов (на материале простых и сложных предложений с ментальными предикатами)*, [в:] *Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil*, Hrsg. B. Tosović, A. Wonisch, Graz 2016, с. 102.

мет ментального действия или состояния оказывается неопределенным или имеет обобщенный характер, на что указывают следующие примеры:

- (20) Бережков опять расфангазировался.
- (21) Я постоянно рефлексирую.
- (22) Не мешайте — я сконцентрируюсь.
- (23) Она не делает выводов — он только созерцает.
- (24) Он не думает — он угадывает.
- (25) Мысленная „диета“: подумать, внушить себе и похудеть.
- (26) Я не делаю никаких выводов — я только воображаю.

Редукция синтаксической формы реализации ПА связана с присутствием адьюнктивных (семантически факультативных) компонентов, в первую очередь наречий и частиц (*опять, только, особо, постоянно, всегда* и др.), которые выполняют специфическую *к о м п е н с а т о р - н у ю ф у н к ц и ю*. Хотя эти компоненты не имплицированы значением глагольного предиката, но их присутствие способствует употреблению глагола без спецификации предмета ментального действия. Это явление ранее описывалось на материале русского и польского языков⁹.

Нулевая реализация позиции ПА не всегда возможна. Существуют глаголы, которые не допускают этого типа вербализации своей семантики. Например, глагол *учитывать / учесть* предполагает несколько более или менее дискретных форм реализации ПА:

- (27) Грабители не учли, что в дальней комнате находилась домработница.
- (28) Президент учитывает реальные потребности компании.
- (29) Лектор учитывает слушателя.

Вместе с тем отсутствие правого комплемента не предусматривается:

- (30) *Иван постоянно учитывает.
- (31) *Я всегда учитываю.
- (32) *Ты только учитываешь.

Наблюдения показывают, что к этой группе принадлежат глаголы, ментальное значение которых возникло в результате семантической деривации, т. е. метафоризации, которая не претерпела еще „стирания“ (как в случае глагола *вскрывать / вскрыть*). Кроме того, элиминированию позиции ПА не способствует семантический элемент окончательности или однократности действия. Примерами этого могут послужить глаголы *выучивать / выучить, смекнуть, догадываться / догадаться* и др.

⁹ С. С я т к о в с к и, *О принципах классификации простого предложения в современном русском языке*, „Русский язык в школе“ 1965, № 3, с. 9; A. K i k l e w i c z, *Tak zwane członki przyłączone a status referencyjny wypowiedzi*, „Poradnik Językowy“ 2007, nr 9, с. 39 и др.

В языковой практике наблюдается явление, когда один и тот же компонент семантической структуры получает двукратное выражение в формально-грамматической структуре. При этом одному аргументу соответствуют две синтаксические позиции и две синтаксемы. Данное явление квалифицируется в лингвистической литературе как *расщепление*¹⁰. Здесь мы имеем дело со своего рода синтаксической парцелляцией как фактом асимметрии между семантическим и формально-грамматическим планами предложения.

В эмпирическом материале отмечено более десятка экспликативных схем с расщеплением. В зависимости от степени дискретности представления ПА их можно упорядочить следующим образом:

1. дискретные схемы, включающие как минимум одно придаточное предложение;
2. схемы, не содержащие придаточных предложений;
 - 2.1. полудискретные схемы, содержащие показатель предикации;
 - 2.2. недискретные схемы, не содержащие показателя предикации.

Дискретные схемы с присутствием двух придаточных являются чрезвычайно редкими — они были отмечены только в предложениях с глаголами *думать*₂ и *помнить*. Это легко объяснить тем, что нагромождение придаточных предложений, указывающих на один и тот же фрагмент референциальной ситуации, нежелательно из соображений языковой экономии: такого рода конструкции выглядят громоздкими. Приведем примеры упомянутых конструкций:

- (33) О том, что муж не вернулся, она думает, что это — ее собственная вина.
- (34) О том, что было на лекции, он только помнил, что преподаватель говорил медленно и невнятно.
- (35) О том, что было со мной, я только помню, как входил в церковь.

С помощью метода трансформации можно показать, что данные предложения представляют собой результат специфического расширения структурной схемы: позиция зависимого от глагольного предиката сентенционального компонента удваивается, последовательное подчинение заменяется соподчинением. Например, так можно реконструировать первое из приведенных выше предложений:

- (36) < Она думает, что в том, что муж не вернулся, есть ее собственная вина.

Во втором и третьем предложениях процесс синтаксической реконструкции имеет иной вид: здесь происходит специфическая экстериоризация экзистенциальной пресуппозиции. Так, предложение

¹⁰ S. Karolak, *Podstawowe struktury...*, op. cit., с. 105; *Теоретические проблемы русского синтаксиса. Взаимодействие грамматики и словаря*, ред. Ю. Д. Апресян, Москва 2010, с. 351.

(37) На лекции преподаватель говорил медленно и невнятно.
предполагает пресуппозицию:

(38) > На лекции что-то было/происходило.

Эта пресуппозиция получает материальное выражение в форме придаточного предложения, которое вводится в предикативную структуру. Данная операция выполняет определенную коммуникативную функцию: благодаря экстерииоризации пресуппозиции более отчетливо экспонируется тема высказывания. В связи с этим можно предложить следующую трансформацию предложения (34):

(39) Что касается лекции / если говорить о лекции, то он помнил только то, что [на лекции] преподаватель говорил медленно и невнятно.

Более часто выступают конструкции расщепления, в которых имеется один синтаксический элемент. Ниже приводятся примеры.

Экспликативная схема	Иллюстрации
V N _x , V _q ... NV _q ...	<i>О том, что муж не вернулся, она думает как о своем поражении. То, что произошло, он вспоминал как один из курьезов.</i>
V N _x , NV _q ... V _q ...	<i>Человек помнит прошлое как то, что совершалось само по себе. Он думает о Лене, что это – женщина его мечты. Я знал о визите только то, что он ожидается осенью.</i>
V N _x , V _q ... Adj _q ...	<i>О том, что случилось, она думает / помнит только хорошее.</i>
V N _x , N _{aq} V _q ...	<i>Иван не верит брату, когда тот рассказывает о Тихом океане. Он думает о детях, что они эгоистичны.</i>
V N _x , V _q ... N _{aq} ...	<i>Из того, что было на приеме, он только помнил уставшее лицо посла.</i>

Один из наиболее распространенных типов таких конструкций включает ментальный глагол *знать* (примеры заимствованы из интернет-корпуса русского языка):

(40) Москаленко про город знал только то, что там все в очках, с гитарами и хотяг свободной любви (Денис Горелов).

(41) Тогда о нём я знал только то, что он – математик (Моисей Каганов).

(42) Об этом животном туристы знают только то, что оно может оплевать (Михаил Задорнов).

(43) О рыбах корейнка знает только то, что их можно есть (Ольга Шевченко).

(44) Про евреев он знал только то, что лучше им не быть (Михаил Веллер).

Совершенно очевидно, что в основе таких конструкций лежит более простой тип с одним глагольным управлением, ср.:

(45) Я знал только, что он математик.

Условием синтаксической трансформации является здесь кореференция компонентов — их указание на один и тот же фрагмент действительности, в частности, одно и то же лицо (*знал о нем // он — математик*). Несмотря на очевидную тавтологию выражения данного типа коммуникативно оправданы: они служат экспонированию темы придаточного предложения.

Еще более регулярный характер имеют конструкции расщепления с участием двух именных групп — показателей предикации. В этой функции выступают абстрактные существительные, прилагательные и инфинитивы. В материале обнаружено девять экспликативных схем такого рода, из которых наиболее регулярно реализуется схема $V N_x, NV_{aq...} NV_{Pq...} \emptyset_{Vq}$, ср. примеры:

- (46) В войне за Донбасс они не видят смысла.
- (47) 40 лет правления короля вспоминают как золотой век.
- (48) *Он вообразил историю как последовательность событий.
- (49) Он думает о войне как о проявлении безнравственности.

В конструкциях этого типа первый элемент ($NV_{aq...}$) представляет подлежащее придаточного предложения, которое претерпело структурную компрессию, а второй элемент ($NV_{Pq...}$) — именную часть составного сказуемого. На это указывает возможность трансформации:

- (50) В войне за Донбасс они не видят смысла → Они не видят [не считают], что война за Донбасс имеет смысл.

Наиболее часто конструкции этого типа выступают с ментальным глаголом *считать*:

- (51) Я считаю ошибкой решение о проведении выборов 5 октября.
- (52) Альенде же считал ошибкой Фрея медленный ход реформ.
- (53) Дружбу с тобой я считаю подарком судьбы.
- (54) Свое дежурство она считала отдыхом.

Другие глаголы, повторяя данный тип сочетаемости, претерпевают процесс семантической деривации. Например, глагол *рассматривать / рассматреть* в предложениях типа

- (55) Он рассматривает информацию как содержание какого-либо сообщения
→ Он считает, что информация представляет собой содержание сообщения.

реализует лексическое значение, близкое к значению глагола *считать*, что, в частности, отмечают толковые словари.

Последний тип расщепления ПА в предложениях с ментальными глаголами включает две именные группы с предметным значением. Они обозначают участников ситуации, которая является предметом рефлексии описываемого в предложении лица. В этой позиции мо-

гут находиться как одушевленные, так и неодушевленные существительные:

- (56) Он верит в меня как в поэта.
- (57) Ребенок воображает себя собакой.
- (58) Он думает о вещах как о живых людях.
- (59) Она мечтала о нем как о любовнике и муже.

Преимущественно, это — конструкции, в которых существительные представляют элементы предикативной связи (компрессированного) придаточного предложения: подлежащее и именную часть составного сказуемого. На это указывает возможность трансформации:

- (60) Он думает о вещах как о живых людях → Он думает, что вещи — это живые люди.

Формами репрезентации подлежащего являются синтаксемы: N_{acc} / Prep N_{acc} / Prep N_{loc} , тогда как на именную часть сказуемого указывают следующие синтаксемы: N_{instr} или Prep [как] N_{acc} / Prep N_{acc} / Prep N_{loc} .

Из проведенного анализа следует, что наиболее регулярно осуществляются четыре способа реализации ПА: $q \rightarrow NV_{q...}$ (95% глаголов), $q \rightarrow V_{q...}$ (87% глаголов), $q \rightarrow N_{aq} \emptyset_q$ (75% глаголов) и $q \rightarrow \emptyset_q$ (65% глаголов). В силу их разнородности трудно констатировать существование какой-либо тенденции в этом плане — представлены все основные типы реализаций: дискретная, полудискретная, недискретная и нулевая. Можно, однако, отметить несколько более высокую регулярность синтаксических форм, содержащих показатель предикации.

Инфинитивная реализация наблюдается при глаголах со значением предвидения, планирования, проектирования, т. е. имеет лексически ограниченный характер. Это же касается и конструкций с расщеплением, которые допускаются в случае немногих глаголов.

Можно заключить, что межсловные синтаксические связи (управление) не играют в сочетаемости ментальных глаголов главной роли, так как большая доля конструкций приходится на сложные предложения, а также на предложения с незаполненной позицией ПА. В общем процессе грамматической актуализации предложений с ментальными глаголами можно усматривать действие трех сил: во-первых, это — имплицитованная лексическим значением глагола пропозиционально-семантическая структура; во-вторых, это — устойчивый характер некоторых грамматических связей и структурных схем; в-третьих, это — коммуникативно-прагматические и стилистические факторы. Как видим, в отдельно взятом языковом явлении пересекаются все важнейшие параметры функционирования языковой системы.

Библиография

- K a r o l a k S., *Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw*, Warszawa 2001.
- K a r o l a k S., *Podstawowe struktury składniowe języka polskiego*, Warszawa 2002.
- K a r o l a k S., *Semantyczna kategoria aspektu*, Warszawa 2008.
- K a r o l a k S., *Składnia wyrażen̄ predykatywnych*, [w:] *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia*, pod red. Z. Topolińskiej, Warszawa 1984, s. 11–212.
- K i k l e w i c z A., *Podstawy składni funkcjonalnej*, Olsztyn 2004.
- K i k l e w i c z A., *Tak zwane człony przyłączone a status referencyjny wypowiedzi*, „Poradnik Językowy” 2007, nr 9.
- K i k l e w i c z A., K o r y t k o w s k a M., *Modelowanie płaszczyzny syntaktycznej a segmentacja hasła słownikowego (na przykładzie języków słowiańskich)*, „Biuletyn PTJ” 2013, nr LXVIII, s. 49–68.
- K i k l e w i c z A., K o r y t k o w s k a M., *Opis właściwości walencyjnych czasowników na podstawie teorii składni eksplicacyjnej – problemy konfrontatywne i leksykograficzne (na przykładzie języka bułgarskiego, polskiego i rosyjskiego)*, [w:] *Výzkum slovesné valency ve slovanských zemích*, pod red. K. Skwarskiej i E. Kaczmarek, Praha 2016, s. 291–304.
- Podstawowe struktury zdaniowe języków słowiańskich: białoruski, bułgarski, polski*, red. A. Kiklewicz, M. Korytkowska, Olsztyn 2010.
- З о л о т о в а Г. А., *Синтаксический словарь. Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса*, Москва 1988.
- K i k l e w i c z A., *Русский язык в модели экспликативного синтаксиса*, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2016, nr VII/1, s. 133–152.
- K i k l e w i c z A., *Синтаксические характеристики русских и польских интернет-форумов (на материале простых и сложных предложений с ментальными предикатами)*, [w:] *Interaktion von Internet und Stilistik, Internet und Stil*, Hrsg. B. Tosović, A. Wonisch, Graz 2016, s. 102.
- K i k l e w i c z A., K o r y t k o w s k a M., *Экпликативный синтаксис как информационная база лексикографического описания глаголов (на материале польского и русского языков)*, „Acta Linguistica Petropolitana” 2012, nr VIII (3), s. 279–297.
- Н о р м а н Б. Ю., *Грамматика говорящего*, Санкт-Петербург 1994.
- П а д у ч е в а Е. В., *Выводима ли способность подчинять косвенный вопрос из семантики слова?*, [w:] *Логический анализ языка. Знание и мнение*, под ред. Н. Д. Арутюновой, Москва 1988, s. 38.
- С я т к о в с к и С., *О принципах классификации простого предложения в современном русском языке*, „Русский язык в школе” 1965, № 3, s. 9.
- Теоретические проблемы русского синтаксиса. Взаимодействие грамматики и словаря*, ред. Ю. Д. Апресян, Москва 2010.

ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К КАТЕГОРИЗАЦИИ
ЛЕКСИЧЕСКОЙ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

A PROPOSAL FOR THE CATEGORIZATION
OF LEXICAL ASPECTUALITY IN RUSSIAN

VLADIMIR KLIMONOV

ABSTRACT. The paper deals with the categorization of verbal situations (lexical aspects: events, processes, and states) and their subcategorization according to finer Aktionsart distinctions. The proposed two-component model for the categorization of lexical aspectuality is based on uniform quantitative features. Four subclasses of events will be distinguished, which will be subclassified further.

Vladimir Klimonov, Humboldt Universität Berlin, Berlin — Niemcy, klimonov@web.de

**1. Двухкомпонентная модель категоризации лексической
аспектуальности**

В аспектологии принято различать грамматическую аспектуальность (ГА) и лексическую аспектуальность (ЛА). Ю. С. Маслов¹ отделяет вид как грамматическую категорию от аспектуальных классов (АК), имеющих двоякий, лексико-грамматический характер. Под ГА понимается в настоящей работе система видовых парадигм полных, выражаемых противопоставлением форм совершенного вида (СВ) и несовершенного вида (НСВ), и дефективных, выражаемых формами только одного вида (СВ или НСВ). Так, приставка *на-* у глагола *намокнуть* (= стать мокрым), производного от глагола *мокнуть* (= становиться мокрым), не меняет лексического значения исходного глагола *мокнуть*. Противопоставление типа *мокнуть* — *намокнуть* (*о рубахе*) является поэтому чисто грамматическим противопоставлением форм НСВ и СВ, т. е. видовой парой (или видовой парадигмой). Зону ЛА составляют отглагольные дериваты с морфологическими маркерами (ММ), модифицирующими значение исходных глаголов. Приставка *про-* у глагола *промокнуть*, производного от того же самого глагола *мокнуть*, вносит

¹ Ю. С. Маслов, *Об основных понятиях аспектологии*, [в:] его же, *Очерки по аспектологии*, Ленинград 1984, с. 8–10.

в значение исходного глагола *мокнуть* дополнительный смысл интенсивности глагольного действия: *промокнуть (до костей/до нитки)* (= стать совсем мокрым). Корреляция типа *мокнуть — промокнуть (о рубахе)*, в которой соотносительные видовые формы НСВ и СВ не обнаруживают тождества своего лексического значения, представляет собой словообразовательную деривацию.

Анализ ЛА проводится в настоящей работе в рамках двухкомпонентной модели категоризации ЛА. Верхний ярус репрезентации ЛА образуют глобальные категории события (или эвентивы), процессы (или процессивы) и состояния (или стативы), представляющие собой номинации самых общих типов глагольных ситуаций и соответствующих им классов глаголов. Эти концептуальные категории, релевантные как для лингвистики, так и для философии, А. П. Д. Мурелатос² называет „онтологической трихотомией“. Как по своему содержанию (обобщенный характер номинации), так и по своей форме (тернарная структура) эти категории обнаруживают аналогию с грамматическими видами в славянских языках, поэтому я называю их лексическими видами (ЛВ).

События (или эвентивы) типа *прорисовать (картину с понедельника до четверга)* определяются как ограниченные во времени целостные, т. е. однофазовые глагольные ситуации. Начальная и конечная границы действия включаются в события как их ингерентные характеристики. Считается, что у глаголов с недуративной семантикой (т. н. моментативов) типа *вскрикнуть* обе границы действия сливаются в одной точке. Процессы (или процессивы) типа *покашливать* (= слегка, с перерывами кашлять) обозначают неограниченные во времени нецелостные, т. е. многофазовые, глагольные ситуации, рассматриваемые безотносительно к начальной и конечной границам действия. Состояния (или стативы) типа *недолюбливать* называют не развивающиеся во времени глагольные ситуации, не обнаруживающие внутреннего членения на фазы. Такие глагольные действия не имеют границ (начальной и конечной).

Нижний ярус репрезентации ЛА составляют специфические для каждого языка частные разновидности ЛВ, представленные в виде системы, т. е. упорядоченного множества способов действия (СД). Удельный вес глаголов со значением СД в словарном составе русского языка относительно небольшой. А. В. Исаченко³ указывает на то, что подавля-

² А. P. D. M o u r e l a t o s, *Events, Processes, and States*, "Syntax and Semantics" 1981, no. 14, с. 199–201.

³ А. V. I s a c h e n k o, *Die russische Sprache der Gegenwart*, Teil I: *Formenlehre*, Halle (Saale) 1962, с. 387.

ющее большинство глаголов в русском языке не обнаруживает значений СД. АК и конституирующие их СД А.В. Бондарко⁴ причисляет к периферии аспектуальности. Предметом исследования является субкатегоризация и формальная манифестация класса глаголов (или глагольных лексем) со значением событий. В основу категоризации глаголов со значением событий на подклассы в настоящей работе положены количественные параметры глагольного действия, которые считаются конститутивными для модификации глагольного действия. Количественные характеристики глагольного действия не меняют значения действия как такового. Они только вносят в содержание исходного (производящего) глагола дополнительную семантическую информацию, касающуюся количественных параметров глагольного действия. Количественные значения рассматриваются в настоящей работе как координаты (или отметки), специфицированные (определенные, или абсолютные) и неспецифицированные (неопределенные, или относительные) на темпоральной шкале аспектуальности, квантифицирующей внутреннюю темпоральную структуру глагольного действия, и на нетемпоральной шкале аспектуальности, квантифицирующей глагольное содержание в целом, включая и его участников (актантов, или партиципантов).

Следует отметить, что в традиционном представлении глаголы с временными параметрами глагольного действия исключаются из сферы количественной аспектуальности (см., напр., монографию А. В. Исаченко⁵ и академическую грамматику русского языка⁶). Не все лингвисты разделяют эту точку зрения. Так, в *Русской Грамматике*, изданной в Праге⁷, указывается, что фазисные СД, к которым причисляются и ограничительные СД, выражают ограничение глагольного действия во времени, т. е. квантификацию глагольного действия. Я. Ставницка⁸ также относит т. н. временные группировки СД к количественной аспектуальности. Во временных СД ограничение глагольного действия

⁴ А. В. Б о н д а р к о, *Содержание и типы аспектуальных отношений*, [в:] *Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность*. Таксис, Ленинград 1987, с. 52.

⁵ А. В. И с а ч е н к о, указ. соч., с. 386–387.

⁶ *Русская грамматика*, ред. Н. Ю. Шведова, Наука, т. I, Москва 1980, с. 596–598.

⁷ *Русская Грамматика*, kn. 1, Academia, Československé akademie věd, Praha 1979, с. 244–245.

⁸ J. S t a w n i c k a, *Parametry kwantyfikacyjnej akcji werbalnej w języku polskim*, [в:] B. B r e h m e r et al. (Hrsg.), *Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen*, Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag, Hamburg 2008, с. 385.

во времени неразрывно связано с лимитацией самого глагольного действия. Ограничение глагольного действия во времени, т. е. фокусирование определенного временного интервала глагольного действия, сопряжено с ограничением в полноте проявления глагольного действия, т. е. с выделением некоего кванта (некой доли или некой части) глагольного действия как такового. Так, напр., значение непродолжительного временного интервала у глаголов делимитативного СД (ср. *почитать газету недолго / всего несколько минут*) сочетается со значением малой (или небольшой) меры (или степени) интенсивности глагольного действия (ср. *почитать немного газету*). В зависимости от семантики глагола и от контекста перевес получает в отдельных случаях временная или невременная интерпретация значения глагола, ср. *коротко посоветаться* и *немного погулять*.

Наложение рассмотренных характеристик глагольного действия друг на друга (темпоральная и нетемпоральная шкалы, а также специфицированные и неспецифицированные отметки на этих шкалах) дает в итоге четыре подкласса глаголов, обозначающих события, со специфическими для каждого из них параметрами квантификации. Эти аспектуальные подклассы глаголов со значением событий субкатегоризируются далее на разряды (группы и подгруппы) СД в соответствии с дальнейшей дифференциацией квантитативных параметров, специфических для каждого из аспектуальных подклассов (см. раздел 2).

2. Субкатегоризация класса глаголов со значением событий

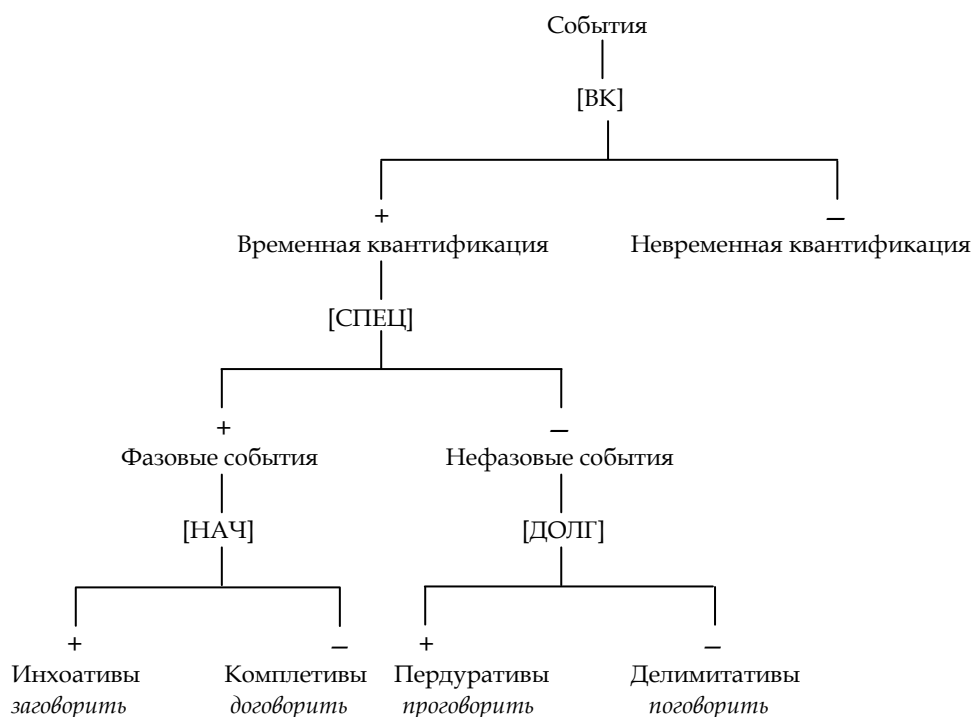
Первый и второй подклассы объединяют глагольные лексемы со значением временной квантификации глагольного действия. Субкатегоризация таких глагольных лексем на шкале внутренней темпоральности глагольного действия представлена на схеме 1.

Первый подкласс глагольных лексем со специфицированными отметками на шкале внутренней темпоральности ([+СПЕЦ]) обозначает фазовые (фазисные) характеристики глагольного действия. Этот подкласс подразделяется на две группы. К первой группе относятся глагольные лексемы, фокусирующие некую долю (или часть) глагольного действия как начальную фазу действия [+НАЧ]. Такие глагольные лексемы образуют начинательные СД, а именно инхоативный СД типа *заговорить* и ингрессивный СД типа *пойти*. Глаголы инхоативного СД обозначают начальный отрезок ситуации, представленный глагольным действием, ср. *заговорить* (= начать говорить). У глаголов ингрессивного СД отсутствует четкая граница между началом действия и действием в целом, ср. *пойти в театр* (= направиться в театр). Глагольное действие воспринимается здесь в единстве его начала и продолжения.

Глагольные лексемы, относящиеся ко второй группе, фокусируют некий квант глагольного действия, обозначающий последнюю, завершающую часть глагольного действия [-НАЧ]. Сюда относятся эгрессивные глаголы комплетивного СД типа *договорить* и финитивного СД типа *отговорить*. Глаголы комплетивного СД выражают завершение конечной фазы глагольного действия, ср. *договорить* (= довести свою речь до конца). Глаголы финитивного СД обозначают прекращение глагольного действия, ср. *отговорить* (= кончить говорить). Срединная фаза действия в русском языке морфологически не выражается. Транскурсивное, или интра терминальное, значение передается глагольным словосочетанием типа *продолжать / не переставать говорить...*

Схема 1. Субкатегоризация событий с временной квантификацией глагольного действия

Сокращения: ВК = временная квантификация, СПЕЦ = спецификация, НАЧ = начало, ДОЛГ = долговременность



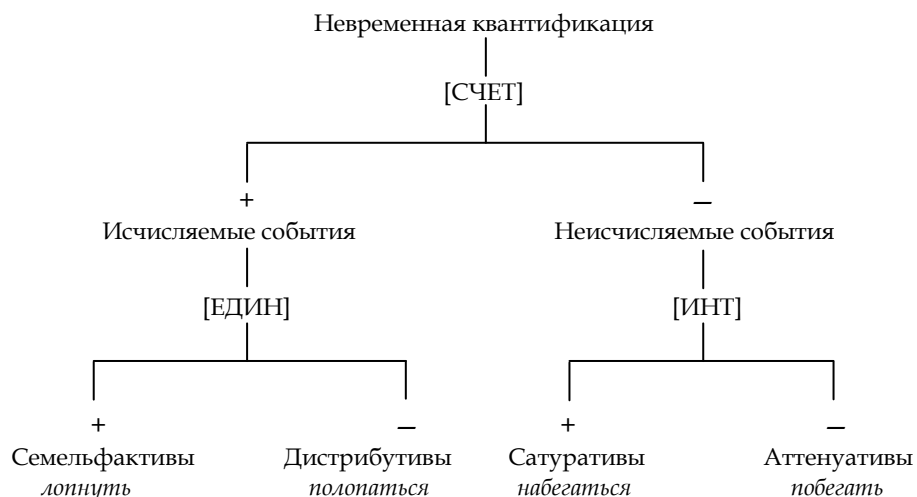
Второй подкласс глагольных лексем с неспецифицированными координатами на шкале внутренней темпоральности ([–СПЕЦ]) включает нефазовые события, которые ограничивают глагольное действие

во времени и представляют его как относительно продолжительное, или долговременное (= глаголы длительно-ограничительного, или пердуративного, СД типа *проговорить весь вечер*), или как относительно непродолжительное, или недолговременное (= глаголы недлительно-ограничительного, или делимитативного СД типа *поговорить всего несколько минут*).

В состав третьего и четвертого подклассов входят глагольные лексемы со значением невременной квантификации глагольного действия (см. схему 2).

Схема 2. Субкатегоризация событий с невременной квантификацией глагольного действия

Сокращения: СЧЕТ = счетность, ЕДИН = единичность, ИНТ = интенсивность



Третий подкласс глагольных лексем с признаком [+СЧЕТ] включает в себя исчисляемые, или нумеральные, события. Такие глагольные лексемы делятся на две группы. К первой из них относятся глагольные лексемы со значением однократных (разовых) действий (одноактного, или семельфактивного, действия с признаком [+ЕДИН] типа *лопнуть (об оконном стекле)*). Вторая группа включает глагольные лексемы со значением многократных действий с признаком [-ЕДИН], а именно со значением постепенного накопления объектов глагольного действия (т. н. кумулятивный СД типа *накупить (множество книг)*), а также глагольные лексемы со значением многократных распределительных действий, представляющих действие как поочередность отдельных его актов (т. н. дистрибутивные СД). Последние обнаруживают два подтипа, первый из которых представляет действие как поочередную по-

следовательность актов, касающихся многих субъектов (т. н. субъектно-дистрибутивный СД типа *полопаться* (об оконных стеклах во время пожара)), а второй из них репрезентирует действие, направленное на множество его объектов (т. н. объектно-дистрибутивный СД типа *перемыть* (всю посуду)).

К четвертому подклассу относятся глаголы со значением неисчисляемых, или транснумеративных, событий с признаком нечисловой квантификации глагольного действия [-СЧЕТ], т. е. градации глагольного действия по степени интенсивности. Этот подкласс составляют события со значением высокой степени интенсивности глагольного действия ([+ИНТ]) (группа 1) и события, обозначающие малую или ослабленную степень интенсивности глагольного действия ([-ИНТ]) (группа 2). Глаголы первой группы распадаются на две подгруппы. Первая из них включает в себя глаголы, указывающие на интенсивность действия субъекта. К этой подгруппе относятся глаголы, обозначающие полноту осуществления глагольного действия (сатуративный, или сативный, СД: *набегаться* (вдоволь)), исчерпанность действия (экстагустативный, или экстагустивный, СД: *измучиться* (= дойти до изнеможения)), доведение действия субъектом до излишества (чрезмерно-длительный СД: *заговориться* (= проговорить слишком долго)). Вторую подгруппу образуют глаголы со значением интенсивности действия по отношению к его объекту или объектам. Эта подгруппа включает глаголы, указывающие на то, что действие охватывает весь объект или множество объектов (тотальный СД: *исписать* (всю тетрадь)), или на то, что степень проявления действия выше принятого стандарта (чрезмерно-эффективный СД: *заговорить* (собеседника) (= утомить собеседника разговором)). Вторую группу четвертого подкласса составляют глаголы со значением малой или ослабленной степени интенсивности глагольного действия (смягчительный, или аттенуативный, СД). Глаголы этой группы распадаются на две подгруппы. Первая из них включает в себя глаголы, которые обозначают действие, производимое его субъектом, т. н. субъектно-аттенуативный СД: *побегать* (немного). Вторая из них содержит глаголы, обозначающие действие, направленное на его объект или на его объекты, т. н. объектно-аттенуативный СД: *приоткрыть* (немного) окно.

3. Формальные показатели, выражающие значение событий

Аспектуальные значения выражаются в русском языке посредством аспектуальных маркеров (АМ), к которым относятся морфологические маркеры (ММ) (приставки, суффиксы, постфикс *-ся* и комбинации этих морфем) у глаголов типа *попить* (см. пример (1-1)) и *заплакать* (см. пример (2-1)) и лексические маркеры (ЛМ), которые подразделя-

ются на глагольные и неглагольные. К первым из них относятся служебные глаголы типа *начать* в конструкции *начать плакать* (см. пример (2-2)). Ко вторым из них относятся наречия типа *немного* в конструкции *выпить немного молока* (см. пример (1-2)).

- (1-1) Нина *попила* (немного) / *много / * две чашки / *примерно 300 грамм молока;
 (1-2) Нина *выпила* немного / много / две чашки / примерно 300 грамм молока;
 (2-1) Мальчик обиделся и горько *заплакал*;
 (2-2) Мальчик обиделся и *начал* горько *плакать*.

ММ, манифестирующие вторичные события, обнаруживают синкретизм видовой и акциональной информации. Так, приставка *по-* глагольной лексемы *попить* в примере (1-1) выражает совокупно видовое (= перфективное) и акциональное (= аттенуативное, или смягчительное) значения. Наречие *немного* дублирует в этом примере акциональную информацию, свойственную префиксу *по-*, и как факультативный маркер заключается в скобки. Оба эти аспектуальные значения в примере (1-2) представлены раздельно посредством разных аспектуальных маркеров (АМ): аттенуативное значение выражается посредством ЛМ *немного* с акциональным значением степени интенсивности действия, а индикатором перфективности служит префикс *вы-* глагольной лексемы *выпить*. Этот префикс не имеет аттенуативного значения.

Маркированные (т. е. более сложные) глаголы с синкретическими ММ обнаруживают ограничения в сочетаемости по сравнению с глаголами, лишёнными синкретических ММ. В примере (1-1)) глагол *попить* не сочетается с ЛМ, обозначающими большое количество, точное количество и приблизительное количество. Структуры с ЛМ являются и более весомыми по отношению к структурам с ММ. При коллизии значений структур с ММ и структур с ЛМ более „сильными“ оказываются последние, которые и определяют итоговую акциональную интерпретацию всего высказывания. Так, аттенуативное значение приставки *под-* в примере (3-1) (*подлечиться* = немного полечить себя) хорошо согласуется с ЛМ *слегка*, указывающим на ослабленную степень проявления действия, но находится в противоречии с ЛМ *основательно*, обозначающим полноту осуществления действия в примере (3-2). В итоге высказывание (3-2) получает значение сатуративного, а не аттенуативного СД.

- (3-1) Игорь летом ездил на курорт, хорошо отдохнул и *слегка подлечился*;
 (3-2) Лида побывала недавно в санатории и *основательно подлечилась*.

Немаркированные структуры с ЛМ в некоторых контекстах могут замещать маркированные структуры с ММ. В стандартных контекстах

приставка *про-* выражает пердуративное значение (см. пример (4-1) с глаголом *прогулять*). В таких контекстах делимитативное значение исключается. В нестандартных контекстах (см. пример (4-2) с глаголом *проработать*) обнаруживается интерференция пердуративного значения с делимитативным значением. В позиции нейтрализации морфологически релевантного противопоставления пердуративного СД с приставкой *про-* и делимитативного СД с приставкой *по-* дифференциация этих двух способов действия осуществляется в этом примере посредством ЛМ *целые двадцать лет* и *всего один год*. Приставка *про-* в примере (4-2) утрачивает пердуративное значение и выступает как экспонент только СВ.

(4-1) Настя *прогуляла* сегодня в городе целые три часа / *всего полчаса;

(4-2) Олег *проработал* на заводе целые двадцать лет / всего один год.

Следует указать на то, что тенденция к грамматикализации ММ прослеживается прежде всего в некодифицированных сферах русского языка, откуда она распространяется и на литературный русский язык. Так, в *Большом толковом словаре русского языка*⁹ глагол *пролечить* (*пролечить двести детей*) со значением 'провести лечение' и с пометой профессионально-разговорного стиля речи рассматривается как омоним с глаголом *пролечить* с акциональным значением (*пролечить больного полгода*). В итоге число глагольных форм с грамматикализованными чистовидовыми приставками у глагола *лечить* возрастает до 6: *вылечить* — *вылечивать*, *излечить* — *излечивать* и *пролечить* — *пролечивать*.

Русский язык характеризуется высоким удельным весом ММ при манифестации СД по сравнению с неславянскими языками. Так, в немецком языке при оформлении СД также используются все три типа аспектуальных маркеров (ММ, КМ и СМ), однако доля ММ здесь довольно ограниченная по сравнению с русским языком¹⁰.

4. Квантитативные параметры глагола в сопоставлении с количественными характеристиками имени существительного в русском языке

Центральной для глаголов со значением событий в зоне ЛА является нечисловая квантификация глагольного действия. Из четырех подклассов глагольных лексем со значением событий только один

⁹ *Большой толковый словарь русского языка*, ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 2000, с. 1014.

¹⁰ В. Д. Климонов, *Типологические параметры лексических видов (на материале класса событий в русском и немецком языках)*, [в:] *Типология вида / аспекта: проблемы, поиски, решения*, Симферополь 2014, с. 65–66.

из них, а именно третий, выражает числовую квантификацию глагольного действия: семельфактивы типа *царапнуть* и дистрибутивы типа *перещарапать* (*всю мебель, о кошке*) обнаруживают числовую квантификацию глагольного действия по признаку „один — больше одного” на нетемпоральной шкале аспектуальности. Первый подкласс глаголов, обозначающий фазовость глагольного действия (со значениями начала и конца действия типа *заговорить* и *договорить*), и второй подкласс глаголов, обозначающий ограничение глагольного действия во времени (со значениями длительности и недлительности временного ограничения типа *проговорить* и *поговорить*), выражают нечисловую квантификацию глагольного действия на шкале внутренней темпоральности глагольного действия. Четвертый подкласс глаголов, обозначающий степени интенсивности глагольного действия (со значениями высокой степени интенсивности и ослабленной интенсивности действия типа *набегаться* и *побегать*), выражает нечисловую квантификацию глагольного действия типа „много — мало” на нетемпоральной шкале квантификации глагольного действия.

В сфере ГА формы СВ и НСВ в видовых парадигмах типа *читать* — *прочитать* выражают квантитативное отношение „целое — часть” на шкале внутренней темпоральности глагольного действия. Глагольные лексемы СВ типа *прочитать* (*роман от начала до конца*) обозначают целостное действие и имеют специфицированные исходную и конечную границы действия. Глагольные лексемы НСВ типа *читать* (*срединную главу романа*) выражают нецелостное действие с неспецифицированными квантитативными координатами начала и конца действия. Соотношение „целое — часть” является градацией степени проявления глагольного действия. Глаголы СВ обозначают полноту проявления глагольного действия, тогда как глаголы НСВ указывают на неполноту осуществления действия. Мера полноты проявления глагольного действия является нечисловой квантификацией глагольного действия. Числовая квантификация, присущая только одному подклассу глаголов со значением событий в зоне ЛА, является, следовательно, маргинальной для глаголов.

Числовая квантификация у глаголов обнаруживает аналогию с числовой квантификацией у имен существительных: противопоставление как исчисляемых (нумеральных) глагольных действий (событий), так и предметов (индивидуативов) осуществляется по признаку единичности ([+ЕДИН]) и неединичности ([-ЕДИН]). Между числовой квантификацией у глаголов и у существительных обнаруживаются, однако, существенные различия. Если числовое противопоставление у существительных, выражаемое противопоставлением форм ед. ч.

и мн. ч., имеет статус грамматикализованного противопоставления, т. е. рассматривается как числовая парадигма, то числовое противопоставление у глаголов имеет характер словообразовательной деривации, в которой производные формы обнаруживают по сравнению с исходными формами дополнительное модифицирующее значение. По этой причине числовое противопоставление у глаголов нельзя считать видовыми парадигмами. Такое противопоставление формально соотносительных глаголов является видовой корреляцией. Имена существительные обнаруживают и иную дистрибуцию числовой и нечисловой квантификации. Показательной для имен существительных является числовая квантификация. Большинство русских существительных составляют дискретные существительные, или индивидуативы. Такие существительные обнаруживают числовую квантификацию типа „один — больше одного”: *стакан — стаканы*. Недискретные существительные, или континуативы, с нечисловой квантификацией типа *железо* образуют периферию русских существительных. Квантификация со значением градации количества выражается у таких существительных посредством неграмматикализованных перифрастических экспонетов неточного количества типа *много / множество / большое количество железа*. Такое значение у глаголов манифестируется морфологически посредством соответствующей приставки, ср. *наестся* (= съесть много) и *поест* (= съесть немного). У глаголов ситуация, можно сказать, обратная по отношению к именам существительным: ядро образуют здесь нечисловые противопоставления, тогда как числовое противопоставление является периферийным.

Библиография

- Большой толковый словарь русского языка, ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 2000.
- Бондарко А. В., *Содержание и типы аспектуальных отношений*, [в:] *Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис*, Ленинград 1987, с. 52.
- Климонов В. Д., *Типологические параметры лексических видов (на материале класса событий в русском и немецком языках)*, [в:] *Типология вида / аспекта: проблемы, поиски, решения*, Симферополь 2014, с. 65–66.
- Маслов Ю. С., *Об основных понятиях аспектологии*, [в:] его же, *Очерки по аспектологии*, Ленинград 1984.
- Русская Грамматика*, кн. 1, Academia, Československé akademie věd, Praha 1979.
- Русская грамматика*, ред. Н. Ю. Шведова, т. I, Наука, Москва 1980.

- I s a ĉ e n k o A.V., *Die russische Sprache der Gegenwart, Teil I: Formenlehre*, Halle (Saale) 1962.
- M o u r e l a t o s A.P.D., *Events, Processes, and States*, "Syntax and Semantics" 1981, no. 14, c. 199-201.
- S t a w n i c k a J., *Parametry kwantyfikacyjne akcji werbalnej w języku polskim*, [B:] B. B r e h m e r et al. (Hrsg.), *Aspekte, Kategorien und Kontakte slavischer Sprachen*, Festschrift für Volkmar Lehmann zum 65. Geburtstag, Hamburg 2008, c. 385.

DERYWACJA CZASOWNIKÓW
W ROSYJSKIM SLANGU MŁODZIEŻOWYM
NA BAZIE ANGIELSKIEGO MATERIAŁU LEKSYKALNEGO

DERIVATION OF VERBS IN RUSSIAN YOUTH SLANG
BASED ON ENGLISH LEXICAL MATERIAL

KATARZYNA KUBECKA

ABSTRACT. The article is devoted to the derivation of verbs in Russian youth slang, based on English lexical material (verbs, nouns, adjectives). By means of Russian's numerous affixes, young people form various expressive and humorous verbs, build derivational nests and create English verbs, which are homonyms of Russian words.

Katarzyna Kubecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań
– Polska, katkub@amu.edu.pl

Rosyjski język młodzieżowy rozwija się nieustannie i dynamicznie. Jest on kształtowany na podstawie leksyki zapożyczanej z różnych socjolektów: uczniowskiego, studenckiego, sportowego, komputerowego, hipiessowskiego, słownictwa narkomanów i nieoficjalnych grup młodzieżowych (np. preferujących określony rodzaj muzyki). Wchłania również dużą liczbę elementów z innych żargonów, w tym z żargonu przestępczego i wojskowego¹. Silny wpływ na słownictwo młodzieżowe w ostatnim czasie wywierają języki obce, przede wszystkim język angielski. Proces ten wywołany jest zapewne intensyfikacją i ożywieniem stosunków międzynarodowych, ekspansją anglojęzycznej muzyki i filmów, napływem do Rosji obcojęzycznej terminologii związanej z rozwojem techniki, szczególnie komputerowej, i coraz bardziej powszechnym dostępem do internetu. Sytuacja ta mobilizuje młodych ludzi do nauki języków obcych. Wiedzą oni bowiem, że aby „serfować” po internecie, trzeba chociażby na poziomie podstawowym posługiwać się językiem angielskim, który w coraz większym stopniu staje się międzynarodowym środkiem komunikacji młodego pokolenia.

Młodzież jest bardzo kreatywną grupą społeczną. Znajduje to wyraz w języku, którym się posługuje. Jest on niezwykle elastyczny i, o czym była już mowa, chłonny oraz podatny na wpływy zewnętrzne, w tym wpływy

¹ M. T i m o s z u k, *O rosyjskim żargonie młodzieżowym. Język i kultura*, „Języki Obce w Szkole” 2005, nr 4, s. 5.

języków obcych. Sam proces zapożyczania nosi specyficzny charakter i różni się od aktów zapożyczeń zachodzących w języku ogólnonarodowym. W języku ogólnonarodowym zapożyczeń dokonuje się najczęściej po to, aby nazwać jakieś nowe przedmioty lub zjawiska, które nie mają jeszcze swojej rodzimej nazwy. Inaczej jest w slangu. Młodzi ludzie zapożyczają angielskie wyrazy, aby „na nowo” nazwać czynności, które mają już swoje określenia w języku, np. sleep > *спинать* (por. спать), eat > *итать* (por. кушать), speak > *спикать* (por. говорить).

Rosyjskie formacje czasownikowe utworzone na bazie angielskiego materiału leksykalnego stanowią bardzo liczną grupę neologizmów w rosyjskim języku młodzieżowym. Nazywają one czynności związane z codziennym życiem i aktywnością młodych ludzi, tj. z muzyką, tańcem, obsługą komputera, korzystaniem z internetu. W celu dostosowania się do zasad gramatyki języka-biorcy angielskie pożyczki przyjmują rosyjskie sufiksy i prefiksy czasownikowe. Analiza zasobu leksykalnego slangu wykazuje również obecność znacznej liczby czasowników utworzonych od angielskich rzeczowników i przymiotników². W niniejszym artykule zamierzam przyjrzeć się procesom, jakim podlegają angielskie wyrazy, które w języku młodzieżowym przyjmują formę czasowników. Badana grupa anglicyzmów została wyekscerpowana ze słownika slangu młodzieżowego *Молодежный сленг: толковый словарь* T. G. Nikitiny³.

Pojawiające się na gruncie rosyjskim zapożyczane czasowniki otrzymują typowe rosyjskie sufiksy czasownikowe. Najbardziej charakterystycznymi są: **-ать**, **-ить**, **-овать**, **-нуть**. Przyjrzyjmy się serii przykładów: *аскать* (ask) – pytać, *воркать* (work) – pracować, *дринкать* (drink) – pić, *итать* (eat) – jeść, *камать* (come) – przychodzić, *килять* (kill) – zabijać, *кисать* (kiss) – całować, *кликать* (click) – klikać myszką komputera, *лайкать* (like) – lubić, *лукать* (look) – patrzeć, *рингать* (ring) – dzwonić, telefonować, *сигать* (sit) – siedzieć, *смокать* (smoke) – palić, *спикать* (speak) – mówić, *стэндать* (stand) – stać, *токать* (talk) – rozmawiać, *хакать* (hack) – włamywać się do sieci komputerowej, *хидать* (hear) – słyszeć, *юзать* (use) – używać; *банить* (ban) – blokować dostęp do strony internetowej, *бутить* (boot) – uruchamiać komputer, *емелить*

² Według obliczeń A. J. Romanowa (patrz: А. Ю. Р о м а н о в, *Современный русский молодежный сленг*, München 2004, s. 140–141) czasowniki utworzone od angielskich wyrazów stanowią około 20% wszystkich słów angielskich zgromadzonych w słownikach slangu młodzieżowego (przytoczone obliczenia zostały sporządzone przez A. J. Romanowa na podstawie materiału leksykalnego zgromadzonego w następujących słownikach: В. К. Н и к о л ь с к и й, *Словарь современного русского сленга*, Москва 1993; Т. Г. Н и к и т и н а, *Так говорит молодежь. Словарь сленга. По материалам 70–90-х годов*, 2-е изд., Санкт-Петербург 1998.

³ Т. Г. Н и к и т и н а, *Молодежный сленг: толковый словарь*, Москва 2009.

(email) – wysłać emaila, *генерить* (generate) – generować, *креатить* (create) – tworzyć, *программить* (programme) – programować, *принтить* (print) – drukować, *скретчить* (scratch) – kręcić winylową płytą w przód i w tył w celu otrzymania charakterystycznych efektów dźwiękowych⁴, *форматить* (format) – formatować dysk komputerowy, *чатить* (chat) – prowadzić rozmowy przez internet, *чейджить* (change) – zmieniać, wymieniać; *дринковать* (drink), *принтовать* (print), *ринговать* (ring), *синговать* (sing), *стэндовать* (stand); *хичевать* (hitch) – podróżować autostopem; *факнуть* (fuck). W analizowanym słownictwie znalazły się również dwie formacje utworzone od czasownika w formie czasu przeszłego: *вэнтануть*, *вэнтать* – went (pójść).

Kolejną dużą grupę rosyjskich czasowników stanowią neologizmy utworzone od rzeczowników angielskich. Wykorzystywane są do tego te same sufiksy co przy tworzeniu czasowników od form czasownikowych. Spójrzmy na przykłady: **-ать**: *джобать* (job) – pracować, *найтать* (night) – nocować, *тагать* (tag) – wykonywać „tagi” – podpisy, jakimi posługują się graficy, *хайрять* (hair) – strzyc włosy, *хэндать* (hand) – dotykać rękami; **-ить**: *гамить* (game) – grać, *лавить* (love) – kochać, *дэнсить* (dance) – tańczyć breakdance, *флеймить* (flame) – bluzgać w internecie, *флудить* (flood) – wielokrotnie wysłać tą samą nieczytelną wiadomość na forach internetowych i w komentarzach pod artykułami czy postami, *мерчить* (merchandising) – handlować, *пушерить* (pusher) – handlować narkotykami, *рокерить* (rocker) – być motocyklistą, od rzecz. rocker – motocyklista, członek gangu motocyklowego⁵, *спичить* (speech) – mówić, rozmawiać, *стэндапнуть* (standup) – w dziennikarstwie: wejście na antenę dziennikarza, który relacjonuje lub komentuje przebieg jakiegoś zdarzenia⁶, *фризить* (freeze) – wykonywać „freezy”, freeze – „zastygnięcie” tancerza breakdance w jednej pozycji, *фрирайдить* (free-ride) – jeździć na nartach poza wyznaczonymi trasami, *фристайлить* (freestyle) – improwizować, rapować bez wcześniejszego przygotowania, „na żywo”, *фотошопить* (photo shop) – pracować w programie graficznym photo shop, *юзерить* (user) – pracować na komputerze w charakterze użytkownika; **-овать**: *джемовать* (jam-session) – spotkać się celem wspólnego muzycznego improwizowania, *наитовать* (night) – nocować, *низовать* (peace) – być pacyfistą, *прайсовать* (price) – płacić, *рэйвовать* (rave) – grać muzykę w stylu rave – współczesna muzyka taneczna głównie w stylu techno z wykorzystaniem elementów świetlnych⁷, *рэповать* (rap) – kom-

⁴ Zob. źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/skreczowac/> (14.06.2015).

⁵ В. Н р у н к и е в и ц з - А д а м с к и ч, *Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych*, Poznań 2005, s. 116.

⁶ Zob. źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/stand-up> (25.01.2015).

⁷ В. Н р у н к и е в и ц з - А д а м с к и ч, op.cit., s. 114.

ponować i grać muzykę w stylu rap, *слэмовать* (slam dancing) – tańczyć, *фрэндовать* (friend) – przyjaźnić się, *фэйсовать* (face) – bić po twarzy.

Najmniej liczną grupę stanowią czasowniki utworzone od przymiotników angielskich. W analizowanym materiale napotkałam tylko pojedyncze przykłady, które zostały utworzone przy pomocy formantów **-ать**: *бизевать* – wydawać sygnał „zajęte” przy telefonowaniu (busy – zajęte), **-ить**: *бузить* (busy), *крейзить* – wariować (crazy), **-овать**: *хардовать* – pasjonować się muzyką w stylu hard-rock (hard).

Ciekawe są też neologizmy czasownikowe utworzone od angielskich skrótów: *скулить* – ‘pracować z procesorem SQL (procesor SQL – Structured Query Language)’, *ююкать* – ‘kodować informację przy pomocy UUENCODE (UUENCODE – Unix to Unix Encode)’, *эмсить* – ‘zabawiać publiczność na dyskotece rymowanymi improwizacjami (MC – Master of Ceremony)’, *эсмэситься* – ‘przesyłać wiadomości tekstowe za pomocą telefonów komórkowych, sms-ować (SMS – Short Message Service)’.

Sufiksacja pomaga również przy nadawaniu rosyjskim czasownikom formy aspektu dokonanego. Do form niedokonanych dodawane są sufiksy **-ану-**, **-ну-**. Przyjrzyjmy się przykładom par czasowników w formie niedokonanej i dokonanej: *аскать* (ask) > *аскнуть*, *дринкать* (drink) > *дринкнуть*, *килять* (kill) > *киллануть*, *кликать* (click) > *кликнуть*, *компилять* (compile) > *компилировать*, *лукать* (look) > *лукнуть*, *принтовать* (print) > *принтануть*, *рингать* (ring) > *рингануть*, *спикать* (speak) > *спикнуть*, *форматить* (formatować dysk komputerowy) > *форматнуть*, *хакать* (hack) > *хакнуть*, *вэнтать* (went) > *вэнтануть*. Sufiksy **-ну-** i **-ану-**, poza formą aspektu dokonanego, nadają formacjom odczasownikowym znaczenie jednokrotności, podkreślają ich chwilowy charakter⁸, np. *аскнуть* (ask), *дринкануть*, *дринкнуть* (drink), *рингануть* (ring). Niektóre formacje występują tylko w formie dokonanej: *конвертнуть* (convert), *мейкануть* (make), *страйкнуть* (strike) – ‘nacisnąć, np. przycisk’, *форворднуть* (forward) – ‘przesłać’.

Rosyjskie czasowniki utworzone od angielskich rzeczowników również podlegają temu procesowi. Ilustrują to następujące przykłady: *митинговаться* (meeting) > *митингнуться*, *найтать* (night) > *найтануть*, *рэкетировать* (zajmować się wymuszaniem okupu, haraczem, od ang. *racket* – haracz) > *рэкетнуть*, *фэйсовать* (bić kogoś po twarz, od ang. *face*) > *фэйсануть*, *хайраться* (hair) > *хайрануться*, *ююкать* (UUENCODE) > *ююкнуть*. Niektóre z formacji odrzeczownikowych występują tylko w formie dokonanej. Są to na przykład: *плейсануть* (zająć miejsce siedzące, od ang. *place*), *рэйвануть* (pójść na imprezę techno, od ang. *rave*), *сабжануть* (nadać temat wiadomości emailowej, od ang. *subject*).

⁸ О. П. Ермакова, Е. А. Земская, Р. И. Розина, *Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона*, Москва 1999, s. 24.

Obok sufiksacji ogromną rolę w tworzeniu dokonanych form czasownikowych w slangu odgrywa prefiksacja. Popularnym prefiksem jest **за-**, przy pomocy którego na gruncie rosyjskim została utworzona spora ilość czasowników dokonanych. Przyjrzyjmy się formom odczasownikowym: банить (ban) > *забанить*, бутить (boot) > *забутить*, дринкать (drink) > *задринкать*, кисать (kiss) > *закисать*, принтить (print) > *запринтить*, ситать (sit) > *заситать*, слипать (sleep) > *заслипать*, стэндовать (stand) > *застэндовать*, хидать (hear) > *захидать*, юзать (use) > *заюзать*. Prefiks ten wykorzystywany jest również przy tworzeniu form dokonanych czasowników odrzeczownikowych, np.: питч (pitch⁹) > *запитчить* (zmienić prędkość brzmienia muzycznego fragmentu), найтать (night) > *занайтать* (night), лупить (loop)¹⁰ > *залупить*; dwa czasowniki zostały utworzone od skrótowców: фрекать (żądanie pliku, od ang. file request) > *зафрекать*, ююкать > *заююкать* (przesłać plik, zakodowany w systemie UUENCODE). Inne prefiksy są mniej popularne, np.: **с-**: коннектиться (connect) > *сконнектиться* (podłączyć się do sieci), креатить (create) > *скреатировать* (wymyślić, zaprojektować); **вы-**: дринчать (drink) > *выдринчать*, спичить (speech) > *выспичить*.

Prefiksy czasownikowe dokonują niejednokrotnie przekształcenia znaczenia czasowników podstawowych. Do najaktywniejszych prefiksów występujących w analizowanym materiale należą: **за-**, **от-**, **по-**. Na ogół są to prefiksy wieloznaczne. Przyjrzyjmy się przykładom¹¹. Z udziałem prefiksu **за-** powstają czasowniki o znaczeniu: „wprowadzić przedmiot w trwały stan, zgodny ze znaczeniem podstawy, i przygotować go w ten sposób do określonych celów (do wykorzystania go w przyszłości, do długotrwałego pozostania w tym stanie)¹², np.: банить (ban) > *забанить* (zablokować dostęp), бутить (boot) > *забутить* (uruchomić komputer), юзать (use) > *заюзать* (użyć, wykorzystać). Formacje z prefiksem **от-** tworzą czasowniki ze znaczeniem ‘zakończyć czynność nazwaną określonym słowem’, np. мьлить (email) > *отмылить* (wysłać emaila), принтить (print) > *отпринтить*, рингать (ring) > *отрингать*, фачить (fuck) > *отфачить*, фейсовать > *отфейсовать*, *отфейсить* (zbić kogoś po twarzy). Prefiks **по-** tworzy formacje

⁹ Od ang. *pitch-band* (w pracy DJ – ‘pokrętło służące do chwilowej zmiany prędkości utworu’, [w:] źródło elektroniczne: http://eradia.net/strefa_dj/slownik_dja.html (08.03.2015).

¹⁰ Regularny motyw zawierający fragment jakiegoś utworu muzycznego albo fragment solowej partii jakiegoś instrumentu, obecnie uzyskiwany zwykle techniką komputerową, dawniej dzięki specjalnie opracowanej i odtwarzanej taśmie, [w:] źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/loop> (08.03.2015).

¹¹ Wnikliwą analizę czasownikowych formacji prefiksalnych przynosi monografia A. Bogusławskiego. Patrz: А. В о г у с ł а в с к и, *Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim*, Wrocław 1963.

¹² Ibidem, s. 66.

o znaczeniu 'wykonywać czynność oznaczoną podstawą przez pewien czas'¹³, por.: аскать (ask)¹⁴ > *поаскать* (wypytać o coś), басить (od ang. bass gitar) > *побасить* (pograć na gitarze basowej), гамить (od ang. game) > *погамить* (pograć w gry komputerowe), лукать (look) > *полулукать* (popatrzeć), ситать (sit) > *поситать* (posiedzieć), скретчить (skratch) > *поскретчить* (poskreczować¹⁵), спикать (speak) > *поспикать* (porozmawiać po angielsku). Prefiks **пере-** podkreśla krótkotrwałe, nieintensywne wykonanie czynności oznaczonej podstawą¹⁶, np.: *найтать* > *перенайтать* (przenocować). Ciekawym przykładem jest czasownik *покрейзить* (głośno wyrazić swoje emocje, np. w czasie koncertu). Jest to formacja odczasownikowa utworzona od wyrazu *крейзить* (wariować).

Wśród derywatów czasownikowych występują także formacje prefiksально-постфиксальные. Tworzone są one od różnych części mowy. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: prefiks **на-** i postfiks **-ся** w formacjach czasownikowych wskazuje na intensywność wykonywania czynności wyrażonej czasownikiem motywującym, np.: *наспикаться* – pot. nagadać się < *спикать* (speak)¹⁷, lub na doprowadzenie procesu lub czynności oznaczonej czasownikiem motywującym do skutku: *надринкаться* – upić się < *дринкать* (drink). Inne prefiksy zostały wykorzystane w pojedynczych przykładach. Formacja czasownikowa utworzona przy udziale prefiksu **при-** i sufiksu **-и(ть)** wskazuje na wywołanie sympatii do kogoś¹⁸, np. *прифрендить* – dołączyć kogoś do grona znajomych na portalu facebook (od ang. friend).

Niejednokrotnie połączenie angielskich wyrazów z rosyjskimi afiksami nadaje nowo utworzonym formacjom żartobliwy charakter. Omówmy kilka przykładów: określenie czynności fizjologicznej zostało utworzone od wyrazu *дабл*, pochodzącego od ang. skrótu WC (Water Closet) oznaczającego toaletę. Przez dodanie do niego rosyjskiego prefiksu **про-**, sufiksu **-и(ть)** i postfiksu **-ся** powstały neologizmy nazywające czynności fizjologiczne: *даблиться*, *продаблиться* 'wypróżni(a)ć się'. Pomysł na nazwę czynności podsuwają nawet opakowania testów ciążowych. Hasło tam widniejące 'be sure' (bądź pewna) stało się podstawą do humorystycznego określenia tych testów: *бишур*, *бишюра*, a czynność zaopatrzenia się w testy ciążowe przyjęła nazwę *забишуриться*.

¹³ Ibidem, s. 60.

¹⁴ W podobnym kontekście występuje też prefiks **про-**, por. *проаскать* – 'zapytać, dowiedzieć się o czymś, wywiedzieć się'.

¹⁵ Por. *скрецовач* – 'kręcić winylową płytą w przód i w tył w celu otrzymania charakterystycznych efektów dźwiękowych', [w:] źródło elektroniczne: (<http://sjp.pl/skreczowac/>) (07.07.2015).

¹⁶ H. B a r t w i c k a, *Rosyjski język potoczny. Słownictwo*, Bydgoszcz 2000, s. 60.

¹⁷ А. Н. Б а р ы к и н а, *Изучение глагольных приставок*, Москва 1979, s. 31–32.

¹⁸ Por. *приворожить*, *приколдовать*. Patrz: А. В о г у с л а w s k i, op. cit., s. 53.

Kolejną porcję pomysłów nazw czynności dostarcza słownictwo komputerowe, zwłaszcza związane z grami komputerowymi. Nazwy gier Doom, Quake i Heretic podsunęły ich miłośnikom pomysł określenia czynności grania w te gry odpowiednio czasownikami: *думать, квакать, хереться*. Szczególną uwagę zwracają czasowniki *задуматься* i *расквкаться*. Formanty w nich występujące, tj. **за-** + **-ся**, wskazujący na kompletne zaabsorbowanie percepcją¹⁹, oraz **раз-** / **рас-** + **ся**, akcentujący intensywność wykonywanej czynności, zostały wykorzystane do podkreślenia entuzjastycznego podejścia do gier komputerowych Doom (*задуматься*) i Quake (*расквкаться*), pochłonięcia tymi grami.

Niektóre czasowniki poprzez analogię do języka-biorcy przyjmują formę zwrotną: *отказываться > динаться* (deny), *связываться по модемам > коннектиться* (connect), *целоваться > кисаться* (kiss), *удаваться, получать > мэйкаться* (make), *встречаться, встретиться > (с)митинговаться* (meeting), *расслабиться > релакснуться* (relax), *извиняться > сорриться* (sorry), *стричься > хайраться* (hair), *общаться через разговорный сервер в Интернете > чатиться* (chat), *обмениваться с кем-л. чем-л. > чейджануться* (change), *случиться > приэвентиться* (event), *соревноваться > батлиться* (battle), *обмениваться SMS-сообщениями > эсмэситься* (sms-ować), *увлечься игрой DOOM > задуматься, испражняться > даблиться* (double).

Nie sposób w badaniach nad czasownikami pominąć faktu tworzenia przez nie gniazd słowotwórczych. Ilustrują one aktywność anglicyzmów w języku młodzieżowym. Czasowniki są tą częścią mowy, dzięki której gniazda słowotwórcze rozrastają się szczególnie intensywnie. Należy zauważyć, że tworzenie derywatów czasownikowych od angielskich słów odbywa się w większości wypadków w sposób standardowy, zgodny z zasadami słowotwórstwa rosyjskiego, przy wykorzystaniu bardziej lub mniej produktywnych sufiksów i prefiksów. Na przykład od angielskich czasowników *ask* (pytać) i *drink* (pić) za pomocą sufiksacji zostały utworzone czasowniki niedokonane *аскать, дринкать, дринковать* i dokonane *аскнуть, дринкануть, выдринкать, задринчить*. Przy użyciu prefiksów podkreślany jest rezultat wykonywania określonej czynności, np. *нааскать, надринкаться* (upić się). Prefiksy wskazują też na intensywność wykonywania czynności nazwanej w podstawie słowotwórczej – od niewielkiej intensywności, np. *поаскать* (wypytać się o coś), *проаскнуть* (spytać), do momentu doprowadzenia się „do niepożądanego stanu w rezultacie długiego lub intensywnego wykonywania określonej czynności”²⁰, np. *сдринчатся* (rozpić się).

¹⁹ A. Bogusławski, op. cit., s. 74.

²⁰ J. Wawrzyńczyk, W. Zmarz er, *Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego*, cz. 2: *Leksyka. Słowotwórstwo*, red. A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk, Warszawa 1987, s. 183.

Niektóre derywowane anglicyzmy są *h o m o n i m a m i* rosyjskich wyrazów. Przez skojarzenie ich z typowymi rosyjskimi czasownikami nabierają one niejednokrotnie żartobliwego charakteru i mogą pełnić rolę ekspresywną, znacząco wpływając na zabarwienie wypowiedzi. Na przykład podobieństwo dźwiękowe czasownika rosyjskiego *делать* (robić) do angielskiego *delete* (usuwać, kasować) podsunęło pomysł użycia rosyjskiego czasownika dla określenia czynności usunięcia pliku z komputera za pomocą polecenia *delete*. Nazwy gier komputerowych DOOM, QUAKE nasunęły pomysł nazwania czynności grania w te gry rosyjskimi czasownikami *думать* (myśleć), *задуматься* (zamyślić się), *квасить* (kumkać, rechotać). Humorystyczne są też czasowniki utworzone od angielskich przymiotników, np. młodzieżowe określenie wydawania sygnału 'zajęte', utworzone od angielskiego przymiotnika 'busy', mogło powstać w rezultacie skojarzenia brzmieniowego tego przymiotnika z rosyjskim czasownikiem *бузить* (łobuzować, rozrabiać). Przytoczone przykłady dowodzą kreatywności młodych użytkowników języka, którzy kojarząc angielskie wyrazy z rosyjskimi czasownikami, nadają im żartobliwy charakter, tak istotny w slangu.

Analizowane czasowniki w języku młodzieżowym nazywają przede wszystkim *k o n k r e t n e c z y n n o ś c i*: *аскать, воркать, итать, искейпнуть, камать, кисать, лукать, рингать, ситать, слипать, смокать, спикать, токать, хидать, стэндать, гамить, найтатать, плейсануть, шопиться, хайраться*. Znacznie mniej jest czasowników nazywających stany abstrakcyjne²¹: *лавить, лайкать, крейзить, митингнуться, пизовать, приэвентиться, релакснуться*.

Duża grupa czasowników zgromadzonych w słowniku języka młodzieżowego związana jest ze słownictwem specjalistycznym. Możemy w nim wyodrębnić czasowniki nazywające czynności wykonywane przez osoby związane z *o b s ł u g ą k o m p u t e r a*: *банить, бутить, компилять, конвертнуть, программить, скалить, принтить, похаить, фотошопить*; lub *i n t e r n e t u*: *мыть, кликать, страйкнуть, приаттачить, емелить, логиниться, прифрендить, форварднуть, юзать, чатиться, флеймить, флудить*. Równie bogate jest *s ł o w n i c t w o m u z y c z n e*: *синговать, рейвовать, рэповать, хардывать, скретчить, эмсить, побасить, джемовать*, oraz *s ł o w n i c t w o t a n e c z n e*: *батлиться, брыксовать, дэнсить, слэмовать, фризить*.

Tworzenie czasowników rosyjskich od angielskich zapożyczeń jest zjawiskiem masowym i wyjątkowo zróżnicowanym. Istnienie różnorodności jednostek czasownikowych w rosyjskim slangu i tworzenie wciąż nowych form motywowane jest nieustanną potrzebą nazywania rozmaitych czyn-

²¹ Zwrócił na to uwagę A. M a r k u n a s w publikacji: *Пособие по русскому молодежному жаргону. Хрестоматия*, Poznań 2002, s. 83.

ności, jakie związane są z życiem młodych ludzi. Dążą oni również do stałego odświeżania swoich środków słownych w celu unikania struktur banalnych i spowszedniałych. Pragną tworzyć wypowiedzi pełne ekspresji i humoru. Ilustruje to powyższa analiza. Przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza rosyjskich sufiksów i prefiksów młodzi użytkownicy języka nie tylko dostosowują anglicyzmy do zasad rosyjskiej gramatyki, ale również przez dobór odpowiednich afiksów lub wskutek skojarzenia angielskiego wyrazu z rosyjskim czasownikiem w pomysłowy i dowcipny sposób modyfikują znaczenie określonej czynności, dostosowując je do własnych potrzeb językowych.

Bibliografia

- Bartwicka H., *Rosyjski język potoczny. Słownictwo*, Bydgoszcz 2000.
- Bogusławski A., *Prefiksacja czasownikowa we współczesnym języku rosyjskim*, Wrocław 1963.
- Hrynkiwicz - Adamskich B., *Rosyjsko-polski słownik innowacji leksykalnych*, Poznań 2005.
- Markunas A., *Пособие по русскому молодежному жаргону. Хрестоматия*, Poznań 2002.
- Timoszu k M., *O rosyjskim żargonie młodzieżowym. Język i kultura*, „Języki Obce w Szkole” 2005, nr 4.
- Wawrzyńczyk J., Zmarzer W., *Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego*, cz. 2: *Leksyka. Słowotwórstwo*, red. A. Bartoszewicz, J. Wawrzyńczyk, Warszawa 1987.
- Барыкина А. Н., *Изучение глагольных приставок*, Москва 1979.
- Ермакова О. П., Земская Е. А., Розина Р. И., *Слова, с которыми мы все встречались. Толковый словарь русского общего жаргона*, Москва 1999.
- Никитина Т. Г., *Молодежный сленг: толковый словарь*, Москва 2009.
- Никитина Т. Г., *Так говорит молодежь. Словарь сленга. По материалам 70–90-х годов*, 2-е изд., Санкт-Петербург 1998.
- Никольский В. К., *Словарь современного русского сленга*, Москва 1993.
- Романов А. Ю., *Современный русский молодежный сленг*, München 2004.

Netografia

- Źródło elektroniczne: http://eradia.net/strefa_dj/sloownik_dja.html (08.03.2015).
- Źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/loop> (08.03.2015).
- Źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/stand-up> (25.01.2015).
- Źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/skreczowac/> (14.06.2015; 07.07.2015).

KOMIZM WSPÓŁCZESNYCH FILMÓW ROSYJSKICH
NA WARSZTACIE TŁUMACZA

THE HUMOUR OF CONTEMPORARY RUSSIAN MOVIES
IN THE WORK OF TRANSLATORS

MARIA MOCARZ-KLEINDIENST

ABSTRACT. The paper concerns linguistic humour as an aesthetic-cultural category which is at the core of comedy. Linguistic material from contemporary Russian movies and their translations into Polish is analysed. The basic linguistic components creating linguistic humour include neologisms, linguistic games, modifications of phraseological units and intertextual references. The aforementioned components cause many problems in movie translations into a foreign language. The paper attempts to provide an overview of ways of translating.

Maria Mocarz-Kleindienst, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
– Polska, momar@kul.pl

W dobie intensywnego rozwoju kultury audiowizualnej przekaz filmowy stał się ważkim mechanizmem przekazu kodów kulturowych jako utrwalonych w danej grupie społeczno-kulturowej sposobów interpretowania znaków. Obiektem naukowego opisu uczyniłam jeden z komponentów kodu, jakim jest zjawisko komizmu. Pod pojęciem tym rozumiem kategorię estetyczno-kulturową, ukonstytuowaną w wyniku współdziałania dwóch czynników: obiektu komicznego i obserwatora, który taki obiekt jest w stanie dostrzec i zareagować na niego za pomocą śmiechu¹. Tak sprofilowana reakcja na komiczny obiekt jest pochodną procesów psychologicznych, językowych, kulturowych, zachodzących w świadomości obserwatorów w trakcie postrzegania i oceny otaczającej ich (naturalnej lub wykreowanej) rzeczywistości. Komponent kulturowy komizmu w zaproponowanym podejściu oznacza zdolność percepcji zjawisk komicznych przez członków jednej przestrzeni kulturowej i ewentualny brak możliwości (lub ograniczone możliwości) takiej percepcji wskutek niezrozumienia treści komicznych przez innych, zewnętrznych obserwatorów. Tę zdolność gwarantuje podobny, społecznie akceptowalny (w danym przypadku oparty na humorze)

¹ T. T o m a s z k i e w i c z, *Przekład audiowizualny*, Warszawa 2006, s. 182.

sposób postrzegania rzeczywistości oraz reakcji na nią. Komizm jest kategorią, której ontologiczny wymiar jest powiązany z reakcją na zjawiska jako potencjalne nośniki komizmu. Zakrojone do granic przestrzeni kulturowej postrzeganie oraz identyfikowanie komizmu postuluje Wojciech Kalaga, według którego „roli podmiotu w odbiorze komizmu nie można traktować indywidualnie, a zawsze w kontekście społecznej i kulturowej przynależności do grupy posługującej się wspólnymi kodami, znakami”². Te przesłanki zdecydowały o postrzeganiu komizmu jako zjawiska hiperonimicznego, nadrzędnego w stosunku do takich pojęć jak: ludyczność wypowiedzi, satyra, humor, żart, kpina, ironia.

Komedia filmowa jest – w moim przekonaniu – gatunkiem reprezentatywnym dla współczesnego pejzażu semiotycznego i językowego łącznie. Jest to gatunek wyrosły na gruncie starożytnej komedii teatru i zakorzeniony w tradycji kina światowego, w tym polskiego oraz rosyjskiego. W komedii, jak zauważa Marek Hendrykowski, „wizja świata, sposób widzenia człowieka ma charakter zabawowy, a jej celem jest wywołanie śmiechu”³. Z racji swoich podstawowych funkcji rozbawienia widza, dostarczenia mu przyjemnych, łatwych w percepcji wrażeń komedia jest gatunkiem, po który stale sięgają reżyserzy na całym świecie. Niekiedy pełni ona również inne funkcje, np. ośmieszającą czy wręcz krytykującą istniejący porządek rzeczy. Podobnie jak komedie radzieckie, które były przedmiotem naukowej refleksji Marcina Cybulskiego, także współczesne komedie rosyjskie są obrazami-zwierciadłami, w których mogą się przejrzeć członkowie danej społeczności kulturowej, stanowią źródło informacji o kondycji człowieka w społeczeństwie, jego relacjach z innymi⁴. Język współczesnych komedii rosyjskich jest narzędziem, przy pomocy którego pomysłodawcy filmu z jednej strony próbują odzwierciedlić językowy obraz otaczającej ich rzeczywistości, pokazać, najczęściej w sposób wybiórczy, kulturę języka członków społeczności kulturowej, z drugiej strony język ten nierzadko staje się wyrazistym narzędziem autorskiej kreacji świata, często odbiegającej od rzeczywistego obrazu.

Z punktu widzenia estetyki przekazu filmowego możemy mówić o zjawisku komizmu, który w swojej klasycznej formule może odnosić się do języka, sytuacji oraz postaci. W niniejszym opracowaniu postuluję stwierdzenie, że te trzy wyodrębniane rozłącznie płaszczyzny przejawu komizmu z reguły nie są jednoznacznie rozdzielne. Komizm językowy może wspo-

² W. K a l a g a, *Komizm a przekładalność*, [w:] *Komizm a przekład*, pod red. P. Fasta, Katowice 1997, s. 10.

³ M. H e n d r y k o w s k i, *Słownik terminów filmowych*, Poznań 1994.

⁴ M. C y b u l s k i, *ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa*, Toruń 2013, s. 66.

magać komizm postaci oraz sytuacji. Niekiedy nierozdzielność poszczególnych komponentów komizmu w materiale filmowym gwarantuje komplementarny charakter elementów werbalnych i wizualnych. Komponent estetyczny komizmu (przede wszystkim językowego, w mniejszym stopniu sytuacyjnego czy postaci) jest kształtowany przez autora tekstu (scenariusza) w oparciu o językowe możliwości danego obszaru kulturowego. H. Bergson, wykorzystując komponent językowy w badaniach nad komizmem, wprowadził rozróżnienie komizmu na: 1) komizm wyrażany przez język, 2) komizm stwarzany przez język. W pierwszym przypadku język pełni wyłącznie rolę nośnika – przekazuje humor, którego źródło tkwi np. w zabawnej sytuacji, w drugim zaś sam w sobie jest źródłem komizmu⁵. Dlatego też obiektem dalszych rozważań będzie język współczesnych komedii jako podstawowe narzędzie służące budowaniu komizmu, stwarzaniu niezbędnego obiektu komicznego, o którym pisała wspomniana wcześniej T. Tomaszkiwicz. Rzecz jasna, same pojedyncze elementy językowe stosunkowo rzadko stają się samodzielnymi źródłami komizmu. Słuszne zatem jest założenie, że z reguły komizm generuje, ewentualnie wzmacnia konkretna wypowiedź, w której dane elementy językowe są użyte, dodajmy, w taki sposób, że wywołują reakcje rozweselenia, rozbawienia. Zatem w świecie filmowych kreacji komizmu przeważać będzie sytuacja, kiedy komizm jest wyrażany przez język użyty w konkretnej sytuacji komunikacyjnej. W celu dokładniejszej weryfikacji tak postawionej tezy niezbędne jest ustalenie przynajmniej kilku – dla potrzeb niniejszego opracowania – podstawowych komponentów konstytuujących zjawisko komizmu językowego, pośrednio również sytuacyjnego i postaci. Są nimi:

- neologizmy strukturalne i znaczeniowe,
- gry językowe, polegające na wykorzystaniu podobnej formy graficznej lub fonetycznej wyrazów, wieloznaczności jednostek leksykalnych,
- modyfikacje jednostek frazeologicznych, ich kontaminacje lub udosłownienie takich jednostek, tj. pozbawienie ich znaczenia metaforycznego,
- odniesienia intertekstualne,
- elementy językowe nasycone potocznością,
- żargonizmy⁶.

Wymienione komponenty należą do kategorii zjawisk językowych przysparzających licznych problemów w sytuacji tłumaczenia filmu na język obcy i, zdaniem wielu badaczy, decydujących niekiedy o nieprzetłumaczal-

⁵ H. B e r g s o n, *Śmiech. Esej o komizmie*, Warszawa 1977, s. 140.

⁶ Na żargon jako źródło humoru językowego we współczesnych filmach rosyjskich wskazuje Irina Kisielewa w pracy: I. K i s i e l e w a, *Żargon i humor w polskich przekładach współczesnych filmów rosyjskich*, [w:] *Między oryginałem a przekładem. Poczucie humoru a przekład*, t. XII, pod red. J. Koniecznej-Twardzikowej, M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2008, s. 139.

ności komizmu⁷. Do podstawowych przesłanek takich problemów zaliczyć można:

- kreatywność w konstruowaniu wypowiedzi bohaterów, skutkującą zastosowaniem wspomnianych neologizmów, gier językowych, modyfikacji frazeologizmów – artefaktów językowych niemających skodyfikowanych w słownikach przekładowych odpowiedników w obcym języku;
- nieprzystawalność w danym kontekście wypowiedzi jednostek skodyfikowanych w źródłach leksykograficznych jako potencjalnych nośników komizmu językowego;
- trudności w identyfikacji jednostek stanowiących potencjalne źródło komizmu (odniesienia intertekstualne, znacznie rzadziej modyfikacje związków frazeologicznych).

Materiał ilustracyjny dla niniejszych badań pochodzi w głównej mierze z komedii *O czym rozmawiają mężczyźni* (*О чем говорят мужчины*) w reżyserii Dmitrija Dżaczenki (2010) oraz jej przekładu na język polski w postaci wersji lektorskiej, który powstał na zajęciach tłumaczeniowych z grupą studentów II roku studiów magisterskich pod moim kierunkiem. Na wybór właśnie tego filmu wpłynęła bardzo duża jego popularność wśród widzów rosyjskich. Film stał się źródłem wielu cytatów, tzw. skrzydlatych fraz, wpisujących się w pojęcie humoru konwersacyjnego poza kontekstem filmowym. Jak słusznie zauważa Marta Dynel, „cytowanie humorystycznych powiedzonek przez widzów jest świadectwem sukcesu komedii [...], najbardziej udane powiedzonka wchodzą do języka codziennego, co daje widzom poczucie wspólnoty osób znających daną komedię”⁸.

Wykorzystanie właśnie takiego materiału tłumaczeniowego posiada niewątpliwą zaletę, jaką jest możliwość bezpośredniej argumentacji wyborów translatorskich i opisu przesłanek, które zadecydowały o takim, a nie innym kształcie wersji tłumaczonej filmu na język polski. Głównymi bohaterami są czterej koledzy – mężczyźni w średnim wieku, którzy postanawiają uciec od codziennych obowiązków i wspólnie wybrać się na koncert do Odessy. W tym celu wymykają się ukradkiem ze swoich domów. Spędzając długie godziny w samochodzie, pokonując setki kilometrów, prowadzą długie, niekończące się i pełne humoru rozmowy o związkach, kobietach i swoich miłościach. Film obfituje w wypowiedzi kolegów, wyśmiewających codzienne nawyki swoich partnerek, w tym również językowe, które są nieodłącznym komponentem codziennej komunikacji między małżonkami:

⁷ Por. np. K. H e j w o w s k i, *Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu*, Warszawa 2004, s. 106.

⁸ M. D y n e l, *Polska komedia filmowa*, [w:] *Humor polski*, pod red. D. Brzozowskiej i W. Chłopickiego, Kraków 2014, s. 262.

1. — Кстати, с женщинами то же самое. Вот, пока ты ее добиваешься, она прекрасна. А вот вы уже живете вместе, она утром уходит на работу, целует тебя и говорит: „Ты мой небритыш! Или даже так: ты мой заспанный **чебурашка!**“
 - Нет, нет: **чебурашка!**
 - И вроде бы это так мило, да? Но так противно.
 - Да и то, что заспанный и небритыш-чебурашка это „**натяжка**“.
 - Нет, Леш, это „**натяжка**“.
2. — Z kobietami jest tak samo. Dopóki ją zdobywasz, jest piękna. A kiedy już jesteście razem, wychodzi rano do pracy, całuje cię i mówi: „Ты мой nieogolony i zaspany **misiaczku (kiwaczku)!**“
 - Nie, nie **msiaczku / kwaczku!**
 - Niby to miłe, ale zarazem irytujące.
 - Zaspany i nieogolony misiaczek — trochę **przesada**.
 - Nie, Losza, to „**psesada**“.

Zabawowy charakter powyższej konwersacji, konstytuujący komizm na poziomie wypowiedzi, wynika z fonetycznych modyfikacji leksemów *чебурашка*, *натяжка*, których celem jest prześmiewcze odwzorowanie nieprawidłowych nawyków wymowy żony jednego z bohaterów. Takie zabawy materiałem językowym wymagają od tłumaczy dużej kreatywności, swobody w posługiwaniu się materiałem języka ojczystego, na który najczęściej tłumaczy się filmy (niezależnie od techniki). Tłumaczenie oparte na dosłowności jest tu niemożliwe. Zatem tłumacz musi zaproponować takie jednostki z repertuaru leksykalnego języka polskiego, aby zachować ekwiwalencję funkcjonalną tłumaczonej repliki. Powyższe propozycje, oparte na wykorzystaniu m.in. ustalonego ekwiwalentu dla rosyjskiego pluszowego bohatera *kiwaczek* (wariantu zniekształconego fonetycznie — *kwaczek*) lub odpowiednika hiperonimicznego w postaci *misiaczek* (w wersji zniekształconej fonetycznie — *msiaczek*) jako produktu zastosowanej generalizacji, oddają sens wypowiedzi, czyniąc ją zrozumiałą i zachowując jednocześnie jej humorystyczny ton. Na podobnym mechanizmie oparta jest wymowa kolejnej repliki:

3. — Тогда Ромео и Джульетта... . Получается хорошо, что они умерли. Ведь они столько преодолели ради своей любви.
 - А выдержала бы, скажем, ее любовь, если бы она узнала, что он говорит „**звОнит**“?
4. — W takim razie Romeo i Julia... . Dobrze się stało, że umarli. Przecież tyle wycierpieli w imię miłości.
 - А czy ta miłość przetrwałaby, gdyby ona dowiedziała się, że on mówi „**poszłem**“?

Tu bohater nawiązuje do zjawiska charakterystycznego dla współczesnego języka rosyjskiego jako języka o zmiennym akcencie — możliwo-

ści zmiany miejsca takiego akcentu z różnymi skutkami dla samej wypowiedzi i jej autora. Najczęściej zmiana taka ewokuje następujące konsekwencje: podmiot wypowiadający wyraz *звонит* z akcentem na samogłoskę „o” jest postrzegany jako osoba niedostatecznie wykształcona. Forma czasownika rosyjskiego *звонит* z takim odbiegającym od normy literackiej akcentem w świadomości wielu wykształconych użytkowników języka rosyjskiego konotuje wrażenie potocznej, niekiedy również niepoprawnej, zdradza niski poziom wykształcenia osoby posługującej się tym właśnie wariantem akcentuacyjnym. Język polski takich możliwości nie daje. Stąd też pojawia się propozycja użycia błędnej formy gramatycznej czasownika *poszedłem* (zamiast *poszedłem*), zdradzającej również brak dostatecznej wiedzy językowej bohatera.

Efekt gry językowej w analizowanym filmie jako nośnik komizmu wypowiedzi uwidacznia się w kolejnym fragmencie filmu:

5. – Если такие умные, то пусть они лучше объяснят, почему **Киев – мать городов русских**. Нет, русских, ладно, понятно. Но почему **Киев – мать? Он же отец?!**
– А я скажу тебе. Это потому, что **Москва – порт пяти морей**.
6. – Jeśli są tacy mądrzy, to niech wyjaśnią, dlaczego **Kijów jest matką rosyjskich miast**. To że rosyjskich – rozumiem. **Ale dlaczego matką? Chyba ojcem?!**
– Dlatego że **Moskwa jest portem pięciu mórz**.

Jeden z bohaterów podaje w wątpliwość zasadność użycia w stwierdzeniu *Kijów jest matką rosyjskich miast* rzeczownika rodzaju żeńskiego dla charakterystyki miasta, którego nazwa jest rodzaju męskiego. Uzyskuje równie niedorzeczną odpowiedź, że zadziałał tu mechanizm analogii do frazy reklamowej sformułowanej jeszcze w 1937 r., że *Moskwa* (toponim rodzaju żeńskiego) *jest portem pięciu mórz*. Bliskość systemów leksykalno-gramatycznych języka polskiego i rosyjskiego pomagają w prosty sposób przekazać na język polski powyższe elementy komizmu, powstałe na poziomie całościowej wypowiedzi.

Komedia *O czym rozmawiają mężczyźni* stanowi w zamyśle jej autorów żartobliwą trawestację wątków tragedii romantycznej Williama Szekspira *Romeo i Julia*. W filmie pojawiają się kilkakrotnie odniesienia do głównych bohaterów, zarówno tytułowych, jaki i tych, którzy w sposób mniej oczywisty związani są ze sztuką szekspirowską. Spójrzmy na kolejny przykład:

7. [...] он носки по всей квартире разбрасывает. Привык, что за ним мама **леди Монтекки** подбирает.
8. Skarpety po całym mieszkaniu rozrzuca. Przyzwyczyił się, że mama **lady Montecchi** posprząta.

We frazie opisującej kawalerskie przyzwyczajenia jednego z czwórki bohaterów pojawia się nawiązanie do matki tytułowego Romea. Najbliższy

kontekst nie daje takiej pełnej informacji ani tłumaczowi, ani widzom. Stąd też zasadniczy problem polega nie na poszukiwaniach właściwego ekwiwalentu, lecz na właściwej identyfikacji postaci, o której jest mowa. Pomocą w tym przypadku służy fakt, że w filmie, jak wspomniałam, pojawiają się kilkakrotne odniesienia do Romea, ponadto pewna podpowiedź jest zawarta w formie językowej: *леду Монтекки* wyraźnie wskazuje na włoskie pochodzenie nazwiska. Zatem mając dodatkowo na uwadze fakt, że para kochanków pochodziła z Werony, włoskiego miasta, nietrudno dojść do wniosku, że *леду Монтекки* to nikt inny, jak pani Montecchi – matka Romeo.

W filmie pojawiają się przypadki niejawnych odniesień intertekstualnych do tragedii szekspirowskiej. Oczywiście skoro pojawiają się one w rosyjskim filmie w rosyjskiej wersji językowej, są to odniesienia do rosyjskich tłumaczeń tego utworu. W jednej z rozmów widz słyszy następujące słowa:

9. Но нет печальной повести на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте.

Jest to fraza zaczerpnięta z końcowej części utworu Szekspira. Nadmienię, że autorką tłumaczenia tej wersji jest Tatiana Szczepkina-Kupiernik. Ograniczenia przekazu audiowizualnego (brak możliwości zastosowania przypisów, konieczność kondensacji replik bohaterów, prowadząca do rezygnacji z wprowadzania tzw. metatekstowych wstawek, przekaz treści w formie audialnej, nie graficznej) powodują, że z reguły odniesienia intertekstualne mają charakter niejawny. Zatem wyzwaniem dla tłumacza jest właściwa identyfikacja tej frazy jako cytatu zaczerpniętego właśnie z utworu *Romeo i Julia*. Samo zaś odnalezienie cytatu w polskim tłumaczeniu nie powinno przysparzać większych problemów tłumaczowi z racji łatwej dostępności polskich tłumaczeń tego utworu. Stąd też studenci bez problemu zastosowali cytat z polskiej wersji utworu:

10. Czy tragiczniejsze znajdziecie koleje, niż smutne Julii i Romea dzieje?

Komizm językowy jako kategoria estetyczno-kulturowa, komponent kodu kulturowego, o którym wzmiankowano wcześniej, jest fenomenem niejednorodnym w swoich przejawach, pozbawionym cech uniwersalności. Nosi wyraźne znamiona relatywizmu, jest nacechowany kulturowo (co znajduje potwierdzenie w sformułowaniach typu *niemiecki humor, angielski humor*). Odmienne są kryteria estetyczne, ewokujące procesy komiczne, odmienne są również reakcje na nie. Stąd też niektórzy badacze postrzegają zjawisko komizmu jak źródło nieprzekładalności, o którym wspominałam już wcześniej. Wojciech Kalaga wyróżnia trzy sytuacje komiczne o różnych gradacjach przekładalności, w których nieprzekładalność ewokowana jest różnymi przesłankami. Są to sytuacje następujące:

„ – gdy komizm umiejscowiony jest w języku i wynika z samego tworzywa językowego;

– gdy komizm ma charakter pozajęzykowy i wynika z modelu lub obrazu świata, język zaś pełni jedynie funkcję nośnika;

– gdy komizm wynika z modelu świata, ale ów model świata jest nie tyle bezpośrednio komunikowany przez język, co jest w języku zawarty i wynika z języka⁹.

W tym miejscu chciałabym skupić się na sytuacji trzeciej, w której komizm może być wynikiem konotacyjnych skojarzeń typowych dla danego obszaru kulturowego. Ta sytuacja zakłada przetłumaczalność na poziomie języka, ale odmiennosc asocjacyjna nie sprzyja, czasami wręcz przeszkadza osiągnięciu w przekładzie efektu komicznego paralelnego do tego, jaki jest osiąganym w oryginale. W celu ilustracji problemu posłużę się przykładem z innego filmu, również komedii, ale tym razem radzieckiej autorstwa Leonida Gajdaja, poświęconej przygodom studenta Szurika (*Operacja „Y” i nowe przygody Szurika*):

11. – Шурик, вы комсомолец? Это же не ваш метод. Где гуманизм, где „человек человеку...?”
12. – Szurik, jesteś komsomolcem? To przecież nie są wasze metody. Gdzie humanizm? Gdzie **człowiek człowiekowi**...?

Bez wątplenia widz polski odniesie niedokończoną frazę *człowiek człowiekowi*... do sentencji łacińskiej (wypowiedzi z komedii Plauta *Asinaria*): *homo homini lupus est / człowiek człowiekowi wilkiem*. Natomiast widzom radzieckim lat 60. to hasło kojarzyło się z hasłem komunistycznym *Человек человеку друг, товарищ и брат*, i tylko takie skojarzenie gwarantuje właściwe zrozumienie wypowiedzianej frazy, w której pojawia się odniesienie do idei humanizmu. Ewentualne wstawienie brakującego komponentu *wilk* zupełnie wypaczyłoby sens powyższej wypowiedzi. Dosłowna przekładalność tej wypowiedzi, możliwa, jak widać, bez problemu na poziomie językowym, nie zapewnia przekładalności na poziomie asocjacyjnym. Powyższy fragment wersji tłumaczonej pochodzi z oficjalnej wersji filmu, udostępnianej polskim widzom np. podczas projekcji festiwalowych. Uwzględniając powyższe różnice asocjacyjne, warto zaproponować inną wersję tłumaczenia, która te różnice zniweluje, np.:

13. – Szurik, jesteś komsomolcem? Ale to nie są wasze metody. Gdzie humanizm? Gdzie **człowiek człowiekowi przyjacielem i bratem**?

W tej wersji odbiorca polski potraktuje to wyrażenie skrzydlate jako modyfikację utrwalonej w świadomości polskich odbiorców frazy *Człowiek człowiekowi wilkiem*. Oczywiście, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w przypadku konieczności przetłumaczenia tej frazy w wersji napisowej na

⁹ W. Kałaga, op. cit., s. 12.

język polski zaproponowana forma okaże się za długa. Wtedy można zaproponować pominięcie części frazy *Ale to nie są wasze metody* z racji ogólności treści w niej zawartych.

Powyższe rozważania prowadzą do następujących wniosków: komizm jako kategoria estetyczno-kulturowa, powszechnie obecna we współczesnych filmach rosyjskich (komediowych przede wszystkim, ale nie tylko takich), stanowi wyzwanie dla tłumaczy, zwłaszcza początkujących, jakimi są studenci specjalizacji translatorskiej. Mając na uwadze fakt, że żadna komedia po przetłumaczeniu na inny język nie traci swoich komediowych cech gatunkowych, które są w znacznym stopniu konstytuowane przez język, można stwierdzić, że kategoria komizmu jest z zasady przetłumaczalna na język obcy. Można mówić o różnych stopniach przekładalności: mniejszym, ograniczonym w przypadku komizmu stwarzanego przez język, także przez samą kulturę oryginału, większym – w przypadku zjawisk komicznych jedynie przekazywanych przez język, a ukonstytuowanych przez kontekst wypowiedzi. Przekładalność komizmu w materiale filmowym zapewnia użycie językowych nośników komizmu w konkretnych wypowiedziach, które zanurzone w sytuacji komunikacyjnej współlistnieją z materiałem wizualnym. Jednym z najważniejszych wyzwań dla tłumaczy jest sama identyfikacja elementów komicznych w tłumaczonym tekście oraz umiejętny dobór jednostek jako przekaźników komizmu, weryfikowanych następnie w trakcie masowego odbioru filmu zarówno w warunkach projekcji kinowej, jak i telewizyjnej.

Bibliografia

- B e r g s o n H., *Śmiech. Esej o komizmie*, Warszawa 1977.
- C y b u l s k i M., *ZSRR się śmieje. Filmy Leonida Gajdaja i radziecka kinematografia komediowa*, Toruń 2013.
- D y n e l M., *Polska komedia filmowa*, [w:] *Humor polski*, pod red. D. Brzozowskiej i W. Chłopickiego, Kraków 2014.
- H e j w o w s k i K., *Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu*, Warszawa 2004.
- H e n d r y k o w s k i M., *Słownik terminów filmowych*, Poznań 1994.
- K a l a g a W., *Komizm a przekładalność*, [w:] *Komizm a przekład*, pod red. P. Fasta, Katowice 1997.
- K i s i e l e w a I., *Żargon i humor w polskich przekładach współczesnych filmów rosyjskich*, [w:] *Między oryginałem a przekładem. Poczucie humoru a przekład*, t. XII, pod red. J. Konicznej-Twardzikowej, M. Filipowicz-Rudek, Kraków 2008.
- T o m a s z k i e w i c z T., *Przekład audiowizualny*, Warszawa 2006.

К ПРОБЛЕМЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕСКРИПЦИИ ЖАЛОСТИ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ON THE PROBLEM OF AXIOLOGICAL DESCRIPTIONS OF PITY
IN RUSSIAN

ЛАРИСА НИКОЛАЕНКО

ABSTRACT. The author argues that the Russian language world-view verbalizes a dual assessment of pity. Moral assessment of pity as the soul's immediate response to someone else's suffering is positive. However, the uncomfortable and even painful process of experiencing this emotion and the high degree of intensity of its influence on one's psyche results in a negative hedonic evaluation of pity. This explains the metaphorical conceptualization of pity in images of pain, aggressive power, water element, and fire.

Лариса Николаенко, Институт языкознания им. Александра Потебни НАН Украины, Киев – Украина, larysanik@ukr.net

Среди психологов не существует однозначного мнения относительно классификации жалости. Одни ученые считают эту эмоцию положительной, другие – отрицательной. Все зависит от типа оценки, применяемой при классификации. Если берется во внимание моральная или этическая оценка, соотносимая с понятиями добра и зла, то чаще всего жалость рассматривается как положительная эмоция, близкая к любви и состраданию. Русский философ Владимир Соловьев утверждал, что „внутренним основанием нравственного отношения к другим существам [...] может быть только жалость, или сострадание”¹. Гедонистическая или сенсорная оценка, связанная с душевными и телесными ощущениями субъекта во время переживания эмоции, довольно часто оказывается негативной, так как проявления жалости могут быть дискомфортными и даже болезненными для субъекта. В русской лексикографической практике толкование жалости происходит посредством ее идентификации с близкими эмоциями, ср.: *жалость* – „1. Сострадание, сочувствие; 2. устар. простореч. Горесть, пе-

¹ В. С. Соловьев, *Оправдание добра. Нравственная философия. Сочинения в 2-х т., т. 1*, Москва 1988, с. 52.

чаль”², „чувство сострадания к кому-, чему-либо”³, „сострадание, сожаление, сочувствие человеку в его беде”⁴. Мы, вслед за Ириной Левонтиной, эту эмоцию рассматриваем как „мгновенную реакцию души на чужое страдание”⁵.

Целью нашей статьи является описание оценочных характеристик жалости в русской языковой картине мира на основе анализа контекстной сочетаемости существительного *жалость* в русских художественных текстах. Материал исследования получен из Национального корпуса русского языка⁶ методом автоматического поиска. В своей работе мы будем исходить из того, что аксиологическую характеристику жалости составляют два типа оценки – моральная, соотносимая с понятиями добра и зла, и гедонистическая, связанная с приятными и неприятными ощущениями⁷. Эти оценки объективируются в языке метафорическим способом при помощи концептуальных признаков и образов.

Позитивная моральная оценка жалости в русском языке выражается при помощи антропоморфных признаков, характеризующих эмоцию как человеческое существо, исходя из которых *жалость* может быть *нежная, добрая, сердечная, ласковая, кроткая, безумно-трогательная, трогаящая душу, благоговейная, слезливая, плачущая, виноватая, совестливая, родственная*; см. примеры: „Но теперь уже не раздражение, глядя на них, почувствовал Арсфьев, а тихую, нежную, родственную жалость” (А. Куприн, *По заказу*); „ – Морозка... – тихо позвал Мечик, остановившись против него и переполняясь вдруг *слезливой доброй жалостью* к нему и к этой мертвой лошади” (А. Фадеев, *Разгром*); „Томность, уныние и какая-то *трогающая душу жалость* разливались по бледно-белому лицу ее” (П. Львов, *Даша, деревенская девушка*); „Ребенок беспомощен и доверчив, он бесстрашен, потому что верит в любовь, он беззащитен и вызывает жалость, но не унижающую, а *ласковую, теплую жалость*” (митрополит Антоний (Блум). *Последнее содержание жизни*).

² *Словарь современного русского литературного языка: в 17 т., т. 4*, Москва–Ленинград 1950–1965, с. 25.

³ *Большой толковый словарь русского языка*, ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 1998, с. 299.

⁴ Т. В. Петягова, Н. Н. Романова, А. В. Филиппов, *Тысяча состояний души: краткий психолого-филологический словарь*, Москва 2005, с. 111.

⁵ И. Б. Левонтина, *Помилосердитесь, братцы!*, [в:] *Ключевые идеи русской языковой картины мира*, Москва 2005, с. 271.

⁶ *Национальный корпус русского языка*, [в:] электронный ресурс: <http://www.ruscorpora.ru> (17.05.2015).

⁷ О языковой оценке эмоций см. в частности: А. Миколајсук, *Problem ocen w analizie wybranych polskich nazw uczuć z klasy semantycznej GNI EWU*, [в:] *Język a kultura*, т. 14: *Uczucia w języku i tekście*, Wrocław 2000, с. 117–134.

Позитивная моральная оценка жалости может усиливаться упоминанием о сопутствующих позитивных чувствах: *любовь, нежность, доброта, сердечность, сочувствие, сострадание, сожаление, участие, милосердие*; см. примеры: „*Меня залила, затопила жалость и любовь к нему*” (З. Масленикова, *Жизнь отца Александра Меня*); „*Параскеве опять стало грустно, и теплая волна жалости и любви настигла ее душу на самом распутье, когда не знала уже она, как себя повести и как подойти к сыну*” (В. Личутин, *Обработно – время свадеб*); „*Она [Наташа] опять заплакала. И еще большее чувство жалости, нежности и любви охватило Пьера*” (Л. Толстой, *Война и мир*); „*Маруся-облако хотела что-то сказать мне, но мы говорили на разных языках, я только чувствовала любовь, жалость, нежность, бесконечное сожаление, беспредельную печаль*” (Н. Галкина, *Вилла Рено*); „*Сердце Ромашова дрогнуло от жалости и любви*” (А. Куприн, *Поединок*); „*Он [Юрий] почувствовал к сестре нежность и неопределенную тихую жалость*” (М. Арцыбашев, *Санин*); „*А Мавра Кузьминична еще долго с мокрыми глазами стояла перед затворенною калиткой, задумчиво покачивая головой и чувствуя неожиданный прилив материнской нежности и жалости к неизвестному ей офицеру*” (Л. Толстой, *Война и мир*); „*Катя осторожно сидела рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему*” (А. Толстой, *Хождение по мукам*); „*Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце [...]*” (А. Достоевская, *Воспоминания*); „*Начальники службы индивидуальной безопасности всегда вызывали у него чувство жалости и сострадания*” (А. и Б. Стругацкие, *Далекая Радуга*); „*Тень сочувствия или жалости тронула сердце Командора...*” (В. Астафьев, *Царь-рыба*); „*Агасфер вместе с ликующей рабской толпой идет по пыльной раскаленной улице, взбирается на Голгофу и вдруг чувствует, что на него упал кроткий, страдальческий взгляд, полный милосердия, сострадания, жалости*” (Е. Соловьев-Андреевич, Л. Толстой, *Его жизнь и литературная деятельность*); „*Мое сердце было полно сочувствия и жалости к Достоевскому, перенесшему ужасную жизнь каторги*” (А. Достоевская, *Воспоминания*).

Несмотря на превалирующую позитивную моральную оценку жалости, нужно отметить наличие двойственного морального оценочного суждения о ней. Эта эмоция может негативно оцениваться с позиции объекта эмоционального переживания вследствие стереотипного представления о жалости к самому себе со стороны других как о чем-то унижающем, ср. примеры: „*Жалость не следует смешивать со здоровым, активным началом сочувствия. Это особое переживание в другом унижения, втайне применяемого к себе*” (Л. Гинзбург, *Записные книжки. Воспоминания. Эссе*); „*Он поглядел на нее, и злорадия, выразившаяся на*

ее лице, испугала и удивила его. Он не понимал того, что его жалость к ней раздражала ее. Она видела в нем к себе сожаленье, но не любовь" (Л. Толстой, Анна Каренина); „Не смотрите так, ваша жалость убьет меня" (И. Гончаров, Обрыв); „Слова его долго производили на меня потом, при воспоминании, тяжелое впечатление какой-то странной, презрительной к нему жалости, которой бы я вовсе не хотел ощущать" (Ф. Достоевский, Идиот).

Феномен жалости заключается в том, что человек может переживать ее не только по отношению к тем, к кому он чувствует любовь, нежность, симпатию, но и относительно тех, кто вызывает пренебрежение, отвращение, презрение. Как свидетельствуют языковые данные, моральное оценочное суждение о жалости в русском языковом сознании приобретает негативную окраску в случаях актуализации ее вместе с такими негативными чувствами, как: ненависть, враждебность, гнев, неприязнь, пренебрежение, отвращение, брезгливость, презрение, снисхождение; см. примеры: „Ходасевич [...] с какой-то жалостью, смешанной с отвращением, вспомнил, как эти девочки в лохмотьях и во вшах облепили его [...]" (Н. Берберова, Курсив мой); „Помада с горьким соболезнованием сообщил о пьянстве Розанова и Лизе [...] – Несчастный человек! – сказала Лиза с жалостью и с презрением. – Так он и пропадет" (Н. Лесков, Никкуда); „Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика" (Л. Толстой, Война и мир); „Лицо ее [Марианны] находилось в почти черной тени, но так вопросительно, так настойчиво глядели на Нежданова ее смелые глаза, такое презрение, такую обидную жалость выражали ее сжатые губы, что он остановился в недоумении" (И. Тургенев, Новь); „Им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и гадливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду" (И. Тургенев, Новь); „Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор. «Жалко Танечку», – думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе с жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане" (В. Вересаев, Два конца); „[...] Анна [...] поняла, что никакая сила в мире не заставит ее теперь изменить свое отношение к Жаку. Это было чувство и враждебности, и презрения, и жалости к нему" (Г. Газданов, Пробуждение); „Проживет она с этим гигиенистом все свои деньги", – грубо подумал Самгин, и чувство жалости к матери вдруг окрасилось неприязнью к ней" (М. Горький, Жизнь Клима Самгина); „Совсем тряпка-тряпкой стал. Обидно за него, горько, и ненависть к нему и брезгливость [...] А иногда замечаю, что он как-будто робеет меня. Явно избегает раздеваться при мне и искаться. Когда застаю его за этим занятием, вид у него пойманного школьника. Сразу поднимается острая жалость, ненависть и отвращение" (С. Семенов, Голод); „Ужас, отвращение, жалость, гнев перемешивались и сплетались в какой-то тя-

желый психический ком, свинцовым грузом придавливавший всю жизнь чувства и воли” (В. Чернов, *Записки социалиста революционера*).

Негативные сопутствующие чувства могут объективироваться в виде антропоморфных признаков, которые также репрезентируют негативную моральную оценку жалости: жалость — *брезгливая, снисходительно-брезгливая, насмешливая, презрительная, постыдная, унижающая, обидная, высокомерная*; см. примеры: „В глазах его было даже не презрение, а какая-то **брезгливая жалость**, смешанная с откровенным удивлением” (А. Городничский, *И жить еще надежде*); „Встречи с Сережей будят во мне зверя. Я бы даже, наверное, ударил его, но сдерживает какая-то **постыдная жалость**” (В. Панюшкин, *Тетеринское*); „Им овладело то истинно министерское чувство **высокомерной жалости** и гадливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду” (И. Тургенев, *Новь*); „Я жалел Лапова, жалел **брезгливой**, но обязывающей к помощи **жалостью**, **которой стыдился** [...]” (Г. Сабуров, *Пешком по волнам*); „Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша. Русские заключенные называли Иконникова „старик-парашиотист”, считали его юродивым и относились к нему с **брезгливой жалостью**” (В. Гроссман, *Жизнь и судьба*); „Слова его долго производили на меня потом, при воспоминании, тяжелое впечатление какой-то странной, **презрительной** к нему **жалости**, которой бы я вовсе не хотел ощущать” (Ф. Достоевский, *Идиот*); „Лицо ее [Марианны] находилось в почти черной тени, но так вопросительно, так настойчиво глядели на Нежданова ее смелые глаза, такое презрение, такую **обидную жалость** выражали ее сжатые губы, что он остановился в недоумении” (И. Тургенев, *Новь*); „— Вот еще истеричка! — сказал он с **презрительной жалостью**. — Это же обман чувств, навajдение. Я тоже первую неделю все слышал голос жены” (Ю. Домбровский, *Факультет ненужных вещей*); „И к любви мальчика начало примешиваться сначала недоумение, потом какая-то **презрительная жалость**” (А. Атеев, *Солнце мертвых*).

Гедонистическая оценка жалости, связанная с приятными и неприятными ощущениями, как показал языковой материал, чаще всего оказывается негативной, поскольку переживание этой эмоции может быть дискомфортным и даже болезненным для субъекта. Иными словами, жалость — это не только мгновенная, но и болезненная реакция души на чужое страдание. Этим можно объяснить языковую концептуализацию жалости в образах **боли, агрессивной силы, водной стихии, огня**. Представленные образы отражают также стихийность эмоции, высокую степень интенсивности ее воздействия на субъект:

жалость — **боль (душевная, физическая)**: жалость — острая, болезненная, щемящая, тяжелая, иступленная, нестерпимая, невыносимая, не-

утолимая, ноющая, мучительная, пронзительная, пронзающая, колющая, тягостная; жалость давит (пронзила) сердце, кольнула в сердце, сжала спазмой горло; муки (судорога) жалости; от жалости сердце болело (стеснилось, (за)ныло, (за)щемило, корчится, рвалось, разрывается, надрывается, рвется на куски, кровью обливалось), нагнулись (попились) слезы, сморщилось лицо, стянуло горло, защемило все внутри; от жалости вскрикнуть (зарыдать, (за)плакать, сморщиться, всхлипывать, содрогаться, страдать, задыхаться, сжаться, надрываться); жалостью сердце щемит (защемило, пронзается, снедалось, надрывается, расправляется); жалостью терзаться, сердце надрывать; см. примеры: **„Нестерпимая жалость пронзила мое сердце, снова началось у меня лихорадочное состояние“** (Л. Вертинская, Синяя птица любви); **„А у Митьки в горле судороги, жалость к этим как будто чужим людям, жалость до жгучей боли, до тошного удушья [...]“** (М. Шолохов, Бахчевник); **„Это исхудавшее страдальческое лицо, эти запекшиеся, синие губы, этот восковой лоб, эти спутанные в беспорядке седые кудри – я едва узнавала их. Острая жалость пронзила сердце. Стоя у изголовья неподвижно лежащего отца, испытывая непосильную муку жалости, сострадания и раскаяния, я шептала мысленно те самые слова, которые не сумела сказать накануне нашей разлуки“** (Л. Чарская, Вторая Нина); **„Острая, как боль, жалость охватила Ланде: он всем телом повернулся к Семенову и обнял его обеими руками за худые, пахнущие холодным потом, плечи“** (М. Арцыбашев, Смерть Ланде); **„Почти физически чувствую, как сердце корчится от боли, от пронзительной жалости к молодым и старикам“** (Е. Гинзбург, Крутой маршрут); **„Болезненная жалость по отношению к сыну давит сердце“** (В. Спектр, Face Control); **„Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапною и безнадежною, острою до боли, нестерпимую жалостью“** (Д. Мережковский, Петр и Алексей); **„Антон редко видел ее слезы: она не была плаксою... В нем поднялась волна острой, как физическая боль, жалости, захлестнула его и бросила к ней [...]“** (И. Безладнова, Дина); **„[...] и снова сжала сердце тягостная жалость, снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок“** (Б. Васильев, Не стреляйте в белых лебедей); **„Боль эта была усилена еще тем странным чувством физической жалости к ней, которую произвели на него ее слезы“** (Л. Толстой, Анна Каренина); **„У меня вдруг прямо защемило все внутри от жалости к этой женщине и мальчику, просто так, не знаю почему“** (В. Аксенов, Апельсины из Марокко); **„Когда солдаты во время войны видели голодных детей, у них от жалости и сострадания сердце кровью обливалось“** (С. Аксаков, Записки ружейного охотника); **„Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к человеку, с которым прожил целую жизнь, сжала ему спазмой горло“** (П. Романов, Голубое платье); **„Она сказала это таким несчастным голосом, что от**

жалости к ней у Юрки стянуло горло [...]" (С. Каледин, *Записки гробокопателя*); *„Терпимов, исхудававший и побледневший до неузнаваемости, с забинтованной рукой, покоившейся на черной перевязке, вошел в класс. Едкое чувство жалости зацемило мне сердце... Непрошенные слезы обожгли глаза"* (Л. Чарская, *Записки институтки*);

жалость — агрессивная сила: жалость — свирепая, страшная, дикая, лютая, царапающая, колючая, остроклювая, жуткая, безумная, смертельная, гнетущая, захлестывающая, хватавшая за душу, разрывающая (рвущая) сердце; жалость обурекает (мучает, терзает, раздирает, резанула, душила, захлестнула, схватила, пронзила, охватила) кого-то; жалость распирает (кольнула, гложет, сжала, стиснула, сдавила, стеснила, пронзила, разрывала, давит, терзала, когтила, прошила) сердце, схватила за сердце (за горло), пронзает сердце до самих пяток, хватала за душу, скребла (пронизала) душу, рвала на части, долбанула под сердце, сжала (сдавила, стиснула) горло, ударила в сердце, сжимала грудь, вгрызалась в сердце (грызла сердце) как зверь; чувство жалости душиет, охватило, сжимало сердце; удары (уколы) жалости; игла жалости; см. примеры: *„Уже не ужас чувствовал я: жалость несказанная стиснула мне сердце"* (И. Тургенев, *Живые мощи*); *„Нищая страна окровавлена. И вдруг пронизывает чувство, которое так и останется основным чувством, пронизывает, перерезая горло, — жалость. К кому? К этим одуроченным людям?"* (Б. Вахтин, *Гибель Джонстауна*); *„Ивернев впервые видел свою мудрую, спокойную мать такой подавленной. Мучительная жалость сдавила ему горло. Он не смог произнести ни слова и только молча стоял, вопросительно глядя на нее"* (И. Ефремов, *Лезвие бритвы*); *„Страдая за всех и за каждого в отдельности, Мышка плохо спала, в тревожные ночи огромная жалость разрывала ее сердце, топила в слезах подушку"* (В. Осеева, *Динка*); *„А я не могу говорить, охватила меня и давит жалость к человеку, живым во гроб положенному"* (М. Горький, *Исповедь*); *„Илья держал письмо в руке и чувствовал себя виноватым пред Олимпиадой, грусть и жалость сжимали ему грудь и давили горло"* (М. Горький, *Трое*); *„И опять остроклювая жалость долбанула меня под сердце"* (А. Пастернак, *Сонька-помойка*); *„Анна подошла к нему, заглянула в лицо: глаза его были липко зажмурены, на оскаленных плотных зубах искрилась слюна, редкие, вывалявшиеся от тифа волосы лежали на лбу мокрой прядью. Она присела рядом. Жалость и боль когтили ее сердце"* (М. Шолохов, *Тихий Дон*); *„Совсем дурачок, блаженненький! Ну, как такого казнить?" — подумал Петр, и вдруг дикая, страшная, лютая жалость вгрызлась ему в сердце, как зверь"* (Д. Мережковский, *Петр и Алексей*); *„Жалость, точно рогатина, ударила в сердце Андрея"* (Б. Шергин, *Древние памяти*); *„Я посмотрела на его незрелую макушку, и в мое сердце вошла игла жалости"* (В. Токарева, *Центровка*); *„— Бедный, бедный! — Нелли буквально раздирала жалость"* (Т. Тронина, *Никогда не говори „навсегда"*);

жалость — **огонь**: жалость — жгучая, огненная; жалость вспыхнула, обжигала сердце, загоралась в сердце; чувство жалости сожгло сердце дотла; от жалости зажигается за грудиной; жалостью ожгло, загоралось сердце, занималось место в груди; см. примеры: „**Жалость** и горькое чувство вины **обжигали сердце**” (Б. Екимов, Высшая мера); „Иван Дмитриевич почувствовал, как у него **зажигается за грудиной от жалости** к сыну и ненависти к жене” (Л. Юзефович, Дом свиданий); „**И острое чувство жалости** к девушке **сожгло дотла**, казалось, **сердце Дуни**” (Л. Чарская, Приютки); „На секунду она, видимо, забыла о своем затекшем глазе, и взгляд получился большой и несчастный, как у дворовой собаки. Я отвернулся, меня будто **ожгло жалостью**” (С. Есин, Марбург);

жалость — **водная стихия** (с температурными признаками): жалость — обильная, бурная, клокочущая, затопившая, прорвавшая все плотины; жалость разлилась (захлестнула, залила, затопила); волна жалости ударила в сердце, см. примеры: „Ночью Татьяна Васильевна не спала. **Горячая, обильная жалость**, наконец-то **прорвавшая все плотины, заливала её изнутри**” (И. Грекова, Под фонарем); „И, взглянув на друга, почувствовал Гулявин, как **ударила ему в сердце горячая волна жалости**” (Б. Лавренев, Ветер); „Что-то больно сжало сердце корректорши. **Горячая волна жалости хлынула в душу**” (Л. Чарская, Корректорша Варкунина); „Меня вдруг захлестнула **жгучая жалость** к Моте, к ее висящим вдоль тела грубым рукам, которые были еще грубее и неуклюжей без работы” (Е. Маркова, Тайная вечеря); „И вдруг какая-то **колючая жалость так и хлынет во все фибры существа**” (М. Салтыков-Щедрин, За рубежом); „**Горячая волна жалости и вины за свое бессилие шибла Стаса с ног**” (Е. Михайлова, Исповедь на краю).

Переживание жалости, ассоциируемой с **горячей жидкостью**, не всегда вызывает дискомфортные ощущения и, следовательно, не всегда оценивается негативно, ср. примеры: „[...] во мне вдруг **разлилась** какая-то **горячая жалость** ко всем и ко всему, что я видел, о чем думал и чем беспокоился в последнее время” (Г. Успенский, Волей-неволей); „Голос его звучит так нежно, так грустно поет он над плачущей Катей, что Динка глубже зарывается в кусты, и **горячая жалость приливает к ее сердцу**” (В. Осеева, Динка); „И снова **горячая волна жалости хлынула в сердце Даши**” (Л. Чарская, Первый день); „Но когда он увидел ее, одинокую и согнутую, все существо его **переполнилось светлой нежностью и жгучей жалостью**” (М. Арцыбашев, Смерть Ланде); „Даже беспечная, жизнерадостная Дося почувствовала, как должен был сейчас страдать ее друг. **Горячая волна жалости залила ее маленькое сердце**” (Л. Чарская, Большая душа); ассоциация жалости с **теплой жидкостью** всегда воспринимается позитивно, ср. примеры: „Трупа Артем не испугался, только ощутил, как **теплой волной накатила жалость к неизвестной девушке**” (Д. Глухов-

ский, Метро 2033); „Параскеве опять стало грустно, и **теплая волна жалости** и любви настигла ее душу на самом распутье, когда не знала уже она, как себя повести и как подойти к сыну” (В. Личутин, *Обработно – время свадеб*); „Женя почувствовал, как на него накатывается **теплая волна** мелодраматической **жалости**” (С. Дубянский, *Госпожа Клио. Заходящее солнце*); „Волна **жалости** к ним и себе окутала Нину, такая **теплая волна**, как ватное одеяло” (Э. Аленник, *Напоминание*); „И помимо его желания и воли в душе у Умара вдруг возникла **теплая волна жалости** к этому человеку” (Г. Черчесов, *Прикосновение*).

Как ни парадоксально, но довольно часто в аксиологической дескрипции жалости могут присутствовать одновременно обе оценки – моральная позитивная и гедонистическая негативная, см. примеры: „Таню **забила как в лихорадке такая нежная, острая жалость**, которая и редко пробуждается к людям, скорей же – к больному животному, котенку, щенку” (И. Новиков, *Гарахвена*) (негативная гедонистическая оценка – **острая жалость забила как в лихорадке**, позитивная моральная оценка – **нежная жалость**); „Тонкая, глубокая **нежность** и какая-то **болезненная жалость** к матери переполнила сердце Буланина” (А. Куприн, *На переломе*) (негативная гедонистическая оценка – **болезненная жалость**, позитивная моральная оценка – сопутствующее чувство **нежности**); „Иван Африканович взглянул на жену и вдруг **весь сжался от боли, жалости и любви** к ней: он только теперь заметил, как она похудела, как изменилась за это лето” (В. Белов, *Привычное дело*) (негативная гедонистическая оценка – **сжался от боли, жалости**, позитивная моральная оценка – сопутствующее чувство **любви**); „**Острая, мучительная жалость и беззаветная любовь** наполнили мое сердце при виде так незаслуженно обиженной мною подруги” (Л. Чарская, *Княжна Джаваха*) (негативная гедонистическая оценка – **острая, мучительная жалость**, позитивная моральная оценка – сопутствующее чувство **любви**); „Его лицо выражало такое отчаяние, мольбу и страх за свое святотатство, что **болезненная, щемящая**, но вместе с тем **сладкая жалость** наполнили душу девушки...” (М. Волконский, *Кольцо императрицы*) (негативная гедонистическая оценка – **болезненная, щемящая жалость**, позитивная моральная оценка – **сладкая жалость**); „Коленька видит его страдания, и **нежная боль, нежнейшая жалость** к отцу **пронзает его**” (Ю. Анненков, *Повесть о пустяках*) (негативная гедонистическая оценка – **жалость и боль пронзает**, позитивная моральная оценка – **нежнейшая жалость**); „А Маша внимательно смотрела на нее и чувствовала **рвущую сердце нежную жалость** к этой Нюсе [...]” (К. Симонов, *Живые и мертвые*) (негативная гедонистическая оценка – **рвущая сердце жалость**, позитивная моральная оценка – **нежная жалость**); „**Горячее до слез чувство любви и жалости** к ней и к себе самому **больно сжимало** старое

умирающее *сердце* Ивана Ивановича, когда он, опираясь на нее, волочился через зал” (М. Арцыбашев, *У последней черты*) (негативная гедонистическая оценка — *горячее до слез чувство жалости больно сжимало сердце*, позитивная моральная оценка — сопутствующее чувство *любовь*); „Завтра воскресенье. Завтра похороны. Ночью Татьяна Васильевна снова лежала без сна, поставив будильник, чтобы не проспать. *Жалость и любовь, рвавшие её на части* прошлой ночью, теперь поутихли, но спать она не могла!” (И. Грекова, *Под фонарем*) (негативная гедонистическая оценка — *жалость рвавшая на части*, позитивная моральная оценка — сопутствующее чувство *любовь*); „Ты сказал такую несурезицу, что меня всю внутри *пронзила такая острая жалость, такая любовь* к тебе, что захотелось твою голову прижать к груди, затискать, как ребенка” (М. Шишкин, *Венерин волос*) (негативная гедонистическая оценка — *пронзила острая жалость*, позитивная моральная оценка — сопутствующее чувство *любовь*); „*Любовь и горькая жалость* были во мне” (В. Вересаев, *К жизни*) (негативная гедонистическая оценка — *горькая жалость*, позитивная моральная оценка — сопутствующее чувство *любовь*).

Оценка вкусовых характеристик жалости может быть бинарной: жалость может быть как *горькой* — негативно оцениваемой, так и *сладкой* — оцениваемой позитивно, ср. примеры: „*Любовь и горькая жалость* были во мне” (В. Вересаев, *К жизни*); „Ювентин слушал объяснения Евандра и думал, что все это похоже на бред; *сердце его сжималось от горькой жалости*” (Д. Мережковский, *Смерть богов. Юлиан Отступник*); „Я догадался, что гардемарин меня пожалел, и впервые узнал, что *жалость оставляет в душе горький осадок*” (К. Паустовский, *Книга о жизни. Далекие годы*); „Его лицо выражало такое отчаяние, мольбу и страх за свое святотатство, что *болезненная, щемлящая, но вместе с тем сладкая жалость* наполнили душу девушки...” (М. Волконский, *Кольцо императрицы*); „[...] красота начинала будоражить острее, разрозненные звуки сплетались в мелодию — и всё внутри заполняла тягучая, как ириска, *сладкая жалость*” (К. Аручеан, *Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной*); „В его глазах — *горькая жалость* к себе” (В. Шишков, *Угрюм-река*).

Проведенный анализ языковой объективации аксиологической характеристики жалости в русской языковой картине мира позволяет утверждать, что она осуществляется метафорическим способом и представляет собой два типа оценки — моральную и гедонистическую. С точки зрения морали жалость как мгновенная реакция души на чужое страдание оценивается позитивно и считается основанием нравственного отношения к другим существам. Однако, несмотря на преобладающую позитивную моральную оценку, эта эмоция может оцениваться негативно с позиции объекта эмоционального переживания вследствие стереотипного представления о жалости к самому себе со

стороны других как о чем-то унижающем. В отдельных случаях негативно коннотируемая жалость бывает близка к отвращению или презрению. Дискомфортное и даже болезненное переживание жалости субъектом, интенсивность и стихийность эмоции являются причиной ее негативной гедонистической оценки. Этим можно объяснить языковую концептуализацию жалости в образах **боли, агрессивной силы, водной стихии, огня.**

Библиография

- Большой толковый словарь русского языка, ред. С. А. Кузнецов, Санкт-Петербург 1998.
- Левонтина И. Б., *Помилосердитесь, братцы!*, [в:] *Ключевые идеи русской языковой картины мира*, Москва 2005, с. 271.
- Петягова Т. В., Романова Н. Н., Филиппов А. В., *Тысяча состояний души: краткий психолого-филологический словарь*, Москва 2005.
- Mikołajczuk A., *Problemy ocen w analizie wybranych polskich nazw uczuć z klasy semantycznej GNIEWU*, [в:] *Język a kultura*, t. 14: *Uczucia w języku i tekście*, Wrocław 2000, с. 117–134.
- Национальный корпус русского языка, [в:] электронный ресурс: <http://www.ruscorpora.ru> (17.05.2015).
- Словарь современного русского литературного языка: в 17 т., т. 4, Москва–Ленинград 1950–1965.
- Соловьев В. С., *Оправдание добра. Нравственная философия. Сочинения в 2-х т., т. 1*, Москва 1988.

KONCEPTUALIZACJA PRAWDY W ŚWIADOMOŚCI JĘZYKOWEJ
POLAKÓW, ROSJAN I NIEMCÓW
(PERSPEKTYWA AKSJOLOGICZNA)

THE CONCEPT OF TRUTH IN THE POLISH, RUSSIAN AND GERMAN
LINGUISTIC CONSCIOUSNESS
(FROM AN AXIOLOGICAL PERSPECTIVE)

BARBARA RODZIEWICZ

ABSTRACT. The present article is an attempt at establishing a way of understanding the term 'truth', as well as characterizing all the phenomena the term encompasses in communities of Polish, Russian and German students. The author analyses the results of a Free Word Association Test.

Barbara Rodziewicz, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Polska, rodziew@vp.pl

Podejmowane przeze mnie rozważania są próbą włączenia się – z perspektywy językoznawcy i humanisty – w dyskusję nad wartościami, ich miejscem i zasadnością bytowania we współczesnym świecie. Celem niniejszej refleksji jest omówienie oraz porównanie sposobów konceptualizacji i wartościowania jednej z nadrzędnych wartości etycznych – prawdy w świadomości językowej młodych Polaków, Rosjan i Niemców, a także ukrytych w słowach *prawda*, *npaβda*, *Wahrheit* pojęć – kluczy do określonego kodu kulturowego, który za Wojciechem Chlebdą rozumiem jako „historycznie ukształtowany system znaków, wyobrażeń i przekonań, fundowany przez składniki kultury rodzimej i kultur z nią współfunkcjonujących, system, który, tworząc wspólnotę znaczeń i odwołań, zapewnia poczucie jedności danej społeczności narodowej”¹. Poznanie owego kodu kulturowego może wydatnie przyczynić się do świadomego nawiązania i podtrzymania dialogu międzykulturowego, zniesienia barier i ułatwienia komunikacji oraz przepływu informacji między jego uczestnikami, co w efekcie umożliwi wzajemne poznanie i zrozumienie.

Prezentowany tu materiał empiryczny stanowi niewielką część obszernego rejestru danych językowych zgromadzonych w rezultacie znanego od czasów Francisa Galtona (1879) eksperymentu lingwalnego, testu asocjacyj-

¹ W. Chlebda, *Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata*, [w:] *Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich I*, red. S. Gajda, Opole 2000, s. 169.

nego, polegającego na podaniu przez respondenta skojarzenia werbalnego na wyraz hasłowy jakiegoś języka naturalnego, to jest pierwszego słowa lub wyrażenia, które mu przychodzi na myśl po usłyszeniu lub przeczytaniu słowa-bodźca². Testy skojarzeń werbalnych oparte na wspomnianej metodzie stosowane były z powodzeniem od końca XIX wieku i praktykowane są do dzisiaj przede wszystkim przez psychologów (Wundt, Kraepelin, Aschaffenburg, Jung, Kent / Rosanoff) oraz językoznawców i psycholingwistów (Osgood/ Sebeok, Kurcz, Rosenzweig, Moore, Postman, Maršalová, van der Made-van Bekkum, Леонтьев, Уфимцева, Тарасов, Горошко i inni). Dość wcześnie, bo już na początku XX wieku, dowiedziono istnienia sieci werbalnych, wykazując jednocześnie, iż znajdują się one pod dużym wpływem życia społecznego i ekonomicznego oraz przestrzeni kulturowej, w której żyją i której doświadczają użytkownicy danego języka. Zrozumienie i opisanie tych zależności otworzyło perspektywę badań nad świadomością językową, definiowaną jako „całokształt poziomów świadomości, formowanych i uzewnętrznianych za pomocą środków językowych: słów, związków wyrazowych, zdań, tekstów i pól asocjacyjnych”³. Zakotwiczone w świadomości językowej pojęcia nie istnieją samodzielnie, przeciwnie, każde powiązane jest w dalece uporządkowany, logiczny i uhierarchizowany sposób z szeregiem innych słów i pojęć. Są one z jednej strony częścią osobistego doświadczenia jednostki, efektem jej własnych czynności poznawczych, z drugiej strony – stanowią odzwierciedlenie wiedzy przedmiotowej transmitowanej na różne sposoby przez określoną kulturę i układ społeczny. Testy werbalnych asocjacji, będąc jedną z podstawowych metod badania związków między niematerialną świadomością a materialnym językiem, są funkcjonalnym narzędziem penetracji obszaru intuicyjnej wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości, instrumentem pozwalającym wnikać w kulturowo zakorzenione kategoryzacje oraz aktualizacje pojęć i, co za tym idzie, w różnice pomiędzy kulturami, gdyż, jak trafnie zauważa Edward Sapir, „język [to] symboliczny przewodnik po kulturze”⁴.

Przeprowadzony przeze mnie eksperyment miał charakter masowy. W teście asocjacyjnym uczestniczyło 1500 osób, po 500 studentów w wieku 18–25 lat, reprezentantów społeczności polsko-, rosyjsko- i niemieckojęzycznej, w równej mierze kobiety i mężczyźni. Dla jego potrzeb skonstruowano ankietę zawierającą dwadzieścia nazw wartości. Materiał uporządkowano losowo. Test miał charakter pisemny. Badani otrzymali dwa zadania.

² Więcej na temat metodologii i wyników badań zob. B. R o d z i e w i c z, *Wartości. Polacy – Rosjanie – Niemcy*, Szczecin 2014.

³ Е. Ф. Т а р а с о в, *Актуальные проблемы анализа языкового сознания*, [w:] *Языковое сознание и образ мира*, ред. Н. В. Уфимцева, Москва 2000, s. 26.

⁴ Cyt. za A. W i e r z b i c k ą, *Słowa kluczowe. Różne języki – różne kultury*, Warszawa 2007, s. 16.

Zadanie oznaczone numerem jeden polegało na zapisaniu nieukierunkowanej swobodnej reakcji, pierwszego przychodzącego na myśl słowa lub wyrażenia po przeczytaniu wyrazu hasłowego. W drugim zadaniu poprosiłam respondentów o wskazanie wartości, które uważają za najważniejsze w ich życiu i którymi kierują się na co dzień, co pozwoliło ustalić deklarowaną przez nich hierarchię jednostek aksjologicznych. Obok wartości, takich jak patriotyzm, wolność, godność czy sprawiedliwość, na liście słów-bodźców znalazło się także referowane tu pojęcie – prawda.

Zagadnienie natury prawdy stanowi jedno z odwiecznych i centralnych pytań w historii rozwoju myśli człowieka. Istotę prawdy zaczęto zgłębiać już w starożytności. Pierwszej próby systematycznej analizy pojęcia prawdy podjął się Arystoteles. Jego klasyczna (zwana również korespondencyjną) definicja prawdy, zawierająca się w krótkim stwierdzeniu „Oto czym jest prawda: styczeń z rzeczą i twierdzenie jest prawdą”⁵, upatrującym istoty prawdy, najprościej ujmując, w zgodności z rzeczywistością, stała się dominująca nie tylko na przestrzeni dziejów filozofii, ale obowiązuje również w wielu współczesnych teoriach i dociekaniach odnośnie do prawdy. Wprawdzie z czasem rozwinęły się rozmaite inne podejścia do problemu prawdy, jak choćby konsensualne, koherencyjne, zdroworoządkowe czy utylitarystyczne⁶, jednak scholastyczna formuła definicyjna „Veritas est adaequatio rei et intellectus” (w wolnym tłumaczeniu „Odpowiedniość bytu wobec intelektu wyraża prawda”)⁷, którą Tomasz z Akwinu nadał pierwotnemu określeniu Arystotelesa, jest powszechnie znana i uznawana w epistemologii do dziś. Także minimalistyczna definicja prawdy kodowana przez językowe źródła leksykograficzne (między innymi polskie, rosyjskie i niemieckie) wprost nawiązuje do jej klasycznej Arystotelesowskiej wersji.

Z antycznej refleksji filozoficznej wyrosła idea rozumienia prawdy jako bytu aksjotycznego. Prawda, a z nią także dobro i piękno, wcześniej zyskały miano transcendentaliów aksjologicznych, wartości najwyższych, absolutnych, utożsamianych z bytem idealnym, a więc *stricte* autotelicznych. Ta tak zwana „Platońska triada wartości” stała się istotnym elementem europejskiej tradycji i w dalszym rozumieniu również dziedzictwa kulturowego człowieka. Obojętność, odrzucanie lub negowanie znaczenia owych wartości nie tylko dla jednostki, ale także dla wspólnoty długo uchodziły za oznakę jeśli nie swoistego barbarzyństwa, to na pewno nieakceptowanej ignorancji oraz wyjątkowego lekceważenia szczególnego, gdyż usankcjonowanego w długich dziejach myśli ludzkiej, aksjotycznego statusu prawdy, dobra i piękna. Jednakże nastanie epoki ponowoczesności, postulującej

⁵ Arystoteles, *Metafizyka*, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983, IX i 1051 b.

⁶ Por. J. Galarowicz, *Na ścieżkach prawdy*, Kraków 1992, s. 193–201.

⁷ Tomasz z Akwinu, *Kwestie dyskutowane o prawdzie*, tłum. I. Kuczyński, t. 1, Kęty 1998, s. 17.

przede wszystkim ludzką jednostkową wolność i subiektywny dobrostan jako wartości nadrzędne, wpłynęło zasadniczo na daleko idącą swobodę w ich wyborze, a niekiedy także i chaos lub wręcz, jak to ujmują niektórzy współcześni badacze-aksjolodzy, „permissywność moralną”⁸, „kryzys moralności”⁹, „moralną anomię”¹⁰. W interesującym mnie tu kontekście słusznie zauważa jeden z dzisiejszych teoretyków historii idei, autor *Historii prawdy*, Felipe Fernández-Armesto:

Poszukiwanie prawdy to odwieczne i powszechne dążenie istot ludzkich. Obecnie jednak wielu spośród nas wydaje się z niego w pełni świadomie rezygnować. Podejrzenie, że rzeczywistość jest nierozpoznawalna i niewyraźna, jest tak samo stare jak dążenie do odkrycia całej prawdy. Ale chyba nigdy nie było poglądem równie szeroko rozpowszechnionym, równie wpływowym i groźnym dla samego pojęcia prawdy, jak w naszych czasach. Na tle dziejów poszukiwania prawdy obecna obojętność wydaje się niespodziewaną, nietypową i niebezpieczną nowością. [...] Zarzucając je, nie mamy pewności, czy posuniemy się choćby o krok dalej, czy w ogóle przetrwamy jako gatunek¹¹.

Można dodać, iż w kontekście globalizującego się świata i nieuchronnych przeobrażeń ekonomicznych, politycznych, technologicznych i kulturowych komparatywna diagnoza wartości w ogóle wydaje się tym ciekawsza i istotniejsza, że mamy do czynienia z przejmowaniem norm, wzorów i wartości z zewnątrz, a także z redefiniowaniem podstawowych sposobów postrzegania, kategoryzowania i zwłaszcza etyczno-moralnej oceny świata. Wartości moralne, do których niewątpliwie należy odnieść prawdę, są w opinii nie tylko cytowanego brytyjskiego historyka Fernández-Armesto, lecz również wybitnego niemieckiego fenomenologa i aksjologa Dietricha von Hildebranda „węzłowym problemem świata”¹², zaś ich brak „jest największym złem”¹³.

⁸ A. J a s i ń s k a - K a n i a, *Między rygoryzmem a permissywnością. Przemiany moralności w Polsce i w Europie*, [w:] *Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie*, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2012, s. 106.

⁹ A. J a s i ń s k a - K a n i a, *Indywidualizacja i uspołecznienie: przekształcenia moralności w Polsce i w Europie*, [w:] *Polacy wśród Europejczyków*, red. A. Jasińska-Kania i M. Marody, Warszawa 2002, s. 212.

¹⁰ H. Ś w i d a - Z i e m b a, *Niektóre symptomy anomii moralnej społeczeństwa polskiego*, „Nauka” 2010, nr 3, s. 68–73.

¹¹ F. F e r n á n d e z - A r m e s t o, *Historia prawdy*, przeł. J. Ruszkowski, Poznań 1997, s. 10.

¹² D. H i l d e b r a n d, *Fundamentalne postawy moralne*, tłum. E. Seredyńska, [w:] *Wobec wartości*, red. D. Hildebrand, J. A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 1982, s. 10.

¹³ *Ibidem*.

Czym jest zatem prawda utrwalona w świadomości językowej przedstawicieli trzech etnicznie zróżnicowanych sąsiadujących kultur? Przejdę do wyników testu werbalnych asocjacji i przeanalizuję strukturę sieci skojarzeniowej powstałej wokół słów-bodźców PRAWDA / ПРАВДА / WAHRHEIT.

Pozyskany materiał badawczy to 486 nieukierunkowanych swobodnych reakcji – skojarzeń na przytoczone wyrazy hasłowe: 157 asocjatyw polskojęzycznych, 151 asocjatyw rosyjskojęzycznych i 178 asocjatyw niemieckojęzycznych. Jedną z wiodących konstryktów profilu asocjacyjnego prawdy we wszystkich poddanych analizie językach są skojarzenia werbalizujące pojęcia przeciwstawne względem słów-bodźców. Ilustruje je w sumie 90 odpowiedzi rosyjskojęzycznych, tj. 18% ogółu skojarzeń, oraz po 86 ujętych niemiecko- i polskojęzycznych, tj. po 17,2% werbalizacji, por. np.: asocjaty w języku polskim – *kłamstwo* (48 wskazań – 9,6%), *falsz* (36 wskazań – 7,2%), *brak kłamstwa* (1 reakcja – 0,2%); asocjaty w języku rosyjskim – *ложь* (81 wskazań – 16,2%), *враньё* (2 reakcje – 0,4%), *нет лжи* (2 reakcje – 0,4%); asocjaty w języku niemieckim – *Lüge* (82 wskazań – 16,4%), *keine Lügen* (1 reakcja – 0,2%), *Lügen* (1 reakcja – 0,2%). Reakcje wyrażające binarną opozycję semiotyczną „prawda – kłamstwo” należałoby zinterpretować jako przejaw reprezentatywnego myślenia i doświadczenia człowieka – przedstawiciela gatunku, a nie konkretnej nacji. Jak objaśnia Булат Ганеев, analizujący zjawisko antynomii w języku i mowie, odwołując się do szeregu filozoficznych, socjologicznych i lingwistycznych koncepcji dychotomicznej natury świata i jego elementów,

Ментальный мир – это сфера действия противоречий. [...] Любое мышление начинается с отрицания, так как человек изначально противопоставляет свое „Я” миру, который для него „Не-Я”, и только после этого субъект начинает членить мир на остальные его составляющие¹⁴.

Zjawisko to standaryzuje wysoce skonwencjonalizowane formacje językowe, rejestrując nie tylko wspólną dla danej społeczności i spójną kulturowo praktykę, ale także doświadczenia człowieka w ogóle, mianowicie paremie, por. np.: *Kłamstwo przeminie, prawda nie zginie, Lepsza gorzka prawda niż słodkie kłamstwo; Правда одна, а лжи сколько угодно, Правда стара, да не умирает, ложь помоложе, да недолго поживает; Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht, Die Wahrheit bedarf nicht viel Worte, die Lüge kann nie genug haben.*

Dużo miejsca w strukturze sieci skojarzeniowych powstałych wokół referowanego pojęcia zajmują także odpowiedzi stanowiące uzupełnienie wspomnianych asocjatyw standaryzowanych przez dane systemowe analizowanych języków. Są to zarówno transmitowane przez słowniki cechy

¹⁴ Б. Г а н е е в, *Противоречия в языке и речи*, Уфа 2004, s. 67, 71.

definicyjne prawdy, wyrażone *implicite* lub *explicite*, jak również bardzo licznie przytaczane synonimy, por. np.:

– skojarzenia polskojęzyczne: *fakt* (3 reakcje – 0,6%), *fakty* (1 reakcja – 0,2%), *zgodność* (3 reakcje – 0,6%); *szczerłość* (86 wskazań – 17,2%);

– skojarzenia rosyjskojęzyczne: *верность* (1 reakcja – 0,2%), *утверждение факта* (1 reakcja – 0,2%), *факт* (1 reakcja – 0,2%); *честность* (65 wskazań – 13%), *истина* (22 wskazania – 4,4%), *искренность* (18 wskazań – 3,6%), *открытость* (9 wskazań – 1,8%);

– skojarzenia niemieckojęzyczne: *Tatsache* (3 reakcje – 0,6%), *Sachverhalten* (2 reakcje – 0,4%); *Ehrlichkeit* (73 wskazania – 14,6%), *ehrlich* (10 wskazań – 2%), *Offenheit* (10 wskazań – 2%), *Aufrichtigkeit* (8 reakcji – 1,6%).

Wspomniane ujęciowania stanowią 19,8% odpowiedzi polskojęzycznych, 24,6% odpowiedzi w języku rosyjskim i 22,4% odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych Niemców.

Ciekawie rysują się pozaleksykalne, kulturowo uwarunkowane składniki asocjacyjnego profilu prawdy. Prawda jest wartością uwarunkowaną i ugruntowaną wspólnotowo. Wywodząca się z tradycji klasycznej (oraz ukształtowana ostatecznie na gruncie chrześcijaństwa) intersubiektywność (dialogiczność) prawdy przejawia się w szeregu reakcji wskazujących jednoznacznie na społeczną, nie jednostkową proveniencję rozumienia tego pojęcia. Prawda w tym ujęciu jest swoiście pojmowaną powinnością, imperatywem, gdyż warunkuje inter- i intrapersonalne porozumienie i zgodną koegzystencję. Szczególnej roli prawdy intersubiektywnej ankietowani doszukują się w opartych na silnych więziach emocjonalnych relacjach z bliskim i najbliższym otoczeniem społecznym, por. np.:

– odpowiedzi w języku polskim: *człowiek* (2 reakcje – 0,4%), *relacje z innymi ludźmi* (1 reakcja – 0,2%); *miłość* (2 reakcje – 0,4%), *uczucie* (2 reakcje – 0,4%), *związek* (2 reakcje – 0,4%), *związek kochających się osób* (1 reakcja – 0,2%); *przyjaciół* (3 reakcje – 0,6%), *przyjaźń* (2 reakcje – 0,4%); *rodzina* (3 reakcje – 0,6%), *dom* (2 reakcje – 0,4%), *dziadek* (1 reakcja – 0,2%), *małżeństwo* (1 reakcja – 0,2%), *mama* (1 reakcja – 0,2%), *rodzice* (1 reakcja – 0,2%);

– odpowiedzi w języku rosyjskim: *взаимопонимание* (1 reakcja – 0,2%); *друг* (3 reakcje – 0,6%), *друзья* (1 reakcja – 0,2%); *мама* (3 reakcje – 0,6%), *мать* (1 reakcja – 0,2%); *любовь* (1 reakcja – 0,2%), *муж* (1 reakcja – 0,2%), *партнерские отношения* (1 reakcja – 0,2%);

– odpowiedzi w języku niemieckim: *Gemeinschaft* (1 reakcja – 0,2%), *Zwischenmenschliches* (1 reakcja – 0,2%); *Liebe* (2 reakcje – 0,4%), *Partnerschaft* (2 reakcje – 0,4%), *Basis einer jeden Beziehung* (1 reakcja – 0,2%), *Basis für Beziehung* (1 reakcja – 0,2%), *Beziehung* (1 reakcja – 0,2%), *Beziehungen* (1 reakcja – 0,2%), *Partner* (1 reakcja – 0,2%), *Partnerin* (1 reakcja – 0,2%); *mein Vater* (1 reakcja – 0,2%); *Freundschaft* (13 wskazań – 2,6%), *Freunde* (6 reakcji – 1,2%), *Freund* (1 reakcja – 0,2%).

Pośrednio do powyżej wspomnianego wymiaru prawdy odnoszą się również reakcje wyrażone słowami – polskim *zaufanie* (12 wskazań – 2,4%), rosyjskimi *доверие* (36 wskazań – 7,2%), *уважение* (4 reakcje – 0,8%) i niemieckim *Vertrauen* (16 wskazań – 3,2%) – *a priori* implikującymi obecność interlokutora. Asocjaty odnośnie do dialogicznego pojmowania prawdy silnie zakotwiczone są w świadomości językowej rosyjsko- i niemieckojęzycznych uczestników eksperymentu – odpowiednio 10,6% i 10% ujęzykowień, nieco rzadziej na intersubiektywność prawdy wskazują Polacy (7,8% werbalizacji).

Dalsza analiza profilu skojarzeniowego prawdy ujawnia, że jest to w mniemaniu respondentów pojęcie wyjątkowo narażone na użycia manipulacyjne. Już, *nota bene*, w filozofii starożytnej, obok koncepcji prawdy jako bytu idealnego, prawdy pojmowanej jako najwyższa wartość (Platon, Arystoteles), a więc teorii akcentującej bezinteresowność dążenia do prawdy, zaczęto rozwijać idee prawdy o charakterze dynamicznym, prawdy praktycznej, wysuwając tym samym tezę o braku prawdy powszechnej (sofiści). Sceptycyzm w odniesieniu do prawdy, jej utylitarny charakter i pragmatyzm szczególnie silnie zaznacza się w epoce nowożytnej (Dewey, Nietzsche). Tę subiektywną, ulotną i relatywną naturę prawdy zauważa niewielu respondentów polsko- i rosyjskojęzycznych (odpowiednio 1% i 4% werbalizacji). Przekonanie o względności i użyteczności prawdy najsilniej utrwaliło się w mentalnych strukturach ankietowanych Niemców (ogółem aż 14,2% asocjatyw), por. np.:

– asocjaty polskojęzyczne: *jest względna* (1 reakcja – 0,2%), *nie ma jednej* (1 reakcja – 0,2%), *relatywna* (1 reakcja – 0,2%), *względna sprawa* (1 reakcja – 0,2%), *wybór* (1 reakcja – 0,2%);

– asocjaty rosyjskojęzyczne: *у каждого своя* (7 reakcji – 1,4%), *интерпретация* (1 reakcja – 0,2%), *кому и для чего* (1 reakcja – 0,2%), *никогда не бывает одна* (1 reakcja – 0,2%), *относительна* (1 reakcja – 0,2%), *полу-правда* (1 reakcja – 0,2%), *разная* (1 reakcja – 0,2%), *субъективна* (1 reakcja – 0,2%), *субъективное суждение* (1 reakcja – 0,2%), *тактичность* (1 reakcja – 0,2%);

– asocjaty niemieckojęzyczne: *subjektiv* (31 wskazań – 6,2%), *relativ* (24 wskazania – 4,8%), *es gibt viele Wahrheiten* (2 reakcje – 0,4%), *biegsam* (1 reakcja – 0,2%), *dehnbar* (1 reakcja – 0,2%), *die halbe Wahrheit* (1 reakcja – 0,2%), *individuell* (1 reakcja – 0,2%), *ist relativ* (1 reakcja – 0,2%), *nicht immer die beste Lösung* (1 reakcja – 0,2%), *Methodenlehre* (1 reakcja – 0,2%), *reflexives Denken* (1 reakcja – 0,2%), *verschweigt man manchmal besser* (1 reakcja – 0,2%), *wenn nötig* (1 reakcja – 0,2%).

Wśród respondentów reprezentujących odmienne kultury nie ma pełnej zgodności odnośnie do sprecyzowania „nośników” prawdy. Dla Polaków będzie to przede wszystkim instytucja sądownictwa w ogóle oraz reprezen-

tujące ją osoby, por.: *sąd* (17 wskazań – 3,4%), *sędzia* (2 reakcje – 0,4%); *prawo*, *sądy* (1 reakcja – 0,2%). Pogląd ten wyraża 4% badanych. Niemcy wiążą prawdę z nauką i wiedzą oraz dzieckiem (2% odpowiedzi), por.: *Wissenschaft* (6 reakcji – 1%), *Wissen* (3 reakcje – 0,6%), *Wissen(schaft)* (1 reakcja – 0,2%), *Kind* (5 reakcji – 1%), *Kinder* (1 reakcja – 0,2%). Rosjanie przywołują słowo *русская* (4 reakcje – 0,8%), implicytnie wskazując na związek prawdy i prawa (reguł), oraz, podobnie jak ich zachodnioeuropejscy rówieśnicy, odwołują się do prawdomówności dziecka, *ребёнок* (5 reakcji – 0,6%). Tylko Polacy (1,4% werbalizacji) i zwłaszcza Rosjanie (3,2% ujęzykowień) wskazują w omawianym kontekście na egzystencjalny wymiar prawdy, autentyczność bytu człowieka, por.: odpowiedzi w języku polskim – *życie* (6 reakcji – 1,2%), *życie ludzkie* (1 reakcja – 0,2%); odpowiedzi w języku rosyjskim – *жизнь* (9 wskazań – 1,8%), *жизни* (5 reakcji – 1%), *о жизни* (1 reakcja – 0,2%), *это жизнь* (1 reakcja – 0,2%).

Prawda zyskuje aksjotyczne nacechowanie poprzez sytuowanie jej na równi z szeregiem innych wartości, w tym również transcendentaliów. Polacy, dla których ta pośrednia aksjologizacja stanowi istotną konceptualizacyjną część profilu skojarzeniowego prawdy, odwołują się najczęściej do uczciwości, dobra i sprawiedliwości – *uczciwość* (65 wskazań – 13%), *dobro* (13 wskazań – 2,6%), *sprawiedliwość* (10 wskazań – 2%), *sprawiedliwy* (1 reakcja – 0,2%). W odpowiedziach rosyjskojęzycznych wartością utożsamianą z prawdą jest sprawiedliwość – *справедливость* (12 wskazań – 2,4%). Młodzi Niemcy akcydentalnie wiążą prawdę również ze sprawiedliwością – *gerecht* (1 reakcja – 0,2%), *Gerechtigkeit* (1 reakcja – 0,2%), co odpowiada rozwijanej w filozofii koncepcji sprawiedliwości jako prawdy wobec drugiego człowieka, uznania i poszanowania jego godności. Stanowisko takie podziela między innymi współczesny włoski filozof moralny Vittorio Possenti¹⁵. W świadomości językowej pojedynczych uczestników testu prawda koresponduje także z innymi wartościami (przede wszystkim etycznymi), co ilustrują przykładowe reakcje:

– w języku polskim: *godność* (2 reakcje – 0,4%), *lojalność* (2 reakcje – 0,4%), *moralność* (2 reakcje – 0,4%), *honor* (1 reakcja – 0,2%);

– w języku rosyjskim: *честь* (3 reakcje – 0,6%), *добросовестность* (1 reakcja – 0,2%);

– w języku niemieckim: *Achtung* (1 reakcja – 0,2%), *Schönheit* (1 reakcja – 0,2%), *Weisheit* (1 reakcja – 0,2%), *Würde* (1 reakcja – 0,2%).

Prawda nie jest badanym obojętna. Prawdomówność, jak zauważają nieliczni ankietowani, wymaga wprawdzie odwagi i bywa wyzwaniem – por. takie reakcje jak: *odwaga* (2 reakcje – 0,4%), *trud* (1 reakcja – 0,2%),

¹⁵ H. R a r o t, *Sprawiedliwość jako prawda*, [w:] *Czy sprawiedliwość jest możliwa?*, pod red. D. Probućkiej, Kraków 2008, s. 103.

wyzwanie (1 reakcja – 0,2%); *смелость* (1 reakcja – 0,2%), *Mut* (2 reakcje – 0,4%), jednak doświadczanie jej jest źródłem rozmaitych, zdecydowanie pozytywnych odczuć i stanów, zarówno zmysłowych, jak i psychicznych, por. wybrane skojarzenia:

– w języku polskim: *spokój* (2 reakcje – 0,4%), *wewnętrzny spokój* (1 reakcja – 0,2%), *ciepło* (1 reakcja – 0,2%), *komfort* (1 reakcja – 0,2%), *po czucie wolności* (1 reakcja – 0,2%), *wolność* (1 reakcja – 0,2%), *radość* (1 reakcja – 0,2%), *spełnienie* (1 reakcja – 0,2%), *uśmiech* (1 reakcja – 0,2%);

– w języku rosyjskim: *спокойствие* (2 reakcje – 0,4%), *лёгкость* (1 reakcja – 0,2%), *свобода* (1 reakcja – 0,2%), *стабильность* (1 reakcja – 0,2%);

– w języku niemieckim: *Erleichterung* (1 reakcja – 0,2%), *reines Gewissen* (1 reakcja – 0,2%).

To (implicitne) dodatnio ukierunkowane wartościowanie prawdy znajduje potwierdzenie w pozostałych asocjatach waluatywnych. Są one werbalizowane z pomocą zarówno prymarnie, jak i wtórnie wartościujących środków językowych. Uznanie dla prawdy jako wartości zaznacza się szczególnie wyraźnie w ankietach niemieckojęzycznych – 10,2% skojarzeń. Mniej odpowiedzi o charakterze oceniającym *in plus* przytaczają przedstawiciele polskiej społeczności studenckiej (6% ogółu werbalizacji), najmniej zaś Rosjanie (4,6% ujęzykowien). W katalogu skojarzeń waluatywnych pozytywnych znalazły się między innymi następujące reakcje:

– polskojęzyczne: *czystość* (5 reakcji – 1%), *podstawa* (4 reakcje – 0,8%), *najważniejsza* (3 reakcje – 0,6%), *wartość* (3 reakcje – 0,6%), *bardzo ważna* (1 reakcja – 0,2%), *ponad wszystko* (1 reakcja – 0,2%), *priorytet* (1 reakcja – 0,2%), *przede wszystkim* (1 reakcja – 0,2%), *wartość, o którą warto walczyć* (1 reakcja – 0,2%);

– rosyjskojęzyczne: *нужна* (6 reakcji – 1,2%), *чистота* (5 reakcji – 1%), *всегда* (2 reakcje – 0,4%), *хорошо* (2 reakcje – 0,4%), *лучше чаще* (1 reakcja – 0,2%), *любой ценой* (1 reakcja – 0,2%), *цель* (1 reakcja – 0,2%), *это главное* (1 reakcja – 0,2%);

– niemieckojęzyczne: *wichtig* (11 wskazań – 2,2%), *erstrebenswert* (5 reakcji – 1%), *Reinheit* (2 reakcje – 0,4%), *Tugend* (2 reakcje – 0,4%), *das Beste was es gibt* (1 reakcja – 0,2%), *Grundlage* (1 reakcja – 0,2%), *gut* (1 reakcja – 0,2%), *Hauptsache* (1 reakcja – 0,2%), *heilig* (1 reakcja – 0,2%), *höchstes Gut* (1 reakcja – 0,2%), *Priorität* (1 reakcja – 0,2%), *sehr wichtig* (1 reakcja – 0,2%), *wofür es sich lohnt zu kämpfen* (1 reakcja – 0,2%).

Wartościowanie prawdy ma charakter dwuosioowy. Obok asocjatów waluatywnych dodatnich w odpowiedziach respondentów pojawiają się skojarzenia ukierunkowane *in minus* – najczęściej w ankietach rosyjsko- i niemieckojęzycznych (odpowiednio 6% i 6,6% ogółu werbalizacji), dwukrotnie rzadziej w ankietach polskich uczestników testu (3,2% wszystkich wskazań), por. wybrane najbardziej charakterystyczne reakcje:

– w języku polskim: *bolesna* (2 reakcje – 0,4%), *gorzka* (2 reakcje – 0,4%), *trudna* (2 reakcje – 0,4%), *boli* (1 reakcja – 0,2%), *czasem boli* (1 reakcja – 0,2%), *nieszczęście* (1 reakcja – 0,2%), *smutek* (1 reakcja – 0,2%);

– w języku rosyjskim: *горькая* (9 wskazań – 1,8%), *глаза колет* (4 reakcje – 0,8%), *уши режет* (3 reakcje – 0,6%), *боль* (1 reakcja – 0,2%), *вред* (1 reakcja – 0,2%), *мало пользы* (1 reakcja – 0,2%), *молот* (1 reakcja – 0,2%), *тяжесть* (1 reakcja – 0,2%);

– w języku niemieckim: *kann weh tun* (3 reakcje – 0,6%), *tut manchmal weh* (3 reakcje – 0,6%), *ist manchmal schmerzhaft* (1 reakcja – 0,2%), *kann hart sein* (1 reakcja – 0,2%), *manchmal schadet* (1 reakcja – 0,2%), *mächtiges Schwert* (1 reakcja – 0,2%), *nicht zu verkraften* (1 reakcja – 0,2%), *Schmerz* (1 reakcja – 0,2%), *schmerzlich* (1 reakcja – 0,2%), *Stress* (1 reakcja – 0,2%), *tut oft weh* (1 reakcja – 0,2%), *tut weh* (1 reakcja – 0,2%).

Trudno jest zaś jednoznacznie rozstrzygnąć kierunek ewaluacji w modelu sprawczym prawdy osadzonym w odpowiedziach zwerbalizowanych przez 3,6% Rosjan słowem *сила* (18 wskazań).

Niesprzeczne są natomiast niezbyt licznie obecne w ankietach poglądy odnośnie do faktu istnienia prawdy. Dwunastu ankietowanych Polaków (2,4% respondentów), ośmiu Rosjan (1,6%) i jedenastu respondentów zza zachodniej granicy (2,2%) uważa, iż prawda jest wartością, która pojawia się zbyt rzadko, lub w ogóle neguje obecność prawdy, por.:

– asocjaty polskojęzyczne: *nie istnieje* (3 reakcje – 0,6%), *brak* (2 reakcje – 0,4%), *nie ma prawdy* (1 reakcja – 0,2%), *niemożliwa do poznania* (1 reakcja – 0,2%), *nieosiągalność* (1 reakcja – 0,2%), *poszukiwana* (1 reakcja – 0,2%), *rzadko ujawniana w całości* (1 reakcja – 0,2%), *trudna do osiągnięcia* (1 reakcja – 0,2%), *w tych czasach o nią ciężko* (1 reakcja – 0,2%);

– asocjaty rosyjskojęzyczne: *редкость* (5 reakcji – 1%), *её отыскать* (1 reakcja – 0,2%), *редкая вещь* (1 reakcja – 0,2%), *редко* (1 reakcja – 0,2%);

– asocjaty niemieckojęzyczne: *selten* (4 reakcje – 0,8%), *abstrakt* (1 reakcja – 0,2%), *gibt es nicht* (1 reakcja – 0,2%), *leider zu selten* (1 reakcja – 0,2%), *nicht erreichbar* (1 reakcja – 0,2%), *schwierig zu erkennen* (1 reakcja – 0,2%), *unmöglich* (1 reakcja – 0,2%), *unbekannt* (1 reakcja – 0,2%).

Pozostałe reakcje nie są spójne w planie semantycznym i logicznym, stanowią przypuszczalnie echo silnie zindywidualizowanych doświadczeń ankietowanej młodzieży.

Zaskakuje stosunkowo niska pozycja prawdy w deklarowanym przez ankietowanych rankingu wartości. W hierarchii wyborów prawda umieszczana jest najwyższej przez polskich studentów i zajmuje ósme miejsce (60,6% wskazań). Nieco mniej uznania wartość ta znajduje u badanych rosyjskojęzycznych, którzy przypisali jej miejsce dziewiąte (28,4% wskazań), najrzadziej prawdą kierują się na co dzień młodzi Niemcy, sytuując ją na odległej trzynastej pozycji (48% wskazań). Różnica płci pociąga za

sobą wahania w obrębie pozycji przypisywanej prawdzie w klasyfikacji hierarchicznej jedynie w badanej społeczności rosyjskojęzycznej, gdzie wyraźnie niższe wskaźniki odnotowano u kobiet – czternasta lokata (21,2% wskazań).

Bibliografia

- A r y s t o t e l e s, *Metafizyka*, tłum. K. Leśniak, Warszawa 1983.
- C h l e b d a W., *Płaszczyzny oglądu językowego obrazu świata*, [w:] *Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich I*, red. S. Gajda, Opole 2000, s. 163–178.
- Egzystencjalne i aksjologiczne wymiary prawdy, dobra i piękna*, pod red. J. Gazdy i W. Mor-szczyńskiego, Kraków 2007.
- F e r n á n d e z - A r m e s t o F., *Historia prawdy*, przekł. J. Ruszkowski, Poznań 1999.
- G a j d a J., *Wartości w życiu człowieka. Prawda. Miłość. Samotność*, Lublin 1997.
- G a l a r o w i c z J., *Na ścieżkach prawdy*, Kraków 1992.
- H i l d e b r a n d D., *Fundamentalne postawy moralne*, tłum. E. Seredyńska, [w:] *Wobec wartości*, red. D. Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 1982, s. 7–50.
- O l b r y c h t K., *Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby*, Katowice 2000.
- R a r o t H., *Sprawiedliwość jako prawda*, [w:] *Czy sprawiedliwość jest możliwa?*, pod red. D. Probuckiej, Kraków 2008, s. 95–106.
- R o d z i e w i c z B., *Wartości. Polacy – Rosjanie – Niemcy*, Szczecin 2014.
- T o m a s z z A k w i n u, *Kwestie dyskutowane o prawdzie*, tłum. I. Kuczyński, t. 1, Kęty 1998.
- W i e r z b i c k a A., *Słowa klucze. Różne języki – różne kultury*, Warszawa 2007.
- Г а н е е в Б., *Противоречия в языке и речи*, Уфа 2004.
- Т а р а с о в Е. Ф., *Актуальные проблемы анализа языкового сознания*, [w:] *Языковое сознание и образ мира*, ред. Н. В. Уфимцева, Москва 2000, s. 24–32.

IKONICZNOŚĆ W TEKSTACH EPISTOLARNYCH
MICHAŁA BUŁHAKOWA

ICONICITY IN THE EPISTOLARY NOVELS OF MIKHAIL BULGAKOV

BEATA RYCIELSKA

ABSTRACT. The article pertains, in broad terms, to the concept of imaging of an act in language proposed by Ronald W. Langacker within the framework of cognitive grammar. In the narrow sense, it depicts one of the parameters of imaging – diagrammatical quantitative iconicity. The iconicity was described by applying the theory of a network model. On the basis of letters written by Mikhail Bulgakov, it was possible to distinguish concepts which result from the quantity of the linguistic form creating an utterance and which appear in context. They supplement an open list of meanings of the quantitative iconicity category that have been previously defined by researchers.

Beata Rycielska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Polska, rycielska@o2.pl

Zastosowanie założeń językoznawstwa kognitywnego, głównie teorii obrazowania Ronalda W. Langackera, do badania uzusu językowego ma w nauce bogatą tradycję. Od wielu lat wykorzystywane jest ono także do szczegółowych opisów przekładu¹ oraz analizy tekstów literackich. Ta koncepcja gramatyki pozwala określić funkcje poznawcze środków językowych wybranych przez nadawcę spośród znanych mu i dostępnych w języku w celu konstruowania zdarzenia. Polega ona na dogłębnej charakterystyce roli, jaką w konceptualizowanej scenie odgrywają poszczególne elementy jej podłoża pragmatycznego odzwierciedlone w języku, m.in. postawa obserwatora wobec zdarzenia, o którym on się wypowiada. Wartość tego podejścia opiera się w szczególności na jego zdolności do skrupulatnego wyjaśnienia struktur językowych użytych w obrazowaniu sceny.

Na podstawie tekstów epistolarnych, które zawiera *Dziennik Mistrza i Matgorzaty*² Michaiła i Jeleny Bułhakowów, staramy się pokazać, jak przejawia się w języku jeden z parametrów obrazowania zdarzeń – ikonicz-

¹ Zob. E. T a b a k o w s k a, *Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac*, red. P. de Bończa Bukowski i M. Heydel, Kraków 2015, s. 7.

² М. и Е. Б у л г а к о в ы, *Дневник Мастера и Маргариты*, состав., предисл., коммент. В. И. Лосев, Москва 2012.

ność, głównie zaś diagramatyczna ikonizacja ilościowa. W tym wypadku specyfika funkcjonowania znaku językowego tkwi w odzwierciedleniu sposobów konceptualizowania różnorodnych relacji międzyludzkich. Chodzi z jednej strony o emocjonalny, bezpośredni stosunek pisarza do bliskich i przyjaciół, z drugiej zaś o dystans twórcy do ówczesnej władzy.

W Rosji w 2003 roku, poza wcześniejszymi publikacjami, *Dziennik* ukazał się, według źródeł, w najbardziej wiarygodnej wersji. Odnaleziony został w roku 1926 po 60 latach od momentu konfiskaty przez służby OGPU³. Dzięki niemu można poznać wiele faktów z życia M. Bułhakowa, z historii rodziny, znajomych i przyjaciół oraz kraju. Obejmuje okres od 17 listopada 1921 roku do 13 marca, dnia śmierci pisarza w roku 1940. Pierwsza część *Dziennika* nosi znamienity tytuł *Pod butem* (Под нямом). Zawiera dzienniki i listy Bułhakowa do rodziny, przyjaciół, znajomych, władz teatrów, pojedyncze pisma do J. W. Stalina. Kończy się na 1933 roku. Na drugą część pt. *Powieść trzeba zakończyć...* (Роман нужно окончить...) składa się dziennik pisany ręką drugiej małżonki Bułhakowa, Jeleny, oraz listy pisarza do rodziny, przyjaciół, znajomych i in.

Zarówno w jednej, jak i w drugiej części *Dziennika* zwraca uwagę m.in. forma listów⁴, przede wszystkim sposoby powitań i pożegnań skierowanych do adresatów przesyłek. Elementy te wyróżniane są w typowej korespondencji. Zdaniem Tony Bexa i Virginii Evans każdy list powinien zawierać zwrot grzecznościowy pod adresem odbiorcy oraz formułkę pożegnalną wskazującą na nadawcę wraz z towarzyszącym jej ręcznym podpisem⁵.

W literaturze przedmiotu pierwszy rodzaj elementu listu określa się jako człon inicjalny ramy tekstowej, drugi – jako człon finalny. W wypadku członów inicjalnych chodzi o zwrot do adresata (nagłówek) oraz segment wstępny (formuła inicjująca). W artykule poświęconym listom Marii Kopnickiej do stryja Ignacego Wasiłowskiego Przemysław Wiatrowski odwołuje się do tekstu Anny Kałkowskiej, która pisze, że

Do typowych formuł rozpoczynających tekst epistolarny zalicza się konstrukcje zawierające podziękowanie za otrzymany list lub przeprosiny za przerwę w ko-

³ ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР (1923–1934).

⁴ Tradycyjny list (nie elektroniczny) jest wiadomością nadawcy dla odbiorcy zapisaną na kartce papieru i wysyłaną w kopercie. Typowe cechy każdego listu (także elektronicznego) to jego użyteczność i pragmatyczność. Zob. m.in. S. S k w a r c z y Ń s k a, *Teoria listu*, Białystok 2006.

⁵ T. B e x, *Variety in Written English*, London–New York 1996, s. 156; V. E v a n s, *Successful Writing: Proficiency*, 1997, s. 82, za: T. S z c z y g ł o w s k a, *List do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski*, „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 84, [w:] źródło elektroniczne: http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/079_szczyglowska.pdf

respondencji, potwierdzające odbiór listu, nawiązujące do wcześniejszych wypowiedzi adresata lub nadawcy, stwierdzające fakt przystąpienia do korespondencji⁶.

Zespół sygnałów początku uzupełniają również struktury wyjaśniające powód pisania czy przekazujące pozdrowienia⁷. W wypadku członów finalnych ramy tekstowej chodzi o segment rozwiązujący kontakt oraz segment identyfikujący nadawcę (podpis)⁸.

Na przykładzie tego, jak obrazowane są w języku wybrane elementy kompozycyjne tekstu epistolarnego – zwrot do adresata (nagłówek) oraz segment identyfikujący nadawcę (podpis), można określić, jakiego rodzaju relacje międzyludzkie łączą autora listu i jego odbiorcę. Sposoby wyrażania tych więzi w korespondencji mają m.in. postać ikoniczną. Zasada funkcyjnowania znaku⁹ ikonicznego, w odróżnieniu od indeksowego i symbolicznego, które wśród znaków wydziela Charles S. Peirce, polega na tworzonym przez umysł podobieństwie między formą znaku a jego znaczeniem¹⁰. Badacze, m.in. John R. Taylor¹¹, E. Tabakowska¹², podkreślają podstawową rolę interpretatora w tworzeniu znaków zgodnie z myślą, że podobieństwo między formą a znaczeniem ikony istnieje wtedy, gdy zostanie przez kogoś dostrzeżone. Tabakowska zauważa, że „Wyrażenia ikoniczne w języku nie wywodzą się wprost z procesów percepcyjnych, lecz są odzwierciedleniem struktur pojęciowych”¹³.

W swych pierwszych pracach Ronald W. Langacker sporadycznie wymienia pojęcie ikoniczności. W jego *Wykładach z gramatyki kognitywnej* I¹⁴

⁶ A. Kałkowska, *Struktura składniowa listu*, Wrocław 1982, s. 56–57, za: P. Wiatrowski, *O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego*, „Język, Komunikacja, Informacja” 2006, nr 1, s. 132, przypis 27., [w:] źródło elektroniczne: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4737/1/11-Wiatrowski.pdf>

⁷ K. Dąta, *Struktura tekstu listowego*, „Język Polski” 1989, nr 3–5, s. 149, za: P. Wiatrowski, op. cit.

⁸ Zob. M. Wojtak, *Stylistyka listów do redakcji na przykładzie poczty redakcyjnej miesięcznika „bike-Board”*, „Synchroniczne i Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny” 2002, t. VIII, s. 199.

⁹ Pojęcie ikoniczności odnosi się do teorii znaków, zgodnie z którą na znak składa się strona oznaczająca i strona oznaczana (odpowiednio *signifiant* i *signifié* w terminologii F. de Saussure’a).

¹⁰ Znaki indeksowe polegają na zasadzie przyległości formy i treści, znaki symboliczne – na zasadzie społecznej konwencji.

¹¹ J. R. Taylor, *Gramatyka kognitywna*, przeł. M. Buchta, Ł. Wiraszka, Kraków 2007 (2002), s. 52.

¹² E. Tabakowska, *Ikoniczność: podobieństwo i tertium comparationis*, „Przestrzenie teorii” 2003, nr 2, s. 104; tejże, *Myśl językoznawcza z myślą o przekładzie...*, op. cit., s. 141.

¹³ E. Tabakowska, *Ikoniczność: podobieństwo i tertium comparationis*, „Przestrzenie Teorii” 2003, nr 2, s. 105.

¹⁴ R. W. Langacker, *Wykłady z gramatyki kognitywnej I*, Lublin 1995.

czy w *Leksykonie językoznawstwa kognitywnego* Vyvyana Evansa¹⁵ pojęcie to się nie pojawia. W *Wykładach z gramatyki kognitywnej II* oraz w *Gramatyce kognitywnej. Wprowadzenie* R. W. Langacker omawia zjawisko dynamiczności¹⁶, o którym pisze przy okazji jako o jednym z parametrów obrazowania, i wykorzystuje do jego opisu m.in. właśnie pojęcie ikoniczności, określonej jako czasowa¹⁷. John R. Taylor w *Gramatyce kognitywnej*¹⁸ charakteryzuje ikoniczność w perspektywie teorii semiotycznej Charlesa S. Peirce'a, ponadto przedstawia pozostałe rodzaje znaków – indeksowe oraz symboliczne.

W ostatnich kilkunastu latach zjawisko ikoniczności znalazło się w centrum uwagi badaczy z kręgu gramatyki kognitywnej. Źródła naukowe przytaczają przede wszystkim wyróżnione przez Charlesa S. Peirce'a trzy typy ikoniczności: obrazową, diagramatyczną i metaforę, zwaną także ikonicznością semantyczną. John R. Taylor definiuje pierwszy typ następująco: „Znak ikoniczny jest podobny do przedmiotu, który reprezentuje. [...] znak „wygląda” bądź „brzmi” jak rzecz, którą reprezentuje”¹⁹. Jako przykład autor wymienia znaki drogowe. Jolanta Antas²⁰ podobnie określa ikoniczność obrazową – jest to pojęcie, które implikuje, że istnieje pewne podobieństwo albo analogia między formą danego znaku a jego obiektem, między słowem i oznaczanym przez nie realnym przedmiotem. Przytacza przykłady wyrazów dźwiękonaśladowczych (onomatopei): „syczeć”, „drapać”, „krakać”, „wiał”, „na czczo”, „cicho”, „szumieć” itd.²¹ Z perspektywy lingwistyki kognitywnej J. Antas pokrótce charakteryzuje także dwa pozostałe typy ikoniczności: diagramatyczną i semantyczną (metaforę i metonię). Podczas gdy w przypadku ikoniczności obrazowej istnieje audytywne bądź kinetyczne połączenie między znakiem a desygnatem, to w przypadku ikoniczności diagramatycznej nie ma bezpośredniego połączenia między znakiem i jego desygnatem; to raczej struktura znaku lub zestawienie zna-

¹⁵ V. E v a n s, *Leksykon językoznawstwa kognitywnego*, przeł. M. Buchta i in., Kraków 2009 (2007).

¹⁶ W *Wykładach II* R. W. Langacker objaśnia, obok dyskursu, pojęcie dynamiczności w kontekście konceptualizacji, podkreślając, że znaczenie językowe rozumiane jako konceptualizacja ma charakter dynamiczny. Zob. R. W. L a n g a c k e r, *Wykłady z gramatyki kognitywnej II*, Lublin 2005, s. 83; zob. także *Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie*, Kraków 2009 (2008).

¹⁷ Takiego terminu użył autor; tradycyjnie zwana jest ikonicznością sekwencyjną, porządkiem / szykiem wyrazów w zdaniu.

¹⁸ J. R. T a y l o r, op. cit.

¹⁹ Ibidem, s. 53.

²⁰ Na podst.: J. A n t a s (i in.), *Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu. Czy Chrystus używałby POWERPOINTA?*, [w:] źródło elektroniczne: <http://portal.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=6415>

²¹ Zob. na ten temat m.in. pracę: M. B a ñ k o, *Współczesny polski onomatopeikon. Ikoniczność w języku*, Warszawa 2008.

ków na poziomie językowym przypomina sposób, w jaki owe desygnaty są uporządkowane w świecie rzeczywistym, czyli w zgodzie z naszą percepcją świata. Innymi słowy, ikoniczność diagramatyczna dotyczy zasad budowania struktury wypowiedzeniowej (gramatyki) tak, że odzwierciedla ona naturalny porządek poznawczy i percepcyjny człowieka. Ten typ ikoniczności opiera się na trzech zasadach:

1) na zasadzie sekwencyjnej, obecnie określanej także jako ikoniczna zasada chronologiczna lub ikoniczność gramatyczna. W tym wypadku składnia odwzorowuje naturalny przebieg zdarzeń, np. *veni, vidi, vici*;

2) na zasadzie ilościowej, która działa na podstawie formuły podobieństwa ilości formy i treści „więcej formy – więcej treści” i odwrotnie: „mniej formy – mniej treści”. Na przykład formy mnogie są zazwyczaj dłuższe od liczby pojedynczej. Ponadto reduplikacja wyrazów jest także częstym sposobem językowym na tworzenie liczby mnogiej, np. w języku zulu *cow-cow* ‘krowy’. Z kolei przykład *On biegnie i biegnie* mówi o długim czasie trwania czynności;

3) na zasadzie dystansu, zgodnie z którą elementy znajdujące się blisko siebie w sensie pojęciowym są także bliższe sobie na poziomie językowym. Na przykład w zdaniu *Kupiłem tę książkę dla Jana* i *Kupiłem tę książkę Janowi* celownik bardziej gwarantuje, że Jan będzie tę książkę miał.

Od czasu, kiedy w połowie lat 90. XX wieku w literaturze polskiej można było zapoznać się ze zjawiskiem ikoniczności jako parametrem obrazowania w teorii gramatyki kognitywnej²², tematyce tej poświęcono niemało uwagi. Pojawiają się czasopisma naukowe ukierunkowane na zgłębianie zagadnienia ikoniczności, odbywają się konferencje naukowe, publikowane są opracowania, których autorzy odkrywają nowe problemy i perspektywy poznawcze dotyczące ikoniczności. M. in. Elżbieta Tabakowska²³ i Masuko Hiraga²⁴ poruszają w swych pracach temat związku ikoniczności i metafory z kategorią podobieństwa i określają je jako typy podobieństwa. E. Tabakowska opisuje diagramy strukturalne jako metafory gramatyczne. Są one całkowicie skonwencjonalizowane i przez użytkowników języka odczytywane jako wyrażenia dosłowne, stanowiące element przejściowy między „zwykłą” (obrazową) ikonicznością i „prawdziwą” metaforą²⁵. „Prawdziwą” metaforę E. Tabakowska rozumie jako najwyższy i najbardziej złożony

²² E. T a b a k o w s k a, *Gramatyka i obrazowanie: wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego*, Kraków 1995; E. T a b a k o w s k a (red.), *Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa*, Kraków 2001.

²³ E. T a b a k o w s k a (red.), *Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest*, Kraków 2006.

²⁴ M. H i r a g a, *Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analysing Texts*, New York 2005, s. 190; za: P. D u c, *Ikoniczność jako cecha języka japońskiego*, [w:] *Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie*, red. E. Tabakowska i in., Kraków 2013, s. 23.

²⁵ E. T a b a k o w s k a (red.), *Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot...*, op. cit., s. 128.

typ ikonizacji, w którym podobieństwo pojawia się raczej jako wynik oryginalnej operacji umysłowej – „proces semantycznego blaknięcia (w diagramach strukturalnych – B. R.) prowadzi do gramatyzacji, czyli do redukcji leksemów samodzielnych semantycznie do funkcji wykładników funkcji gramatycznych”²⁶. Utworzona hierarchia *hipoikon* stanowi gradację: od obrazów (które należą do ikonizacji pierwszego rzędu) przez diagramy (ikonizacja drugiego rzędu) po metaforę, którą Tabakowska proponuje nazywać jako „ikonizacja trzeciego rzędu”²⁷.

Stosując założenia gramatyki kognitywnej, E. Tabakowska opisuje także pojęcie procesu ikonizacji (ikonizacji), rozumianego w literaturze przedmiotu jako subiektywizacja, oraz pojęcie *mimesis* (gr. *naśladowanie*), pełniące w literaturze pięknej rolę obiektywizacji. W wydanej w 2006 roku *Ikonizacja znaku* badaczka zauważyła, że w polskiej lingwistyce problemowi ikonizacji nie poświęcono uwagi, podczas gdy za granicą od dawna budzi on żywe zainteresowanie²⁸.

W miarę rozwoju badań zostały także wyróżnione zjawiska ikonizacji psychologicznej, ikonizacji tekstu²⁹, ikonizacji formy językowej w słowotwórstwie³⁰, ikonizacji języków migowych, w tym polskiego języka migowego. Sięgnięto również do historii pojęcia. Zwrócono mianowicie uwagę na to, że już w starożytności dzięki Sokratesowi, postrzeżanemu jako pierwszy teoretyk ikonizacji, pojawiły się uwagi dotyczące zjawisk językowych, które dziś określa się jako ikonizacyjne³¹. Przytoczone charakterystyki pokazują, że ikonizacja w języku jest szerokim pojęciem, niemającym ostrych granic.

W literaturze przedmiotu sporo miejsca poświęca się ikonizacji porządku sekwencyjnego i dystansu³². W dostępnych w ostatnich latach badaniach zwraca się także uwagę na zasadę ikonizacji ilościowej, o której E. Tabakowska pisze, że „Jest to zapewne typ ikonizacji najczęstszy w języku naturalnym”³³.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem, s. 9.

²⁹ Inaczej jest to imitacja, naśladowanie stylu innego autora, o czym E. Tabakowska pisze jako o zjawisku z pogranicza ikonizacji języka, jako o typie intertekstualności, który polega na podobieństwie „formy do formy”. Ibidem, s. 128.

³⁰ Na ten temat piszą m.in. Alicja Nagórko, Krystyna Waszakowa.

³¹ Zob.: E. T a b a k o w s k a i in. (red.), *Ikonizacja w języku, literaturze i przekładzie*, Kraków 2013.

³² Zob. E. T a b a k o w s k a i in. (red.), *Ikonizacja w języku, literaturze...*, op. cit.; Ł. W i r a s z k a, *Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego w relacji język polski – język angielski*, Kraków 2015.

³³ E. T a b a k o w s k a, *Ikonizacja znaków i struktur językowych jako typ podobieństwa*, [w:] *RRR Kognitywistyka 2. Podobieństwo*, red. H. Kardela., Z. Muszyński, M. Rajewski, Lublin 2006, s. 126.

Badacze upatrują problemu ikoniczności, także ilościowej, przede wszystkim w określeniu środków językowych służących ikonicznemu obrazowaniu zdarzenia. E. Tabakowska podaje, że „Ikoniczność ilościowa występuje na wszystkich poziomach organizacji znaków językowych – od pojedynczych dźwięków po strukturę tekstu i dyskursu”³⁴. Pojawia się ona również na wszystkich poziomach pozawerbalnej interakcji przez gestykulację i metafory wizualne³⁵.

E. Tabakowska wymienia przykłady działania tej zasady na poszczególnych poziomach języka³⁶. Na poziomie fonologicznym autorka przytacza m.in. wyrażenie *dhuuuga opowieść* jako ilustrację wspomnianego wcześniej niefonologicznego (niedystynktywnego) wzdłużenia samogłosek, które przejawia się zwłaszcza w językach niemających iloczasu³⁷. Konstrukcja prezentuje sposób konceptualizowania zdarzenia, polegający na podobieństwie dużej ilości formy językowej użytej w wypowiedzi do długiego czasu trwania zdarzenia, którego dotyczy wypowiedź. Z kolei w przykładzie *ziiimno tu* duża ilość formy oddaje znaczenie dużej intensywności cechy. Na poziomie morfologicznym przytaczany jest mechanizm reduplikacji. Może on być w danym języku konwencjonalny, inaczej – systemowy (zob. przykład wyżej), lub uwarunkowany kontekstowo. Jedną z ilustracji tego ostatniego jest powtórzenie przysłowka *dawno, dawno temu* na początku baśni. W języku rosyjskim powtórzenie zawiera dodatkowy sufiks: *давным-давно*. Duża ilość formy podobna jest do dużej odległości w czasie zdarzenia, o którym mówi nadawca. Na poziomie składni ikoniczność ilościowa przejawia się m.in. w postaci konstrukcji składniowej określanej jako asyndeton. Ta figura retoryczna zbudowana jest z szeregu współrzędnych członów lub zdań niepołączonych spójnikiem³⁸, jak we wspomnianym już przykładzie *veni, vidi, vici*. E. Tabakowska wymienia także typ powtórzenia określanej jako powtórzenie retoryczne, ilustrując je fragmentem wiersza Kazimierza Wierzyńskiego *Przejazdem w Nancy: Zieleń, zieleń, coraz więcej zieleni i przestrzeni*. Jest ono stosowane w celu podkreślenia znaczenia, zwiększenia ekspresji lub uzyskania rytmizacji. Poza tymi często wymienianymi typami konstrukcji ikonicznych zwraca się głównie uwagę na to, że zasadę ikoniczności ilościowej reprezentują liczne wyrażenia grzecznościowe typu: *zamknij okno vs. czy nie byłby pan tak uprzejmy i nie zamknął okna?* Ich podstawę stanowi pragmatyczna implikacja: „chcesz być grzeczny, powiedz więcej”.

³⁴ Ibidem.

³⁵ E. T a b a k o w s k a i in. (red.), *Ikoniczność w języku, literaturze...*, op. cit., s. 7.

³⁶ Zob. także m.in. E. T a b a k o w s k a (red.), *Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa*, op. cit.

³⁷ E. T a b a k o w s k a, *Ikoniczność znaków i struktur językowych...*, op. cit., s. 126.

³⁸ *Słownik języka polskiego*, [w:] źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/asyndeton>.

Nie są to jedyne konstrukcje reprezentujące kategorię ikoniczności ilościowej i jej znaczenia. Autorzy prac zebranych w tomie *Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie* (2013) wyróżniają inne jeszcze egzemplifikacje ikoniczności, w tym także niemało przykładów ikoniczności ilościowej. Kamila Korcz na podstawie prozy staroangielskiej wymienia na poziomie fonologicznym paronomazję, figurę retoryczną – diaforeę, rodzaj grzeczności językowej – tzw. ogródki, tj. mówienie nie wprost. Porównując m.in. języki polski i rosyjski, Izabela Kozera pisze o niektórych pleonazmach wektorowych opozycji wertykalnej w postaci konstrukcji zawierających czasowniki z prefiksami *wz(ws)-*, *z(s)-*, *pod-*, *w-* oraz przysłówki, np.: *wspiąć się do góry / w górę, подняться вверх, zejść na dół, спуститься вниз* itd. Anna Anielska zwraca uwagę na przykłady reduplikacji w korpusie tekstów, które dotyczą tworzenia skrótów (*Św. św. Piotra i Pawła*) oraz nagromadzenia przymiotników w stopniu najwyższym, by wskazać wielkość budowli (Jedna z *najpiękniejszych i najbardziej okazałych* rezydencji renesansowych w Europie Środkowej...)³⁹. Ewa Żmudzin-Zielińska wymienia krótkie zdania i ich funkcję informacyjną, oraz przeciwnie – niezwykle nagromadzenie przymiotników, także wielokrotnie złożonych, i kreowanie rytmu tekstu.

E. Tabakowska zauważa istotną cechę konstrukcji, które realizują zasadę ikoniczności ilościowej. Chodzi w nich nie tylko o stosunek ilości formy do treści, lecz także o inną zasadę ikoniczności – zasadę dystansu (proksymalności). Zarówno jedna, jak i druga współwystępują i współdziałają ze sobą w procesie konceptualizowania przez nadawcę określonego zdarzenia. Dłuższa wypowiedź bowiem jest nie tylko grzeczniejsza, ale ikonicznie sygnalizuje, jak pisze autorka, większy dystans między rozmówcami, natomiast krótka wypowiedź jest nie tylko mniej grzeczna, ale ikonicznie odzwierciedla nieznaną społecznych dystansów obcesowość⁴⁰, brak dystansu. Wspomniane „połączenie sił” w wypadku obu zasad ikoniczności E. Tabakowska określa jako bardzo charakterystyczne dla samego zjawiska ikoniczności i stwierdza, że „Wszelkie typologie są więc przede wszystkim zabiegami o charakterze teoretyczno-metodologicznym”⁴¹. W procesie konceptualizowania oba sposoby percepcji zdarzenia nie są od siebie oddzielone.

Na podstawie omawianych poniżej tekstów epistolarnych Michaiła Bułhakowa można zauważyć, że kategorię ikoniczności ilościowej wzbogacają inne jeszcze możliwości obrazowania zdarzeń. Dotyczą one sposobów konceptualizacji stosunku autora korespondencji do jej adresata. Wybór środków językowych do konstruowania tej relacji jest determinowany przez punkt odniesienia, który uszczegółowia odbiorca korespondencji. Uwzględniając

³⁹ E. T a b a k o w s k a i in. (red.), *Ikoniczność w języku, literaturze...*, op. cit., s. 45.

⁴⁰ E. T a b a k o w s k a, *Ikoniczność znaków i struktur językowych...*, op. cit., s. 127.

⁴¹ Ibidem.

ten aspekt pragmatyczny listu, w pierwszej części *Dziennika* można wydzie-
lić, obok dziennika, listy Michaiła Bułhakowa do bliskich – matki, brata Niko-
łaja, przyjaciół i znajomych; pisma do dyrektorów wydawnictw i teatrów,
które zawierają prośby o publikowanie i wystawianie jego utworów, także
pisma do władz państwowych, w tym do J. W. Stalina. W tych ostatnich
autor zwraca się z powodu skrajnej nędzy m.in. o zezwolenie na wykony-
wanie jakiegokolwiek pracy lub – w wypadku braku takiej zgody – o po-
zwolenie na wyjazd z kraju. Druga część *Dziennika* zawiera listy do rodzi-
ny, przyjaciół, znajomych, dwa pisma do J. W. Stalina (s. 208, s. 401), dwa
podania do teatru i związku pisarzy, list do Maksyma Gorkiego. Ponadto
Jelena Bułhakowa zamieściła tu liczną korespondencję otrzymaną od męża.

W zależności od tego, kto jest adresatem korespondencji, konstrukcje
stanowiące powitania i pożegnania w listach, nagłówki i zakończenie
w pismach urzędowych mogą obrazować bliskość emocjonalną autora
w stosunku do odbiorcy, bądź przeciwnie – poczucie dystansu wobec nie-
go. Otóż większa ilość materiału językowego mówi z jednej strony o inten-
sywniejszych pozytywnych emocjach nadawcy wobec adresata. Pokazują
to liczne listy do rodziny, przyjaciół. Z drugiej strony większa ilość mate-
riału językowego świadczy o tym, że nadawcę oddziela od odbiorcy więk-
szy dystans społeczny, zawodowy itd. Można to stwierdzić na przykładzie
pism do dyrektorów teatrów, do władz państwowych, także do Stalina.
Z kolei w innych kontekstach mniejsza ilość wypowiedzi jest wyrazem
małego dystansu nadawcy wobec rodziny, przyjaciół, oraz emocjonalnej
bliskości, rodzinnej i przyjacielskiej więzi, lub przeciwnie – wskazuje na
oficjalny, urzędowy charakter relacji.

Przykłady konstrukcji, które w części początkowej i finalnej listów od-
zwierciedlają zróżnicowane sposoby konceptualizowania stosunków mię-
dzyludzkich, pozwalają sądzić, że pojęcie ikoniczności ilościowej można
postrzegać jako spójną znaczeniowo kategorię, która nie ma ostrych granic
i ulega w kontekście uszczegółowieniom semantycznym. Kategoria iko-
niczności jawi się zatem jako model sieciowy zaproponowany w teorii gra-
matyki kognitywnej przez Ronalda W. Langackera w postaci narzędzia słu-
żącego do opisu kategorii językowych i ich struktur pojęciowych. Jest ten
model przedstawieniem sposobów kategoryzowania rzeczywistości, mecha-
nizmów poznawczych, których wynikiem są skonwencjonalizowane lub
nowe pojęcia rozwijające zakorzenioną w języku kategorię leksykalną bądź
gramatyczną.

Ikoniczność ilościowa ma zatem cechy spójnego *gestaltu*, całości. Zgod-
nie z teorią modelu sieciowego można mówić o jej schematycznym (ogól-
nym, abstrakcyjnym) pojęciu, którym jest PODOBIENSTWO ILOŚCI FORMY
DO TREŚCI. Jest ono wspólne dla struktur semantycznych, które można
wyróżnić w danej kategorii. Jej różnorodne znaczenia łączy w spójną kate-

gorię, wpływa na jedność jej różnorodnych znaczeń, które realizują się w swoich kontekstach. Razem tworzą holistyczny model sieciowy. Uszczegółowieniem schematu jest prototypowe i znane już na podstawie dotychczasowej charakterystyki pojęcie grzeczności. Opiera się ono na formule „dużo formy, dużo treści”, z której wynika, że im większa ilość formy językowej wyraża grzeczność, tym grzeczność jest większa. Zasada ta stanowi także podstawę pojęć, które można określić jako peryferyjne, semantycznie rozszerzające prototyp kategorii: systemowego kategoryzowania wielości przedmiotów przez reduplikację (np. *cow-cow* 'krowy' w języku zulu), dużej odległości względem punktu odniesienia (*daleko, daleko*), dużego odstępu w czasie (*dawno, dawno temu*). Ponadto za pomocą wzdłużenia głoski realizowana jest m.in. większa intensywność cechy zjawiska (*duuuży*), wyróżnienie przedmiotu (*stoooty*), przywołanie (*maaamo!*). Te znane struktury pojęciowe kategorii ikoniczności ilościowej nie są obrazowane w omawianych listach M. Bułhakowa, podobnie jak stanowiące rozszerzenie prototypu tej kategorii wspomniane już znaczenia, które wyróżnili autorzy pracy zbiorowej⁴², a także pojęcie obcesowości nadawcy wobec odbiorcy, odzwierciedlone przez małą ilość tekstu, które wymienia E. Tabakowska.

Natomiast to, co na przykładzie tekstów epistolarnych wydaje się nowe w modelu ikoniczności, to:

– z jednej strony – stanowiące rozszerzenie prototypu pojęcie pozytywnych uczuć wobec punktu odniesienia. Uszczegółowiają go dobrzy znajomi i przyjaciele, wyróżnieni za pomocą imion i patronimików, także nazwy zajęcia. Wyrażająca powitanie większa ilość formy językowej przedstawia konceptualizację większej intensywności dobrych emocji, które odczuwa nadawca listu wobec adresata: szacunku lub wielkiego szacunku oraz przyjaźni. Z kolei przykłady pożegnań mówiące o emocjonalnej bliskości wobec adresata obrazuje mało formy lub znaczący jej brak. W pierwszym przypadku autor chętnie stosuje zaimki posesywne w ich amicytatywnej funkcji, która podkreśla silną więź i oddanie łączące nadawcę z adresatem listów. Poniżej podajemy kilka cytatów ilustrujących pozytywną intensywną emocjonalność powitań i pożegnań, którą kieruje M. Bułhakow do adresatów swoich listów:

powitanie w liście – pożegnanie w liście:

Здравствуйте, дорогой режиссер! (А. Д. Попову, 26 июля 1926, s. 71) – *Ваш М. Булгаков* (s. 72).

Дорогие Людмила Николаевна и Евгений Иванович! (Е. И. Замятину, 12 апреля 1928, s. 85) – *Ваш М. Булгаков*.

Дорогой Евгений Иванович! (Е. И. Замятину, 22 апреля 1928, s. 85) – brak finalnej części.

⁴² E. T a b a k o w s k a i in. (red.), *Ikoniczność w języku, literaturze...*, op. cit.

Дорогой друг Павел Сергеевич, (П. С. Попову, 7 августа 1932, s. 136) – brak finalnej części listu.

Жив ли ты, здоров ли, дорогой Павел? (П. С. Попову, 22 июля 1933, s. 144) – brak finalnej części listu.

Уважаемый Алексей Дмитриевич! (А. Д. Попову, 11 августа 1926, s. 73) – brak finalnej części pisma.

Многоуважаемый Максимилиан Александрович (Волошин) (25 февраля 1925, s. 67) – brak finalnej części pisma;

– z drugiej strony – więcej formy językowej obrazuje większy dystans emocjonalny, który odczuwa nadawca listu wobec adresata, szacunek, także dzielącą ich odległość społeczną, zawodową itd. Przyjęte jest, że taka oficjalna forma zwracania się w korespondencji zawiera, choć nie zawsze, przede wszystkim przymiotnik obrazujący wiele respektu lub głębokie poznanie adresata, oraz jego imię i patronimik. W zakończeniu autor zamieszcza zapewnienie o swoim oddaniu, wielkim oddaniu, miłości, szacunku i podpis, niekiedy dokładny adres zamieszkania czy przypomnienie o charakterze wykonywanego zajęcia poprzez przytoczenie tytułów wybranych dzieł. Ten sposób obrazowania powitania / pożegnania pojawia się w liście adresowanym do obcej dla autora osoby, w podaniu skierowanym do redakcji gazet, władz teatrów, reżyserów, pisarzy, instytucji państwowych. Jest kolejnym przykładem rozszerzenia semantycznego pojęcia prototypowego. Na przykład:

powitanie w korespondencji – pożegnanie w korespondencji:

Дорогой Викентий Викентьевич! (В. В. Вересаеву, 19 августа 1926, s. 73) – *Преданный Вам М. Булгаков* (s. 74).

Глубокоуважаемый Василий Васильевич (15 октября 1925, s. 68) – *Уважающий Вас М. Булгаков*.

Дорогой Викентий Викентьевич (В. В. Вересаеву, 18 ноября 1926, s. 79) – *Искренно преданный Вам М. Булгаков* (s. 80).

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович! (И. В. Сталину, генеральному секретарю ЦК ВКП (б), 5 мая 1930, s. 107) – *Уважающий Вас Михаил Булгаков*.

Дорогой и многоуважаемый Константин Сергеевич! (К. С. Станиславскому, 18 марта 1931, s. 110) – *Преданный М. Булгаков*.

Дорогой Константин Сергеевич! (К. С. Станиславскому, 30 августа 1931, s. 118) – *Любящий и уважающий Вас М. Булгаков* (s. 119).

Многоуважаемый г. Марил! (в издательство С. Фишер-Ферлаг, в театральный отдел издательства С. Фишер-Ферлаг, 7 апреля 1933, s. 140) – *Примите уверения в моем уважении. М. Булгаков*.

Brak inicjalnej części (Издательству Ладъжников в Берлине, 8 октября 1928, s. 90) – *С искренним уважением – Михаил Булгаков. Москва, Большая Пироговская, 35-а, кв. 6. Михаил Афанасьевич Булгаков*.

Brak inicjalnej części (секретарю ЦИК Союза ССР А. С. Енукидзе, 3 сентября 1929, s. 97) – *Михаил Афанасьевич Булгаков (автор пьес „Дни Турбиных”, „Бег” и других)*.

W danym typie korespondencji jej finalna część może ograniczać się jedynie do imienia i nazwiska autora pisma. W inicjalnej części może być zamieszczone tylko określenie charakteru korespondencji, na przykład *Заявление (Podanie)*, *Письмо в редакцию (List do Redakcji)*. Niekiedy nagłówek w ogóle pomija formę zwrócenia się do adresata (zob. ostatnie przykłady wymienione wyżej). Taka skąpa ilość formy lub jej brak na początku lub na końcu listu nadaje pismu urzędowego charakteru. Ikoniczne obrazowanie opiera się tu na formule „mało formy / brak formy – oficjalny stosunek nadawcy do adresata”. Na przykład:

початкова część пisma урядового – finalna część пisma урядового:

Уважаемые товарищи (10 мая 1925, s. 68) – *Михаил Булгаков*.

Глубокоуважаемый господин директор! (К. Марилу, 19 сентября 1928, s. 86) – *М. Булгаков*.

Заявление (В Комиссию по приему в члены Союза советских писателей, 21 мая 1934, s. 204) – *М. Булгаков* (s. 205).

Письмо в редакцию (во Всесоюзное общество культурной связи с границей (ВОКС), 28 ноября 1927, s. 80) – *Михаил Афанасьевич Булгаков* (s. 81).

Inny przypadek użycia większej ilości formy językowej odzwierciedla relację „władza państwowa – obywatel”. Polega ona na dużym dystansie społecznym oraz dzielącej uczestników korespondencji wyraźnej odległości emocjonalnej. Michaił Bułhakow wiedział o wrogości wobec niego władzy, był obiektem represji z jej strony. Sporadycznie zwracał się do jej niektórych przedstawicieli w oficjalnych pismach. Rozpoczyna je zazwyczaj długi nagłówek zawierający dużą ilość formalnych danych: imię, nazwisko, zawód autora podania, często adres, także funkcja, którą pełni adresat, oraz data. Pismo kończy krótka urzędowa informacja wskazująca na oziębły, niechętny stosunek autora wobec urzędu – przeważnie jest to jedynie pełne imię lub inicjał imienia i nazwisko autora podania, niekiedy także data. Na przykład:

nagłówek w podaniu – podpis na podaniu:

Литератора Михаила Афанасьевича Булгакова, проживающего в г. Москве, в Чистом (б. Обуховском) пер., в д. № 9, кв. 4, Заявление (в ОГПУ, 18 мая 1926, s. 70) – *Михаил Булгаков*.

Литератора Михаила Афанасьевича Булгакова

Заявление (председателю совета народных комиссаров, 24 июня 1926, s. 71) – *Михаил Булгаков*. 24 июня 1926.

Народному Комиссару Просвещения

Михаила Афанасьевича Булгакова

(Москва 34, Мал. Левшинский пер., 4, кв. 1) (А. В. Луначарскому, 30 октября 1926, s. 79) – *Михаил Булгаков*.

Литератора

Михаила Афанасьевича Булгакова

Заявление (заместителю председателя коллегии ОГПУ т. Ягода, 22 апреля 1928, s. 85) – М. Булгаков;

– inne rozszerzenie pojęcia prototypowego w danym modelu sieciowym opiera się na formule „mało formy w inicjalnej części listu, mało formy / brak formy w finalnej części listu – bliski kontakt łączący nadawcę i adresata”. Stanowi je pojęcie dużej bliskości emocjonalnej, którą odczuwa nadawca wobec odbiorcy: członka rodziny, przyjaciela, dobrego znajomego. W części inicjalnej listu zostaje użyty przymiotnik określający wyjątkowy stosunek do odbiorcy, oraz często wyrażenie hipokorystyczne, za pomocą którego autor zwraca się do bliskiej i kochanej osoby. Na końcu wyrażeniami tym zwykle towarzyszy wykrzyknik. W zakończeniu listu pojawiają się wyraźne zapewnienia nadawcy o miłości lub tylko inicjał imienia, nawet brak jakiegokolwiek formy, świadczący o znikomym dystansie między uczestnikami korespondencji. Na przykład:

powitanie w liście – pożegnanie w liście:

Дорогая Вера (сестре, 23 января 1923, s. 27) – *Твой брат Михаил* (s. 28).

Дорогая кошечка (Л. Е. Белозерской, 21 февраля 1928, s. 83) – *Твой любящий*.

Дорогой Никол! (брату Николаю, 7 августа 1930, s. 108) – *Твой Михаил*.

Дорогой Павел! (П. С. Попову, 10 июля 1934, s. 212) – *Целую тебя*.

Дорогой Топсон! (Л. Е. Белозерской, 18-19 августа 1928, s. 86) – *Твой М.*

Дорогой Лобан, (Л. Е. Белозерской, 13 октября 1928, s. 90) – *М.*

Дорогая мама (В. М. Воскресенской⁴³, 17 ноября 1921, s. 19) – brak finalnej części.

Дорогой Коля! (брату Николаю, 25 апреля 1929, s. 91) – brak finalnej części.

Милый Коля, (брату Николаю, 6 сентября 1929, s. 98) – brak finalnej części.

Дорогой Павел! (П. С. Попову, 19 мая 1933, s. 143) – brak finalnej części.

Милая Оля! (О. С. Бокшанской, 21 июня 1933, s. 143) – brak finalnej części.

Jedna z głównych zasad w teorii gramatyki kognitywnej Ronalda W. Langackera głosi, że jednostki języka naturalnego są symboliczne i jako takie składają się z dwóch elementów: bieguna fonologicznego i bieguna semantycznego. W związku z tym, że zdecydowaną większość w języku stanowią jednostki wieloznaczne, Ronald W. Langacker zaproponował badania oparte na teorii modelu sieciowego. Przy jej pomocy możliwe jest poznanie struktur pojęciowych danej kategorii językowej, ich niearbitralnego charakteru oraz mechanizmów kognitywnych, świadczących o motywacji znaczeń. Możliwe jest ponadto wyróżnienie pojęcia schematycznego, wspólnego dla wszystkich struktur, prototypowego oraz mniej powszechnych w użyciu struktur peryferyjnych, na koniec dostrzeżenie semantycznej spójności kategorii.

⁴³ Od 1920 roku drugim mężem matki Michaiła Bułhakowa, jego ojczymem, był Iwan Pawłowicz Woskriesiński (1873–1961).

Będąc jednym z licznych parametrów obrazowania zdarzenia, ikonizacja ilościowa wykazuje ścisłą zależność ilości formy językowej użytej w wypowiedzi od sposobu konceptualizacji sceny. Polega ona na podobieństwie tej pierwszej do sposobu postrzegania zdarzenia przez osobę mówiącą. Kategoria ikonizacji ilościowej przejawia cechy modelu sieciowego. Różnorodne jej funkcje wyraźnie dają o sobie znać w takim typie tekstów jak epistolarne. Wyróżnione na ich podstawie znaczenia są poszerzeniem dotychczasowej wiedzy na temat struktur pojęciowych danej kategorii. Kategoria ta nie ma ostrych granic. Oznacza to, że inne typy wypowiedzi mogą stanowić źródło dodatkowych jeszcze znaczeń wynikających z podobieństwa większej / mniejszej ilości formy, użytej w konstruowaniu zdarzenia, do sposobu konceptualizacji zdarzenia.

Bibliografia

- Б у л г а к о в ы М. и Е., 2012, *Дневник Мастера и Маргариты*, состав., предисл., коммент. В. И. Лосев, ПРОЗАиК, Москва.
- A n t a s J. (i in.), *Czy Chrystus używałby PowerPointa? Debata o możliwości wykorzystania w homilii multimedialnych środków przekazu*, [w:] źródło elektroniczne: <http://portal.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=6415>
- B a ń k o M., 2008, *Współczesny polski onomatopeikon. Ikonizacja w języku*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
- B e x T., 1996, *Variety in Written English*, Routledge, London–New York.
- D a t a K., 1989, *Struktura tekstu listowego*, „Język Polski” 1989, nr 3–5, s. 142–152.
- D u c P., 2013, *Ikonizacja jako cecha języka japońskiego*, [w:] *Ikonizacja w języku, literaturze i przekładzie*, red. E. Tabakowska i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 19–24.
- E v a n s Virginia, 1997, *Successful Writing: Proficiency*, Express Publishing, Swansea.
- E v a n s Vyvyan, 2009, *Leksykon językoznawstwa kognitywnego*, przeł. M. Buchta i in., Universitas, Kraków.
- H i r a g a M., 2005, *Metaphor and Iconicity. A Cognitive Approach to Analysing Texts*, Palgrave Macmillan, New York.
- K a ł k o w s k a A., 1982, *Struktura składniowa listu*, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław.
- L a n g a c k e r R.W., 1995, *Wykłady z gramatyki kognitywnej I*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin.
- L a n g a c k e r R.W., 2005, *Wykłady z gramatyki kognitywnej II*, Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin.
- L a n g a c k e r R.W., 2009, *Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie*, przeł. E. Tabakowska i in., Universitas, Kraków.

- S k w a r c z y ń s k a S., 2006, *Teoria listu*, Na podstawie lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak i M. Leś, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
- Słownik języka polskiego*, [w:] źródło elektroniczne: <http://sjp.pl/asyndeton>
- S z c z y ę ł o w s k a T., 2011, *List do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski*, „Media i Społeczeństwo” 2011, nr 1, s. 79-92, [w:] źródło elektroniczne: http://www.mediai.społeczenstwo.ath.bielsko.pl/art/079_szczyglowska.pdf
- T a b a k o w s k a E., 1995, *Gramatyka i obrazowanie: wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego*, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie, Kraków.
- T a b a k o w s k a E. (red.), 2001, *Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa*, Universitas, Kraków.
- T a b a k o w s k a E., 2003, *Ikoniczność: podobieństwo i tertium comparationis*, „Przestrzenie Teorii” 2003, nr 2, s. 103-118.
- T a b a k o w s k a E., 2005, *Komunikowanie i poznawanie w językoznawstwie*, „Teksty Drugie” 2005, nr 1-2, s. 50-59, [w:] źródło elektroniczne: http://rcin.org.pl/Content/52207/WA248_67999_P-I-2524_tabakow-komunik.pdf
- T a b a k o w s k a E. (red.), 2006a, *Ikoniczność znaku. Słowo – przedmiot – obraz – gest*, Universitas, Kraków.
- T a b a k o w s k a E., 2006b, *Ikoniczność znaków i struktur językowych jako typ podobieństwa*, [w:] *RRR Kognitywistyka 2. Podobieństwo*, red. H. Kardela i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej, Lublin.
- T a b a k o w s k a E. i in. (red.), 2013, *Ikoniczność w języku, literaturze i przekładzie*, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- T a b a k o w s k a E., 2015, *Mysł językoznawcza z myślą o przekładzie. Wybór prac*, red. P. de Bończa Bukowski i M. Heydel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
- T a y l o r J.R., 2007, *Gramatyka kognitywna*, przeł. M. Buchta, Ł. Wiraszka, Universitas, Kraków.
- W i a t r o w s k i P., 2006, *O strukturalnych składnikach spójności listów Marii Konopnickiej do Ignacego Wasiłowskiego*, „Język, Komunikacja, Informacja” 2006, nr 1, s. 128-142, [w:] źródło elektroniczne: <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4737/1/11-Wiatrowski.pdf>
- W i r a s z k a Ł., 2015, *Kategoria punktu widzenia w przekładzie ustnym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego w relacji język polski – język angielski*, Universitas, Kraków.
- W o j t a k M., 2002, *Stylistyka listów do redakcji na przykładzie poczty redakcyjnej miesięcznika „bike-Board”*, „Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny” 2002, t. VIII, s. 195-214.

...Z POLSKA – PO ROSYJSKU, CZYLI O TYM,
JAK POLACY UŻYWAJĄ RUSZCZYZNY

COMMON POLISH NOTIONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE

MICHAŁ SARNOWSKI

ABSTRACT. This article is an attempt to reflect on Poles' attitude towards the Russian language. Its aim is to reconstruct various "Polish views of Russian" in their objective dimension (with no intention to evaluate or criticise). Three stereotypical pictures of the Russian language present in the Polish common consciousness recreated by the author are based on range of language material.

The description of "the three pictures of Russian in the Polish head" ("Polish common knowledge about Russian") indicates the instrumentality of this language, which occurs in three hypostases. For the first image it is the usual instrumentality of communication (*rossicum* is an addition and an excess of information within a Polish text), for the second image the instrumentality acquires unambiguously pragmatic features and the *rossicum* becomes an instrument of effective action, and for the third picture the instrumentality of Russian elements sets in motion the symbolic-cognitive (creating a sense) function of Russian in Polish text.

Michał Sarnowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Polska, sarnamich@gmail.com

Wśród wielu szczegółowych zagadnień, którymi zajmuje się współczesna rusycystyka polska, powinny znaleźć się również obserwacje oraz refleksja nad stosunkiem Polaków do języka rosyjskiego¹, jako fenomenu kulturowego o walorach estetycznych, który dysponuje bogatym potencjałem komunikacyjno-pragmatycznym, a także obrósł w oczach Polaków swoistą mitologią.

Niektórzy polscy podróżnicy już w wieku XVI i następnych w swoich wspomnieniach, opowiadaniach i dziuryszach zawarli opisy i oceny obcych języków i dialektów, a skłonności te szczególnie uzewnętrziły się w XIX w.² W odniesieniu do języka rosyjskiego A. Niewiara zauważa, że Polacy wykazują szczególne wyczulenie na ten język już od XVII w., chętnie stosując

¹Por. M. S a r n o w s k i, *Uwagi o perspektywach i zakresie badań nad oddziaływaniem języka rosyjskiego na polski*, [w:] *Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi*, red. naukowa M. Balowski i W. Chlebda, Opole 2005, s. 583-589.

²A. N i e w i a r a, *Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziuryskach z XVI-XIX wieku*, Katowice 2000, *passim*.

bezpośrednie przytoczenia, według badaczki – dla ośmieszenia Moskali lub też dla uwiarygodnienia opisu (zapożyczenia-egzotyzy). W wieku XIX pojawiają się uwagi o cechach charakterystycznych tego języka³.

Polacy w wyniku wielowiekowych kontaktów językowych i kulturowych z Rosją i Rosjanami wykształcili w swoich strukturach mentalnych szereg wyobrażeń o ich języku, które, w oparciu o właściwą empirię, mogą być przedstawione w postaci stereotypowych obrazów. Kolekcja takich stereotypowych obrazów składa się na potoczną, nienaukową wiedzę językoznawczą, której subiektem jest uśredniony obywatel, swoisty „badacz z ulicy”⁴.

Zasadność podjęcia takiej problematyki badawczej wynika między innymi z faktu, że niektórzy współcześni Polacy bardzo chętnie wplatają w swoje polskie wypowiedzi (ustne i pisemne) różnorodne elementy proveniencji rosyjskiej. Z moich obserwacji obecności rossików w polskiej przestrzeni komunikacyjnej⁵ wynikają dwie ważne konstatacje: (1) wtrącenia rosyjskie górują nad innojęzycznymi ze względu na częstotliwość i ilość oraz (2) takie *rossica* (pojedyncze leksemy, grupy wyrazowe oraz różnorodne subteksty) pełnią w tych wypowiedziach różne funkcje (ekspresyjną, kognitywną, symboliczną i inne), często widzi się w nich negatywne intencje nadawcze, pojawiają się w różnych pozycjach tekstu (lead, ekspozycja, rekapitulacja).

Rossica wprowadzane są nie tylko do nagłówków gazetowych⁶, lecz odnajdujemy je również w składzie tytułów utworów literackich⁷. Nierzadkie są również użycia – że posłużę się *rossicum* – *radi krasnogo słowca*.

Potoczna, naiwna, nienaukowa wiedza o językach naszych sąsiadów jest ważną składową nie tylko stereotypów etnicznych, lecz również, co

³ Ibidem, s. 143.

⁴ Wyrażenia „badacz z ulicy” dla określenia potocznej i naiwnej postawy w refleksji nad językiem używam za J. Maćkiewicz, por.: *Językowy obraz słowa w działaniu, czyli podstawowe założenia potocznej pragmatyki*, [w:] *Językoznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne*, pod red. W. Kubińskiego i D. Stanulewicz, Gdańsk 2001, s. 81–94.

⁵ *Rossica* w polskiej przestrzeni komunikacyjnej i kulturowej (aspekty ilościowe i jakościowe) stanowią temat moich szerszych penetracji i studiów. Ogółem opublikowałem 26 prac z tego zakresu.

⁶ Liczne przykłady i komentarz gramatyczny zawarłem w opracowaniu: M. S a r n o w s k i, *O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego*, „*Studia Rossica Posnaniensia*” 2010, vol. XXXV, s. 249–257.

⁷ Przykładowo można podać następujące tytuły: *My zdies' emigranty* (Manuela Gretkowska, Kraków 1991); *Głubinka*. Reportaże z Polski (Jędrzej Morawiecki, Wyd. „Sic!”, 2011); *Zajeżdżimy kobyłę historii*. Wyznania poobijanego jeźdźca (Karol Modzelewski, Warszawa 2013). [Pogrubienie rossików w tytułach – M. S.].

szczególnie ważne, barometrem rzeczywistych stosunków między narodami⁸ w wymiarze zarówno społecznym, jak i indywidualnym.

Niniejszy artykuł jest moim kolejnym podejściem do zagadnienia form i sposobów obecności języka rosyjskiego w świadomości współczesnych Polaków oraz oceny tej obecności, tzn. wskazania na aspekty zarówno pozytywne, jak i negatywne. We wcześniej opublikowanym artykule *Potoczne sądy o języku rosyjskim a stereotyp Rosjanina w kulturze polskiej* udało mi się pokazać, jaki może być wpływ potocznego myślenia o ruszczyźnie na pozytywizację kulturowego obrazu Rosjanina w kulturze polskiej przełomu wieków⁹.

W niniejszym artykule zamierzam podjąć próbę pokazania niektórych polskich perspektyw oglądu / patrzenia na język rosyjski i wynikających z tego odmiennych sposobów używania i traktowania go. Moim celem jest zatem próba rekonstrukcji stereotypowych obrazów języka rosyjskiego, jakie funkcjonują w świadomości przeciętnego Polaka (również i wykształconego) i które mogą również stanowić budulec etnicznego stereotypu Rosjanina w kulturze polskiej lub odwrotnie – mogą być stereotypu etnicznego projekcją.

W tym miejscu należy poczynić ważną uwagę: chodzi o używanie języka rosyjskiego przez Polaków nie tyle jako narzędzia w bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej (również: międzykulturowej / międzynarodowej), lecz jako środka wyrażania własnych emocji i ekspresji, a także konceptualizacji oraz oglądu świata. Przeprowadzona przeze mnie wstępna identyfikacja i rozróżnienie tych sposobów (obrazów) ma zamocowanie w tekstach artystycznych, choć – dla potwierdzenia moich hipotez i konstatacji – przywołuję również dane z tekstów mówionych oraz „gazetowych”.

Przywołana w tytule fraza „(mówi) z polska – po rosyjsku” pochodzi z didaskaliów *Miłości na Krymie* Sławomira Mrożka. Ta napisana w 1993 roku komedia tragiczna w trzech aktach, ze względu na różnorodne przesłanki, w tym i jednoznacznie polityczne, urasta do rangi jednego z najważniejszych utworów wybitnego polskiego dramaturga i zawiera szereg sformułowań i wyrażen w języku rosyjskim, które w mojej ocenie mogą być potraktowane jako reprezentatywne w interesującym mnie zakresie¹⁰.

⁸ A. N i e w i a r a, op. cit., (*passim*) pokazuje, że Polacy wykazują szczególne wyczulenie na język rosyjski już od XVII w.

⁹ M. S a r n o w s k i, *Potoczne sądy o języku rosyjskim a stereotyp Rosjanina w kulturze polskiej*, [w:] *Sapientia ars vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej* pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej i A. Libury, Wrocław 2013, s. 141–155.

¹⁰ Warto w tym miejscu przytoczyć za klasykiem frazę o podobnym wydźwięku (charakterystyce i ocenie), która sygnalizuje niedobory wiedzy w zakresie gramatyki rosyjskiej i słabość komunikacji w tym języku: „Obywatel ziemski, który przywiózł do

Głównym bohaterem sztuki *Miłość na Krymie* jest Rosja wrzucona w tryby historii, prezentująca swoje kolejne oblicza i postacie. Mroźek odwołuje się nie tylko do literatury (Czechow, Turgieniew, Majakowski, Szekspir), ale także do obiegowych wyobrażeń na temat Rosji i rosyjskości, rosyjskiej duszy i mentalności¹¹, a także – co szczególnie ważne w kontekście moich rozważań – również i języka rosyjskiego.

Miłość na Krymie została napisana, rzecz jasna, po polsku, lecz w tekście nie brakuje elementów rosyjskojęzycznych, które złożone w całość potraktuję jako symboliczną prezentację dwóch pierwszych spojrzeń Polaka na ruszczyznę. Wstawki rosyjskie pojawiają się w partiach „osób” i „postaci epizodycznych” komedii tragicznej. Elementy obcojęzyczne w tekście artystycznym (w narracji, a także w kreowaniu akcji sztuki teatralnej) mogą pełnić różnorodne funkcje. W odniesieniu do zebranego Mroźkowego materiału można skonstatować, że zastosowane *rossica* nadają utworowi walor autentyzmu, budują swoisty koloryt lokalny. Dzięki wstawkom rosyjskim osiągnięty zostaje efekt niezależności i autonomiczności bohaterów.

Ogółem z tekstu *Miłości na Krymie* wyekscerpowałem 25 replik dialogowych zawierających różnorodne elementy rosyjskie (p. Aneks). Kompleks ten umownie (technicznie) potraktowałem jako swoistą całość, którą poddałem analizie i opisowi. Celem obserwacji było określenie charakteru, formy i zadań pragmatycznych interesujących mnie rossików, a także rekonstrukcja nastawień leżących u podwalin takiego sposobu rozumienia, traktowania i użytkowania ruszczyzny. Ten niespójny (co oczywiste) semantycznie tekst stanowi przede wszystkim wachlarz konstatacji związanych z tematyką rozmów i dywagacji bohaterów sztuki (2, 5, 14, 15, 20, 22, 24, 25). Oprócz tego odnajdujemy tam szereg formuł etykietalnych, np. powitanie (7), wyrażenie przeprosin (10, 11), podziękowania (12), gratulacji (23), asymetrycznej zgody (4), żądania (13). Jeden z segmentów zawiera *rossicum* o charakterze cytatu (1).

Ale to nie taki opis badanego materiału oddaje jego rzeczywisty charakter. Dla pokazania rzeczywistej „wagi i jakości” elementu rosyjskojęzycznego w *Miłości na Krymie* warto przytoczyć komentarz samego Sławomira Mroźka: „Niektóre zwroty w języku rosyjskim użyte w tej sztuce, na przykład wyliczanie przez Wolfa jego zasług jako inżyniera kolei żelaznych

szkoły dwu chłopców aż z drugiego końca sąsiedniej guberni, wyłożył językiem z kiepska-rosyjskim prośbę o podanie jakiejś wskazówki co do dnia egzaminów” (S. Żeromski, *Szyfowe prace*). [Wyróżnienie – M. S.].

¹¹ *Miłości na Krymie* S. Mroźka poświęcona jest bogata literatura przedmiotu. Wskazę najcenniejsze opracowania: M. C i e ń s k i, *Mroźek i stereotypy: „Miłość na Krymie” – wersja francuska*, [w:] *Język-stereotyp-przekład*, pod red. E. Skibińskiej i M. Cieńskiego, Wrocław 2002, s. 57–67; K. P i s a r k o w a, „*Miłość na Krymie*” – *ale po niemiecku*, [w:] *teżże, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie*, Kraków 1998, s. 190–200.

w służbie sowieckiej władzy, Akt II – są nie tyle po rosyjsku, ile polsko-rosyjskim wołapikiem, pokraczne z punktu widzenia purystyki. Ta pokraczność jest umyślna. Nie każdy polski widz umie po rosyjsku, ale każdemu wydaje się, że umie i ów wołapik zrozumie bez trudności. W dodatku owa pokraczność brzmi komicznie, co w pewnych sytuacjach jest pożądane” (*Postowie*). Przechodząc do konkretów, należy powiedzieć, że o jakości, specyfice i charakterze rosyjskojęzycznego materiału w sztuce Mrożka decydują dwa czynniki: gramatyka form oraz wulgarna semantyka stosowanej leksyki. Materiał ten w pewnym zakresie realizuje dwa stereotypowe polskie wyobrażenia o języku rosyjskim.

Obraz pierwszy

Obraz pierwszy odnosi się do szeroko rozumianej gramatyki. W zakresie zjawisk morfologicznych mamy do czynienia z trywialną niepoprawnością językową, którą można scharakteryzować jako spolszczenie form rosyjskich: wyrazy rosyjskie zostały wprężone w polską gramatykę. Postawa taka wynika ze stereotypowego potocznego wyobrażenia o konsekwencjach bliskości i podobieństwa obu języków, które może być sprowadzone do następującej formuły: „ruszczyzna może mieć inne, swoje wyrazy, ale ich morfologia jest identyczna z polską”. Systemowa bliskość obu języków stanowi dla Polaków swoistą pułapkę¹².

Powyższą formułę konstruuje na podstawie obserwacji ilości i charakteru gramatycznych nieprawidłowości elementów rosyjskich pojawiających się – z woli samych autorów – w tekstach polskich (również pisanych). Dane zaczerpnięte z *Miłości na Krymie* można z powodzeniem uzupełnić innymi przykładami niefrasobliwości językowej pochodzącymi np. z tablic informacyjnych oraz z publicystyki. Ograniczę się do trzech, które wydają mi się bardzo reprezentatywne. Nad jedną z kas na dworcu PKP we Wrocławiu przez wiele lat wisiała wielojęzyczna tablica informująca, że to właśnie tam sprzedawane są „bilety w komunikacji międzynarodowej”. Wariant rosyjski miał następującą postać: (1) *билеты в международной сообщении*. Nic dodać, nic ująć. Dwa pozostałe przykłady to tytuły reportaży krajoznawczych: (2) *Bufiet Karolewej Luizy*¹³; (3) *Na szlaku z riebiatek*

¹² Trafnie ujął to felietonista „Polityki”: „Z herbaty przeszliśmy na coś bardziej przezroczystego, żeby złapać jasność w rozmowie. Ja po rosyjsku mówię jako tako, [Sierioża, który grał na saksofonie na Nowym Świecie – M. S.] mógł pogadać bez szukania podobieństw w naszych rodzimych, **podstępnie różnych językach**” (P. S o ł t y s, *Wrzućcie piątką grajkowi*, „Polityka”, 13.05–19.05.2015, nr 20, s. 91). [Wyróżnienie w tekście – M. S.].

¹³ B. U l e w i c z, „Gazeta Wyborcza. Turystyka”, 27–28.VI.2009, s. 18 (tytuł krajoznawczego reportażu o bałtyckich plażach Mierzei Kurońskiej pod Kaliningradem). W rzeczywistości nie o bufet chodzi, tylko o бует.

z *Omska*¹⁴. We wszystkich tych przykładach autorzy wykazali się pożądaną godną dezynwolturą w zakresie morfologii rosyjskiej.

Ale powróćmy do korpusu wypowiedzi wyekscerpowanych z utworu S. Mrożka. Wśród zdań przeważa polska organizacja składniowa, chociaż, co charakterystyczne, z drugiej strony za niektórymi replikami czuć schematy rosyjskiego „myślenia syntaktycznego” (np. fr. 17: *Znaczy się, bladź*; fr 25: *Macie papierosa?*). Nie wyliczając i nie komentując większości banalnych przykładów substytucji fleksyjnej (podobnie zresztą jak i uproszczeń fonetycznych), warto wskazać na jeden charakterystyczny przykład, w którym morfologiczna organizacja sekwencji rosyjskiej wynika z „męskości” polskiego rzeczownika *system*, promieniującej na kolokacyjne odcinki tekstu: *Ja wsiechrasijskij transsystem buduję* (sekwencja ta powtórzona jest dwukrotnie). To między innymi o niej Mrożek wspomina w cytowanym *Posłowie* jako o kwintesencji mówienia z *polska po rosyjsku*. Tu chciałbym zwrócić uwagę na stosunek samego Mrożka do rosyjskojęzycznej materii swojej komedii. Wprowadzając do dialogów partie wykonywane z *polska po rosyjsku*, odróżnia te, które w jego zamyśle powinny być ruszczyzną poprawną: sekwencja Lenina *A ja wsio znaju* pod koniec aktu I opatrzona jest autorską uwagą (*po rosyjsku*).

Rosyjskojęzyczna materia, z którą mamy do czynienia u Mrożka i z którą spotykamy się czasami w tekstach polskich, stanowi w mojej ocenie karykturę języka rosyjskiego w zakresie zarówno formy, jak i semantyki.

Charakteryzując rosyjskie zasoby tekstowe *Miłości na Krymie*, warto wskazać na wyrażenie *Pospieszył kak gawno iz samoleta!* (fr. 6), które kwalifikuję jako *quasi-rossicum*, czyli wyrażenie (frazę) stworzone przez Polaków „na wzór i modłę rosyjską”, za rosyjskie uważane i jako takie wplatanie w polskie wypowiedzenia. Z formalnego i łączliwościowego punktu widzenia fraza *Pospieszył kak gawno iz samoleta!* jest po rosyjsku poprawna, ale nie posiada żadnej rejestracji leksykograficznej. Potraktowanie jej jako tworu doraźnego, okazjonalnego, który został powołany dla potrzeb utworu (kreowanej tam sytuacji komunikacyjnej), nie wydaje się nam możliwe ze względu na pewne psychologiczne procedury tworzenia tekstów. W podobnych sytuacjach subiekt mówiący nie kreuje nowych wyrażeń, lecz operuje zwykle częstkami gotowymi, stereotypami językowymi i mownymi odtwarzanymi z „listy gotowców”. Powoduje to, że mamy zwykle do czynienia z utartymi zwrotami, formułami słownymi, idiomami, frazami itp.

Dla potwierdzenia proponowanej wyżej kwalifikacji omawianego wyrażenia przytoczę inne zarejestrowane przez nas *quasi-rossica*: *gniotsia nie łamiotsia; aluzju poniał*. Nie czas i miejsce tutaj na prezentację semantyki i pragmatyki tych wyrażeń, powiem tylko, że legitymują się one wysoką

¹⁴ L. W ł o d e k, „Gazeta Wyborcza. Magazyn”, 23–24.VI.2012, s. 36–37 (tytuł krajoznawczego reportażu o górskich szlakach Altaju i Pamiru).

częstotliwością użycia i funkcjonują we współczesnej polszczyźnie potocznej (w tym również pisanej) obok fraz o bezdyskusyjnej proveniencji rosyjskiej typu: *pożywiom uwidim; w pijanom widzie; iść w odstawkę; tisze jediesz dalsze budiesz; bez poł litra nie razbieriesz; toczka w toczkę; ruki po szwam*¹⁵.

Obraz drugi

S. Mrozek w przywołanym komentarzu językowym skoncentrował się na „purystyce” i „pokraczności” formalnej, wynikającej z ułomności gramatycznej. Ale w naszym rozumieniu nie tylko względy formalne (fonetyka, morfologia i łączliwość) przesądzają o charakterze i zakresie polskich wyobrażeń o języku rosyjskim. W poszukiwaniu istoty i sedna kolejnego polskiego stereotypowego obrazu ruszczyzny najważniejszy jest inny czynnik, doskonale widoczny w prezentowanym kompleksie różnorodnych replik *Miłości na Krymie*. Mam na myśli walor wulgarności, który w Mrozkowej sztuce ujawnia się zarówno na płaszczyźnie leksykalnej, jak i intencjonalnej niektórych wypowiedzi.

W wynotowanych replikach odnajdujemy pospolite rosyjskie wulgaryzmy typu *swołocz, bladź, bladziowa industria, jebu, job, jebiot* (formy od czasownika *jebat!*), a same repliki realizują szereg agresywnych intencji, np. groźby (*Job twoju!*), złorzeczenia (*Och, k'czortowej materi!*) lub kategoriycznych rozkazów.

Fakt, że S. Mrozek włączył w stereotyp ruszczyzny *Miłości na Krymie* wulgaryzmy i struktury brutalizujące dyskurs, nie stanowi w mojej ocenie przypadku. Wśród Polaków stale żywy jest mit o ogromnym potencjale i mocy sprawczej języka rosyjskiego jako narzędzia ataku słownego i agresji¹⁶, a także o rosyjskich przekleństwach. Na mocy tego mitu wielu Polaków i dzisiaj żywi przeświadczenie, że wyraz rosyjski jest skuteczniejszy jako narzędzie obrazy, i to, jak się wydaje, tłumaczy częste stosowanie wykrzyknień typu: *Paszot!, Paszot won!* w aktach mowy o illokucji kategoriycznego żądania, komunikującego dodatkowo wysoki stopień niegrzeczności¹⁷. Arsenal rosyjskojęzycznych „operatorów wulgarności i agresji” stosowanych przez Polaków jest znacznie większy (*w pizdu, pizdiec* i in.). Istnienie takiego mitu jest faktem zdumiewającym, gdyż sama polszczyzna również dysponuje stosownymi zasobami materialnymi w tym zakresie.

¹⁵ Wyrażenia te również podlegają systemowej polonizacji w zakresie fonetyki i morfologii, są nośnikami różnorodnych funkcji pragmatycznych i czekają na całościowe opracowanie.

¹⁶ Por. np. M. S a r n o w s k i, *O jednym ze sposobów bytowania rossików w języku i kulturze polskiej*, „Acta Polono-Ruthenica”, Olsztyn 2009, t. XIV, s. 487–496.

¹⁷ Por. np. „Mickiewicz musiałby długo się zastanawiać, czy wywalić rywala do tytułu Wieszca z zebrania towiańczyków gniewnym porykiem: *Paszot won, durak!*” (R. M. G r o Ń s k i, *Rany Julek!*, „Polityka”, 13.X.2001, s. 93).

Obraz trzeci

Ten obraz języka rosyjskiego ze względu na swój charakter, tzn. założenie konceptualne, materię i końcowe efekty, w sposób kardynalny różni się od dopiero co przedstawionych. *Per analogiam* spojrzenie to może zostać nazwane jako z *rosyjska po polsku*.

Mam tutaj na myśli taki stosunek do ruszczyzny, zgodnie z którym język ten jest traktowany jako partner i współkreator polskich wypowiedzi artystycznych, gdzie ruszczyzna polszczyźnie pomaga i współtworzy z nią nową jakość (nie tylko formalną, ale i semantyczno-komunikacyjną). Takie spojrzenie na język rosyjski prezentuje Mariusz Wilk, polski pisarz, dziennikarz i publicysta, który przed wieloma laty osiadł na rosyjskiej północy, nad Jeziorem Onega i, podróżując po oswojonej przestrzeni, a także w czasie i po kulturze, w swoich „dziennikach północnych” opisuje nam tamten świat i swoje przemyślenia sprowokowane kontaktami z otoczeniem, przede wszystkim z niepowtarzalną przyrodą i niepowtarzalnymi ludźmi. Jest rzeczą poniekąd oczywistą, że jako osoba, która co dzień żyje w żywiole „ruskiej mowy”, w „rzeczywistości ukształtowanej przez język rosyjski i kształtującej ten język” (*Wotoka*, s. 179), w twórczości swej używa rusycyzmów. Fakt ten jest poddawany notorycznej krytyce¹⁸, ale w obronie swojego stanowiska i manieri pisarskiej M. Wilk pisze:

Wracając do moich rusycyzmów, chcę wyjaśnić, że nie są to – bynajmniej! – przejęzyczenia wynikające z długiego pobytu w strefie języka rosyjskiego, ani – tym bardziej! – wybraki mojej polszczyzny. Przeciwnie, wprowadzam je świadomie i konsekwentnie wszędzie tam, gdzie z różnych przyczyn wydają mi się niezbędne. Ideałem moim bowiem jest taki język, którego można by nie tłumaczyć z polskiego na rosyjski. I odwrotnie. [...] pokazuję jedynie kierunek moich poszukiwań – nie cel. To jak w tao: tropa – jest celem. Kierunek prowadzi w głąb (*Wotoka*, s. 178).

Jakie z tego mogą płynąć korzyści dla polszczyzny (może niekoniecznie systemowej, lecz indywidualnej, osobniczej, autorskiej¹⁹)? Perfekcyjna i „rozumiejąca” znajomość języka rosyjskiego stała się dla M. Wilka, filologa polskiego, instrumentem, dzięki któremu „głębiej wchodzi w swój rodzimy

¹⁸ Głosy krytyczne pojawiały się w listach czytelników na łamach „Rzeczpospolitej”, która w latach 2001–2003 publikowała *Dziennik północny*, a i sam M. Wilk polemizuje z takimi opiniami na stronach swojego dziennika (*passim*).

¹⁹ Podobne zauroczenia bogactwem ruszczyzny bywają udziałem i innych Polaków, por. np.: „Uwielbiam posługiwać się rosyjskimi idiomami – wydają mi się niebywale celne (zwłaszcza te, które nie mają odpowiedników w języku polskim)” (O. B r a n i e c k a, list do redakcji, por. przypis 30). Poglądy takiego typu mogą być potraktowane jako szersze socjalne tło, na którym postawa M. Wilka uzyskuje pełnię praw obywatelskich w polskim myśleniu i traktowaniu ruszczyzny.

– polski” (*Wotoka*, s. 176). Przytoczmy fragment jego rozumowania i poznajmy argumentację:

[...] rychło się okaże, że owe pozornie ruskie słowa, których niekiedy używam – na przykład: „tucza”, „otrok” czy „słozą” – można znaleźć w *Słowniku języka polskiego* z adnotacją, że są przestarzałe. Miłosz pisał w przedmowie tłumacza do *Psalmów* o tym, że istnieje „sporo słów i określeń, przebywających niejako na granicy przestarzałych, ale ciągle jeszcze znajomych, i te są do uratowania. Pod jednym warunkiem: że będą użyte nie po to, żeby służyły za ozdoby nadające tekstowi patynę, ale dla nich samych, jako celnych (*Wotoka*, s. 178).

Inne przykłady Wilkowego rozumowania, że forma rosyjska (najczęściej leksem) jest środkiem odtwarzania / odświeżania semantyki wyrazów polskich, odnalezionym „brakującym ogniwnem” w ich diachronii, zamieściłem w Aneksie (cz. II, fragmenty: 1–4).

I jeszcze jedna wypowiedź M. Wilka, która ilustruje zasady jego warsztatu językowego:

Więc jak piszę, a piszę po polsku, to muszę wyjść z tego języka codziennego i wejść w sferę języka sakralnego niemal, obrzędowego [...]. Pisząc wracam do archetypów językowych, do praźródła, do staro-cerkiewno-słowiańskiego, którego się na polonistyce uczyłem, do prasłowiańskiego. Szukam słów, które umarły już w języku polskim, a jeszcze żyją w rosyjskim [...] ²⁰.

Ale na tym nie koniec twórczego czerpania z ruszczyzny, do którego ucieka się M. Wilk. W jego „semiosferze” mamy też do czynienia z przypadkami, gdy wyraz rosyjski (zwykle z przejrzystą formą wewnętrzną) staje się dlań punktem wyjścia do dalszego semantyzowania i nadbudowywania nad prostym ruskim eksponentem nowych znaczeń i konceptów. Tak stało się z rosyjskim wyrazem *tropa*, w którym (na zasadzie analogii i paralel myśliwskich) Wilk lokuje takie znaczenia szczegółowe jak: 'proces poszukiwania', 'własny styl', 'indywidualizm twórczy', 'cel działań'. Słowo *tropa* (akcentowane po polsku!) urasta do rangi słowa-klucza twórczości i słowa-symbolu samego Mariusza Wilka.

Poczynania twórcze i eksperymenty językowe stale urzeczywistniane przez M. Wilka stały się obiektem wielu dyskusji w formie pochwał i zachwytów, a także żywej krytyki ²¹. Jerzy Giedroyc określił język i manierę pisarską M. Wilka jako „wilczy wolapik”: „Ta niezwykła, sugestywna mieszanina polsko-rosyjska, tak pomysłowa i trafna, że robi chwilami wrażenie innego, nowego języka” (*Wotoka*, s. 179). A sam Wilk, dystansując się od angielskich makaronizmów i dziwolągów z informatycznego slangu oraz

²⁰ J. Szwedowska, *Trzy zimy, czyli sześć lat*, rozmowa z M. Wilkiem, „Rzeczpospolita”, 29–30 X 2005, s. 13.

²¹ Por. listy czytelników (O. Braniecka i E. Pawlak) na łamach „Rzeczpospolitej”: o *Dzienniku północnym* (13–14 IV 2002).

płynącej z mównic politycznych i mediów wulgarnej i nic nie mówiącej polszczyzny, deklaruje: „Wolę tedy pozostawać przy swoim wołapiku, odgrzebywując stare polskie słowa pod przykrywką rusycyzmów, wstawiać ruskie okna w swój tekst, aby można przez nie wejrzeć na niepolską rzeczywistość [...]” (*Patrząc na Wschód*, s. 54).

Zakończenie

Celem niniejszej wypowiedzi była próba prezentacji i opisu różnych „polskich spojrzeń na ruszczyznę” w ich wymiarze poniekąd obiektywnym, bez zamiarów wartościowania i krytycznej oceny.

Podsumowując przegląd i wstępny opis „obrazów ruszczyzny w polskiej głowie”, należy stwierdzić, że „potoczna polska wiedza o ruszczyźnie” koncentruje się przede wszystkim na instrumentalności języka, która występuje w trzech hipostazach. W przypadku obrazu I mamy do czynienia ze zwykłą instrumentalnością komunikacyjną (*rossicum* stanowi swoisty dodatek i naddatek informacyjny w ramach tekstu polskiego), w przypadku obrazu II – instrumentalność nabiera cech jednoznacznie pragmatycznych i *rossicum* staje się narzędziem skutecznego działania. W przypadku obrazu III instrumentalność *rossików* uruchamia poznawczo-symboliczną (sensotwórczą) funkcję ruszczyzny.

Niezależnie od przedstawionej jednorodnej kwalifikacji omówionych obrazów zasadzających się na instrumentalności nie sposób jednak nie zauważyć różnic i kontrastów między nimi.

1. Konfrontując zestawione „polskie spojrzenia”, należy podkreślić, że we wszystkich przypadkach Polacy sięgają do odmiennych zasobów i możliwości ruszczyzny, do różnych drzemających w niej potencji. W przypadku pierwszym i drugim – do pragmatycznej (illokucyjnej i perlukucyjnej) siły słowa rosyjskiego, w przypadku trzecim – do jej zasobów „wewnętrznych” (sensualnych), które mogą pełnić funkcję „odświeżającą”.

2. Inne różnice dotyczą np. zakresu funkcjonowania obrazów. Dwa pierwsze spojrzenia są rozpowszechnione stosunkowo szeroko, o czym świadczą m.in. moje materiały ilustrujące stereotypowe podejście do grammatycznej materii ruszczyzny (pod presją paradygmatów języka ojczystego rosyjska fleksja i słowotwórstwo ulegają znacznemu uproszczeniu), jak również liczne przykłady „ostrych” użycie słowa rosyjskiego w konflikto-owych sytuacjach komunikacyjnych. „Spojrzenie III” z kolei ma wymiar jednostkowy i indywidualny, ale taka kwalifikacja nie może eliminować go z pola widzenia i refleksji lingwistycznej. A jakie jest społeczne zaplecze „spojrzenia I i II”? Odpowiedź na takie pytanie trafnie sformułował już sam S. Mrozek w cytowanym uprzednio fragmencie *Postawia*: „(nie każdy polski widz umie po rosyjsku), każdemu wydaje się, że umie” (podkreślenie – M. S.), gdzie odwołuje się do pewnych właściwości (polskiej) psychiki

zbiorowej. W swoim komentarzu S. Mrożek stosuje predykat *wyduje się*, który kreuje określony modus psychologiczny (nastawieniowy). Powiązanie modusu z wielkim kwantyfikatorem *każdemu* pokazuje rzeczywisty zasięg zjawiska.

3. Dwa z trzech typów „polskiego” języka rosyjskiego (I i III) ze względu na swoją materię językową (formalną i semantyczną) oraz koktajlowy i wymieszany charakter nazywane bywają wolapikiem (poza ściśle terminologicznym odniesieniem tej nominacji). Odnosząc się do takich kwalifikacji, chcę powiedzieć, że ich autorzy (sam Mrożek i Giedroyc) w mieszance polsko-rosyjskiej, stanowiącej swoisty typ stylizacji na język rosyjski, widzieli (czuli) znamiona ograniczonej systemowości zjawiska.

4. Mariusz Wilk, pisarz, poeta i dziennikarz od wielu lat zadomowiony w północnej Rosji, tworzący niezwykle obrazy tamtego kraju, posługujący się polszczyzną wzbogacaną o odniesienia do żywego języka rosyjskiego dla skonceptualizowania swojego nastawienia do twórczości językowej i efektów swoich poczynań posługuje się nośną metaforą „ruskich okien” w polskim tekście²². Ja do tego sformułowania mam bardzo osobisty stosunek, gdyż wyrażenie „ruskie okna w polskim tekście” traktuję jako trafną przydatną metaforę moich rossików, których poszukuję w polskiej przestrzeni kulturowej i komunikacyjnej. Te okna ze względu na swój charakter i istotę otwierają możliwości nowego, innego spojrzenia na świat realny oraz na kulturę.

5. Wydaje się, że przedstawiony w artykule materiał w znaczący sposób rekonstruuje zasoby polskiego językoznawstwa potocznego i pokazuje, że myślenie współczesnych Polaków o języku rosyjskim nie jest ograniczone wyłącznie do jego walorów fonicznych i brzmieniowych, śpiewności i melodyki (są to cechy najczęściej przywoływane w potocznych sądach o ruszczyźnie), ale że język ten funkcjonuje w naszej świadomości i w innych hipostazach, bądź jako dynamiczny konstrukt o dużej sile działania i rażenia, bądź odwrotnie – jako stabilna struktura semantyczna, która żyje i jest życiodajna.

A N E K S

I. MIŁOŚĆ NA KRYMIE

1. Widzę dwaj chłopci stoją przed lokomotywą, pierwszy raz w życiu lokomotywę widzieli. A tłoki w lokomotywie pracują, para bucha, chłopci stoją i stoją, patrza i patrzą. Wreszcie powiada jeden muzyk do drugiego: „*Wot tiochnika, żelezo jebiot żelezo*” (akt I, Czalcow);
2. *A ja wsio znaju* (akt I, Lenin);

²² Por. P. B r y s a c z, *Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm*, Białystok 2013, s. 54.

3. Zwycięstwo proletariatu nie ulega wątpliwości, ale czy nie należy się nam trochę ryzyka? Tym bardziej że dziś czwartek, a w czwartki zawsze jest na kolację ryba z chrzanem. *Och, k'czortowej matieri! Excusez le mot*, Tatiano Jakowlewna, za późno... Zagadałem się z Wami, a tymczasem on już minął klombik i nawet nie zauważyłem, z której strony! ... (akt II, Zachedrynski);
4. *Tak toczno*, towarzyszu naczelniku. Towarzysz naczelnik idzie się kąpać? (akt II, Zubatyj);
5. Znam ja ich wszystkich, *swotocze*. To znaczy z widzenia. Ile to razy im się kłaniałem, jak czekałem na nią przed wejściem dla aktorów (akt II, Wolf);
6. *Pospieszył jak gawno iz samoleta* (akt II, Czelcow);
7. *Zdraustwujtie*, Iwanie Nikołajewiczu (akt II, Siejkin);
8. Wiedziałem, że jesteście niesympatyczni, ale nie myślałem, że jesteście *swotocz* (akt II, Zachedrynski);
9. *Ja jebu* towarzysza Czapajewa (akt II, Zachedrynski);
10. *Izwinitie, Gospodin...*; (akt III, Lily);
11. *Izwinitie, towariszcz* (akt III, Lily);
12. *Bolszoje spasiba, Mister* (akt III, Lily);
13. *Won!* (akt III, Pietia);
14. *Wot mnie diengi* (akt III, Pietia);
15. *Wsio praszło* (akt III, Pietia);
16. Właśnie. I budował *Wsiechrassijskij Trans-Sistem*. Czy nie tak? (akt III, Zachedrynski);
17. Znaczy się, *bladź* (akt III, Zachedrynski);
18. Pewnie, że *bladź*, ale teraz *bladzie* są artystki. Nie tak jak za wujka czasów (akt III, Pietia);
19. Mamy monopol. Grisza wziął kawior. Misza naftę, a ja *bladziowq industrię* (akt III, Pietia);
20. Tu go nie ma. *Prachaditie, prachaditie* (akt III, Pietia);
21. *Job twoju!* (akt III, Pietia);
22. Ja, towarzyszu, człowiek pracujący jestem, **od żelaznych dorog spec.** (*mówi z polska po rosyjsku*) **Ja wsiechrasijskij transsystem buduję. Odznaczony jestem. O!** (*wskazuje na medale kolejno*) **Ten za Buriacki Tranzyt, Smoleński Wokzał, za Kazbar, za Wołogdę, za Kubań, za Pieriekop, za Doniecki Most [...]** (akt II, Wolf);
23. Gratuluję w imieniu **Sowieckiej Własti**.
24. **Służu Sowieckomu Sajuzu** (akt II).
25. **Nu, ładno. Dla Sowieckiej Władzy, znaczy się.** Macie papierosa? (akt II).

II. MARIUSZ WILK

1. (Nawiasem wtrączę, że wyraz „płoch” w języku rosyjskim oznacza „kiepsko”, „marnie”, natomiast w polskim wychodzi z użycia, lecz kiedyś w nim żył i oznaczał „niebacznie”. Zatem w kontekście tego, co wyżej pisałem o baczności Żeni Pieczugina, igra pomiędzy polskim i rosyjskim znaczeniem słowa „płoch” nabiera dodatkowego sensu) (*Lotem gęsi*, s. 154)²³.

²³ Patrz: M. Wilk, *Lotem gęsi. Dziennik północny*, Noir sur Blanc, Warszawa 2012, s. 154.

2. I jeszcze jedno – na koniec. Ktoś może zapytać, dlaczego ciągle nazywam ten dziennik „północnym”, jeśli go teraz piszę na południowym brzegu Krymu? Dla mnie Północ, to nie tylko geograficzny (i środek nocy), lecz także specyficzny stan uma, w którym panuje Pustka. Wszystko jedno, gdzie się znajduje, ważne bym umiał zachować w umie pustkę. Jedyne mając pusty um, można weń wpuścić zewnętrzny świat, aby go lepiej opisać. Um – to bynajmniej nie rusycyzm! W minionych wiekach słowem „um” posługiwał się poeta Kniażnin, i książę Czartoryski. Dopiero później um został wyparty przez umysł, filozofia naturalna przez nauki szczegółowe, a dzikie łabędzie – oswojono, podcinając im skrzydła (*Lotem gęsi*, s. 205)²⁴.
3. Rosyjska tropa pochodzi od starej formy tropat' – deptać. Zatem tropa to ścieżka wydeptana przez człowieka lub zwierzę. Używając tropy zamiast „drogi”, podkreślam czynność deptania s a m o p a s, niekorzystania z gotowego szlaku. Wasyli mówi, że prawdziwy myśliwy chadza w pojedynkę i wydeptuje w tajdze własną tropę, która oddaje jego charakter. Na przykład człek skryty, ponurak chodzi jarami, cieniem, gęstwiną, natomiast wesolek wiedzie swoją tropę skrajem lasu, zboczem, gdzie dużo słońca. Kiedy więc piszemy życie – polując na słowa... – to także, po jakimś czasie, wydeptujemy własną tropę – swój styl (*Wołoka*, s. 142)²⁵.
4. Jedyne wyjściem była zmiana жанru, tym bardziej, że od naszej wyprawy sporo czasu minęło (...w tym czasie umarł Redaktor), a sama tropa pobiegła w inną – aniżeli myślałem – stronę. Teraz ją lepiej wieść w dzienniku (*Wołoka*, s. 143)²⁶.

Bibliografia

- B r y s a c z P., *Patrząc na Wschód. Przestrzeń, człowiek, mistycyzm*, Białystok 2013, s. 54.
- C i e ń s k i M., *Mroźek i stereotypy: „Miłość na Krymie” – wersja francuska*, [w:] *Język-stereotyp-przekład*, pod red. E. Skibińskiej i M. Cieńskiego, Wrocław 2002, s. 57–67.
- G r o ń s k i R. M., *Rany Julek!*, „Polityka”, 13.X.2001, s. 93.
- Językowy obraz słowa w działaniu, czyli podstawowe założenia potocznej pragmatyki*, [w:] *Język-koznawstwo kognitywne II. Zjawiska pragmatyczne*, pod red. W. Kubińskiego i D. Stanulewicz, Gdańsk 2001, s. 81–94.
- N i e w i a r a A., *Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku*, Katowice 2000.
- P i s a r k o w a K., *„Miłość na Krymie” – ale po niemiecku*, [w:] *teżże, Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie*, Kraków 1998, s. 190–200.
- S a r n o w s k i M., *O jednym ze sposobów bytowania rossików w języku i kulturze polskiej*, „Acta Polono-Ruthenica”, Olsztyn 2009, t. XIV, s. 487–496.

²⁴ Ibidem, s. 205.

²⁵ Patrz: M. W i l k, *Wołoka*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 142.

²⁶ Ibidem, s. 143.

- Sarnowski M., *O niektórych aspektach polsko-rosyjskiego dialogu międzykulturowego: „rossica” w strategicznej pozycji tekstu gazetowego*, „*Studia Rossica Posnaniensia*” 2010, vol. XXXV, s. 249–257.
- Sarnowski M., *Potoczne sądy o języku rosyjskim a stereotyp Rosjanina w kulturze polskiej*, [w:] *Sapientia ars vivendi. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej*, pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej i A. Libury, Wrocław 2013, s. 141–155.
- Sarnowski M., *Uwagi o perspektywach i zakresie badań nad oddziaływaniem języka rosyjskiego na polski*, [w:] *Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi*, red. naukowa M. Bałowski i W. Chlebda, Opole 2005, s. 583–589.
- Sołtyś P., *Wrzucie piątki grajkowi*, „*Polityka*”, 13.05–19.05.2015, nr 20, s. 91.
- Szwedowska J., *Trzy zimy, czyli sześć lat*, rozmowa z M. Wilkiem, „*Rzeczpospolita*”, 29–30.X.2005, s. 13.
- Ulewicz B., „*Gazeta Wyborcza. Turystyka*”, 27–28.06.2009, s. 18 (tytuł krajoznawczego reportażu o bałtyckich plażach Mierzei Kurońskiej pod Kaliningradem).
- Wilc M., *Lotem gęsi. Dziennik północny, Noir sur Blanc*, Warszawa 2012, s. 154, 205.
- Wilc M., *Woloka*, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011, s. 142–143.
- Włodk L., „*Gazeta Wyborcza. Magazyn*”, 23–24.VI.2012, s. 36–37 (tytuł krajoznawczego reportażu o górskich szlakach Ałtaju i Pamiru).

PAREMIOLOGIA NA WARSZTACIE LEKSYKOGRAFA.
W STRONĘ SŁOWNIKA PRZYJAZNEGO ODBIORCY

PEREMIOLOGY AT THE LEXICOGRAPHER'S WORKSHOP.
MOVING TOWARDS A USER-FRIENDLY DICTIONARY

TOMASZ SZUTKOWSKI

ABSTRACT. The paper features a treatment of the basic postulates that are aimed at developing a proverb dictionary, which would, on the one hand, characterize the assembled material in an optimal and comprehensive way, and retain the status of a user-friendly dictionary, on the other hand. This “friendliness” is achieved through the simplification of formal description, the withdrawal of acronyms and references, and the reduction of redundant comments and explanations. The order of particular description elements is also of considerable importance in the process of developing a dictionary, which will, first and foremost, allow the user to easily acquire as broad a knowledge about proverbs as possible in an accessible and effective way.

Tomasz Szutkowski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin – Polska, tszutkowski1@wp.pl

Zainteresowania przysłowiami w aspekcie leksykograficznym w polskim oraz rosyjskim kręgu językowym i kulturowym sięgają swym początkiem XVII wieku. W 1618 roku ukazało się pierwsze wydanie zbioru Salomona Rysińskiego pt. *Proverbiorum Polonicorum a Salomone Rysinio collectorum Centurie decem et octo*¹. Kilkadziesiąt lat później (1690) nieznanymi z imienia i nazwiska autor opracował i wydał tom przysłów rosyjskich zatytułowany *Повести или пословицы всенароднейшия по алфавиту*². Oba wymienione dzieła zapoczątkowały praktykowaną przez wieki metodę dokumentacyjną, która ograniczała się zasadniczo do zwykłej, nieskomplikowanej rejestracji jednostek paremicznych wypisanych z różnych tekstów

¹ Por. m.in.: J. K r z y ż a n o w s k i, *Paremiografowie i paremiologowie polscy w. XVII*, [w:] *Nowa księga przysłów i wyrażen przysłowiowych polskich*, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I, Warszawa 1969, s. XX–XXIII; T. S z u t k o w s k i, *Początki paremiografii polskiej – „Proverbiorum Polonicorum” Salomona Rysińskiego*, [w:] tegoż, *Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan – problemy – perspektywy*, Szczecin 2015, s. 179–181.

² Por. m.in.: И. К. П о р ф и р ь е в, *История русской словесности, часть 1: Древний период. Устная народная словесность до Петра Великого*, Казань 1876; T. S z u t k o w s k i, *Najstarsze źródła paremiologiczne*, [w:] tegoż, *Współczesna paremiografia rosyjska i polska...*, op. cit., s. 76–80.

(głównie z Pisma Świętego i tekstów literackich) bądź zasłyszanych w żywym, codziennym języku. Cel, jaki przyświecał autorom pierwszych zbiorów paremiologicznych, był dosyć oczywisty: zachować od zapomnienia stosunkowo nietrwały, ulotny, przekazywany z ust do ust dorobek ludowej twórczości oralnej.

Mniej lub bardziej zaawansowana metoda kodyfikacji zgromadzonego materiału faktograficznego wymuszała jednak konieczność przyjęcia jakiegokolwiek sposobu selekcji oraz fizycznej prezentacji przysłów w zbiorach, tomach, a wreszcie w słownikach paremiologicznych. Najdłuższą historią i największą popularnością może poszczycić się układ alfabetyczno-incipitowy, co było niejako bezpośrednią konsekwencją formalnej strony natury jednostek paremicznych (mam tutaj na uwadze przede wszystkim ich składniową autonomiczność). Pozostałe sposoby odnotowywania przysłów, a więc zwłaszcza układ tematyczny i alfabetyczno-hasłowy, są zdobyczą paremiografii ostatnich kilkadziesiąt lat³.

Leksykograficzne zmagania z niełatwą językową materią przysłów mają więc już swoją bogatą, liczącą ponad czterysta lat historię. Mając wobec tego na uwadze wielowiekowy dorobek paremiografii polskiej i rosyjskiej⁴, wydaje się słuszne, aby z dzisiejszej perspektywy poczynić refleksje nad takim nowym opracowaniem paremiograficznym, które z jednej strony będzie zawierało możliwie szeroki zakres informacji o przysłowiach, z drugiej zaś uzyska jednocześnie status słownika przyjaznego odbiorcy.

Na wstępie należałoby poruszyć jeszcze dwie ważne kwestie. Pierwsza: co właściwie rozumie się pod pojęciem słownika przyjaznego odbiorcy? I druga: czy rzeczywiście zachodzi konieczność opracowania takiego właśnie słownika na gruncie paremiologii?

Odpowiedzią na pierwsze pytanie może być konstatacja P. Żmigrodzkiego:

Termin *słownik przyjazny* (ang. *user friendly*) przeniknął do naszej refleksji metaleksykograficznej z metaleksykografii Zachodu i oznacza słownik (opis leksykograficzny) taki, który jest łatwy w odbiorze dla każdego użytkownika; nie wymaga przygotowania specjalistycznego. „Przyjazność” osiąga się przede wszystkim przez uproszczenie formalne opisu, rezygnację ze skrótów, odsyłaczy, również uproszczenie języka objaśnień itd.⁵

³ Por. m.in. K. K ł o s i ń s k a, *Słownik przysłów czyli przysłownik*, Warszawa 2004; В. М. М о к и е н к о, Т. Г. Н и к и т и н а, Е. К. Н и к о л а е в а, *Большой словарь русских пословиц. Около 70 000 пословиц*, Москва 2010, s. 6–7.

⁴ Paremiografii rosyjskiej i polskiej poświęciłem odrębne studium porównawcze: T. S z u t k o w s k i, *Współczesna paremiografia rosyjska i polska...*, op. cit.

⁵ P. Ż m i g r o d z k i, *Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii*, Kraków 2008, s. 38–39.

Przyjazność słownika – jak zauważa P. Żmigrodzki, przywołując przykład *Innego słownika języka polskiego* pod redakcją Mirosława Bańki⁶ – przejawia się także w stosowanych definicjach, które powinny charakteryzować się kontekstowością (objaśnianie znaczeń w kontekstach), analitycznością (stosowanie definicji zbudowanych z wyrażeń prostszych), nieencyklopedycznością (definicje mają odzwierciedlać potoczną wiedzę o świecie) oraz jasnością i naturalnością (definicje powinny być pisane prostym i przystępnym językiem)⁷. Kryterium stopnia wspomnianej przyjazności z pewnością nie jest wartością stałą i w zależności od konkretnego opracowania leksykograficznego przyjmuje odmienną postać. Inaczej bowiem przejawiać się będzie przyjazność słownika ogólnodefinicyjnego, synonimów, antonimów, ortoepicznego, a jeszcze inaczej frazeologicznego czy paremiologicznego.

Przechodząc do odpowiedzi na drugie wcześniej postawione pytanie: czy zachodzi konieczność opracowania słownika paremiologicznego spełniającego chociażby po części kryterium przyjazności – trzeba by najpierw chociaż pokrótce omówić opracowania paremiograficzne dotychczas istniejące i funkcjonujące w obiegu czytelnictwa. Naturalnie w ramach niniejszego, z konieczności krótkiego opracowania nie sposób scharakteryzować wszystkich pozycji⁸. Można jednak wskazać na dwa główne nurty rosyjskich i polskich opracowań paremiograficznych. Pierwszą, fundamentalną grupę tworzą monumentalne antologie przysłów i innych mniej lub bardziej prowerbialnych gatunków. Podstawowym celem inicjatorów tych przedsięwzięć było zgromadzenie maksymalnie obszernego materiału językowego, który funkcjonował przede wszystkim w obiegu ustnym, a więc szczególnie był narażony na nieodwracalną utratę. Zarówno *Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich*⁹, jak i rosyjska wielka „trylogia” paremiologiczna¹⁰ stanowią bogactwo samo w sobie, są nieprzebraną skarbnicą wiedzy o minionych pokoleniach, zjawiskach przyrodniczych, wierzeniach, wyznawanych wartościach. Przeznaczenie obu tych wiekopomnych dzieł daleko wykracza poza potrzeby i oczekiwania przeciętnego użytkow-

⁶ *Inny słownik języka polskiego PWN*, red. nacz. M. Bańko, t. 1-2, Warszawa 2000.

⁷ P. Ż m i g r o d z k i, op. cit., s. 41-42.

⁸ Najważniejsze zbiory oraz słowniki paremiologiczne rosyjskie i polskie omawiam w przywoływanej uprzednio monografii: T. S z u t k o w s k i, *Współczesna paremiografia rosyjska i polska...*, op.cit., s. 71-275.

⁹ *Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich*, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I-IV, Warszawa 1969-1978.

¹⁰ В. М. М о к и е н к о, Т. Г. Н и к и т и н а, *Большой словарь русских поговорок. Более 40 000 образных выражений*, Москва 2007; В. М. М о к и е н к о, Т. Г. Н и к и т и н а, *Большой словарь русских народных сравнений. Большой объяснительный словарь. Более 45 000 образных выражений*, Москва 2008; В. М. М о к и е н к о, Т. Г. Н и к и т и н а, Е. К. Н и к о л а е в а, op. cit.

nika, niebędącego wytrawnym filologiem czy chociażby miłośnikiem twórczości ludowej. Z tego też względu trudno stawiać tak wielkim projektem leksykograficznym wymóg przyjazności. Priorytetem dla autorów wyżej wymienionych zbiorów była nade wszystko skrupulatna chronologizacja źródeł, z których wydobyto poszczególne paremie. Konsekwencją takiej, a nie innej koncepcji leksykograficznej musi być więc rozbudowana mikrostruktura z uwzględnieniem znacznej liczby wariantów jednostek hasłowych, skrótów, dat, nazwisk, odsyłaczy, cyfr itd.

CIENKO

1. Cienko koło niego.

1781 Cienko koło was. ZABŁOCKI, *FwZ*, 11. 1806 LINDE, *I*, 301. †1886 Cienko koło niego. NIEZABITOWSKI, *Rkp. I*. †1895 Chudo koło niego. PAULI, *Rkp. IV*. 1896 BRZ. 1900 *Sl. warsz. I*, 328.

Tzn. jest w trudnej sytuacji, w kłopotach.

2. Cienko śpiewa (przedzie i in.).

a. 1625 Ów nieborak już cienko przedzie. FALIBOGOWSKI, *DoM*. 1806 LINDE, *I*, 301. 1841 Cienko ... CZAJKOWSKI, *Owr*, 327. 1880 SIENKIEWICZ, *Jam*, 190. 1894 Każdy cienko nitki przedzie, kiedy mu kto: na kark wsiedzie. AD. PRZAŚC 3. 1896 BRZ. 1900 *Sl. warsz. I*, 328. 1901 GOLDSTEIN, *Przycz. I*, 4. 1928 Byłby przadłi bardzo cienko. J. KUBISZ, 302. 1930 Już cienko przedzie. S.J.S. 132. 1933 Każdy cienko nitki przedzie, kiedy mu kto na kark wsiedzie. — Cienko przedzie. J. S. BYSTRON, *PP*, 109. 1946 Cienkawo przadłi. GAŁAJ, *MWM*, *I*, 391. 1956 Tyn cynko przyndzie. ONDRUSZ, *Rkp*.

b. 1773 Cienko śpiewał. *Mon. warsz.* 589. 1806 LINDE, *I*, 301. 1846 Bardzo cienko śpiewał. RZEWUSKI, *List*, 354. 1851 RZEWUSKI, *AS*, 126. 1852 Cienko ... BUJNICKI, *PJ*, *I*, 56. 1875 Śpiewamy coraz cienie. SIENKIEWICZ, *SB*, 78. — Śpiewa tak cienko jak dłużnik. *Op. cit.*, 206. 1876 Teraz cienie śpiewasz. PRUS, *Kr. II*, 250. 1880 Wkrótce cienko zaśpiewa. ORZESKOWA, *SC*, 323. 1883 Cienko śpiewamy. WIENIAWSKI, *LJ*, 430. 1893 DYGASIŃSKI, *WPl*, 296. †1895 PAULI, *Rkp. III*. 1896 BRZ. PRZAŚC. — SZANIAWSKI, *PK*, 36. — Cienkim głosem śpiewać. DYGASIŃSKI, *As*, 116. 1900 *Sl. warsz. I*, 328. — Cienko śpiewa. JAROSZYŃSKI, *Fat*, 37. XIX w. PIWOCKI. 1904 PAWLI-

ДЕНЕЖКОЙ ♦ Денежкой торг стоит – ДП 2, 35

Стоит крякнуть да денежкой брякнуть – всё будет – ДП 1, 59; Д 1, 134

Хоть щедровит, да денежкой дарит – ДП 2, 163; Д 4, 652

ДЕНЕЖКУ ♦ Аль на нашу денежку прах пал? – ДП 1, 146

Белу денежку бреги на чёрный день – *СлРЯ XVIII в.* 2, 139

* А. П. Сумароков. Притчи.

Береги белую денежку на чёрный день – *СлРЯ XVIII в.* 1, 197

Береги денежку на (про) чёрный день – *Богд.* 1741, 66; *Барс.* 1770, 7;

СлРЯ XVIII в. 6, 96; *Сн.* 1848, 12; ДП 2, 86; Д 1, 84, 427; Д 4, 594; *Мух.* 1, 51; *Ил.*

1915, 360; *Раз.* 1957, 170; *Бир.* 1960, 21; *Рыбн.* 1961, 156; *Спир.* 1985, 36; *Ан.*

1988, 20

Береги денежку на чёрный день, прозлую беду, а хлеб – на еду – *Ил.* 1915, 360

Грози богатому: богатый денежку даст – *Тат. нач. XVIII в.*, 51; *Сн.* 1848, 78

Грози богатому: даст денежку щербатую – ДП 1, 175; Д 4, 656

Oceniając zatem praktyczność wielkich antologii paremiologicznych, należy uwzględnić ich naukowe przeznaczenie, co nieuchronnie musi wiązać się z wprowadzeniem nierzadko bardzo rozbudowanego opisu leksykograficznego.

Drugą grupę zbiorów i słowników paremiologicznych tworzą publikacje o charakterze *stricte* popularyzatorskim. Ich forma zwykle ogranicza się jedynie do nieskomplikowanej listy przysłów uszeregowanych w porządku alfabetyczno-incipitowym lub – rzadziej – tematycznym. W języku polskim tego typu wydania bazowały na materiale *Nowej księgi przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich*, w rosyjskim – na zbiorze W. Dala. Wydawany kilkakrotnie tom Danuty i Włodzimierza Masłowskich pt. *Księga przysłów polskich*¹¹ zawiera około 1000 przysłów we wspomnianym porządku alfabetyczno-incipitowym. Autorzy zrezygnowali natomiast z jakichkolwiek przyhasłowych objaśnień, komentarzy, informacji historyczno-etymologicznych czy też chronologiczno-dokumentacyjnych. Zbiór Swietłany Kowaliewej pt. *7000 золотых пословиц и поговорок*¹² zawiera 17 bardzo ogólnych rozdziałów tematycznych, w ramach których poszczególne jednostki paremiczne uporządkowane są alfabetycznie według pierwszych liter inicjalnych komponentów. Podobnie jak księga D. i W. Masłowskich, publikacja S. Kowaliewej pozbawiona jest dodatkowych elementów opisu leksyko-graficznego poza kwalifikatorami geograficznymi.

JEDYNAK

Jedynak, jak nie złodziej, to pijak.

Z jedynakami i chłopci się pieszczą.

JEDZENIE

Jaki kto do jedzenia, taki do roboty.

Po jedzeniu stać albo chodzić potrzeba.

W jedzeniu i piciu miarę zachowaj.

JELEŃ

Gdy jeleni wejdzie w moją puszcze, to jeleni mój.

Nie ciężą jeleniowi rogi.

W post jeleni srogi, ukole cię rogiem.

УМ-ГЛУПОСТЬ**А**

А хитрость и в былые времена была с умом и доблестью сходна. (перс.)

Б

Безобразный старается казаться красивым, глупый старается говорить умные вещи. (вьет.)

Бес всех умнее, а люди не хвалят. (рус.)

Богатство – цель глупца, добродетель – мудрого. (инд.)

Богу молись, а добра ума держись. (рус.)

Большая река течет спокойно, умный человек не повышает голоса. (тадж.)

Большой ум – на шею веревка, а глупость – на ноги оковы. (бенг.)

W porównaniu z wcześniej omówionymi wielkimi antologiami paremiologicznymi zbiory D. i W. Masłowskich oraz S. Kowaliewej są bardzo uproszczone pod względem makro- i mikrostruktury. Rezygnacja niemalże ze wszystkich elementów opisu powoduje, że publikacje tego typu są dla użytkownika bardzo przystępne, nie odstraszaają przesadnie skomplikowa-

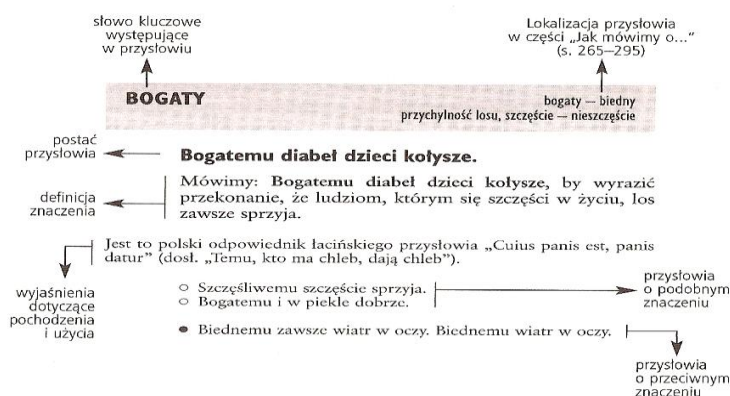
¹¹ D. i W. Masłowskich, *Księga przysłów polskich*, wyd. I, Kęty 2000.

¹² С. Ковалева, *7000 золотых пословиц и поговорок*, Москва 2004.

ną budową, ponadto nie przytłaczają nadmiarem informacji tekstowych czy też liczbowych. Można by więc wysnuć prosty wniosek, iż z powodzeniem spełniają kryterium przyjazności. W mojej ocenie aż tak znacznie posunięty ascetyzm formy leksykograficznej w odniesieniu do bardzo specyficznego materiału językowego, jakim jest paremiologia, zdecydowanie nie czyni przywołanych powyżej publikacji zadowalającymi i zaspokajającymi optymalne potrzeby czytelników. Nie od dziś wiadomo, że przysłowia stają się obecnie elementem składowym leksyki biernej, a ich postępujący zanik potęgują dynamiczne procesy zachodzące w społeczeństwie, gospodarce, technologii czy rolnictwie¹³. Mając zatem na względzie coraz niższą kompetencję paremiologiczną użytkowników współczesnego języka rosyjskiego i polskiego, należy zdecydowanie podwyższyć wymagania stawiane słownikom paremiologicznym, ale zarazem zracjonalizować działania ich autorów w taki sposób, aby efekt wykonanej pracy dostarczył możliwie wszechstronnej wiedzy na temat przysłów przy zachowaniu kryterium przyjazności.

Publikacją, która w wysokim stopniu realizuje zgłoszone postulaty, jest *Słownik przysłów czyli przysłownik* Katarzyny Kłosińskiej¹⁴. Przed wszystkim zasadniczą część swojej pracy autorka poprzedziła bardzo przystępnym wprowadzeniem w najważniejsze zagadnienia paremiologii (definicja przysłowia i jego gatunkowe zróżnicowanie, przegląd najważniejszych zbiorów paremiologicznych, aspekt filozoficzno-dydaktyczny paremiologii, jej usytuowanie względem frazeologii i in.). Jednak największą zaletą *Przysłownika* jest prosty i przejrzysty w swej strukturze artykuł hasłowy:

Jak zbudowane jest hasło



¹³ D. B u t t l e r, *Dlaczego zanikają przysłowia w dwudziestowiecznej polszczyźnie?* „Poradnik Językowy” 1989, z. 5, s. 332–337.

¹⁴ K. K ł o s i ń s k a, *Słownik przysłów czyli przysłownik*, Warszawa 2004.

Przyjazność omawianej publikacji przejawia się m.in. w wyeliminowaniu umownych oznaczeń i skrótów. Z kolei warstwa merytoryczna przyjętego przez K. Kłosińską opisu leksykograficznego wyróżnia się konsekwentnym opatrywaniem poszczególnych przysłów definicjami, które można by umownie określić mianem funkcjonalnych (komunikacyjnych, pragmatycznych)¹⁵, np.: *Psy szczekają, karawana idzie dalej* → „Mówiąc: **Psy szczekają, karawana idzie dalej**, wyrażamy pogląd, że naturalne jest to, że wszystkie sprawy toczą się swoim rytmem, niezależnie od ludzkich protestów, od naszej niezgody na to”. Dzięki takim czytelnym eksplikacjom każdy czytelnik bez problemu uzyska informacje, w odniesieniu do jakiej życiowej sytuacji dana paremia może być poprawnie użyta. W skutecznym i umiejętnym posługiwaniu się przysłowiami niezbędna jest świadomość zależności pomiędzy ich warstwą dosłowną, przenośną a wspomnianą sytuacją użycia. Publikacja K. Kłosińskiej wśród dotychczas powstałych zbiorów i słowników paremiologicznych zajmuje poczesne miejsce i w wysokim stopniu spełnia kryterium przyjazności.

Jeden z dwóch zaproponowanych przez mnie projektów paremiograficznych¹⁶, mających na celu wypełnienie luki leksykograficznej w tym właśnie obszarze słownikarskiego rzemiosła, mógłby również z powodzeniem posłużyć za fundament pod przyszły słownik paremiologiczny przyjazny użytkownikom, ale jednocześnie dostarczający możliwie wszechstronnej wiedzy na temat przysłów w różnych ich aspektach. Za punkt wyjścia do dyskusji nad ostatecznym kształtem takiego właśnie opracowania można by przyjąć następujący wariant artykułu hasłowego, który został opracowany na potrzeby paremiologicznego słownika opisowego¹⁷:

GOŚĆ *

[1] Gość w dom, Bóg w dom

1. kategoria paremiologiczna: przysłowie właściwe
2. etymologia: ludowe
3. objaśnienia gramatyczno-leksykalne: –
4. znaczenie metaforyczne: 'każdy gość jest miło przyjmowany'
5. sytuacja komunikacyjna: Jeśli spodziewamy się gości i chcemy ich godnie przyjąć, wówczas mówimy: *Gość w dom...*
6. funkcja komunikacyjna: stwierdzenie
7. cytat: *To było świetne wino, a dostałem je od Franciszka Szlachcica, ówczesnego sekretarza Komitetu Centralnego. Zaczęło się tak – zadzwonił sekretarz sekretarza i pyta: Czy jest pan gotów przyjąć wizytę sekretarza KC Szlachcica? **Gość w dom, Bóg w dom** – odpowiedziałem.*

¹⁵ T. S z u t k o w s k i, *Współczesna paremiografia rosyjska i polska...*, op. cit., s. 262.

¹⁶ Mowa o projekcie paremiologicznego słownika opisowego i ideograficznego. Zob. T. S z u t k o w s k i, *Współczesna paremiografia rosyjska i polska...*, op. cit., s. 301–342.

¹⁷ Ibidem, s. 314–315.

No i Szlachcic przyjechał tu z Klasą, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, który jako miejscowy partyjny musiał mu towarzyszyć w charakterze adiutanta (KJP: „Tygodnik Powszechny” 1994/1943).

8. znaczenie dosłowne: ‘jeśli do naszego domu przybywa gość, to jakby sam Bóg w nim gościł’

9. cytat: –

10. pole tematyczne - grupa tematyczna: 📖 DOM – I. gościnność – niegościnność

11. jednostki synonimiczne: –

12. jednostki antonimiczne: *Gość nie w porę gorzej Tatarzyna; Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie; Mój dom jest moją twierdzą.*

13. transformacje paremiczne: *Gość w dom – cukier do kredensu; Gość w dom – garnek wody do rosółu; Gość w dom – żona w ciąży.*

Parametr [1] określa typ (gatunek) jednostki paremicznej (przysłowie właściwe, historyczne, kalendarzowe, sentencja, aforyzm itd.), [2] – informuje o pochodzeniu przysłowia (ludowe, klasyczne, literackie itd.), [3] – objaśnia trudności gramatyczno-leksykalne (dotyczy jednostek, w których składzie obecne są archaizmy), [4] – podaje znaczenie metaforyczne, [5] – objaśnia sytuację komunikacyjną, w jakiej poprawnie można użyć danego przysłowia, [6] – określa funkcję komunikacyjną (stwierdzenie, ostrzeżenie, rada, prognoza itd.), [7] – egzemplifikacja jednostki hasłowej, [8] – parafraza treści literalnej przysłowia, [9] – egzemplifikacja jednostki hasłowej użytej w znaczeniu dosłownym, [10] – informacja ideograficzna, [11] – jednostki bliskoznaczne, [12] – jednostki przeciwstawne znaczeniowo, [13] – przykładowe transformacje paremiczne.

Taki zestaw parametrów opisu paremiograficznego gwarantuje możliwość całościową charakterystykę jednostek paremicznych w trzech podstawowych aspektach: formy, funkcji i znaczenia wraz z informacjami dopełniającymi i wspomagającymi kształtowanie wyższej kompetencji paremiologicznej użytkowników języka. Chcąc opracować słownik przysłów przyjazny czytelnikom, należałoby – w mojej opinii – najpierw nieco zmienić kolejność poszczególnych elementów artykułu hasłowego oraz uprościć nazwy niektórych parametrów opisu. Terminy z zakresu językoznawstwa mogą bowiem skutecznie odstraszyć potencjalnych odbiorców, a pewnie niewielu z nich zajrzy do słownika lub skorzysta z Internetu, aby sprawdzić, co tak naprawdę znaczą.

Informacją najbardziej przydatną czytelnikom będzie w pierwszej kolejności znaczenie metaforyczne w połączeniu z sytuacją użycia. Brak tej podstawowej wiedzy zupełnie uniemożliwia zarówno rozumienie przysłów zasłyszanych w żywej, codziennej mowie, jak i ich praktyczne wykorzystywanie w produkowanych wypowiedziach. W artykule hasłowym powinny znaleźć się kolejno określenia dotyczące funkcji komunikacyjnej, materiał egzemplifikacyjny, użycie jednostki hasłowej w znaczeniu dosłow-

nym (o ile taka sytuacja jest możliwa i potwierdzona w rzeczywistych kontekstach użycia), następnie można by umieścić przysłowia synonimiczne i antonimiczne, na końcu zaś – pozostałe informacje dopełniające (gatunek, pochodzenie, objaśnienia gramatyczno-leksykalne, przynależność do danej grupy tematycznej, przykładowe antyprzysłowia):

GOŚĆ *

[1] Gość w dom, Bóg w dom

1. znaczenie przenośne: 'każdy gość jest miło przyjmowany'
2. sytuacja użycia przysłowia: Jeśli spodziewamy się gości i chcemy ich godnie przyjąć, wówczas mówimy: *Gość w dom...*
3. funkcja, w jakiej używa się przysłowia: stwierdzenie
4. cytat: *To było świetne wino, a dostałem je od Franciszka Szlachcica, ówczesnego sekretarza Komitetu Centralnego. Zaczęło się tak – zadzwonił sekretarz sekretarza i pyta: Czy jest pan gotów przyjąć wizytę sekretarza KC Szlachcica? Gość w dom, Bóg w dom – odpowiedziałem.*
No i Szlachcic przyjechał tu z Klasą, sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego, który jako miejscowy partyjny musiał mu towarzyszyć w charakterze adiutanta (KJP: „Tygodnik Powszechny” 1994/1943).
5. znaczenie dosłowne: 'jeśli do naszego domu przybywa gość, to jakby sam Bóg w nim gościł'
6. cytat: –
7. przysłowia bliskoznaczne: –
8. przysłowia o znaczeniu przeciwstawnym: *Gość nie w porę gorzej Tatarzyna; Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie; Mój dom jest moją twierdzą.*
9. rodzaj przysłowia: przysłowie właściwe
10. pochodzenie: przysłowie ludowe
11. objaśnienia trudności gramatycznych i słownikowych: –
12. o czym mówi przysłowie (przynależność tematyczna): 📖 DOM – I. gościnność – niegościnność
13. antyprzysłowia¹⁸: *Gość w dom – cukier do kredensu; Gość w dom – garnek wody do rosółu; Gość w dom – żona w ciąży.*

Zaproponowany model hasła słownikowego z pewnością nie jest wersją ostateczną. Może jednak posłużyć jako pewna propozycja leksykograficzna, którą warto by wykorzystać do opracowania słownika pilotażowego, w którym mogłoby znaleźć się 100 najczęściej używanych przysłów rosyjskich i polskich. Publikacja wydań eksperymentalnych sprawdziła się dobrze na gruncie leksykografii niemieckiej i rosyjskiej dzięki pracom Walerego Mo-

¹⁸ Por. Б. Н о р м а н, Почему антипословицы – „анти”?, [w:] *Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych*, pod red. M. Aleksiejenki i H. Waltera, Szczecin, s. 308–316.

kijenki i Harrego Waltera¹⁹. Główną zaletą słowników pilotażowych jest możliwość wprowadzenia nawet gruntownych zmian przed realizacją zasadniczego projektu. Zainteresowanie takim niewielkim opracowaniem, głosy ze strony czytelników, uwagi krytyków mogą skutecznie wyeliminować wiele błędów lub nieścisłości.

Z głosami konstruktywnej krytyki zetknąłem się w czasie obrad XIV Konferencji Międzynarodowej „Rusycystyka Europejska a Współczesność”, organizowanej przez Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (24–26.09.2015). Omówiony powyżej model hasła słownika paremiologicznego jest właśnie pokłosiem tych bardzo wartościowych dyskusji. Uczestnicy obrad pozytywnie odnieśli się do pomysłu stworzenia takiego paremiograficznego opracowania. Kryterium przyjazności pozwoliło natomiast spojrzeć na ten projekt z perspektywy oczekiwań nieprofesjonalnego odbiorcy i odpowiednio go zmodyfikować.

Pozostaje więc wyrazić nadzieję, iż w niezbyt odległej przyszłości uda się wydać pilotażowy słownik przysłów, a dzięki uwagom czytelników zaproponowany układ jego mikro- i makrostruktury zyska jeszcze doskonalszy i bardziej funkcjonalny kształt.

Bibliografia

- Buttler D., *Dlaczego zanikają przysłowia w dwudziestowiecznej polszczyźnie? „Poradnik Językowy”* 1989, z. 5, s. 332–337.
- Inny słownik języka polskiego PWN*, red. nac. M. Bańko, t. 1–2, Warszawa 2000.
- Kłosińska K., *Słownik przysłów czyli przysłownik*, Warszawa 2004.
- Masłowski D. i W., *Księga przysłów polskich*, wyd. I, Kęty 2000.
- Nowa księga przysłów i wyrażen przysłowiowych polskich*, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. I–IV, Warszawa 1969–1978.
- Szutkowski T., *Współczesna paremiografia rosyjska i polska. Stan – problemy – perspektywy*, Szczecin 2015.
- Żmigrodzki P., *Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii*, Kraków 2008.
- Вальтер Х., Мокиенко В., *Русско-немецкий словарь пословиц с европейскими соответствиями. Экспериментальный выпуск*, Greifswald 2006.
- Вальтер Х., Мокиенко В., *Словарь современных русских прозвищ. Экспериментальный выпуск*, Greifswald 2004.

¹⁹ Zob. m.in.: Х. Вальтер, В. Мокиенко, *Словарь современных русских прозвищ. Экспериментальный выпуск*, Greifswald 2004; Х. Вальтер, В. Мокиенко, *Русско-немецкий словарь пословиц с европейскими соответствиями. Экспериментальный выпуск*, Greifswald 2006.

- К о в а л е в а С., *7000 золотых пословиц и поговорок*, Москва 2004.
- М о к и е н к о В. М., Н и к и т и н а Т. Г., *Большой словарь русских народных сравнений. Большой объяснительный словарь. Более 45 000 образных выражений*, Москва 2008.
- М о к и е н к о В. М., Н и к и т и н а Т. Г., *Большой словарь русских поговорок. Более 40 000 образных выражений*, Москва 2007.
- М о к и е н к о В. М., Н и к и т и н а Т. Г., Н и к о л а е в а Е. К., *Большой словарь русских пословиц*, Москва 2010.
- Н о р м а н Б., *Почему антипословицы – „анти“?*, [w:] *Słowo. Tekst. Czas X. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych*, pod red. M. Aleksiejenki i H. Waltera, Szczecin, s. 308-316.
- П о р ф и р ь е в И. К., *История русской словесности*, ч. 1: *Древний период. Устная народная словесность до Петра Великого*, Казань 1876.

АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ПРЕДЛОГОВ

ACTIVE PROCESSES IN THE SYSTEM OF FORMING DERIVATIVE PREPOSITIONS

ALEKSANDER TSOI

ABSTRACT. The Russian language is constantly supplemented with derivative prepositions. Supplementing the language system with new lexical units is a continuous process. The main ways of forming derivative prepositions are transposition and diffusion.

Aleksander Tsoi, Uniwersytet Łódzki, Łódź – Polska, tsoyalex2002@gmail.com

На протяжении всей истории своего развития русский язык, унаследовав из праславянского служебные слова, которые принято называть непроизводными (первообразными), постоянно пополняется производными предлогами, которые обогащают систему служебных слов русского языка, делают ее разнообразной и гибкой, а производность как проявление асимметрии языкового знака играет важную роль в устройстве и функционировании языковой структуры.

Производные предлоги образовывались в русском языке из падежных и предложно-падежных форм существительных, которые, переходя в предлоги, приобретали признаки наречия, а уже потом становились предлогами (*внутри, кругом, поперек, сверху*). Предлоги *вместо, спустя, благодаря* и др. образовывались от существительных и иных частей речи без этой промежуточной „наречной” ступени. Начиная с XVIII века на базе свободных предложно-падежных сочетаний слов были образованы отыменные предлоги *в продолжение, в силу, в течение, по причине, по случаю, с помощью* и др. Возникли также отглагольные предлоги *благодаря, включая, исключая, начиная от (с), не считая* и др.¹

Со временем употребление конструкций с производными предлогами привело к усложнению структуры простого предложения. Г. А. Золотова отмечает, что падежные формы с производными предлогами в отличие от падежных форм с непроизводными предлогами обычно не входят в предикативную основу предложения, а включа-

¹ Д. Н. Ш м е л е в, *К вопросу о „производных” служебных частях речи и междометиях*, [в:] его же, *Избранные труды по русскому языку*, Москва 2002, с. 336–349.

ются в предложение в качестве варианта выражения отношений между знаменательными словами.

Например, трансформация предложения *Петров критикует Сидорова* с включением производного предлога *со стороны* в предложение *Критика со стороны Петрова в адрес Сидорова* требует дальнейшего распространения в виде следующих вариантов: *Критика со стороны Петрова в адрес Сидорова оказалась ошибочной*; или *Критика со стороны Петрова в адрес Сидорова была голословной* и т. д. В предложениях *Петров критикует Сидорова* и *Критика со стороны Петрова в адрес Сидорова оказалась ошибочной* моделируется действие между субъектом и его объектом – адресатом; и то и другое предложение – простое, но включение в первое производного предлога потребовало его дальнейшего смыслового распространения².

Таким образом, включение производного предлога *со стороны* в простое предложение расширяет его и влечет необходимость распространения смысла, дополнительной информации.

Принято считать, что причиной появления производных предлогов является интенсивное совершенствование системы служебных средств связи между словами, вызванное недостаточным количеством служебных слов для передачи в языке разнообразных отношений, возникающих в объективной действительности.

Типологические особенности современного русского литературного языка характеризуют его как язык синтетико-аналитического типа. Замена синтетического способа управления аналитическим в значительной степени осуществляется непродными (первообразными) предлогами, которые, дополняя значение падежа, дают возможность более точно и ясно передать тот или иной оттенок мысли. Появляющиеся при этом новые предложные конструкции отражают усиление аналитических тенденций в развитии синтаксического строя русского литературного языка.

Е. А. Земская пишет следующее:

Рост аналитизма обнаруживается также в активизации конструкций с предлогами, вытесняющих конструкции без предлогов. Приведу лишь несколько примеров: *изменение расписания* → *изменения в расписании*, *ссора соседей* → *ссора между соседями*, *подарок сестре* → *подарок для сестры*, *ему свойственно* → *для него свойственно*. Особенно активен предлог *по*, обозначающий сферу деятельности: *позиция по Чечне*, *план по трубам*, *конференция по Кавказу*³.

² Г. А. Золотова, Предлог „со стороны“, „Русская речь“ 1969, № 1, с. 52–54.

³ Е. А. Земская, Активные процессы в русском языке последнего десятилетия XX века, часть 3, [в:] электронный ресурс: <http://linguistics-online.narod.ru/index/0-396> (18.09.2015).

Существенна роль в развитии этого процесса производных предлогов, которые сформировались в русском языке в результате транспозиции слов из различных частей речи в этот класс служебных слов. В первую очередь это относится к предлогам типа *вдали от, незадолго до, исходя из, по направлению к* и др. При изучении истоков появления производных предлогов учеными было установлено, что они образовывались по разным причинам. В одних случаях была потребность в точных грамматических средствах выражения отношений между полнозначными словами, в других — в уточнении самих многозначных непроеданных предлогов, не справляющихся со своими грамматическими функциями выражения определенных отношений.

Переходя в разряд предлогов, отдельные формы полнозначных слов утрачивают грамматические признаки соответствующей части речи и приобретают признаки, присущие служебным словам. Исходным условием перехода слов других частей речи в разряд предлогов является развитие в них релятивности, и ее значение относит предлоги к разряду неизменяемых слов, но не всякое знаменательное слово при соответствующих условиях может развить служебные свойства и перейти в разряд служебных. Служебные свойства обнаруживаются у слов, в значении которых заложен элемент релятивности, например, *касаться* (глагол) — *касательно* (предлог); *относиться* (глагол) — *относительно* (предлог) и др. В результате постоянного употребления полнозначных слов в релятивном значении происходит закрепление за словом предложной функции. Например, такова судьба существительных *вид, место, отличие, причина, цель*, которые выступают в роли компонентов предлогов или самих предлогов *ввиду, вместо, в отличие от, по причине, в целях*.

Система служебных слов русского языка постоянно развивается и пополняется, в языке активно функционирует уже сформировавшаяся группа новых производных предлогов, союзов и частиц, члены которой выполняют служебные функции связи слов в словосочетаниях и предложениях, и именно эти служебные слова не включаются в толковые словари русского языка. Еще Л. В. Щерба отмечал, что в роли предлогов очень часто выступают слова и группы слов, которые обыкновенно не фигурируют ни в грамматиках, ни в словарях в качестве предлогов (*посредством чего-либо, в отличие от чего-либо, по поводу чего-либо* и др.)⁴. Принято считать, что служебные слова как элементы языковой системы оказывают существенное влияние на другие ее элементы, которые находятся к ним в пре- и постпозиции, поскольку

⁴ Л. В. Щ е р б а, *Преподавание языков в школе: общие вопросы методики*, Москва 2003, с. 78–80.

грамматические значения служебных слов, изменяя стоящие рядом слова, развивают в них дополнительные значения.

Рассматривая причины появления производных предлогов, необходимо выделить две главные. Во-первых, производные предлоги образуются в связи с потребностью в точных грамматических средствах выражения отношений между словами, и в момент своего появления они однозначны и грамматически целесообразны. Во-вторых, они возникают в результате развития многозначности непроизводных предлогов, которая размывает границы их грамматических значений. В результате непроизводные предлоги перестают справляться с точным выражением тех или иных грамматических отношений. Сущность перехода отдельных форм полнозначных слов в разряд предлогов состоит в том, что они утрачивают грамматические признаки соответствующей части речи и приобретают признаки, присущие предлогам. Приобретение ими новых значений и функций осуществляется с помощью непроизводных предлогов и закрепления той или иной падежной формы, например, *в виде, по направлению, при всем, со стороны*, а иногда с помощью аффиксов и предлогов, например, *вблизи от* (*в* + *близки от*), *вдалеке от* (*в* + *далеке от*), *вовнутрь* (*во* + *внутрь*), *вплотную к* (*в* + *плотную к*), *накануне* (*на* + *кануне*) и др.⁵

В процессе выработки в знаменательном слове служебных свойств основное лексическое значение слова разрушается, что и делает возможным его употребление в служебной функции для выражения связи между словами, но в этом процессе постепенного перехода знаменательных слов в служебные в языке появляются промежуточные формы совмещения служебных свойств слова с прежними, знаменательными его свойствами.

Показателем развивающихся служебных свойств слова являются его грамматические изменения, например, предлог *благодаря* требует дательного падежа знаменательного слова (*благодаря помощи друга*), а глагол *благодарить* – винительного (*благодаря друга за помощь*). Изменение управления способствует отдалению формирующегося предлога от исходного слова, а дополнительным условием выработки служебных свойств у слова является частота его употребления в новой функции, способствующей закреплению в сознании языковой личности новой смысловой особенности слова, связанной со служебным его употреблением.

Поскольку предлоги относятся к разряду неизменяемых слов и основным их признаком является значение релятивности, то разви-

⁵ А. С. Ц о й, *Три этапа „жизненного цикла“ производных предлогов*, „Филологические науки“, Москва 2006, № 5, с. 81–88.

тие этого значения у полнозначных слов становится исходным условием для процесса их „опредложивания“. Предложные значения приобретаются формами знаменательных слов в результате их регулярного использования в служебной функции⁶.

Проблема выделения этапов образования производных служебных слов, а также обозначение самого процесса образования производных служебных слов позволяет по-другому взглянуть на природу производных предлогов.

Первый этап образования и развития служебных слов начинается с уподобления знаменательных слов служебным. Непроизводные предлоги в составе новых производных сохраняют свою полисемию, отражающую прежде всего собственно предложные отношения. Исчерпав полностью внутренние ресурсы для точного выражения отношений, производные предлоги заставляют языковую систему переводить знаменательные слова в определенной форме в разряд слов служебных с новыми моносемичными значениями.

Производные предлоги вначале появляются в письменной речи, поскольку в устной для уточнений используются невербальные средства коммуникации, кроме того, производные предлоги в живой разговорной речи почти не используются еще и потому, что являются принадлежностью главным образом книжного, официально-делового и научного стилей. Так, гипотетически исходной точкой появления, например, производных пространственных предлогов может считаться необходимость для пишущего в точном указании места объекта или субъекта в пространстве. При создании текста автором подбираются слова, которые как раз и позволяют точно указать или уточнить координаты объекта, субъекта, события и т. д. Удачно выбранное слово для передачи пространственного отношения закрепляется в качестве производного предлога.

В образовании производных предлогов прослеживаются два микроуровня. Первый микроуровень — это *транспозиция*, например, наречий или деепричастий, в разряд предлогов. Процесс транспозиции полнозначных слов в служебные обнаруживает сложное и разностороннее взаимодействие лексики и грамматики, при котором происходит постепенное отмирание у слова старого качества и приобретение нового.

К предлогам, образованным в результате транспозиции, относятся *вокруг, около, против, рядом, благодаря, исключая, начиная* и др. Эти слова характеризуются амбивалентностью, поскольку функционируют в язы-

⁶ Роль релятивности в процессе образования производных предлогов подробно описана в работе Е. Т. Черкасовой. См.: Е. Т. Черкасова, *Переход полнозначных слов в предлоги*, Москва 1967.

ке, сохраняя связь с каждым из своих исходных предшественников в категориальных классах. Традиционно слова *вокруг, около, против, рядом* рассматриваются как предлоги, если управляют падежами, и наречия, если не управляют, а лексемы *благодаря, исключая, начиная* при тех же позиционных условиях выступают в предложениях как деепричастия.

Второй микроуровень в образовании производных предлогов назовем *диффузией* непроизводных предлогов в составе предложно-падежных сочетаний. Непроизводные предлоги, как и падежные формы имени, входя в состав предложно-падежных сочетаний, теряют свою самостоятельность, перестают обладать своим значением и образуют новую целостную служебную единицу. Например, к предлогам, образованным в результате диффузии, относятся следующие: *в сопровождении, в стороне от, за пределы, на базе, рядом с (со)* и др.⁷

В связи с необходимостью определения границ предлогов, которая осложняется открытостью и активностью их образования, возникает вопрос о разграничении словоформ и словосочетаний. Решение данного вопроса важно и с теоретической точки зрения, и для изучения языковой действительности, а именно возникновения и функционирования производных предлогов.

Под диффузией подразумевается, что в процессе создания предложения непроизводный предлог, распространяясь в нем, осуществляет ряд равнонаправленных действий: во-первых, включается в словосочетание; во-вторых, взаимодействует со словом, стоящим в препозиции; в-третьих, изменяет знаменательное слово в постпозиции, уподобляя его предлогу. Иными словами, грамматика непроизводных предлогов определяет процесс соединения сем предлогов и знаменательных слов при их непосредственном контактировании друг с другом. Взаимное проникновение сем является результатом упорядоченного соединения слов с целью выражения различных отношений в соответствии с их лексической и грамматической заданностью.

Преобразование полнозначных слов, непосредственно находящихся в контакте с предлогами, в первую очередь, выражается в изменении их семантики, а следующим этапом является расширение их „определенности“. Такова схема создания условий для образования новой служебной единицы. А дальнейшая востребованность и частота использования определенных образований в письменной речи способствует их закреплению в языке в качестве предлогов.

⁷ А. С. Ц о й, *Жизненный цикл производных предлогов*, [в:] *Функциональная семантика, семиотика знаковых систем и методы их изучения*. 1 Новиковские чтения. Материалы Международной научной конференции. Москва 5–6 апреля 2006, Российский университет дружбы народов, Москва 2006, с. 300–304.

Внедрение семантики предлога в знаменательные слова сродни семантическому перепрограммированию их прежнего функционирования в языке: взаимодействие знаменательного слова с предлогом (предлогами) изменяет код работы знаменательного слова, а появление категориального значения определенности не позволяет ему в зафиксированной форме дальше оставаться в группе знаменательных слов.

Непроизводный предлог, который стал компонентом производного предлога, соединившись со знаменательным словом, также меняет свое значение. В результате прежнее предложно-падежное единство уже с новым значением приобретает функции служебной части речи.

Так, например, М. В. Всеволодова, Е. В. Клобуков, О. В. Кукушкина и А. А. Поликарпов различают *морфологический предлог* (типа *в, на, из, от*) и *синтаксический предлог* (типа *в порядке, на протяжении, по адресу*) – функционально синтаксическую единицу, функционирующую как одно служебное средство и выполняющую ту же функцию, что и предлог. Сочетания типа *задолго до осени, незадолго до войны, незадолго перед праздником* представляют собой целостные предложные единицы, содержащие сему с временным ориентиром („*За много времени / не за много времени до чего-л., перед чем-л.*”)⁸.

Таким образом, движение компонентов предложно-падежного сочетания друг к другу и выравнивание значения релятивности, установление равновесия между компонентами этого сочетания создают условия для образования в языке производного служебного слова. Переход знаменательных слов в служебные представляет собой весьма длительный процесс.

Новые производные предлоги, в свою очередь, продолжают работу по дальнейшему уподоблению своего ближайшего окружения, сохраняя способность управления своей репликацией. Так, в языке появляются вариации предлогов, „подобия предлогов”, различающиеся по количеству входящих в них элементов. При этом динамика изменений сохраняется: продолжается дальнейшее уподобление знаменательных слов предлогам с вовлечением в этот процесс все большего количества полнозначных слов⁹. С развитием и усложнением письменной речи

⁸ М. В. Всеволодова, Е. В. Клобуков, О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов, *К основаниям функционально-коммуникативной грамматики русского предлога*, „Вестник МГУ. Сер. 9: Филология”, Москва 2003, № 2, с. 19–59.

⁹ Под руководством М.В. Всеволодовой группа лингвистов, работая над научным проектом „Грамматика русского предлога: выявление состава предложных единиц, их категоризация и системное описание их функционально-коммуникативных свойств”, подготовила „Реестр предложных единиц русского языка, созданный данным коллективом, включает шесть с половиной (6500) тысяч единиц”.

должно поступательно увеличиваться количество новых производных служебных слов. Например, предложно-падежные сочетания *незадолго до*, *незадолго перед*, *в надежде на*, *в содружестве с*, *по имени*, *по фамилии*, *высотой от (до)*, *диаметром в*, *с точностью до* позиционируются уже как находящиеся на пути к окончательному закреплению в языке в качестве производных предлогов¹⁰.

Не всякое полнозначное слово может стать элементом нового предлога. Непроизводные предлоги, как правило, взаимодействуют с теми знаменательными словами, которые более предпочтительны для связи, а именно с теми, которые: а) содержат сему, отражающую одну из следующих понятийных категорий: время, место, причина, цель, условие, качество, количество и др.¹¹; б) могут развивать элемент релятивности; в) имеют возможность функционировать в языке в одной из грамматических форм в составе производного предлога; г) находятся в непосредственной близости к непроизводному предлогу.

Можно предположить, что если слово не отвечает одному из этих условий, то оно не сможет стать компонентом нового производного служебного слова, а диффузии с непроизводным предлогом не произойдет. Если же в качестве элемента сочетания знаменательное слово отвечает перечисленным признакам, то оно становится весьма жизнеспособным в структуре нового производного предлога.

Некоторые слова обладают большими потенциальными возможностями для образования новых предлогов. Это слова, входящие в следующие активные семантические зоны: 1) параметрическую зону (слова *ширина*, *высота*, *длина*, *толщина*, *формат* и др.), 2) зону с целевым значением, 3) зону пространства, 4) зону со значением состояния, 5) зону времени, 6) зону комитатива (обозначение сопровождающего действия, признака, сопутствующего предмета, соучаствующего лица, например, *приказ за подписью директора*)¹².

Очевидно, что новый производный предлог становится необходим языковой системе и появляется только в том случае, если способен более четко выразить значение релятивности по сравнению с существующим

См.: Аннотация к отчету по результатам реализации проекта 07-06-00343, финансируемого Российским фондом фундаментальных исследований, по состоянию на 09.09.2015, [в:] электронный ресурс: http://www.rfbr.ru/rffi/portal/project_search/_57365

¹⁰ М. В. Севолодова, Е. В. Клобуков, О. В. Кукушкина, А. А. Поликарпов, указ. соч.

¹¹ М. И. Коношкевич, *Русские и белорусские предлоги: списочный состав, закономерности образования, первый опыт составления*, „Вестник МГУ. Сер. 9: Филология”, Москва 2005, № 4, с. 67.

¹² Там же, с. 64–79.

ющими предлогами, а также если может подменить существующий предлог на правах элемента предложной системы как более дифференцированное и совершенное средство выражения мысли.

Итак, внутри системы служебных слов естественным образом обнаруживается специфическая закономерность: лексическая система служебных слов при невозможности дальнейшего использования производных предлогов онтологически начинает формироваться за счет элементов других уровней, и новые элементы этой системы начинают функционировать вне прямой зависимости от своих предшествующих функций, опираясь на новую, вновь приобретенную систему значимостей. Таким образом, система служебных слов стремится сформировать свою систему знаков и отношений, морфологизируя лексические, словообразовательные и синтаксические единицы и отношения, что позволяет ей обслуживать ограниченным числом средств бесконечное число семантико-синтаксических пропозиций, возникающих в речи. Исследование данной проблемы в расширенном формате, как представляется, в итоге дает полное представление об эволюции служебных частей речи в русском языке. Изучение развития служебных слов позволяет утверждать, что пополнение языковой системы новыми лексическими единицами представляет собой непрерывный процесс, а наглядно представить различные пути этого пополнения позволяет дифференциация способов образования служебных слов на транспозицию и диффузию.

Библиография

- В с е в о л о д о в а М. В., К л о б у к о в Е. В., К у к у ш к и н а О. В., П о л и к а р -
п о в А. А., *К основаниям функционально-коммуникативной грамматики русского
предлога*, „Вестник МГУ. Сер. 9: Филология”, Москва 2003, № 2, с. 19–59.
- З е м с к а я Е. А., *Активные процессы в русском языке последнего десятилетия XX века*,
часть 3, [в:] электронный ресурс: <http://linguistics-online.narod.ru/index/0-396>
(18.09.2015).
- З о л о т о в а Г. А., *Предлог „со стороны”*, „Русская речь” 1969, № 1, с. 52–54.
- К о н ю ш к е в и ч М. И., *Русские и белорусские предлоги: списочный состав, закономер-
ности образования, первый опыт составления*, „Вестник МГУ. Сер. 9: Филология”,
Москва 2005, № 4, с. 67.
- Ч е р к а с о в а Е. Т., *Переход полнозначных слов в предлоги*, Москва 1967.
- Ц о й А. С., *Жизненный цикл производных предлогов*, [в:] *Функциональная семантика,
семиотика знаковых систем и методы их изучения. 1 Новиковские чтения. Материа-
лы Международной научной конференции. Москва 5–6 апреля 2006, Россий-
ский университет дружбы народов, Москва 2006, с. 300–304.*

- Ц о й А. С., *Три этапа „жизненного цикла“ производных предлогов*, „Филологические науки“, Москва 2006, № 5, с. 81–88.
- Щ е р б а Л. В., *Преподавание языков в школе: общие вопросы методики*, Москва 2003, с. 78–80.
- Ш м е л е в Д. Н., *К вопросу о „производных“ служебных частях речи и междометиях*, [в:] его же, *Избранные труды по русскому языку*, Москва 2002, с. 336–349.

ЛИНГВОДИДАКТИКА

МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

CROSS-CULTURAL FOREIGN LANGUAGE TEACHING

JAN GALLO

ABSTRACT. This paper discusses the issue of cross-cultural foreign language teaching accentuating Russian Foreign Language Teaching at colleges in Slovakia. In the introduction some ideas on the position and meaning of cross-cultural communication are presented. In the second part there are explanations of the term *cross-cultural communication* by some linguists and methodists, as well as its implementation on several levels. In the third part attention is focused on the relations between cross-cultural communication and foreign language teaching. The issue of cross-cultural (policultural) didactics is also explained. In the fourth part the problem of cross-cultural teaching methodology is discussed. In the fifth part the focus is on presenting a summary of cross-cultural communication teaching practice in the Department of Russian Studies at Constantine the Philosopher University in Nitra. The paper concludes with a summary of the problems investigated.

Jan Gallo, Univerzita Filozofa v Nitre, Nitra – Slovenská republika, jan.gallo@yahoo.com

1. Введение

Познание культуры, межкультурных пропорций, культурологических аспектов приобретает в последние годы XX века и, главным образом, в начале XXI века особую актуальность при обучении иностранным языкам и их овладении. По сути, в этом процессе происходит не только более глубокое понимание чужой культуры, но и, одновременно, осознание своей национальной культуры, ее духовных ценностей, отражающихся в языке, с одной стороны, в сфере культуры и, с другой стороны, в политике, экономике, образовании и в жизни общества в целом. Таким образом, иноязычная культура становится основой и средством овладения иностранным языком, формирования социо-

культурной компетенции (знаний о стране изучаемого языка, ее культуре, традициях, национальных обычаях и т. п.). Одновременно формируется и способность передать средствами данного языка соответствующую информацию и использовать ее в разнообразных коммуникативных ситуациях.

В первой части предлагаемой статьи дается общая характеристика понятия *межкультурная коммуникация* и обозначаются ее различные уровни. В следующей части внимание акцентируется на межкультурной коммуникации в связи с обучением иностранным языкам, а также раскрывается проблематика межкультурной дидактики, включающей в себя методику межкультурно-коммуникативного образования. Проблематика межкультурной коммуникации в связи с практикой обучения РКИ в Словакии описывается на конкретном примере курса *Основы межкультурной коммуникации*, предназначенного для бакалавриата в рамках учебной программы *Русский язык в межкультурной и деловой коммуникации (RJIOK)* на кафедре русистики Философского факультета Университета им. Константина Философа в Нитре.

2. Понятие межкультурной коммуникации и ее различные уровни

Существует множество определений межкультурной коммуникации. По мнению Д. Б. Гудкова, *межкультурная коммуникация* есть „общение языковых личностей, принадлежащих различным лингвокультурным сообществам, и, как любая коммуникация, представляет собой взаимодействие «говорящих сознаний»”¹. Согласно точке зрения И. И. Халеевой, *межкультурная коммуникация* представляет собой процесс общения (вербального и невербального) между коммуникантами, являющимися носителями разных культур и языков². О. А. Леонтович считает, что *межкультурная коммуникация* есть непосредственный или опосредованный обмен информацией между представителями разных культур³. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров называют *межкультурной коммуникацией* адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культу-

¹ Д. Б. Г у д к о в, *Теория и практика межкультурной коммуникации*, Москва 2003, с. 10.

² И. И. Х а л е е в а, *Вместо предисловия редактора: интеркультура – третья измерение межкультурного взаимодействия (из опыта подготовки переводчиков)*, [в:] *Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. Сборник научных трудов*, вып. 444, Москва, 1999, с. 5–14.

³ О. А. Л е о н т о в и ч, *Введение в межкультурную коммуникацию*, Москва 2007, с. 351.

рам⁴. Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин рассматривают межкультурную коммуникацию как „совокупность разнообразных форм отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам“⁵. Все специалисты солидарны в одном: о межкультурной коммуникации можно говорить в том случае, если люди представляют разные культуры.

Межкультурная коммуникация осуществляется на разных уровнях:

→ общение между различными этническими группами: общество может состоять из различных по численности этнических групп, которые создают и разделяют свои субкультуры;

→ общение между социальными группами того или иного общества: различия между людьми могут возникать в результате их происхождения, образования, профессии, социального статуса и т. д.;

→ общение между представителями различных религиозных конфессий;

→ общение между людьми разного возраста и пола;

→ общение между жителями разных местностей;

→ общение в деловой сфере (при контакте представителей разных предприятий может возникнуть непонимание).

По мнению Т. Г. Грушевицкой, В. Д. Попкова, А. П. Садохина, общей характерной чертой всех уровней и видов межкультурной коммуникации является неосознанность культурных различий ее участниками. Большинство людей в своем восприятии мира придерживаются наивного реализма. Им кажется, что их стиль и образ жизни является единственно возможным и правильным, что ценности, на которые они ориентируются, одинаково понятны и доступны всем людям. И только сталкиваясь с представителями других культур, обнаруживая, что привычные модели поведения перестают работать, обычный человек начинает задумываться о причинах своей неудачи⁶.

3. Межкультурная коммуникация и обучение иностранным языкам. Межкультурная (поликультурная) дидактика⁷

В образовательной системе одной из главных целей обучения иностранному языку является формирование межкультурно-коммуникативной компетенции, т. е. способности общаться с представителем иной культуры. Коммуникативный подход в обучении иностранного

⁴ Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, *Язык и культура*, Москва 1990, с. 26.

⁵ Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин, *Основы межкультурной коммуникации: учебное пособие*, Москва 2006, с. 142.

⁶ Там же, с. 143–144.

⁷ См. А. Петрикова, Т. Куприна, Я. Галло, *Основы межкультурной дидактики*, Москва 2015, с. 15–16.

языка в общеобразовательной школе способствует овладению языком как средством адекватной коммуникации в разных ситуациях.

Переход к поликультурной модели образования учитывает то, что лексика усваивается как средство межкультурной коммуникации, поэтому необходимо использовать такой учебный материал, который сможет приблизить ситуации общения к реальной школьной, студенческой жизни, т. е. живое общение.

При формировании межкультурных лексических навыков уделяется внимание безэквивалентной (*маршрутка, дача, квас, балалайка* и т. п.) и фоновой лексике (отличающееся русское понятие и, например, словацкое понятие *о холодной зиме*).

Обучение грамматике, в свою очередь, — это практическое овладение грамматическими явлениями речи как составной части иноязычной культуры. Необходимо учитывать культурный потенциал и культурную специфику грамматических средств. Особенно это касается оценочных прилагательных: *дорогой, большой, красивый, быстрый* и др.; наречий: *близко, далеко, скоро* и т. д. Например: в словацкой культуре, в отличие от русской, принято считать, что *город*, который расположен в 200 км, находится *далеко*. Если русские скажут, что необходимый для вас объект находится *недалеко*, не следует заблуждаться и надо ожидать намного большего расстояния.

Новая модель образования направлена на формирование общей компетентности, т. е. развитие личности, которая имеет ценностно-смысловые ориентиры, готова к социальному взаимодействию, умеет решать проблемные ситуации, а также на формирование иноязычной коммуникативной компетенции (языковой, социолингвистической, прагматической).

Языки играют важнейшую роль в регуляции и саморегуляции интеллектуально-нравственной, эмоционально-волевой и поведенческой сторон жизнедеятельности⁸.

Таким образом, мы можем дать следующее определение межкультурной (поликультурной) дидактике: Межкультурная (поликультурная) дидактика — это педагогическая теория, направленная на разработку и объяснение новых методов и новых форм обучения с учетом межкультурного (поликультурного) взаимодействия субъектов обучения (учитель — ученик) на основе избранного языка или языков коммуникации (общения).⁹

Межкультурная дидактика преследует основную цель — формирование межкультурно компетентной иноязычной личности. В содер-

⁸ Е. А. Соколов, Н. Е. Буланкина, *Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании*, Москва 2008, с. 109.

⁹ А. Петрикова, Т. Куприна, Я. Галло, указ. соч., с. 15.

жание данного межкультурно-иноязычного образования входят знаки культуры изучаемого иностранного языка с учетом родной культуры и языка.

Основными единицами образования являются тексты, в которых отражаются символы, ритуалы, герои, ценности данной культуры. Средствами образования являются современные межкультурные учебники, мультимедийные средства, разработанные в данной стране с последующей консультацией с представителями иной культуры. Объектом межкультурной дидактики является обучение, направленное на передачу культурных ценностей через язык взаимного общения. Предметом межкультурной дидактики является взаимодействие субъектов обучения в межкультурном контексте (межкультурной окружающей среде)¹⁰.

4. Методика межкультурно-коммуникативного образования¹¹

Идеальной формой межкультурного образования является „учиться обучая“ по принципу тандема, который носит диалогический характер. Данная форма предполагает объединение в пары или группы представителей различных культур, которые обучают друг друга своим культурам.

В то же время критике подвергаются фронтальные формы работы, которые не моделируют деятельность и сконцентрированы скорее на преподавателе, чем на обучаемом. Они не формируют навыков активного взаимодействия, которые необходимы обучаемым в повседневной жизни.

На данный момент распространенный коммуникативный подход требует дополнений¹². Это обусловлено рядом причин:

1. Всеобщая европеизация и глобализация экономики увеличивает роль языков специальности (экономический русский, медицинский испанский и др.), основа которых должна закладываться еще в школе.

2. Увеличение роли общеучебных умений и навыков в связи с задачами непрерывного образования, в том числе и при изучении иностранных языков, влияет на выбор различных стратегий обучения в зависимости от психо-физиологического типа обучаемых.

Увеличение роли общеучебных умений происходит по трем направлениям:

¹⁰ Там же, с. 16.

¹¹ Там же, с. 143–145.

¹² А. Б е р д и ч е в с к и й, *Основные направления языковой политики в странах ЕС, [в:] Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. Материалы V Международной научной конференции, (09–13 мая), Варшава 2012, с. 75–82.*

1. расширение границ *иммерсионного обучения*, в ходе которого иностранный язык используется как язык обучения для других предметов: экономики, географии и др.;

2. появление сети европейских *билингвальных школ*, которая все активнее расширяется;

3. использование *моделей многоязычия*, как образовательной цели Европы, прежде всего модели рецептивного многоязычия.

Методика межкультурно-коммуникативного образования преследует цель — формирование межкультурно-образованной личности, владеющей умением эффективно вести вербальную, паравербальную, невербальную коммуникацию.

К основным принципам межкультурно-коммуникативного метода иноязычного обучения относятся:

1. диалог культур, подразумевающий *знание прежде всего собственной культуры* и культуры страны изучаемого языка;

2. осознание *равноценности и значимости иностранных языков* и культур;

3. изучение вербальных и невербальных сигналов разных культур;

4. организация процесса формирования основ межкультурной коммуникативной компетентности, состоящая в том, чтобы привлечь учащихся в активную межкультурную коммуникацию посредством разработанной системы упражнений, ролевых игр, инсценировок;

5. работа с текстами из современных книг, журналов и газет на русском (или другом иностранном) языке.

Необходимо учитывать, что стрелом методики межкультурно-коммуникативного образования является ее посткоммуникативный характер. На уроке иностранного языка уже недостаточно только обсуждать бытовые темы, но важно учитывать, что каждое слово — это „обусловленное национальным сознанием представление о мире“¹³.

Это значит, что необходимо создать такие условия, чтобы обучаемые могли „выйти“ из культурной системности своего языка и перейти в другие „культурные“ координаты.

Основными единицами такой методики являются тексты, связанные с традиционной культурой как с культурно-историческим наследием народа (идеалы, традиции, обычаи, обряды, праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы и ремесла; произведения искусства, музейные, архивные и библиотечные фонды, коллекции, книги, рукописи, письма, личные архивы; памятники археологии, архитектуры, науки и искусства, памятные знаки, сооружения и др.), с поведением носителей языка, отражающим ценности, духовный опыт данной культуры.

¹³ С. Г. Тер-Минасова, *Язык и межкультурная коммуникация*, Москва 2000, с. 25.

Немаловажной составляющей данного образования является воспитательный аспект. Воспитание в современных условиях — это умение быть готовым налаживать межкультурные отношения, быть достойным представителем своей родной страны, любить и дорожить историей родины, а также уважать ценности и культуры иных стран.

Межкультурно-коммуникативный метод предполагает, что язык — это средство общения, социализации и приобщения к культурным ценностям, поэтому:

1. обучение грамматике проходит в тесной связи с изучением конкретных межкультурных ситуаций;
2. в основе изучения грамматической единицы лежит межкультурная функция, а не ее грамматическая форма;
3. в основе изучения лексического состава языка лежит представление о лексике как инструменте культуры и средстве формирования личности¹⁴;
4. развитие межкультурных умений чтения, говорения, аудирования и письма основано на аутентичных ситуациях общения, как фактов культуры с их особенностями.

5. Межкультурная коммуникация в практике обучения РКИ на кафедре русистики Философского факультета им. Константина Философа в Нитре

Процесс обучения иностранцев русскому языку как средству общения предполагает приобретение определенных фоновых знаний о России: о национальных традициях русского народа, важных исторических этапах развития страны и явлениях русской духовной культуры. Но самое главное — это познание посредством изучаемого языка национальной картины мира, постижение особенностей русского менталитета, русского характера, который определяет как социальное, так и речевое поведение носителей языка.

На наш взгляд, такой „диалог культур“ в информационной форме будет способствовать более адекватному взаимопониманию и духовному взаимообогащению представителей разных лингвокультурных общностей. Конечный результат обучения должен выражаться не только в усвоении определенной страноведческой информации, но и в понимании реалий (слов, обозначающих предметы национальной русской культуры), умения употреблять их в речи, а также в знании фоновой лексики (антропонимов, зоонимов, топонимов), фразеологизмов, пословиц, афоризмов как источников национально-культурной информации.

¹⁴ Там же.

Итак, с нашей точки зрения, в лингвистически направленных вузах необходимо ввести в учебные программы соответствующий предмет, например *Введение в межкультурную коммуникацию* или просто *Межкультурная коммуникация*. Наглядным примером может послужить учебная программа для бакалавров-русистов на Философском факультете Университета Константина Философа в Нитре, где в тематический план семинаров курса *Основы межкультурной коммуникации* включены следующие аспекты: Термин *межкультурная коммуникация*, его употребление в трех значениях; Объект и предмет теории МКК; Формирование теории МКК в Европе, в России и на Украине; Межкультурная компетенция; Основные понятия теории МКК (культура, коммуникация, культурная идентичность, языковая личность, языковая картина мира, коммуникативная компетенция); Языковые и культурные барьеры; Отсутствие межкультурных знаний и умений; Речевой этикет; Вербальная коммуникация: приветствие, способы выражения приветствия; Прощание: выражение прощания, пожелания при прощании, выражения, сопровождающие прощание; Обращение: привлечение внимания, обращение к незнакомому человеку, привлечение его внимания, обращение к знакомому человеку, привлечение его внимания, реакция на обращение, привлечение внимания; Тосты; Личная зона; Невербальная коммуникация: жестикуляция: особенности в жестикуляции у русских и у словаков; Рукопожатия, объятия и другие виды прикосновений; Тождественные жесты; Безэквивалентные жесты; Отличающиеся жесты; Основы академического этикета; Обращение и использование званий; Этикет в университете. Хотя курс *Основы межкультурной коммуникации* был включен в программу впервые, студенты положительно оценили идею заведующей кафедрой проф. Я. Соколовой, чтобы узнать и более глубоко понять семиозис не только русской культуры, но и собственной – словацкой.

Главным вкладом введения предмета *Основы межкультурной коммуникации* или *Межкультурная коммуникация* в учебные планы и других словацких вузов было бы повышение качества соответствующих, прежде всего, лингвистически направленных специальностей за счет того, что:

а) осуществится соединение с международными образовательными программами в странах Евросоюза;

б) при обучении межкультурной коммуникации эти программы будут учитывать актуальную ситуацию в современной Европе, где происходит сближение с представителями других национальностей, в том числе и в Словацкой Республике, которая становится мультикультурной страной.

Выводы

Межкультурная коммуникация является междисциплинарной специальностью, исходящей из социолингвистики и лингвистики, межличностной коммуникации, этнографии коммуникации и культурной коммуникации (устанавливает, как возникают разделяемые идентичности), а также из антропологии и социальной психологии.

Межкультурная коммуникация как научная дисциплина старается описать коммуникацию между людьми во взаимосвязи с их культурой. Участники коммуникации являются представителями конкретной культуры и, следовательно, культура оказывает влияние на их сообщения, их цели и весь процесс коммуникации (например, когда коммуникация начинается и когда заканчивается).

В интересах приближения обучения иностранному языку к реальным потребностям учащихся необходимо определить его как подготовку к межкультурной коммуникации с точно установленными целями и компетенцией учеников и студентов. Внедрение принципов межкультурного обучения в педагогическую практику в школах и вузах является, несомненно, трудной задачей. Реальное применение интегрированной модели обучения иностранному языку и культуре в педагогической практике требует изменений, прежде всего в организации обучения, в предпочитаемых формах работы на уроках иностранного языка и в способе оценки. Таким образом, необходимо уделять больше внимания процессу обучения иностранному языку и культуре, совершенствованию учебных навыков и более активному вовлечению студентов в учебный процесс на занятиях (в аудитории) или вне занятий (вне аудитории).

При межкультурной коммуникации индивиды создают новые значения и, одновременно, преобразуют свои собственные взгляды на мир, свои способы коммуникации и, может быть, и свою идентичность. Какой бы ни была разница между языками, оказывающаяся, на первый взгляд, главным препятствием в межкультурной коммуникации, за неудачей нашей коммуникации может стоять непонимание влияния, которое оказывают наши ценности, обычаи, а также и жизненные возможности. Какими бы различными ни были наш жизненный опыт и цели, общая природа человека объединяет нас как партнеров коммуникации.

Начиная с прошлого года в Словакии на кафедре русистики Философского факультета Университета им. Константина Философа в Нитре в курс обучения бакалавриата в рамках учебной программы *Русский язык в межкультурной и деловой коммуникации* включено преподавание курса *Основы межкультурной коммуникации*, пользующегося большой популярностью среди студентов-русистов.

В заключение приведем слова Е. Янебовой¹⁵ о том, что

межкультурная коммуникация является процессом трансформации, в котором постоянно спрашиваем сами себя, что нам может быть уже знакомого за границей. Межкультурная коммуникация предлагает исключительный случай развития самого себя, так как знание границ собственного мира часто осуществляется на глубоких фундаментальных уровнях (оценочных, самопознания и т. п.). Смысл интеркультурной коммуникации состоит не в том, чтобы кого-то заставить усвоить новый коммуникативный стиль (чтобы он здоровался по-другому, чем до сих пор, чтобы кушал палочками и т. п.). Ее смыслом является понять самого себя и партнера (понять то, каким образом мы общаемся) и найти пути, как лучше общаться друг с другом. Ежедневная коммуникация с людьми дает нам возможность учиться новым вещам. Если бы мы общались только с одинаково думающими людьми, у нас бы не было возможности узнать, что существуют разные взгляды на мир, разные оценки и другие способы коммуникации, которые нас могут обогатить. Только от нас зависит, будет ли всепроникающее разнообразие непреодолимой, беспокоящей проблемой или призывом к самоанализу, саморазвитию и самообогащению [перевод наш — Я. Г.].

Библиография

- Б е р д и ч е в с к и й А., *Основные направления языковой политики в странах ЕС, [в:] Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. Материалы V Международной научной конференции, (09–13 мая), Варшава 2012, с. 75–82.*
- В е р е щ а г и н Е. М., К о с т о м а р о в В. Г., *Язык и культура, Москва 1990.*
- Г р у ш е в и ц к а я Т. Г., П о п к о в В. Д., С а д о х и н А. П., *Основы межкультурной коммуникации: учебное пособие, Москва 2006.*
- Г у д к о в Д. Б., *Теория и практика межкультурной коммуникации, Москва 2003.*
- К а л е ч и ц Е., *Художественный текст в иностранной аудитории. Когнитивно-деятельностный подход, LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken 2016.*
- Л е о н т о в и ч О. А., *Введение в межкультурную коммуникацию, Москва 2007.*
- П е т р и к о в а А., К у п р и н а Т., Г а л л о Я., *Основы межкультурной дидактики. Москва 2015.*
- С о к о л к о в Е. А., Б у л а н к и н а Н. Е., *Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании, Москва 2008.*
- Т е р - М и н а с о в а С. Г., *Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2000.*
- Х а л е е в а И. И., *Вместо предисловия редактора: интеркультура – третье измерение межкультурного взаимодействия (из опыта подготовки переводчиков), [в:] Актуальные проблемы межкультурной коммуникации. Сборник научных трудов, вып. 444, Москва, 1999, с. 5–14.*

¹⁵ E. J a n e b o v á a kol., *Interkulturní komunikace ve škole, Praha 2010, с. 6.*

- J a k u b o v s k á V., *Multikúlturna komunikácia a jej špecifiká v literatúre = Multicultural Communications and its specifics in the literatura*, *Xlinguae: "European Scientific Language Journal"* 2014, vol. 7, no. 2, c. 45-60.
- J a k u b o v s k á V., P r e d a n c o v á L., *Multikúlturna výchova (Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií učiteľ'a)*, UKF, Nitra 2011.
- J a n e b o v á E. a kol., *Interkulturní komunikace ve škole*, Fortuna, Praha 2010.

POLSKO-ROSYJSKIE PORÓWNIANIA MIĘDZYKULTUROWE
W PODRĘCZNIKACH DO NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
NA POZIOMIE GIMNAZJALNYM

POLISH-RUSSIAN CROSS-CULTURAL COMPARISONS
IN RUSSIAN TEXTBOOKS AT THE LOWER SECONDARY LEVEL

MARZANNA KAROLCZUK

ABSTRACT. Comparing and contrasting cultural, lexical and grammatical aspects in the foreign language classroom has many advantages. These include the development of intercultural competence, cultural awareness and a new insight into the first language. Research shows that foreign language textbooks are basic teaching tools. Therefore, this article is an attempt to analyse Polish-Russian tasks and comparative content in Russian textbooks at the level of lower secondary school. Five textbook series for learning Russian, published between 1999 and 2009, are examined. These are *В Москву, Времена, Кл@ссно!, Прогулка* and *Эхо*. The findings show that these textbooks offer comparative reflective tasks and reconstructive ones.

Marzanna Karolczuk, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok – Polska,
karolczuk.m@poczta.onet.pl

Wstęp

Podstawowym celem nauki języka obcego jest nabycie umiejętności skutecznego porozumiewania się w mowie i piśmie. Osiągnięcie tego celu nie jest zadaniem łatwym ani dla ucznia, ani dla nauczyciela, który w procesie nauczania zarządza dostępnymi językowymi możliwościami/zdolnościami jednostki oraz jej uwarunkowaniami osobowościowymi. Należy założyć, że nauka języka obcego jest procesem dynamicznym, przebiega w konkretnym kontekście, w oparciu o samodzielne działania ucznia lub we współpracy z innymi (czyli poprzez aktywne formy nauki). Działania te „pozwalają ocenić (nie)skuteczność opanowanych kompetencji i dokonać ich ewentualnej transformacji”¹. Osiągnięcie wspomnianego celu jest uzależnione między innymi od aktywności językowej i intelektualnej ucznia na lekcji, interakcji między myśleniem a wyrażeniem myśli w języku obcym,

¹ M. S o w a, *Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w klasie języka obcego. Perspektywa ucznia*, „Neofilolog” 2013, nr 40/2, s. 169.

wiedzy, jaką dysponuje i do jakiej się odwołuje w komunikacji w warunkach sztucznych, a następnie naturalnych. Komunikacji w języku obcym towarzyszy proces podejmowania decyzji odnośnie do treści wypowiedzi, czyli nie tylko „jak powiedzieć”, ale również „co powiedzieć”.

Badania przeprowadzone wśród 366 uczniów z regionu lubelskiego pokazały, że realizowane na lekcjach języków obcych ćwiczenia są schematyczne i często nie wykazują związku między językiem a działaniem. Badani stwierdzają, że nie potrafią porozumiewać się z innymi ludźmi w języku obcym, nie widzą zależności między nauką w szkole a rzeczywistym użyciem języka obcego w życiu społecznym. Uczniowie deklarują, że na lekcji dominuje praca indywidualna, zwykle pracują z nagraniami audio (60%) i materiałami opracowanymi przez nauczyciela (50%). Na pierwsze miejsce wśród pomocy dydaktycznych wysunął się jednak podręcznik (95%)².

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie próba analizy polsko-rosyjskich zadań i treści porównawczych w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie szkoły gimnazjalnej.

Porównywanie i kontrastowanie treści dydaktycznych

Porównywanie jest jedną z prymarnych czynności naszego umysłu, polegającą na identyfikowaniu różnic i podobieństw między aktualną sytuacją a schematami umysłowymi, które powstały w wyniku wcześniejszych doświadczeń, co może implikować powstawanie stereotypów. Na podstawie porównań klasyfikowana jest rzeczywistość oraz powstawanie aparatu pojęciowego³.

Porównywanie, rozumiane jako pobudzanie refleksji oraz szukanie podobieństw i różnic między dwoma zjawiskami językowymi i kulturowymi, jest istotnym procesem kognitywnym w uczeniu języka obcego. Efektywne kontrastowanie, zestawianie ze sobą treści językowych i kulturowych, jako strategia poznawcza stosowana w procesie nauczania i uczenia się języka obcego, polega na analizowaniu różnic bez stosowania negatywnego wartościowania. Obie strategie kognitywne odnoszą się do zestawienia treści obejmujących kulturę własną ucznia i obcą, poznawaną. Porównywanie i kontrastowanie treści dydaktycznych na lekcji języka obcego może odbywać się w języku docelowym lub przy użyciu języka ojczystego (polskiego) uczniów⁴.

² Ibidem, s. 169–178.

³ R. M a j e w s k a, *Rozwój kompetencji dyskursywnej na przykładzie porównań interkulturowych. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim*, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 2, s. 40.

⁴ S. P. K a c z m a r s k i, *Język ojczysty w nauce języka obcego – kilka refleksji*, „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 1, s. 14–19.

Ekspozowanie zjawisk językowych i kulturowych przy pomocy porównania i kontrastowania odnosi się do wiedzy eksplicytnej, czyli świadomej wiedzy o języku i kulturze, stanowiąc część pamięci deklaratywnej⁵. Jak podkreśla się w literaturze, „wykorzystanie wiedzy eksplicytnej wymaga uprzedniego zaplanowania wypowiedzi i czasu do namysłu”⁶. Zastosowanie odpowiedniej praktyki językowej może doprowadzić do zautomatyzowania wiedzy eksplicytnej i zastosowania jej jako wiedzy implicytnej w produkcji językowej⁷.

Wiedza deklaratywna (*savoir*), wchodząca w skład ogólnych kompetencji jednostek, obejmuje wiedzę o świecie, wiedzę socjokulturową oraz wrażliwość interkulturową⁸. Aktualna wiedza o świecie wynika między innymi ze zdobytego doświadczenia, edukacji formalnej, źródeł informacji, z których korzysta jednostka. Należy jednak pamiętać, że tak jak doświadczenie życiowe, poziom zdobytej wiedzy i umiejętności w toku uczenia się w szkole, rodzaj wykorzystywanych źródeł informacji w celach poznawczych są różne w przypadku poszczególnych osób będących na tym samym poziomie edukacyjnym, tak ich wiedza o świecie nie może być uznawana a priori za równorzędną. Jeżeli uczeń rozpoczyna naukę języka obcego na danym poziomie edukacyjnym, to jego wiedza socjokulturowa na temat społeczeństwa i kultury społeczności posługującej się danym językiem może być rezultatem doświadczenia i nauki nieformalnej o otaczającej go rzeczywistości. Może to być wiedza zniekształcona, nacechowana rozpowszechnionymi stereotypami. Wrażliwość interkulturowa jest istotnym składnikiem wiedzy deklaratywnej. Jej osiągnięcie, czyli poznanie, uświadomienie i zrozumienie relacji między światem ucznia a światem wspólnoty, której języka on się uczy, jest możliwe, jeśli wrażliwość interkulturowa jest rozwijana od najmłodszych lat dziecka poprzez pokazanie różnorodności kulturowej najbliższego otoczenia, w którym wzrasta, jako wartości. Zalecane jest dalsze jej pobudzanie i wzmacnianie w procesie edukacji szkolnej oraz pozaszkolnej poprzez wskazywanie na różnicowanie regionalne, a także międzyregionalne społeczeństwa. A zatem w procesie nauki języka obcego istotne jest odwoływanie się do posiadanej już wiedzy ucznia lub jej uaktywnianie oraz pobudzanie ucznia do refleksji na temat kultury własnej. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że kreowane obrazy o kulturze

⁵ Por. R. Ellis, *The definition and measurement of L2 explicit knowledge*, „Language Learning” 2004, vol. 54, s. 227-275; M. Pawlak, *Problemy pomiaru wiedzy językowej*, „Neofilolog” 2010, nr 35, s. 9-22.

⁶ M. Pawlak, op. cit., s. 13.

⁷ Ibidem.

⁸ *Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie*, Warszawa 2003, s. 94-96.

obcej mogą być poprawnie zinterpretowane i rozumiane dzięki uważnemu spojrzeniu na obrazy własne⁹. Nauka języka obcego nie może zatem pomiąć wiedzy o świecie i refleksji na temat języka oraz kultury własnej uczącej się osoby. Analiza zjawisk językowo-kulturowych powinna rozpoczynać się od zrozumienia kultury własnej. Joanna Zator-Peljan, powołując się na Wierlachera, wyjaśnia, że „doświadczenie obcego obszaru kulturowego to nieustanny proces porównywania swojego *ja* i obcości przy zachowaniu osobistej tożsamości kulturowej”¹⁰.

W identyfikacji podobieństw i różnic językowo-kulturowych, dotyczących kultury własnej i obcej, pomocne mogą być zadania porównawcze i kontrastywne stosowane na lekcji języka obcego¹¹. Są one niezbędne nie tylko dlatego, że pozwalają na podjęcie refleksji o sobie i o swoim miejscu w otaczającej rzeczywistości, ale również dlatego, że uczeń ma możliwość kształtowania umiejętności konwersacji w języku obcym na temat własnej kultury, zwyczajów, a także języka ojczystego. Mogą one być pomocne podczas kształtowania kompetencji międzykulturowej oraz przy rozwijaniu czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania¹². Warto pamiętać, że osoba ucząca się częściej zostanie zapytana przez obco krajowca o jej własną kulturę (np. święta, religię, kuchnię, styl życia, edukację) niż o kulturę, którą poznaje (docelową)¹³.

Zadania porównawcze i kontrastywne w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego – wyniki analizy

Analizie poddano 5 serii podręczników do nauki języka rosyjskiego w gimnazjum, które zostały wydane w latach 1999–2009. Są to: *B Moskwy*¹⁴,

⁹ Zob. J. Z a t o r - P e l j a n, *Wpływ kultury własnej na postrzeganie innych obszarów kulturowych*, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 1, s. 35.

¹⁰ Ibidem, s. 36.

¹¹ Zob. M. K a r o l c z u k, *Sposoby kształtowania postaw uczniów wobec Rosji i Rosjan na lekcji języka rosyjskiego jako drugiego obcego*, [w:] *W dialogu języków i kultur*, pod red. K. Fordońskiego, Ł. Karpińskiego, Warszawa 2015, s. 173–174.

¹² Por. K. M i h u ł k a, *Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego*, „Języki Obce w Szkole” 2012, nr 2, s. 108; M. K a r o l c z u k, *Контрастивное обучение: подготовка польских учеников к межкультурной коммуникации*, [w:] *Контрастивные исследования и прикладная лингвистика. Материалы Международной научной конференции*, ч. 2, под ред. А. В. Зубова, Т. П. Карпиловича, Минск 2015, s. 164–167.

¹³ Zob. M. M i e r z w a, *Obecność języka ojczystego uczących się w kształtowaniu kompetencji socjokulturowej w zakresie języka docelowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 3” 2011, z. 68, s. 107–108.

¹⁴ W. F i g a r s k i, „*B Moskwy!1*”. *Podręcznik*, WSiP, wyd. 1, Warszawa 1999; tegoż, „*B Moskwy!2*”. *Podręcznik*, WSiP, wyd. 1, Warszawa 2000; W. F i g a r s k i, R. B r o n i a r z, „*B Moskwy!3*”. *Podręcznik*, WSiP, wyd. 1, Warszawa 2001.

*Времена*¹⁵, *Кл@ссно!*¹⁶, *Прозылка*¹⁷, *Эхо*¹⁸. Wszystkie cykle są adresowane do polskiego ucznia.

Celem przeprowadzonej eksploracji była próba odpowiedzi na pytania:

1. Jaki zakres tematyczny obejmują zadania porównawcze i kontrastywne? W ramach jakich tematów uczniowie będą rozwijać umiejętności komunikacyjne dotyczące ich kultury?

2. Jakiego rodzaju zadania / treści porównawcze i kontrastywne oferują podręczniki? Czy zachęcają do refleksji, czy inspirują do dalszych poszukiwań na temat kultury rosyjskiej i odkrywania kultury własnej? Czy rozwijają umiejętności porozumiewania się w języku rosyjskim?

Rezultaty przeprowadzonej analizy materiałów dydaktycznych pokazały, że w podręcznikach polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe są realizowane w ramach kilkunastu zakresów tematycznych. Dwa kręgi leksykalne, tj. (1) święta, zwyczaje oraz (2) przysłowia, frazeologizmy, występują we wszystkich seriach. Oznacza to, że gimnazjaliści w ramach tych obszarów odwołują się do wiedzy o języku i kulturze własnej oraz kształtują umiejętności wypowiadania się na ten temat w języku rosyjskim. Inne kręgi tematyczne realizowane w układzie porównawczym i kontrastywnym to: utwory literackie, bajki, piosenki; biblioteka; postaci; historia; eko-

¹⁵ E. Ch a m r a j e w a, E. I w a n o w a, R. B r o n i a r z, „*Времена1*”. *Язык rosyjski. Kurs dla początkujących. Podręcznik*, WSIP, „Дрофа”, Warszawa 2004; R. B r o n i a r z, „*Времена1*”. *Язык rosyjski. Kurs dla kontynuujących naukę. Podręcznik*, WSIP, wyd. 3, Warszawa 2011; E. Ch a m r a j e w a, R. B r o n i a r z, „*Времена2*”. *Язык rosyjski. Kurs dla początkujących. Podręcznik*, WSIP, „Дрофа”, wyd. 3, Warszawa 2007; tychże, „*Времена2*”. *Язык rosyjski. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Podręcznik*, WSIP, „Дрофа”, wyd. 2, Warszawa 2011; tychże, „*Времена3*”. *Язык rosyjski. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę. Podręcznik*, WSIP, „Дрофа”, Warszawa 2011.

¹⁶ I. D a n e c k a, B. C h l e b d a, „*Кл@ссно!1*”. *Язык rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik dla początkujących*, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa 2004; tychże, „*Кл@ссно2*”. *Язык rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik*, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2005; tychże, „*Кл@ссно3*”. *Язык rosyjski dla gimnazjum. Podręcznik*, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2006.

¹⁷ J. C h m i e l e w s k a, K. G r a b a r c z y k, M. S z a c h e r s k a, „*Прозылка1*”. *Podręcznik z ćwiczeniami dla początkujących (do nowej podstawy programowej)*, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2009; tychże, „*Прозылка2*”. *Podręcznik z ćwiczeniami dla początkujących (do nowej podstawy programowej)*, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2010; tychże, „*Прозылка3*”. *Podręcznik z ćwiczeniami dla początkujących (do nowej podstawy programowej)*, Wydawnictwo JUKA, Warszawa 2011.

¹⁸ B. G a w e c k a - A j c h e l, „*Эхо1*”. *Язык rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących*, WSIP [zgodny z nową podstawą programową], Warszawa 2009; teje, „*Эхо2*”. *Язык rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących*, WSIP, Warszawa 2010, wyd. 4 zmienione, 2013; teje, „*Эхо3*”. *Язык rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Kurs dla początkujących*, WSIP [zgodny z nową podstawą programową], Warszawa 2011; wyd. 2, Warszawa 2012.

logia; przyroda; miasta, miejsca turystyczne; szkoła, edukacja; prasa; symbole ludowe i narodowe; ojczyzna, patriotyczne zachowanie; adresowanie kopert; świadomość językowa, komunikacja; kuchnia; teatr; rekordy.

Wyniki analizy podręczników pozwoliły na zaklasyfikowanie wyekscerpowanych treści o charakterze porównawczym i kontrastywnym do dwóch typów zadań adresowanych do uczniów gimnazjum. Autorzy podręczników proponują zadania o charakterze refleksyjnym oraz odtwórczym.

Zadania refleksyjne – obejmują treści dotyczące Rosji i Rosjan, połączone z wiedzą o polskiej kulturze i języku ojczystym oraz z wiedzą ogólną o świecie lub zaczerpniętą z niejęzykowych przedmiotów szkolnych, np. historii, biologii, geografii. Chodzi tu nie tylko o wiedzę „natychmiastową”, ale również wymagającą obserwacji otaczającej rzeczywistości, namysłu, refleksji, określenia swojego stanowiska. W tego typu zadaniach treści na temat rosyjskojęzycznego obszaru kulturowego są punktem odniesienia (wzorem) do aktywizowania wypowiedzi uczniów o kulturze polskiej. Wśród zadań refleksyjnych zaproponowanych przez autorów podręczników do nauki języka rosyjskiego w gimnazjum można wyodrębnić ćwiczenia ukierunkowane na: poszerzanie wiedzy o polskiej kulturze, autoobserwację, samodzielne porównywanie przedstawionych w cyklach treści, językową aktywizację uczniów oraz intelektualne dyskusje.

1. *Poszerzanie wiedzy o kulturze polskiej.* Wykonanie przez ucznia tego typu zadań wymaga uaktywnienia nie tylko aktualnej wiedzy, ale również sięgnięcia po dodatkowe źródła informacji, np. Internet. Aktywizują one gimnazjalistów do poszukiwania informacji, jej selekcji. Jeśli idea ta jest zachowana, to zadania ukierunkowane na poszerzanie określonego zasobu wiedzy wspomagają rozwój ucznia nie tylko pod względem językowym i kulturowym, ale również w kontekście sprawnego korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotyczą one takich kręgów tematycznych jak: biblioteka („В Мокѳы3”, z. 13, s. 22), kolęda („В Мокѳы3”, z. 13, s. 72), ekologia, przyroda („Времена1” K¹⁹, z. 15, s. 56; z. 16, s. 57; „Эхо3”, z. 9b, s. 60; z. 10, s. 61; „Кл@ссно!3”, z. 2, s. 20), rekordy („Эхо3”, z. 5a, s. 39; z. 5g, s. 41), święta („Эхо1”, z. 4a, s. 75; z. 4b, s. 75), teatry („Прогулка3”, s. 58, z. 2).

2. *Autoobserwacja.* Zadania tego typu uwzględniają wiedzę ucznia, która wynika z jego przeżyć, doświadczeń osobistych, rodzinnych, koleżeńskich czy obywatelskich. Obserwacja siebie, otaczającej ucznia rzeczywistości w konfrontacji z kulturą obcą, poznawaną na lekcji języka obcego, wspomaga lepsze zrozumienie kultury docelowej i reprezentujących ją ludzi. Z drugiej strony wzmacnia świadomość istnienia różnorodności w obrębie kultury własnej, kiedy na przykład uczniowie wypowiadają się na temat zwyczaja-

¹⁹ Tu i dalej K oznacza kurs dla kontynuujących naukę języka rosyjskiego.

jów świątecznych, z którymi się zetknęli. Autoobserwacja została zastosowana w ramach takich tematów jak: święta i zwyczaje bożonarodzeniowe, wielkanocne i noworoczne („В Москвѣ3”, z. 6, s. 68; z. 7, s. 69; z. 11, s. 70; z. 7, s. 119), szkoła, edukacja („Времена3” PK²⁰, s. 64, z. 11), bajki („Времена2” P²¹, z. 12, s. 63; PK, z. 12, s. 63), symbole ludowe i narodowe („Кл@ссно!3”, z. 2, s. 62; z. 3, s. 62; „Эхо3”, z. 2a, s. 34; z. 2b, s. 34), ojczyzna („Кл@ссно!2”, z. 1, s. 54; z. 2, s. 54; „Времена1” P, z. 43, s. 27).

3. *Samodzielne porównywanie zaprezentowanych treści.* W podręcznikach zostały zamieszczone teksty zawierające informacje o rosyjskich i polskich elementach językowo-kulturowych. Zadania do tekstów inspirują uczniów do podejmowania samodzielnej próby wyszukania podobieństw i różnic międzykulturowych. Zwyczaje świąteczne („Прогулка3”, s. 50, z. 1), piosenki („Прогулка2”, z. 6, s. 70), pokrewieństwo językowe („Эхо1”, z. 1, s. 22), adresowanie kopert („Кл@ссно!2”, s. 48) – to zagadnienia tematyczne, w obrębie których gimnazjaliści samodzielnie podejmują analizę zaproponowanych w podręcznikach treści.

4. *Aktywizacja językowa.* Zadania językowe zaproponowane w analizowanych seriach uaktywniają wiedzę uczniów lub poszerzają ją w zakresie znajomości struktur leksykalno-gramatycznych języka polskiego. Gimnazjaliści dobierają do rosyjskich przysłów („В Москвѣ1”²², z. 9, s. 205; „Времена1” K, z. 4, s. 30; „Времена2” PK, s. 67; „Кл@ссно!3”, z. 6, s. 33; „Прогулка1”, z. 6, s. 116; „Эхо2”, z. 8, s. 89; z. 5, s. 102; „Эхо3”, z. 9, s. 32), frazeologizmów („Времена1” K, z. 17, s. 57) lub innych konstrukcji językowych („Кл@ссно!3”, z. 5, s. 65; „Эхо3”, z. 9a, s. 96) ich polskie odpowiedniki, dzięki czemu dokonują semantyzacji nieznanymi rosyjskojęzycznymi zwrotów oraz uświadamiają sobie podobieństwa, różnice językowe, uwarunkowania kontekstowe, a także bogactwo języka ojczystego. Przekonują się, że „słownik to nie worek, do którego wrzucono niezależne od siebie słowa bez ładu i składu, gdyż słownictwo danego języka podlega pewnej organizacji, a pewne terminy i pojęcia pozostają wobec siebie w różnych stosunkach [...]”²³. Uczniowie mają okazję uzmysłowić sobie, że istnieje korelacja między sposobem

²⁰ Tu i dalej PK oznacza kurs dla początkujących i kontynuujących naukę języka rosyjskiego.

²¹ Tu i dalej P oznacza kurs dla początkujących.

²² Autor podręcznika podał osiem przysłów – bez polskich odpowiedników, np.: *Слон, попавший в посудную лавку; Первая ласточка весны не делает; Они стали делить шкуру неубитого медведя.*

²³ A. P i s a r s k a, *Najważniejsze kierunki badań translologicznych*, [w:] *Współczesne tendencje przekładowe. Podręcznik dla studentów neofilologii*, pod red. A. Pisarskiej, T. Tomaszewicz, Poznań 1996, s. 92; por. A. D. K u b a c k i, *Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcjach języka obcego*, „Neofilolog” 2010, nr 35, s. 198; J. T a r g o ņ s k a, *Kompetencja kolokacyjna – niedostatecznie rozpoznany komponent kompetencji leksykalnej*, „Neofilolog” 2014, nr 43/2, s. 194.

życia danego społeczeństwa a słownictwem, jakim ono operuje, że „każdy język artykułuje i organizuje świat odmiennie”²⁴.

5. *Dyskusje intelektualne*. Zadania tego typu wymagają od gimnazjalistów konkretnej, rzetelnej wiedzy oraz umiejętności interpretacji faktów historycznych i współczesnych wydarzeń dotyczących kultury własnej i docelowej. Kontekst porównawczy / kontrastywny obejmujący kulturę prymarną i poznawaną może sprzyjać wydawaniu zbyt pochopnych sądów i generalizacji. Dlatego też nauczyciel powinien być wyjątkowo czujny podczas prowadzenia intelektualnych dyskusji i odpowiednio je moderować. Tego typu zadania, mimo że są ważne dla ogólnego rozwoju ucznia, w podręcznikach występują sporadycznie. W analizowanym materiale pojawiło się jedno zadanie w jednym cyklu („*B Mockby2*”, z. 5, s. 71²⁵).

Drugi typ treści zaobserwowany w analizowanych cyklach został określony jako **zadania odtwórcze**. Są to informacje werbalne i niewerbalne o obszarach kulturowych Rosji i Polski, wraz z pytaniami do nich. Uczeń nie musi samodzielnie wyszukiwać informacji lub podejmować refleksji na temat własnej kultury lub kultury docelowej. Elementy kulturowe zostały zaprezentowane w formie porównawczej lub kontrastywnej (treści o obu kulturach zamieszczono obok siebie) jako wiedza podana do opanowania. Zadania odtwórcze można przyporządkować do trzech grup ćwiczeń i treści. Są to: zdjęcia i ilustracje, kontrastowanie informacji kulturowych, porównywanie elementów kulturowych.

1. *Zdjęcia i ilustracje*. Należy zauważyć, że obraz w kształceniu językowym jest ważnym źródłem poznania kultury docelowej²⁶. Zdjęcia i ilustracje są również bodźcem wspomagającym rozwój sprawności mówienia w języku obcym. Wykorzystane jako treści porównawcze w edukacji językowej sprzyjają rozwojowi kompetencji interkulturowej. Mimo wielu zalet zdjęcia i ilustracje w układzie porównawczym/kontrastywnym jako materiał dydaktyczny nie cieszą się uznaniem wśród autorów analizowanych

²⁴ I. B a w e j, *Wybrane trudności w podsystemie leksykalnym w aspekcie kulturowym na przykładzie błędów kontekstowych w języku niemieckim*, „Neofilolog” 2014, nr 43/2, s. 213.

²⁵ Punktem wyjścia do autorefleksji na ten temat jest odwoływanie się zarówno do chwalebnych, jak i mrocznych kart historii Rosji. W podręczniku zamieszczono tekst „Интересная выставка” („*B Mockby2*”, z. 2, s. 67), przedstawiający wystawę figur woskowych historycznych postaci Rosji jako symboli przeszłości i współczesności. Figury woskowe zostały również zaprezentowane na ilustracjach w określonych sytuacjach: 1) „Триумф государства”: I. Groźny, I. W. Stalin, N. S. Chruszczow; 2) „Большой шлем”: Aleksander Newski, M. I. Kutuzow, G. K. Żukow, Napoleon Bonaparte, A. Hitler; 3) „Русская рулетка”: Piotr I, W. I. Lenin, M. S. Gorbaczow, 4) „Операция на сердце”: B. Jelcyn — chirurg, Rosja — pacjent („*B Mockby2*”, s. 70–71).

²⁶ Zob. M. K a r o l c z u k, *Sposoby kształtowania postaw...*, op. cit., s. 174; K. M i h u ł - k a, op. cit., s. 109–110.

podręczników. Jedynie w dwóch cyklach odnaleziono takie treści i, co należy podkreślić, wystąpiły one jednorazowo.

W serii „В Москву2” (s. 53) zostało zamieszczone zdjęcie pomnika Puszkina i Mickiewicza, na którym można przeczytać: „Tutaj w 1827 roku spotkali się Puszkina i Mickiewicz”. Zdjęcie jest podpisane w następujący sposób: „Adam Mickiewicz i Aleksander Puszkina – genialni poeci”. Natomiast w cyklu „Времена1” К (s. 55–56) zamieszczono podpisane ilustracje, przedstawiające krajobraz parków narodowych: rosyjskich (Национальный парк „Лосиный остров”, Национальный парк „Приэльбрусье”, Забайкальский национальный парк) oraz polskich (Словинский национальный парк, Полесский национальный парк, Татранский национальный парк).

2. *Kontrastowanie informacji kulturowych.* Treści tego typu obejmują gotowe teksty informacyjne wyjaśniające pewne problemy, aktualne zagadnienia realioznawcze na temat kultury polskiej i rosyjskiej, co jest ich wartością poznawczą. Ciekawostki kulturowe zaprezentowane w układzie kontrastownym, ale nie wartościującym, dotyczą kilku tematów. Są to: poezja („В Москву2”, z. 7, s. 62²⁷; „Кл@ссно!2”, z. 4, s. 35), postaci („В Москву3”, z. 10, s. 54), święta, zwyczaje („Времена1” К, s. 49; „Кл@ссно!2”, z. 1, s. 18), ojczyzna („Кл@ссно!2”, z. 1, s. 56²⁸), prasa („Кл@ссно!3”, z. 3, s. 49), szkolnictwo, edukacja („Прогулка3”, z. 1, s. 33; z. 4, s. 36; „Эхо1”, z. 8, s. 64; z. 4, s. 62; z. 1, s. 65; „Эхо3”, z. 10a, s. 69), miasta, miejsca turystyczne („Эхо2”, z. 8a, s. 13; s. 46–47). Zadania te nie inspirują do dyskusji, wymiany zdań między uczniami – ukierunkowane są zazwyczaj na rozwój czterech sprawności językowych: czytania²⁹ („В Москву2”, z. 7, s. 62; „В Москву3”, z. 10, s. 54; „Времена1” К, s. 49; „Кл@ссно!2”, z. 1, s. 5; „Кл@ссно!3”, z. 3, s. 49; „Кл@ссно!2”, z. 4, s. 35; z. 1, s. 18; „Прогулка3”, z. 1, s. 33; z. 4, s. 36; „Эхо1”, z. 8, s. 64; z. 4, s. 62; z. 1, s. 65; „Эхо2”, z. 8a, s. 13; „Эхо3”, z. 10a, s. 69; s. 46), pisania, pisowni („Кл@ссно!3”, z. 3, s. 49), rozumienia ze słuchu („В Москву2”, z. 7, s. 62; „Времена1” К, s. 49; „Кл@ссно!2”, z. 4, s. 35; „Прогулка3”, z. 1, s. 33;

²⁷ Autor drugiej części podręcznika zamieścił obok wersji rosyjskiej jej polskie tłumaczenie autorstwa J. Tuwima. Ponadto w podręczniku do klasy II („В Москву2”, s. 49–51) znajduje się również polski tekst *Trzech Budrysów (Ballada Litewska)* A. Mickiewicza i przekład A. S. Puszkina *Будрыс и его сыновья* bez zadania do nich.

²⁸ Interesującą grupą treści realizowanych w aspekcie porównawczym jest obszar kształtujący zachowania patriotyczne gimnazjalistów i odkrywający cechy patriotyczne Rosjan. Poprzez teksty uczniowie dowiadują się, za co Rosjanie kochają Rosję, a Polacy Polskę.

²⁹ Maria Dakowska zwraca uwagę, że „proces czytania jest bardzo dobrą okazją do rozwijania wiedzy o kulturze języka obcego oraz wrażliwości interkulturowej”. Zob. M. D a k o w s k a, *Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 108.

z. 4, s. 36; „Времена3” PK, z. 4, s. 6) i mówienia („В Москвѣ3”, z. 10, s. 54; „Времена1” K, s. 49; „Кл@сно!2”, z. 1, s. 56; z. 1, s. 18; „Прогулка3”, z. 1, s. 33; z. 4, s. 36; „Эхо1”, z. 8, s. 64; z. 4, s. 624; z. 1, s. 65; „Эхо3”, z. 10a, s. 69; „Времена3” PK, z. 4, s. 6; z. 5, s. 7).

3. *Porównywanie elementów językowo-kulturowych.* Zadania tego typu charakteryzują się tym, że prezentują gotowe informacje, określone problemy, aktualne zagadnienia realioznawcze o polskim i rosyjskim obszarze kulturowym w kontekście porównawczym, jednoznacznie wskazując na różnice i podobieństwa międzykulturowe. Porównywanie elementów językowo-kulturowych odbywa się w oparciu o takie kręgi tematyczne jak: postaci („В Москвѣ2”, z. 9, s. 54), ekologia, przyroda („Времена1” K, z. 14, s. 55), święta („Эхо1”, s. 53) i komunikacja („Прогулка2”, s. 50).

Podsumowanie

Z przeprowadzonego badania wynika, że w podręcznikach zamieszczone są treści i realizowane są zadania porównawcze oraz kontrastywne. Ich wykonanie wymaga od ucznia odwołania się do umiejętności (np. krótkiej rzeczowej dyskusji) i wiedzy nabytych wcześniej w ramach aktywności społecznej i edukacyjnej. Wspomniane zadania, oparte na refleksji, posiłkujące się procedurami dydaktycznymi charakterystycznymi dla nauczania indukcyjnego, rozwijają świadomość językową i kulturową uczących się, a połączone z aktywnością w języku obcym rozwijają umiejętności komunikacyjne.

Poszczególne podręczniki do nauki języka rosyjskiego w gimnazjum różnią się jednak między sobą pod względem ilościowym i jakościowym w kontekście proponowanych treści porównawczych i kontrastywnych. Optymalnym rozwiązaniem, korzystnym dla uczniów, byłoby zachowanie w podręcznikach równowagi pomiędzy wyodrębnionymi zadaniami refleksyjnymi i odtwórczymi, ponieważ urozmaicenie form kontaktu z językiem i kulturą w ramach treści oraz zadań porównawczych i kontrastywnych intensyfikuje proces obserwacji, analizy języka i kultury – tak docelowej, jak i własnej. Trudno oczekiwać, aby materiały dydaktyczne były podobne do siebie pod względem treści. Ich niejednorodność jest zaletą. Duża odpowiedzialność i kreatywność w doborze zadań porównawczych i kontrastywnych spoczywa na nauczycielach języków obcych. Praca z różnorodnymi materiałami pozapodręcznikowymi powinna być integralną częścią kształcenia językowego, ponieważ klasa szkolna składa się z uczniów dysponujących niejednakową wiedzą, umiejętnościami, potrzebami edukacyjnymi i wychowawczymi.

Bibliografia

- B a w e j I., *Wybrane trudności w podsystemie leksykalnym w aspekcie kulturowym na przykładzie błędów kontekstowych w języku niemieckim*, „Neofilolog” 2014, nr 43/2.
- D a k o w s k a M., *Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych*, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
- E l l i s R., *The definition and measurement of L2 explicit knowledge*, „Language Learning” 2004, vol. 54.
- Europejski System Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie*, Warszawa 2003.
- K a c z m a r s k i S. P., *Język ojczysty w nauce języka obcego – kilka refleksji*, „Języki Obce w Szkole” 2003, nr 1.
- K a r o ł c h u k M., *Контрастивное обучение: подготовка польских учеников к межкультурной коммуникации*, [w:] *Контрастивные исследования и прикладная лингвистика, Материалы Международной научной конференции*, ч. 2, под ред. А. В. Зубова, Т. П. Карпиловича, Минск 2015.
- K a r o ł c z u k M., *Sposoby kształtowania postaw uczniów wobec Rosji i Rosjan na lekcji języka rosyjskiego jako drugiego obcego*, [w:] *W dialogu języków i kultur*, pod red. K. Fordońskiego, Ł. Karpińskiego, Warszawa 2015.
- K u b a c k i A. D., *Rola ćwiczeń tłumaczeniowych na lekcjach języka obcego*, „Neofilolog” 2010, nr 35.
- M a j e w s k a R., *Rozwój kompetencji dyskursywnej na przykładzie porównań interkulturowych. Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w klasach dwujęzycznych z językiem hiszpańskim*, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 2.
- M i e r z w a M., *Obecność języka ojczystego uczących się w kształtowaniu kompetencji socjokulturowej w zakresie języka docelowego*, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna: Glottodydaktyka 3” 2011, z. 68.
- M i h u ł k a K., *Sposoby rozwijania kompetencji interkulturowej na lekcji języka obcego*, „Języki Obce w Szkole” 2012, nr 2.
- P a w ł a k M., *Problemy pomiaru wiedzy językowej*, „Neofilolog” 2010, nr 35.
- P i s a r s k a A., *Najważniejsze kierunki badań translologicznych*, [w:] *Współczesne tendencje przekładoznawcze. Podręcznik dla studentów neofilologii*, pod red. A. Pisarskiej, T. Tomaszewicz, Poznań 1996.
- S o w a M., *Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w klasie języka obcego. Perspektywa ucznia*, „Neofilolog” 2013, nr 40/2.
- T a r g o ņ s k a J., *Kompetencja kolokacyjna – niedostatecznie rozpoznany komponent kompetencji leksykalnej*, „Neofilolog” 2014, nr 43/2.
- Z a t o r - P e l j a n J., *Wpływ kultury własnej na postrzeganie innych obszarów kulturowych*, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 1.

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

THE PROBLEMS OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGES AND SOME ASPECTS OF SOCIAL
METHODOLOGY IN LANGUAGE TEACHING

STANISŁAW SIATKOWSKI

ABSTRACT. The article opens with a discussion of the main educational and organizational reasons, as well as other circumstances (for example, the lack of publicly entitled language policy in the country) for the relatively low effectiveness of recent teaching of foreign languages, in particular Russian language, in comparison to some highly developed countries in Western Europe. The author goes on to introduce the significant current substantive (scientific) issues of the new approach to a practically oriented theory of teaching foreign languages – social glottodidactics.

Stanisław Siatkowski, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Polska.

К главным причинам все еще относительно низкой эффективности и заметного отставания в области преподавания иностранных языков в Польше в сравнении, например, с высокоразвитыми западноевропейскими странами относятся недостатки, связанные с не всегда удовлетворительной подготовкой преподавательских кадров, не вполне компетентным проектированием лингводидактического процесса (в программах обучения, соответствующих пособиях для преподавателя, учащихся и т. п.), нередко низким уровнем его реализации, причем не только в аудиторных условиях, но и с недостаточно дооцененным управлением преподавателями индивидуальным, внеаудиторным самообучением языку с использованием современных технических и других средств и возможностей. Кроме того, существует не менее важная проблема решения комплекса различных вопросов создания по возможности оптимальных в существующих условиях предпосылок для внедрения концепционно обоснованной, синергетически организованной системы и стратегии преподавания, охватывающей соответствующие его уровни и виды – дошкольное (что очень важно), школьное, вузовское, а также разные другие вспомогательные, в частности краткосрочные формы обучения.

При всем этом практически нет у нас надлежащим образом продуманной актуальной и перспективной языковой политики, как внутренней, так и внешней, учитывающей соответствующие страны и регионы мира. Этот последний вопрос почему-то публично не обсуждается в Польше в отличие от ряда других стран. Хотя Польшу нельзя сейчас назвать многонациональным государством, в котором эта политика отличалась бы большой сложностью и играла бы весьма существенную роль, то в каждом государстве она должна существовать и учитываться в системе образования. Особенно сегодня, когда мир стал превращаться, как говорится, в одну большую деревню, преподавание и усвоение языков стало ценным товаром как в жизни общества, так и в жизни отдельных людей и играет все более важную роль.

Языковая политика обычно определяется, например, в энциклопедиях как совокупность идеологических принципов и организационно-практических мероприятий по решению языковых проблем в социуме, в государстве. Хотя идеологические, политические принципы и соответствующие организационно-практические мероприятия часто связаны с языковой политикой, то не следует их отождествлять или смешивать. Поскольку языковая политика взаимодействует с национальной политикой, естественно, что она в какой-то степени зависит от нее. Но здесь в связи с этим важно в частности обратить внимание на организационно-практические проблемы преподавания в нашей стране иностранных языков и на отношение к ним в меняющихся условиях, возникающих в результате происходивших в последних десятилетиях вообще мирных, хотя в некоторых отношениях почти революционных преобразований, особенно в общественно-политической, экономической и культурной областях.

В лингводидактической области на первый план в этой ситуации выдвинулись международные западные языки. Нет сомнения в том, что начиная с конца XX века и особенно в XXI веке существуют многие убедительные основания, чтобы по ряду внутренних и особенно внешних, т. е. международных, причин и потребностей считать английский язык главным иностранным языком преподавания на разных уровнях системы образования. Важное место в этой системе должны занимать французский, испанский и немецкий языки, но очень трудно объективно обосновать тот факт, что в последнее время русский язык заметно теряет значение и свою позицию в системе польского — все более интенсивного, хотя и уязвимого в некоторых отношениях — языкового образования. Это достойное сожаления явление, по-моему, возникло в результате ошибочного переноса и смешения политики *sensu stricto* с реально существующим средством общения и важным носителем (каналом) информации, которым является в данном случае естествен-

ный русский язык, сам по себе не имеющий с политикой вообще ничего общего, но существующий и удовлетворяющий различные информационные и некоторые другие потребности и функции людей независимо от политики и их национальной принадлежности. Но важно понимать, что рассматриваемая возникшая в нашей стране в случае русского языка ситуация явно противоречит нашим различным интересам и потребностям. Ведь хорошо известно, что политика того или иного государства невечна. Обычно она довольно часто меняется. А ситуация, возникшая в результате ошибочного недоразумения, может сказаться отрицательным образом на государственных, общественных, политических, торговых, культурных и других русско-польских и польско-русских отношениях. Правда, случившиеся этого типа ошибки и недоразумения в данной ситуации касаются не только лишь одной польской стороны, хотя это не является каким-либо оправданием. Но ясно, что русский язык, как таковой, здесь ни в чем не виноват. Он является международным средством общения не только на Востоке, но и в какой-то степени на Западе и в других странах. Это также официальный язык заседаний и переговоров ООН, ЮНЕСКО, научных международных конгрессов и конференций, язык богатой литературы, культуры, благодаря исключительно многочисленным переводам текстов, созданных на других, также так называемых редких, малоизвестных языках. Русский язык является источником богатой во многих отношениях информации, т. е. обладает многочисленными достоинствами, важными особенно для жителей стран, соседствующих с Россией, а также стран Средневосточной, Южной и Северной Европы. Понятно, что его усвоение, как и знание любого другого международного языка, является в каком-то отношении обогащением человека. Можно предполагать, что эта неудачная ситуация не имела бы места, если бы в Польше проводилась правильная публичная, объективная, нейтральная языковая политика, которая несомненно являлась бы положительным мотивом (стимулом) и обоснованием, влияющим на выбор русского языка как иностранного в качестве предмета обучения.

Вышеуказанные и другие причины и обстоятельства в значительной степени вытекают также из воздействия различных факторов, влияющих на уровень и характер существующей у нас и постоянно изменяющейся (далеко не всегда в желаемом лучшем направлении) целостной системы образования, а также в определенной степени из недостаточного использования результатов научных исследований в рамках соответствующих фундаментальных, особенно прикладных и практических областей. В связи с этим здесь важно обратить внимание на тот факт, что на протяжении многих десятилетий наблюдается заметное несоответствие, даже расхождение, между теорией и практикой препода-

давания иностранных языков. Фактическое ощутимое отсутствие попыток проведения экспериментального проверочного тестирования довольно многих предложенных, заслуживающих внимания опубликованных, практически ориентированных теоретических лингводидактических концепций, методов, принципов и — в случае получения положительных результатов тестирования — их внедрения в дидактическую практику не может не сказаться отрицательным образом на уровне владения в нашей стране иностранными языками.

Образованию и существованию такого все-таки неудовлетворительного положения вещей способствует, в частности, тот факт, что среди полученных на почве разных нефилологий нередко интересных и ценных исследовательских результатов в области все более разветвленной и развитой лингводидактической мысли надлежащего внимания, соответствующего лингводидактическим и некоторым другим общественным потребностям, на наш взгляд, все еще требуют и заслуживают также давно уже постулированные нами (с начала 70-х годов XX века) социологические основы преподавания иностранных языков¹. В последующие десятилетия появились связанные с этой проблематикой публикации также других авторов. Поскольку, как известно, язык и речь (т. е. виды речевой деятельности) — это многоаспектные, в значительной степени общественные структурно-системные явления, функционирующие, как правило, в обществе (социуме), возникает вполне закономерный вопрос: почему в науке о преподавании этих явлений — глоттодидактике — не учитываются в надлежащей степени социологический подход и соответствующие ему методы и принципы научного анализа? Может быть, именно поэтому эффективность этого преподавания часто кажется не вполне удовлетворительной.

В предложенном нами и разрабатываемом вместе с другими авторами международном научно-дидактическом проекте, осуществляемом в рамках интегрированной системы научных основ преподавания иностранных языков, пока еще вполне не разработанные, но по своему характеру всеобъемлющие социологические основы наряду с ведущими и целевыми лингво-дидактическими (т. е. методико-педагогическими) основами выполняют, кроме важных стоящих перед ними собственных задач, функции соединяющие (интеграционные) и одновременно синергетические (положительно влияющие друг на друга). В зависимости от практико-дидактических целей, задач и потребностей они профилируют все остальные основы — лингвистические, культурно-реалиеведческие, психологические (и психолингвисти-

¹ См. информацию об этом в *Выступлении* в журнале „*Język Polski*” 1972, nr 1, с. 75–76; см. также нашу вступительную статью в кн.: *Podstawy naukowe nauczania języka rosyjskiego*, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1972, с. 5, 8–9.

ческие), технико-технологические — в общую, комплексную научно-исследовательскую и практико-лингводидактическую стратегическую теорию и практику преподавания (и усвоения) иностранных языков.

Здесь, несомненно, должна давать знать о себе и в значительной степени практически проявляться только что упомянутая положительная (усилительная) синергетика. Благодаря отношениям взаимной дополнительности и возникающих здесь, в частности, синергетических процессов дальнейшая разработка вышеуказанных научных основ по принципу взаимодействия прямых и обратных связей между ними как динамической самоорганизующейся интегрированной синергетической системы может осуществляться мульти-, меж- и трансдисциплинарным образом. При этом должны учитываться разные другие возможности воздействия синергетики, возникающие в процессе все более интенсивного и обогащенного преподавания (и усвоения) иностранных языков и все лучшего использования результатов этого преподавания.

Важно также в рамках социологизации и оптимизации лингводидактической теории и практики рационально использовать все возможности, скрытые в прагмалингвистике и в лингвистической прагмасемиотике, где естественным образом эти взаимосвязанные аспекты наличествуют, с учетом более широкого контекста культурно-общественной семиосферы². Здесь также могут оказаться полезными соответствующие идеи праксеологии, т. е. общей теории рационализации и оптимизации, — науки, начало которой положил в Польше профессор Т. Котарбиньски и которая развивается его последователями. В результате всех этих и, возможно, других усилий разных исследователей, по нашему мнению, должна оформиться и в дальнейшем успешно развиваться — на фундаменте существующей лингводидактики (методико-педагогических основ), возникших и постепенно развивающихся социологических основ языкового преподавания и обучения (аквизиции, усвоения), других вышеупомянутых основ преподавания — объединенная стратегическая социальная лингводидактическая теория, т. е. социальная лингводидактика (в польской терминологии — *glottodydaktyka społeczna*). Можно надеяться, что всему этому будут способствовать соответствующие актуальные культурно-социальные обстоятельства в условиях существующих цивилизационных революций — научно-технической, технологической, электронно-информационной, промышленной и, возможно, других.

² В связи с этим см., например, недавно опубликованную нашу работу: S. Siatkowski, *Актуальные проблемы культурно-общественной семиосферы и семиотико-лингвистические исследования*, [в:] *Zagadnienia innowacyjności funkcjonowania systemu badania + rozwój w nauce*, t. II, red. naukowy A. Miklewski, Warszawa 2011.

В связи с вышесказанным следует отметить, что на более широком фоне анализируемых выше вопросов, особенно наиболее широких (всеобъемлющих) по своему характеру объединяющих социологических основ преподавания и усвоения иностранных языков, нуждаются в том или ином, иногда в довольно существенном, пересмотре (и переоценке) другие упомянутые выше, раньше оформившиеся основы или некоторые их аспекты, в том числе, например, считавшиеся до сих пор наиболее важными и прочными констатации лингвистической интерпретации преподавания и аквизиции иностранных языков. Поэтому, наконец, стоит очень кратко остановиться на этом вопросе.

Так, например, укоренившаяся, в частности под влиянием лингвистического бихевиоризма и структурализма, особенно на почве аудилингвального и других сходных с ним методов, концепция преподавания иностранного языка как тренировки его аспектов, в которой нередко главная роль отводится утомительному и малоэффективному дриллу, в последние десятилетия все больше подвергается пересмотру. Методисты и преподаватели — сторонники этой ориентации или испытывавшие на себе ее влияние — часто рассуждают так: Поскольку автоматизировать можно только языковые средства (материальные формы и структуры языка), а не содержание, уместно говорить об аспектной тренировке. Эту тренировку иногда абсолютизируют, тогда она приобретает вид преподавания языка по аспектам, иногда сочетают с комплексной тренировкой, что представляется более обоснованным, если при этом получает соответствующее разрешение проблема включаемости отрабатываемых аспектов в синтаксические структуры и в текст. Однако методические концепции этого типа многое важное упускают из виду или упрощают. Их сторонники, принимая во внимание лишь часть предмета обучения — аспекты языка, недооценивают или, в случае крайних концепций преподавания языка по аспектам, вообще оставляют в стороне весьма существенные для свободного и адекватного владения видами языковой коммуникации межаспектные связи языковой системы, в частности сложные и многогранные взаимоотношения между формальным и семантическим ее планами. Также обычно не учитываются неязыковые аспекты и компоненты социально-речевой реальности³ и межаспектно-компонентные связи, характерные для процессов социально-речевого синтеза и анализа (особенно упускаются из виду проблемы обучения синтезу и анализу текста и дискурса). Кроме того, возлагается на плечи самих учащихся усвоение этой,

³ О социально-речевой реальности более подробно см.: С. С я т к о в с к и й, *Проблемы изучения социально-речевой реальности (социально-речевое взаимодействие)*, „Русский язык за рубежом“ 1984, № 5.

пожалуй, наиболее трудной части предмета обучения, что представляется лишь частично посильным самым способным учащимся.

В зависимости от конкретных целей и задач преподавания работа над отдельными аспектами языка, особенно фонетическим, или аспектами и компонентами социально-речевой реальности должна занять свое место в целостной системе обучения языковой коммуникации; но ее следует понимать лишь как этап на пути к целостному (комплексному) усвоению видов социально-речевой деятельности и владению ими. Учет аспектной специфики должен всегда предполагать социально-коммуникативные цели и задачи. Такая связь, методически правильно реализованная, может только способствовать усвоению отдельных аспектов языка, специфика которых в полной степени проявляется именно в процессах языковой коммуникации, в натуральном дискурсе. Поэтому даже работа над постановкой и коррекцией произношения отдельных звуков станет более перспективной и эффективной, если она будет лучше связана с такой комплексной тренировкой, которая учитывает естественные для функционирования этих звуков межаспектно-коммуникативные условия и связи.

Созревшая — особенно в недрах классического американского структурализма и глоссематики — лингвистическая концепция, согласно которой язык представляет собой только имманентную структуру элементов, в исследовании которой особое внимание уделялось плану внутренних отношений между формальными (структурными) единицами, тогда как план содержания медленно и с трудом получал „права гражданства“ как объект научного изучения, в силу своей неполноты и недостаточной адекватности не смогла, вопреки надеждам и желаниям многих ее сторонников (лингвистов и методистов), „революционизировать“ теорию и практику преподавания иностранных языков. Ее влияние на методику, сначала весьма осязаемое, со временем стало бледнеть. И хотя до сих пор обычно считается, что достоянием структурного и аудиолингвального методов являются научно разработанные принципы отбора, презентации и реализации (в виде тренировочных автоматизирующих упражнений) языковых структур, тем не менее эти принципы, представляющие собой, несомненно, определенную ценность, следует рассматривать лишь как часть более широкой методической системы, вмещающей многие другие принципы, методы и подходы.

Таким образом, структурализм, который в науке о языке сыграл весьма существенную роль, в плане лингводидактических приложений его возможности оказались ограниченными, хотя определенную конструктивную роль он играет и в данной области. Приблизительно то же самое, *mutatis mutandis*, можно сказать о генеративной (генеративно-

-трансформационной) грамматике и генеративной семантике, во многих отношениях интересных научных направлениях, которые занимают заметное место в истории науки о языке; но их значение для теории и практики преподавания иностранных языков ограничено идеей и моделью лингвистического генеративизма. Правда, в рамках этих направлений, особенно генеративной семантики, удалось установить, вопреки ортодоксальному структурализму, например, весьма ценное и полезное для лингводидактики положение, согласно которому в процессе коммуникации основной генеративной силой обладает семантический компонент, в то время как синтаксический и фонологический компоненты выполняют в значительной степени подчиненные интерпретационные функции. Но, не выходя за пределы генеративизма, не удалось, например, вскрыть механизмы перехода от системы языка к процессам речи (языковой коммуникации), которые лежат за рамками данной модели. И тут весьма важно обратить внимание на положительную роль близкой, даже отчасти совпадающей с социологическим подходом, функциональной стилистики (социостилистики), особенно охватывающей промежуточную зону между языком и речью. Более полное познание этих существенных для социальной лингводидактической теории и практики механизмов и связанных с ними закономерностей и правил процессов речи (особенно дискурсивной) требует выхода за пределы языковых явлений и, следовательно, науки о языке в целом — в разные области взаимосвязанных явлений социально-речевой деятельности, где язык функционирует вместе с неязыковыми явлениями как открытый и закрытый код. Это еще раз подтверждает, что даже самые интересные для науки о языке концепции и теории не в состоянии обеспечить достаточно полную основу для оптимально эффективного решения всех существенных проблем более широкой, особенно предлагаемой социальной теории и практики преподавания иностранных языков, которая имеет, как мы пытались это обосновать выше, интеграционно-междисциплинарный характер.

Итак, по мере развития исследований в рамках социологических основ преподавания иностранных языков, главным образом социальной лингводидактики, изучаемая проблематика будет все более обогащаться, в связи с чем перед теорией и практикой этого преподавания открываются новые широкие перспективы и возможности. В результате эта теория и практика будет становиться гораздо более эффективной и в развивающихся условиях все более оптимальным образом будет учитывать различные актуальные и перспективные потребности функционирования и развития разных областей индивидуальной и общественной жизни.

Библиография

- С я т к о в с к и й С., *Межкультурная коммуникативная компетенция и социальная лингводидактика*, „Studia Rossica Posnaniensia”, Poznań 2010, z. XXXV, c. 259–266.
- С я т к о в с к и й С., *Проблемы изучения социально-речевой реальности (социально-речевое взаимодействие)*, „Русский язык за рубежом” 1984, № 5.
- С я т к о в с к и й С., *Социолингвистика, социология языка и социология языковой коммуникации*, „Русский язык за рубежом” 1984, № 2.
- С я т к о в с к и й С., *Социология языковой коммуникации и проблемы преподавания иностранных языков*, „Русский язык за рубежом” 1985, № 3.
- Elementy realizacyjne i literackie nauczania języka rosyjskiego*, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1977.
- K o s z l a - S z y m a ń s k a M., *Realizacyjno-kulturowe aspekty nauczania języka hiszpańskiego*, Warszawa 2014.
- Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia*, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1976.
- Nauczanie języka rosyjskiego a językoznawstwo i psychologia*, pod red. S. Siatkowskiego, wyd. II rozsz., Warszawa 1986.
- Podstawy pedagogiczne nauczania języka rosyjskiego*, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1982.
- S i a t k o w s k i S., *Актуальные проблемы культурно-общественной семиосферы и семиотико-лингвистические исследования*, [в:] *Zagadnienia innowacyjności funkcjonowania systemu badania + rozwój w nauce*, t. II, red. naukowy A. Miklewski, Warszawa 2011.
- S i a t k o w s k i S., *O paradygmatach naukowych*, [в:] *Paradymaty filozofii języka, literatury i teorii tekstu (pogranicza metodologiczne)*, pod red. A. Kiklewicza, Słupsk 2004.
- S i a t k o w s k i S., *O roli stylistyki w nauczaniu języka rosyjskiego*, [в:] *Problemy nauczania języka rosyjskiego oraz kształcenia nauczycieli rusycystów w Polsce*. Materiały sesji naukowej, WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1990, c. 61–74.
- S i a t k o w s k i S., *Пłaszczyzna przedmiotowa nauczania języka obcego a materiały glottodydaktyczne (o roli czynników socjalnych w dydaktyce języków obcych)*, [в:] *Z teorii i praktyki tworzenia materiałów glottodydaktycznych*, pod red. F. Gruczy, Warszawa 1988.
- S i a t k o w s k i S., *Wstęp*, „*Język Polski*” 1972, nr 1, c. 75–76.
- S i a t k o w s k i S., *Wstęp*, [в:] *Podstawy naukowe nauczania języka rosyjskiego*, pod red. S. Siatkowskiego, Warszawa 1972.

POZAJĘZYKOWE KOMPONENTY JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ

NON-LINGUISTIC ELEMENTS OF A DIDACTIC UNIT

ANNA SZAFERNAKIER-ŚWIRKO

ABSTRACT. In the article the author presents the non-linguistic elements of a didactic unit and demonstrates their important role in designing effective language classes. According to the author, non-linguistic elements include: the teacher's personality, paralinguistic messages conveyed by the teacher and non-linguistic tools used by the teacher (games, realia and topic related slides).

Anna Szafernakier-Świrko, Uniwersytet Warszawski, Warszawa – Polska,
a.szafernakier@uw.edu.pl

Żyjemy w dynamicznie rozwijającym się świecie, gdzie rozwój technologii, postępująca globalizacja oraz nowe potrzeby na rynku pracy wymuszają zmiany w podejściu do kształcenia studentów, przyszłych absolwentów kierunków filologicznych. Zmieniają się polityczno-ekonomiczne realia w kraju i na świecie, które pociągają za sobą potrzebę dostosowywania się do nowej rzeczywistości. Modyfikacji ulegają modele kształcenia, sposób pracy ze studentami, metody wykorzystywane na zajęciach.

W niniejszym artykule chciałabym przedstawić pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej i pokazać ich rolę w budowaniu efektywnych zajęć. Wyszczególnione zostaną niejęzykowe elementy zajęć po to, aby omówić ich funkcje oraz wpływ na kształt jednostki dydaktycznej.

Istotą dobrych zajęć językowych jest chęć wykorzystania potencjału ucznia, zmotywowanie go do pracy. W osiągnięciu tego celu pomagają m. in. zadania aktywizujące, pobudzające do działania, zadania w grupach, podgrupach i parach¹. Studenci bardzo dobrze odbierają zajęcia, które są prowadzone w dynamicznym tempie, na których „dużo się dzieje”, podczas których wykorzystywane są różnorodne metody i techniki. Warto odnotować, iż rola współczesnego nauczyciela ulega zmianie. Jest mile widziane, aby był to nie tylko pedagog-specjalista, ale przewodnik i animator procesu kształcenia, stale podnoszący swoje kwalifikacje, dążący do świadomego rozwoju osobistego. Ponadto powinna to być osoba pozytywnie

¹ А. Н. Щ у к и н, *Обучение иностранным языкам. Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов*, Москва 2004.

nastawiona do świata, umiejąca znaleźć wspólny język z uczniami, łagodząca konflikty w grupie, gdyż lubiany nauczyciel wywołuje w uczniach wzrost motywacji do nauki, co w efekcie daje szansę na realny wzrost ich kompetencji². Na uwagę zasługuje jeszcze jeden aspekt sfery aktywności nauczyciela. Jako najważniejszy składnik systemu edukacji nauczyciel powinien stosować nowoczesny marketing oświatowy, polegający na wiązaniu zmiany edukacyjnej z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi lokalnego środowiska³.

Trudno oceniać predyspozycje danej osoby do wykonywania zawodu nauczyciela, aczkolwiek osoba decydująca się na ten zawód powinna wiedzieć, że dobry nauczyciel to nie tylko ekspert w swojej dziedzinie, posiadający umiejętności pedagogiczne oraz dydaktyczne⁴, czyli umiejący organizować zajęcia, angażować uczniów do aktywnego w nich uczestnictwa, potrafiący umiejętnie wykorzystywać swoje kompetencje pozajęzykowe.

Do pozajęzykowych elementów zaliczamy techniki pozwalające metodą wizualizacji, demonstracji bezpośredniej przekazać wiedzę językową. To również dostrzeżenie roli komunikacji niewerbalnej w procesie przekazywania wiedzy językowej. Przed nauczycielami stoi ważne zadanie: dawanie pozytywnych bodźców oraz wprowadzenie i podtrzymanie twórczej atmosfery na zajęciach językowych dzięki narzędziom pozajęzykowym.

Aby odczytać komunikaty pozasłowne, należy umieć odpowiednio interpretować mowę ciała, mimikę i gesty. Antropolog Albert Mehrabian odkrył, że w procesie komunikowania się jedynie 7% informacji przekazują słowa, 38% brzmienie głosu i aż 55% zachowania niewerbalne. Podobne wyniki uzyskał amerykański psycholog Ray Birdwhistell. Jego badania dowodzą, że w konwersacjach bezpośrednich 35% informacji pochodzi ze słów i aż 65% z ekspresji niewerbalnej. Na tej podstawie została sformułowana zasada dotycząca skutecznego przekazu – zasada 10\30\60. Mówi ona o tym, że 10% zależy od tego, co mówimy, zaś 30% od tego, jak mówimy, czyli od tonu głosu, sposobu artykułowania, precyzji wypowiedzi. W 60% skuteczny przekaz informacji zależy od mowy ciała, a więc zachowań towarzyszących rozmowie i sygnalizujących nasze nastawienie psychiczne⁵.

Komunikacja niewerbalna wpływa na relacje międzyludzkie, a poznanie znaczeń poszczególnych elementów tej komunikacji pozwala na nawią-

² H. H a m e r, *Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli*, Warszawa 1994, s. 19.

³ J. G n i t e c k i, *Kompetencje i zwiększanie szans edukacyjnych nauczycieli w cyklu życia w warunkach postępującej globalizacji*, [w:] *W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku*, pod red. E. Kozioł i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2002, s. 63.

⁴ H. K o m o r o w s k a, *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa 2002, s. 87–89.

⁵ Zob: *Komunikacja niewerbalna*, [w:] źródło elektroniczne: z.nf.pl/i_ngo/doc/komunikacja_niewerbalna.pdf, s. 5.

zanie interakcji ludzkich. Warto podkreślić, że komunikacja werbalna i niewerbalna tworzą atmosferę pracy i wzajemnie się uzupełniają.

Nauczyciel na każdym zajęciach przekazuje komunikaty niewerbalne poprzez mimikę, gesty, określoną postawę ciała. Wygląd zewnętrzny, ton głosu, wybór miejsca na zajęciach, siedzenie lub stanie – to elementy komunikacji pozasłownej przekazywane wraz z komunikatami werbalnymi. Wykorzystanie siły przekazu niewerbalnego owocuje jeszcze większą skutecznością nauczyciela.

Wśród pozajęzykowych komponentów jednostki dydaktycznej na plan pierwszy wysuwa się nauczyciel i jego osobowość.

1. Osobowość nauczyciela

Osobowość nauczyciela jest odzwierciedlana w komunikacji niewerbalnej⁶. Ważne jest zatem, aby wysyłane przez nauczyciela komunikaty niewerbalne były prawdziwe i pozostawały w zgodzie ze stylem prowadzenia zajęć. Nauczyciel powinien w swej pracy wychodzić poza dotychczasowe schematy⁷. Dziś oczekuje się, aby był charyzmatycznym przewodnikiem po świecie wiedzy, legitymującym się określonymi predyspozycjami pozapedagogicznymi – takimi jak umiejętność odgrywania ról, sugestywność zachowań, umiejętne wykorzystanie gestów i mimiki. Wymaga to od samego nauczyciela samoakceptacji, otwartości i kreatywności. Nie ulega wątpliwości, że wyniki pracy nauczyciela zależą w dużej mierze od jego osobowości⁸.

2. Komunikaty paralingwistyczne

Komunikaty paralingwistyczne wpływają pozytywnie na odbiór zajęć przez uczących się, wprowadzają twórczą i kreatywną atmosferę pracy, mogą zmniejszać dystans w relacjach uczeń – nauczyciel, nastrajają do efektywnej pracy. Komunikaty niewerbalne wysyłane przez nauczyciela mają spontaniczny charakter, są niewyuczone.

Ważnym elementem komunikacji pozasłownej jest przestrzeń i odpowiednie zachowanie się w niej⁹. Wybór miejsca, przyjęta postawa, to, czy nauczyciel siedzi czy stoi podczas prowadzenia zajęć, świadczy o jego stosunku do słuchaczy.

Kolejnym ważnym elementem paralingwistycznym jest tembr głosu. Wyraźny i głośny ton oraz dynamiczne tempo wypowiedzi pozbawione

⁶ R. Więckowski, *Pedagogiczne i terapeutyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym*, „Życie Szkoły” 1999, nr 1, s. 131.

⁷ Zob. *Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach*, pod red. J. Bałachowicz i A. Rowickiej, Warszawa 2013, s. 33.

⁸ Zob. źródło elektroniczne: <http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4332>

⁹ Zob. A. Twardowski, *Mowa ciała*, „Głos Nauczycielski” 1996, nr 13, s. 6.

zająknięć i pauz zwiększa w oczach odbiorców wiarygodność prowadzącego zajęcia.

Kontakt wzrokowy wpływa na jakość relacji, odpowiednio utrzymany zachęca do wypowiedzi w języku obcym, wyraża aprobatę i akceptację. Specjaliści twierdzą, że najlepiej utrzymywać kontakt wzrokowy przez około 30%–60% czasu rozmowy. Jeśli kontakt trwa poniżej 30%, może to oznaczać ukrywanie czegoś, jeśli natomiast powyżej 60%, może świadczyć o tym, że rozmówcy są bardziej zainteresowani sobą niż rozmową¹⁰.

3. Pozajęzykowe narzędzia do wykorzystania na zajęciach języka obcego

- Gry i rekwizyty

Rekwizyty w praktyce nauczycielskiej wykorzystujemy na początku zajęć – doskonale pobudzają ciekawość uczniów, pozwalają utrzymać twórcze napięcie, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w dalszej części zajęć. Przedmioty pozwalają uruchomić skojarzenia, dopasować rekwizyt do konkretnego zagadnienia leksykalnego. Taka technika wzmacnia skuteczność nauki języka obcego, a w połączeniu z techniką teatralizacji wzmacnia efekt przekazu i jeszcze lepiej wpływa na zapamiętywanie słów, wyrażań, zwrotów, idiomów.

Jednym z ulubionych przez uczniów ćwiczeń jest zadanie powtórzeniowe z wykorzystaniem piłeczki. Ćwiczenie łączy sprawności ruchowe z treningiem językowym. Przy pomocy tego ćwiczenia powtarzamy leksykę, najczęściej z poprzednich zajęć. Możliwe jest wprowadzenie elementu rywalizacji na zajęciach poprzez podzielenie grupy na dwie drużyny. Rzucający piłeczkę zadaje pytanie w języku ojczystym, zaś wybrana osoba z grupy przeciwnej odpowiada w języku obcym. Nieprawidłowa odpowiedź dyskwalifikuje uczestnika, prawidłowa – umożliwia zadanie kolejnego pytania. Wygrywa drużyna, w której zostanie więcej graczy.

Ćwiczenie z wykorzystaniem rekwizytu pozwala na zaangażowanie wielu zmysłów, m.in. dotyku, wzroku i słuchu. Jest to metoda szczególnie atrakcyjna dla uczniów o dominacji kinestetyczno-ruchowej, czyli osób uczących się poprzez ruch i działanie.

- Slajdy tematyczne

Obrazowaniu przypisuje się wiele pożytecznych funkcji dydaktycznych:

- Zwraca uwagę na przedstawiony przedmiot, zwiększa dzięki temu zainteresowania uczniów oraz angażuje ich emocje.
- Motywuje do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

¹⁰ Zob: *Komunikacja niewerbalna*, [w:] źródło elektroniczne: z.nf.pl/i_ngo/doc/komunikacja_niewerbalna.pdf, s. 14.

- Przekazuje informacje samodzielnie lub w połączeniu z tekstem.
- Wspomaga zapamiętywanie nowych informacji, ich przetwarzanie i organizowanie dzięki skojarzeniom wizualnym.
- Ułatwia rozpoznawanie, rozumienie i rozwiązywanie problemów dzięki przedstawieniu związków między poszczególnymi elementami oraz ich funkcji¹¹.

Im więcej zmysłów zaangażujemy w wizualizację, tym lepiej ten czy inny obraz pozostanie w naszej pamięci. Dlatego do każdego tematu warto przygotować materiał wizualny – obrazy przedstawiające czynności, przedmioty, aktywności. Uczniowie powtarzają materiał chórem, oddzielnie, parami – w zależności od potrzeb i scenariusza zajęć. Gwarantuje to szybkie opanowanie materiału w dobrym tempie.

Zauważamy potrzebę udzielenia zwiększonej uwagi na pozajęzykowe formy przekazu na zajęciach języka obcego, gdyż:

1. Pozwalają podtrzymać pozytywne nastawienie do zajęć, co gwarantuje lepsze efekty pracy.
2. Poprawiają atmosferę. Dobra atmosfera wzmacnia chęć do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
3. Sprzyjają twórczej pracy opartej na wzajemnym zrozumieniu potrzeb i wymagań.
4. Wpływają motywująco na uczniów.
5. Mobilizują do zapamiętywania materiału językowego bezpośrednio na zajęciach.
6. Rozbudzają ciekawość uczących się.
7. Zwiększają prawdopodobieństwo nawiązania interakcji międzyludzkich.
8. Dzięki wykorzystaniu gestów, mimiki komunikacja nauczyciel – uczniowie staje się barwna, ciekawa i inspirująca.
9. Różnorodność metod i form przekazu oraz szybkie zwroty akcji nie pozwalają nudzić się na zajęciach.
10. Komunikaty paralingwistyczne mogą wpływać pozytywnie na odbiór zajęć przez uczących się i owocować wzrostem zaufania do nauczyciela.
11. Świadomie zarządzane pozajęzykowe formy przekazu pozwalają profesjonalnie wprowadzić w tematykę zajęć oraz skupiać uwagę odbiorców na temacie.

¹¹ G. Heyd, *Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht*, Günter Narr Verlag, Tübingen 1997.

Bibliografia

- G n i t e c k i J., *Kompetencje i zwiększanie szans edukacyjnych nauczycieli w cyklu życia w warunkach postępującej globalizacji*, [w:] *W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku*, pod red. E. Koziół i E. Kobyłeckiej, Zielona Góra 2002, s. 63.
- H a m e r H., *Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli*, Warszawa 1994.
- H e y d G., *Aufbauwissen für den Fremdsprachenunterricht*, Günter Narr Verlag, Tübingen 1997.
- K o m o r o w s k a H., *Metodyka nauczania języków obcych*, Warszawa 2002.
- Komunikacja niewerbalna*, [w:] źródło elektroniczne: z.nf.pl/i_ngo/doc/komunikacja_niewerbalna.pdf, s. 5, 14.
- Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach*, pod red. J. Bałachowicz i A. Rowickiej, Warszawa 2013.
- Щ у к и н А. Н., *Обучение иностранным языкам. Теория и практика: учебное пособие для преподавателей и студентов*, Москва 2004.
- T w a r d o w s k i A., *Mowa ciała*, „Głos Nauczycielski” 1996, nr 13, s. 6.
- W i ę c k o w s k i R., *Pedagogiczne i terapeutyczne walory komunikacji werbalnej i niewerbalnej nauczycieli w procesie edukacyjnym*, „Życie Szkoły” 1999, nr 1, s. 131.
- Źródło elektroniczne: <http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU4332>

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

М. Яворски, <i>Солипсизм в романной поэтике Виктора Пелевина</i>	5
М. Едлиньски, <i>Русская оппозиция против модерна</i>	19
Й. Казимерчик - Кунцер, <i>Россия времен Екатерины II в записках Луи Филиппа Сегюра</i>	31
А. Ксенич, <i>Взгляд Антона Чехова на ход истории</i>	45
Л. Мальцев, <i>Достоевский о поляках — поляки о Достоевском: метастереотипность как имагологическая проблема</i>	55
Р. Войтехович, <i>„Моя двойная жизнь“ Сары Бернар в восприятии М. Цветаевой</i>	67
З. Збыровски, <i>Борис Пастернак и идеология его времени</i>	79
М. Земек, <i>Историософские мотивы в творчестве Федора Степуна</i>	91

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Е. Чашина, <i>Лексика следственных действий в русском языке XI–XVII веков</i>	103
Е. Чернцова, <i>Когнитивная семантика и нарративные функции парентезы „кажется“ в разных контекстах художественного дискурса</i>	115
О. Фролова, <i>О семантических процессах в общественно-политической лексике (на примере слова „фашизм“ и его дериватов)</i>	127
Б. Гасек, <i>Антропонимы в современном русско-польском переводном словаре</i>	137
Е. Калишан, <i>Словарные глагольные омографы в русском языке</i>	149
А. Камалова, <i>Из истории слова „гнев“</i>	157
К. Кедрон, <i>Особенности семантики гендерных фразеологизмов (на материале восточно- и западнославянских языков)</i>	165
А. Киклевич, <i>Формы реализации пропозиционального аргумента в русских предложениях с ментальными глаголами: „соблюдение“, „компрессия“, „расщепление“</i>	177
В. Климонов, <i>Об одном подходе к категоризации лексической аспектуальности в русском языке</i>	187
К. Кубецка, <i>Производство глаголов в русском молодежном сленге на базе английского лексического материала</i>	199
М. Мוצаж - Клейнденст, <i>Комизм современных российских фильмов в практической работе переводчика</i>	209
Л. Николаенко, <i>К проблеме аксиологической дескрипции жалости в русском языке</i>	219
Б. Родзевич, <i>Концептуализация правды в языковом сознании поляков, русских и немцев (аксиологический подход)</i>	231

Б. Рыцельска, <i>Иконичность в эпистолярных текстах Михаила Булгакова</i>	243
М. Сарновски, <i>Польские представления о русском языке</i>	259
Т. Шутковски, <i>Паремиология в лексикографической практике: к задаче создания словаря, удобного для пользователя</i>	273
А. Цой, <i>Активные процессы в системе образования производных предлогов</i>	285

ЛИНГВОДИДАКТИКА

Я. Галло, <i>Межкультурно-коммуникативное обучение иностранным языкам</i>	295
М. Карольчук, <i>Польско-русские межкультурные сравнения в учебниках русского языка для гимназии</i>	307
С. Сятковски, <i>Проблемы повышения эффективности преподавания иностранных языков и некоторые аспекты социальной лингводидактической теории</i>	319
А. Шафернакер - Свирко, <i>Внеязыковые компоненты урока иностранного языка</i>	329

CONTENTS

LITERARY STUDIES

M. J a w o r s k i, <i>Solipsism in the poetics of Viktor Pelevin's novels</i>	5
M. J e d l i ń s k i, <i>Russian opposition against modernity world</i>	19
J. K a z i m i e r c z y k - K u n c e r, <i>Catherine the Great's Russia in Louis Philippe de Ségura's memoirs</i>	31
A. K s e n i c z, <i>Chekhov's view on the course of history</i>	45
L. M a l t s e v, <i>Fyodor Dostoyevsky in Jerzy Stempowski's reception: the imagological aspect</i>	55
R. V o i t e k h o v i c h, <i>"My Double Life" by Sarah Bernhardt as perceived by M. Tsvetaeva</i> . . .	67
Z. Z b y r o w s k i, <i>Boris Pasternak and the ideology of his times</i>	79
M. Z i o m e k, <i>Historiosophical motifs in the work of Fyodor Stepun</i>	91

LINGUISTIC STUDIES

E. C h a s h c h i n a, <i>Lexicon used for investigative action in the Russian language 11-17th centuries</i>	103
E. C h e r n t s o v a, <i>The cognitive semantics and narrative functions of the parenthesis "кажемся" in different contexts of fictional discourse</i>	115
O. F r o l o v a, <i>About semantic processes in the political lexicon (on the example of word "fascism" and its derivatives)</i>	127
B. G a s e k, <i>Anthroponyms in Russian-Polish Great translation dictionaries</i>	137
J. K a l i s z a n, <i>Russian verbs homographic in their infinitive forms</i>	149
A. K a m a l o v a, <i>About the history of the word "anger"</i>	157
K. K e d r o n, <i>The specific nature of the semantics of gender idiomatic phrases (based on material from East-Slavonic and West-Slavonic languages)</i>	165
A. K i k l e w i c z, <i>Forms for realizing propositional argument in Russian sentences with a mental verb: "observance", "compression" and "splitting"</i>	177
V. K l i m o n o v, <i>A proposal for the categorization of lexical aspectuality in Russian</i>	187
K. K u b e c k a, <i>Derivation of verbs in Russian youth slang based on English lexical material</i>	199
M. M o c a r z - K l e i n d i e n s t, <i>The humour of contemporary Russian movies in the work of translators</i>	209
L. N i k o l a y e n k o, <i>On the problem of axiological descriptions of pity in Russian</i>	219

B. R o d z i e w i c z, <i>The concept of TRUTH in the Polish, Russian and German linguistic consciousness (from an axiological perspective)</i>	231
B. R y c i e l s k a, <i>Iconicity in the epistolary novels of Mikhail Bulgakov</i>	243
M. S a r n o w s k i, <i>Common Polish notions of the Russian language</i>	259
T. S z u t k o w s k i, <i>Peremiology at the lexicographer's workshop. Moving towards a user-friendly dictionary</i>	273
A. T s o i, <i>Active processes in the system of forming derivative prepositions</i>	285

GLOTTODIDACTICA

J. G a l l o, <i>Cross-cultural foreign language teaching</i>	295
M. K a r o l c z u k, <i>Polish-Russian cross-cultural comparisons in Russian textbooks at the lower secondary level</i>	307
S. S i a t k o w s k i, <i>The problems of increasing the effectiveness of teaching foreign languages and some aspects of social methodology in language teaching</i>	319
A. S z a f e r n a k i e r - Ś w i r k o, <i>Non-linguistic elements of a didactic unit</i>	329

SPIS TREŚCI

LITERATUROZNAWSTWO

M. J a w o r s k i, <i>Solipsyzm w poetyce powieściowej Wiktora Pielewina</i>	5
M. J e d l i ń s k i, <i>Rosyjska opozycja wobec świata modernizmu</i>	19
J. K a z i m i e r c z y k - K u n c e r, <i>Rosja Katarzyny II w Zapiskach Louisa Philippe'a de Ségura</i>	31
A. K s e n i c z, <i>Antona Czechowa spojrzenie na bieg historii</i>	45
L. M a l c e w, <i>Dostojewski o Polakach – Polacy o Dostojewskim: metastereotypowość jako problem imagologiczny</i>	55
R. W o j t e c h o w i c z, <i>„Moje podwójne życie” Sary Bernhardt w percepcji M. Cwietajewej</i>	67
Z. Z b y r o w s k i, <i>Borys Pasternak wobec ideologii swoich czasów</i>	79
M. Z i o m e k, <i>Motywy historiozoficzne w twórczości Fiodora Stiepuna</i>	91

JĘZYKOZNAWSTWO

E. C z a s z c z y n a, <i>Słownictwo czynności śledczych w języku rosyjskim XI–XVII wieku</i>	103
E. C z e r n c o w a, <i>Semantyka kognitywna i funkcje narratywne parentezy „кажемся” w różnych kontekstach dyskursu artystycznego</i>	115
O. F r o ł o w a, <i>O procesach semantycznych w leksyce społeczno-politycznej (na przykładzie wyrazu „fasyzm” i jego derywatów)</i>	127
B. G a s e k, <i>Antroponimy w nowoczesnym rosyjsko-polskim słowniku przekładowym</i> . . .	137
J. K a l i s z a n, <i>Słownikowe homografy czasownikowe w języku rosyjskim</i>	149
A. K a m a l o w a, <i>Z historii słowa „гнеб”</i>	157
K. K e d r o n, <i>Specyfika semantyki frazeologizmów genderowych (na materiale języków wschodnio- i zachodniostowiańskich)</i>	165
A. K i k l e w i c z, <i>Formy realizacji argumentu propozycjonalnego w rosyjskich zdaniach z czasownikiem mentalnym: „przestrzeżenie”, „kompresja”, „rozszczerzenie”</i>	177
W. K l i m o n o w, <i>O pewnym podejściu do kategoryzacji aspektualności leksykalnej w języku rosyjskim</i>	187
K. K u b e c k a, <i>Derywacja czasowników w rosyjskim slangu młodzieżowym na bazie angielskiego materiału leksykalnego</i>	199
M. M o c a r z - K l e i n d i e n s t, <i>Komizm współczesnych filmów rosyjskich na warsztacie tłumacza</i>	209
L. N i k o ł a j e n k o, <i>Zagadnienie aksjologicznej deskrypcji żalu w języku rosyjskim</i>	219

B. R o d z i e w i c z, <i>Konceptualizacja prawdy w świadomości językowej Polaków, Rosjan i Niemców (perspektywa aksjologiczna)</i>	231
B. R y c i e l s k a, <i>Ikoniczność w tekstach epistolarnych Michaiła Bułhakowa</i>	243
M. S a r n o w s k i, <i>„...z polska – po rosyjsku”, czyli o tym, jak Polacy używają ruszczyzny</i>	259
T. S z u t k o w s k i, <i>Paremiologia na warsztacie leksykografa. W stronę słownika przyjaznego odbiorcy</i>	273
A. T s o i, <i>Aktywne procesy w systemie derywacji przyimków</i>	285

GLOTTODYDAKTYKA

J. G a l l o, <i>Zagadnienie komunikacji interkulturowej w nauczaniu języków obcych</i>	295
M. K a r o l c z u k, <i>Polsko-rosyjskie porównania międzykulturowe w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego na poziomie gimnazjalnym</i>	307
S. S i a t k o w s k i, <i>Zagadnienie podwyższenia efektywności nauczania języków obcych i wybrane aspekty socjalnej teorii lingwodydaktycznej</i>	319
A. S z a f e r n a k i e r - Ś w i r k o, <i>Pozajęzykowe komponenty jednostki dydaktycznej</i> ...	329